Георгий Владимов

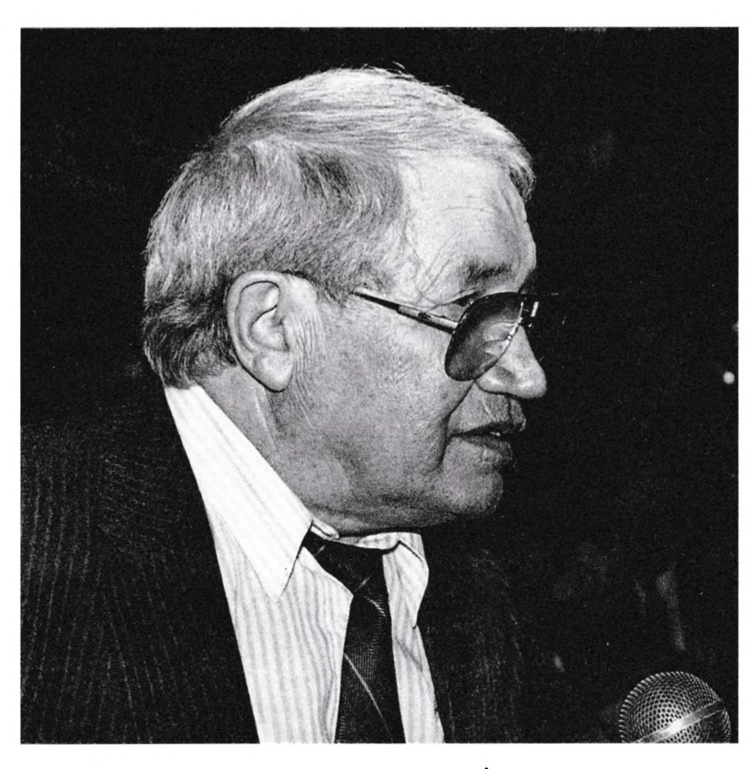
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

3

Георгий Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

3



Георгий Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Том третий

✦

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ

Роман

✦

Москва
«NFQ/2Print»
1998

УДК 882 Владимов 2 + [882-3 + 882-95] Владимов
ББК 84 (2Рос=Рус)6
В 57

Оформление художника
Т. САФАЕВА

ISBN 5-900041-04-2 (Т.3)
ISBN 5-900041-01-8



ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ

Роман

✦

Простите вы, пернатые войска
И гордые сражения, в которых
Считается за доблесть честолюбье –
Всё, всё прости! Прости, мой ржущий конь,
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, всё величье
И бурные тревоги славных войн!
Простите вы, смертельные орудья,
Которых гул несется по земле.

Вильям Шекспир,
«Отелло, венецианский мавр», акт III

Глава первая

МАЙОР СВЕТЛООКОВ

1

Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча покрышками, по истерзанному асфальту — «виллис», король дорог, колесница нашей Победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент, мечутся щётки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.

Так мчится он под небом воюющей России, погромыхивающим непрестанно — громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой, — свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели.

Подчас и для него целые вёрсты пути оказываются непроезжими — из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху тёмной жижей, — тогда он переваливает кювет наискось и жрёт дорогу, рыча, срывая пласты глины вместе с травою, крутясь в разбитой колее; выбравшись с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, а позади остаются мокрые простреленные перелески с чёрными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнивать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испустившие последний свой дым два года назад.

Попадаются ему мосты — из наспех ошкуренных брёвен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, — он бежит по этим брёвнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и ещё колышется и скрипит настил, когда «виллиса» уже нет и следа, только синий выхлоп дотаивает над чёрной водою.

Попадаются ему шлагбаумы — и надолго задерживают его, но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он про-

бирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрохочет хвост эшелона.

Попадаются ему пробки — из встречных и поперечных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигналящих машин; иззябшие регулировщицы, с мужественно-девичьими лицами и матерщиною на устах, расшивают эти пробки, тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали угрожая жезлом, — для «виллиса», однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шофёры долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою.

Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих — кажется, пал он там, развалился, загнанный до издыхания, — нет, вынырнул на подъёме, песню упрямства поёт мотор, и нехотя ползёт под колесо тягучая российская верста...

Что́ была Ставка Верховного Главнокомандования? — для водителя, уже закаменевшего на своём сиденье и смотревшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени, с настойчивостью человека давно не спавшего, пытаясь раскурить прилипший к губе окурок. Верно, в самом этом слове — «Ставка»— слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознёсшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его — долгожданная стоянка, обнесённый стеною и уставленный машинами двор, наподобие постоялого, о котором он где-то слышал или прочёл. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, когонибудь провожают, и течёт промеж шоферов нескончаемая беседа — не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжёлыми бархатными шторами, на восьмом этаже. Выше восьмого — прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном — водитель Сиротин не забирался воображением, но и пониже находиться начальству не полагалось, надо же как минимум пол-Москвы наблюдать из окон.

И Сиротин был бы жестоко разочарован, если б узнал, что Ставка себя укрыла глубоко под землёй, на станции метро «Кировская», и её кабинетики разгорожены фанерными щитами, а в вагонах недвижного поезда разместились буфеты и раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже Гитлерова бункера; наша, советская Ставка так располагаться не могла, ведь

германская-то и высмеивалась за этот «бункер». Да и не нагнал бы тот бункер такого трепету, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы.

Вот тут, у подножья, куда поместил он себя со своим «виллисом», рассчитывал Сиротин узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться вновь с судьбою генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кой-чего у шоферов разведать — как вот разведал же он про этот путь заранее, у коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура, в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлечённом — Сиротин, помнилось, высказал предположение, что, ежели на «виллис» поставить движок от восьмиместного «доджа», добрая будет машина, лучшего и желать не надо; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у «доджа» великоват и, пожалуй, под «виллисов» капот не влезет, придётся специальный кожух наращивать, а это же горб, — и оба нашли согласно, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще — много ли от них пользы, — коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства и, в этой как раз связи, намекнул Сиротину, что вот и у них в армии ожидаются перемены, буквально-таки на днях, неизвестно только, к лучшему оно или к худшему. Какие перемены *конкретно*, коллега не приоткрыл, сказал лишь, что окончательного решения ещё нету, но по тому, как он голос принижал, можно было понять, что решение это придёт даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше; может, с такого высока, что им обоим туда и мыслью не добраться. «Хотя, — сказал вдруг коллега, — ты-то, может, и доберёшься. Случáем Москву повидаешь — кланяйся». Выказать удивление — какая могла быть Москва в самый разгар наступления — Сиротину, шофёру командующего, амбиция не позволяла, он лишь кивнул важно, а втайне решил: ничего-то коллега толком не знает, слышал звон отдалённый, а может, сам же этот звон и родил. А вот вышло — не звон, вышло и вправду — Москва! На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться — смонтировал и поставил неезженые покрышки, «родные», то есть американские, которые приберегал до Европы, приварил кронштейн для ещё одной бензиновой канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали, — генерал его не любил: «Душно под ним, — говорил, — как

в собачьей будке, и рассредоточиться по-быстрому не даёт», то есть через борта повыскакивать при обстреле или бомбёжке. Словом, не так уж вышло неожиданно, когда скомандовал генерал: «Запрягай, Сиротин, пообедаем — и в Москву».

Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, ещё довоенные, планы, и беспокойно за генерала, вдруг почему-то отозванного в Ставку, не говоря уже — за себя самого: кого ещё придётся возить, и не лучше ли на полуторку попроситься, хлопот столько же, а шансов живым остаться пожалуй что и побольше, всё же кабинка крытая, не всякий осколок пробьёт. И было ещё чувство — странного облегчения, даже можно сказать, избавления, в чём и себе самому признаться не хотелось.

Он был не первым у генерала, до него уже двое мучеников сменилось — если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии; до этого, по мнению Сиротина, ни армии не было, ни истории, а сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа — самого генерала и не поцарапало, зато *под ним*, как в армии говорилось, *убило* два «виллиса», оба раза с водителями, а один раз и с адъютантом. Вот о чём и ходила стойкая легенда: что «самого» не берёт, он как бы *заговорённый*, и это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило немного иначе, «виллисы» эти *убило* не совсем *под ним*. В первый раз — при прямом попадании дальнобойного фугаса — генерал ещё не сел в машину, призадержался на минутку на КП* командира дивизии и вышел уже к готовой каше. А во второй раз — когда подорвались на противотанковой мине — он уже не сидел, вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел отъехать куда-нибудь с открытого места; а тот возьми и сверни в рощу. Между тем дорога-то была разминирована, а рощу сапёры обошли, по ней движение не планировалось... Но какая разница, думал Сиротин, упредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговорённость, да только на его сопровождавших она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она-то и была, если вдуматься,

* Командный пункт. — *Здесь и далее примечания автора.*

причиной их гибели. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придётся до десяти тонн истраченного металла, Сиротин же и без их подсчётов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой озноб безотчётный, который чем безотчётнее, тем верней тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз из самого вроде безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой-нито канавке перележать, за ничтожной кочкой, — а блиндаж-то и разнесёт по брёвнышку, а кочка-то и укроет! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не побываешь на передовой, но этот генерал передовую не то чтобы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соскучиться, — значит, по собственной дурости погибли, себя не послушались!

С миной — ну, это смешно было. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощицу, под сень берёз? Да хрена с два, хоть перед каждым кустом ему воткни: «Проверено, мин нет», — кто проверял, для того и нет, он свои ноги унёс уже, а на твою долю, будь уверен, хоть одну «пэтээмку»* оставил в спешке; да хотя б он всю рощу пузом подмёл — известное же дело, раз в год и незаряженная винтовка стреляет! Вот со снарядом было сложнее — на мину ты сам напоролся, а этот тебя выбрал, именно тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнёс на две, на три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды — как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая, да ты-то его свиста не услышишь, другие услышат — и сдуру ему покланяются. Однако зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? Да то самое, безотчётное, и задержало, вот что надо было почувствовать! В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками — но, может статься, всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мёртвым? — и такая мысль тоже его посещала. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно ещё хуже сбивает с толку,

* ПТМ, противотанковая мина.

прогоняя спасительный озноб; наука выживания требовала: всегда смиряйся, не уставай просить, чтоб тебя миновало, — тогда, быть может, и пронесёт мимо. А главное... главное — тот же озноб ему шептал: с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же безотчётность... Где-нибудь оно произойдёт и когда-нибудь, но произойдёт непременно — вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен; лишь искушённый взгляд распознал бы за его лихостью, за отчаянно-бравым, франтоватым видом — скрываемое предчувствие. Где-то верёвочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьётся и слишком счастливо, — и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговорённому.

Вот, собственно, о каких своих опасениях — ни о чём другом — поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки «Смерш», когда тот его пригласил на собеседование, или — как говорилось у него — «кое о чём посплетничать». «Только вот что, — сказал он Сиротину, — в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше — в другом каком месте. И пока — никому ни слова, потому что... мало ли что. Ладненько?» Свидание их состоялось в недальнем от штаба леске, на опушке, там они сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленную сосну и, сняв фуражку, подставил осеннему солнышку крутой выпуклый лоб с красной полоскою от околыша, — чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе, — Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке.

— Давай, выкладывай, — сказал он, — что тебя точит, о чём кручина у молодца? Я же вижу, от меня же не укроется...

Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах, которые наука выживания велит держать при себе, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.

— Ничего, ничего, — сказал он без улыбки, тряхнув энергично своими льняными прядями, забрасывая их подальше назад, — это мы понимать умеем, всю эту мистику. Все суеверию подвержены, не ты один, командующий наш — тоже. И скажу тебе по секрету: не такой он заговорённый. Он про это вспоминать не любит и нашивок за ранения не носит, а было у него по дурости в сорок первом, под Солнечногорском. Хорошо отоварился — восемь

пуль в живот. А ты и не знал? И ординарец не рассказывал? Который, между прочим, при сём присутствовал. Я думал, у вас всё нараспашку... Ну, наверно, запретил ему Фотий Иванович рассказывать. И мы тоже про это не будем сплетничать, верно?.. Слушай-ка, — он вдруг покосился на Сиротина весёлым и пронзающим взглядом, — а может, ты мне тово... дурочку валяешь? А главное про Фотия Иваныча не говоришь, утаиваешь?

— Чего мне утаивать?

— Странностей за ним не наблюдаешь в последнее время? Учти, кой-кто уже замечает. А ты — ничего?

Сиротин подёрнул плечом, что могло значить и «не замечал», и «не моего ума дело», однако неясную ещё опасность, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было отстраниться, хотя б на миг, чтоб только понять, чтó могло грозить ему самому. Майор Светлооков смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим строгим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свите командующего, — место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно.

— Сомнения, подозрения, всякие мерихлюндии ты мне не выкладывай, — сказал майор твёрдо. — Только факты. Есть они — ты обязан сигнализировать. Командующий — большой человек, заслуженный, ценный, тем более мы обязаны все наши малые силы напречь, поддержать его, если в чём-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кусать. Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего — что и говорить...

Кто были «мы», отвечающие за каждого человека в армии, он ли с майором или же весь армейский «Смерш», в глазах которого генерал в чём-то «пошатнулся», этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решался. Ему вспомнилось вдруг, что и дружок из автороты штаба тоже эти слова обронил: «пошатнулся малость», — так он, стало быть, не звон отдалённый слышал, а прямо-таки гудение земли. Похоже, генеральское пошатновение, хоть ничем ещё не проявленное, уже и не новостью было для некоторых, и вот из-за чего и вызвал его к себе майор Светло-

оков. Разговор их становился всё более затягивающим куда-то, во что-то неприятное, и смутно подумалось, что он, Сиротин, уже совершил малый шажок к предательству, согласившись прийти сюда «посплетничать».

Из глубины леса тянуло предвечерней влажной прохладой, и с нею вкрадчиво сливался вездесущий приторный смрад. Чёртовы похоронщики, подумал Сиротин, своих-то подбирают, а немцев – им лень, придётся генералу доложить, даст он им прикурить. Неохота было свежих подобрать – теперь носы затыкайте...

– Ты мне вот что скажи, – спросил майор Светлооков, – как он, по-твоему, к смерти относится?

Сиротин поднял к нему удивлённый взгляд.

– Как все мы, грешные...

– Не знаешь, – сказал майор строго. – Я вот почему спрашиваю. Сейчас предельно остро ставится вопрос о сохранении командных кадров. Специальное указание Ставки есть, и Верховный подчёркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали риску. Слава богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе – ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережёт? С отчаяния какогонибудь, со страху, что не справится с операцией? А может, и тово... ну, свих небольшой? Оно и понятно до некоторой степени – операция оч-чень всё-таки сложная!..

Пожалуй, Сиротину не показалось бы, что операция была других сложнее, и развивалась она как будто нормально, однако там, наверху, откуда к нему снисходил майор Светлооков, могли быть иные соображения.

– Может быть, единичный случай? – размышлял между тем майор. – Так нет же, последовательность какая-то усматривается. Командующий армией свой КП выносит поперёд дивизионных, а комдиву что остаётся? Ещё поближе к немцу придвинуться? А полковому – прямо-таки в зубы противнику лезть? Так и будем друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или ещё пример: ездите на передовую без охраны, без бронетранспортёра, даже радиста с собой не берёте. А вот так и нарываются на засаду, вот так и к немцу заскакивают. Иди потом выясняй, доказывай, что не имело места предательство, а просто по ошибке... Это же всё предвидеть надо. И предупреждать. И нам с тобой – в первую очередь.

— Что ж от меня-то зависит? — спросил Сиротин с облегчением. Предмет собеседования стал ему, наконец, понятен и сходился с его собственными опасениями. — Шофёр же маршрут не выбирает...

— Ещё б ты командующему указывал!.. Но знать заранее — это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иваныч минут за десять: «Запрягай, Сиротин, в сто шестнадцатую подскочим». Так?

Сиротин подивился такой осведомлённости, но возразил:

— Не всегда. Другой раз в машину сядет и уж тогда путь говорит.

— Тоже верно. Но он же не в одно место едет, за день в трёх-четырёх хозяйствах побываете: где полчаса, а где и все два. Можешь же ты у него спросить: а куда потом, хватит ли горючего. Вот у тебя и возможность созвониться.

— С кем это... созвониться?

— Со мной, «с кем». Мы наблюдение организуем, с тем хозяйством свяжемся, куда вы в данный момент путь держите, чтоб выслали встречу. Я понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать всё как есть. Так это одно другому не мешает. У нас — своя линия и своя задача. Комдив того знать не будет, когда Фотий Иваныч нагрянет, лишь бы мы знали.

— А я-то думал, — сказал Сиротин, усмехаясь, — вы шпионами занимаетесь.

— Мы всем занимаемся. Но сейчас главное, чтоб ни на минуту командующий из-под опеки не выпадал. Это ты мне обещаешь?

Сиротин усиленно морщил лоб, выгадывая время. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда бы ни направились они с генералом, об этом будет известно майору Светлоокову. Но как-то коробило, что ведь придётся ему сообщать скрытно от генерала.

— Это как же так? — спросил Сиротин. — От Фотия Иваныча тайком?

— У-у! — прогудел майор насмешливо. — Кило презрения у тебя к этому слову. Именно тайком, негласно. Зачем же командующего в это посвящать, беспокоить?

— Не знаю, — сказал Сиротин, — как это так можно...

Майор Светлооков вздохнул долгим печальным вздохом.

— И я не знаю. А нужно. А приходится. Так что же нам делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был —

куда как просто! Чего я от тебя уже час добиваюсь, комиссар бы мне не думая пообещал. А как иначе? Комиссар и контрразведчик – первые друг другу помощники. Теперь – больше доверия военачальнику, а работать стало куда сложнее. К члену Военного совета не подкатись, он тоже теперь «товарищ генерал», ему это звание дороже комиссарского, станет он такой «чепухой» заниматься! Ну, а мы, скромные людишки, обязаны заниматься, притом – тихой сапой. Да уж, Верховный нам осложнил задачу. Но – не снял её!

Эта печаль и озабоченность в голосе майора, и его откровенность, да и бремя задачи, исходившей не от когонибудь, от Верховного, – всё складывалось так, что Сиротину как будто уже и не во что было упираться.

– Звонить, ведь оно, знаете... У связиста линия занята. А когда и свободна, тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо, куда звонишь. Так до Фотия Иваныча дойдёт. Нет, это...

– Что «нет»? – Майор Светлооков приблизил к нему лицо. Он враз повеселел от такой наивности Сиротина. – Ну, чудак же ты! Неужели так и попросишь: «А соедини-ка меня с майором Светлооковым из «Смерша»? Не-ет, так мы всё дело провалим. Но можно же по холостой части. В смысле – по бабьей. Эта линия всегда выручит. Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку.

Сиротину вспомнилось нечто рыхлое, чересчур грудастое и, на его двадцатишестилетний взгляд, сильно пожилое, с непреклонно начальственным лицом, с тонко поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчинённых барышень.

– Что, не объект для страсти? – Майор улыбнулся быстро порозовевшим лицом. – Вообще-то на неё охотники имеются. Даже хвалят. Что поделаешь, любовь зла! К тому же у нас не женский монастырь. Вот в Европу вступим – не в этот год, так в следующий, – там такие монастыри имеются, специально женские. Точней сказать, девичьи. Потому как монашки эти, «кармелитки» называются, клятву насчёт девственности дают – до гроба. Во какая жертва! Так что невинность гарантируется. Бери любую – не ошибёшься.

Сверхсуровые эти «кармелитки», в сиротинском воображении соотнесясь почему-то с карамельками, выглядели куда как маняще и сладостно. Что же до той, грудастой,

всё-таки не представилось ему, как бы он стал приударять за ней или хотя бы трепаться по телефону.

— Зер гут, — согласился майор. — Избираем другой вариянт. Как тебе — Зоечка? Не та, не из трибунала, а которая в штабе телефонисткой. С кудряшками.

Вот эти пепельные кудряшки, свисавшие из-под пилотки спиральками на выпуклый фаянсовый лобик, и взгляд изумлённый — маленьких, но таких ярких, блестящих глаз, — и ловко пригнанная гимнастёрка, расстёгнутая на одну пуговку, никогда не на две, чтоб не нарваться на замечание, и хромовые, пошитые на заказ сапожки, и маникюр на тонких пальчиках — всё было куда поближе к желаемому.

— Зоечка? — усомнился Сиротин. — Так она же вроде с этим... из оперативного отдела. Чуть не жена ему?

— У этого «чуть» одно тайное препятствие имеется — супруга законная в Барнауле. Которая уже письмами политотдел бомбит. И двое отпрысков нежных. Тут придётся какие-то меры принимать... Так что Зоечка не отпадает, советую заняться. Подкатись к ней, наведи переправы. И — звони ей откуда только можно. Что, тебя связист не соединит? Шофёра командующего? Дело ж понятное, можно сказать — неотложное. Ты только — понахальнее, место своё в армии нужно знать. В общем, ты ей: «Трали-вали, как вы спали?» — и, между прочим, так примерно: «К сожалению, времени в обрез, через часик ждите, от Иванова звякну». Много болтают по связи, одним трёпом больше... Ну, и это не обязательно, мы в дальнейшем шифр установим, на каждое хозяйство свой пароль. Что тебе ещё не ясно?

— Да как-то оно...

— Что «как-то»? Что?! — вскричал майор сердито. И Сиротину не показалось странным, что майор уже вправе и осерчать на него за непонятливость, даже отчитать гневно. — Для себя я, по-твоему, стараюсь? Для сохранения жизни командующего! И твоей, между прочим, жизни. Или ты тоже смерти ищешь?!

И он в сердцах, со свистом, хлестнул себя по сапогу невесть откуда взявшимся прутиком — звук как будто ничтожный, но заставивший Сиротина внутренне съёжиться и ощутить холодок внизу живота, тот унылый мучительный холодок, что появляется при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво —

звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся трясины, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя миновало. Этот дотошный, прилипчивый, всепроникающий майор Светлооков углядел то, что сидело в Сиротине и не давало жить, но он же углядел и большее: что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, гибельное — и для него самого, и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме в заметной своей чёрной кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего «юнкерса», это не бравада была, не «пример личной храбрости», а то самое, что время от времени постигало иных и называлось — человек ищет смерти.

Вовсе не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке человек делал бессмысленное, непостижимое: бросался в рукопашную один против пятерых, или, встав во весь рост, бросал одну за другой гранаты под движущийся на него танк, или, подбежав к пулемётной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол — и почти всегда погибал. Опытный солдат, он отметал все шансы уклониться, выждать, как-нибудь исхитриться. Было ли это в помешательстве, в ослепляющем запале, или так источил ему душу многодневный страх, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и как бы освобождение... А накануне — как припоминали потом, а может быть, просто выдумывали — бывал этот человек неразговорчив и хмур, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятанным взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Сиротин этих людей не мог постичь, но то, что их повлекло умереть так поспешно, было, в конце концов, их дело, они за собой никого не звали, не тащили, а генерал и звал, и тащил. Чего ему, спрашивается, не сиделось в скорлупе бронетранспортёра, который был же рядом на пароме? И не подумалось ему, что так же картинно под те же пули подставляли себя и люди, обязанные находиться при нём неотлучно? Но вот нашёлся же один, кто всё понял, разглядел зорким глазом генеральские игры со смертью и пресечёт их своим вмешательством. Как это ему удастся, ну вот хотя бы как отведёт он в небе шальной снаряд, почему-то Сиротина не озадачивало, как-то

само собою разумелось, хотелось лишь всячески облегчить задачу этому озабоченному всесильному майору, рассказать поподробнее о странностях генеральского поведения, чтобы учёл в каких-то своих расчётах.

Майор его слушал, не перебивая, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой прутик и передвинул на колени планшетку. Развернув её, стал разглядывать какой-то листок, упрятанный под жёлтым целлулоидом.

— Так, — сказал он, — на этом покамест закруглимся. На-ка вот, распишись мне тут.

— Насчёт чего? — споткнулся разлетевшийся Сиротин.

— Насчёт неразглашения. Разговор у нас, как ты понимаешь, не для любых ушей.

— Так... зачем же? Я разглашать не собираюсь.

— Тем более, чего ж не расписаться? Давай, не ломайся.

Сиротин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного витиеватым изящным почерком, наклонённым влево.

— Тезисы, — пояснил майор. — Это я схемку набросал, как у нас примерно пойдёт беседа. Видишь — сошлось, в общем и целом.

Сиротина удивило это, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору ничего такого, чего тот не знал заранее. И он расписался нетвёрдыми пальцами.

— И всего делов. — Майор, усмехаясь Сиротину, застегнул аккуратно планшетку, откинул её за спину и встал. — А ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли.

Он вышагивал впереди, крепко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом ногами балетного танцовщика, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Сиротина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за остывшим уже соблазнителем и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась как могла.

— А кстати, — майор вдруг обернулся, и Сиротин едва не налетел на него, — раз уже нас на эти темы клонит... Может, ты мне сон объяснишь? Умеешь сны отгадывать? Значит, прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке. В уши ей заливаю — про сирень там, про Пушкина-Лермонтова, а под юбкой шурую — вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. И всё, ты понимаешь,

чинненько, вот-вот до дела дойдёт. Как вдруг — ты представляешь? — чувствую: мужик! Мать честная, с мужиком это я обжимался, чуть боекомплект не растратил. Что скажешь? В холодном поту просыпаюсь. И к чему бы это?

Сиротин, ошарашенный, распяливал лицо глупой и жаркой ухмылкой. Майор смотрел на него, вылупив простодушно голубые свои глаза и полуоткрыв рот. Не дождавшись ответа, он двинулся дальше, сам себе отвечая:

— А я так думаю — пора эту войну кончать. Скорей по домам — своих баб щупать. А то, наблюдаю, у всех уже шарики за кубики заходят.

Там, где тропинка впадала в просеку и где могли бы их увидеть вместе, он снова остановился.

— Ну, тебе направо, мне налево. Вот что я тебе скажу, Сиротин. Ты это, о чём мы условились, не рассматривай, как будто тебя употребили. У меня ведь в желающих сотрудничать недостатка нет. Так что я это тебе доверил как честь. Вижу, тебя коробит что-то. Понимаю. Но ничего, привыкнешь. Ты всё обдумай как следует, прикинь, план себе наметь, как будешь со мной работать. И приступай. Покеда!

Приступить Сиротину, однако ж, не выпало повода. Не пришлось никуда ездить с генералом — в последние дни тот сиднем засел в своём убежище, которое выбрал сразу после переправы, отдельно от штаба армии, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, и к нему туда подъезжали с докладами и из штаба, и с левого берега, и со всего плацдарма, теперь до того разросшегося, что его всё реже называли плацдармом. Сиротин же только дежурил у «виллиса», и постепенно то мутное, гадливое ощущение, что испытал он в леске, рассеивалось, сменяясь избавительной надеждой, что надобность в нём у майора Светлоокова, может статься, уже и отпала.

Оно явилось опять, это ощущение, когда майор Светлооков, проходя по каким-то своим делам к генералу, призадержался возле Сиротина и, ткнув его легонько пониже груди своей планшеткой, весело пожурил:

— Ты что ж это мне девку изводишь? Жалуется мне на тебя.

— Какую девку?

— «Какую»! Зоечку. Охмурил, а не звонишь. Столько, говорит, я в него души вложила, а он прохиндеем оказался.

— Так ведь... об чём говорить пока?

— Вот, ещё научи его, о чём с прекрасным полом беседуют. Ты позвони, а там видно будет. Позвони, позвони, не стесняйся.

И прошёл, весело оглядываясь на оторопевшего Сиротина, заговорщицки подмигивая.

Два дня Сиротин собирался с силами и всё же позвонил, позвонил этой Зоечке, с которой до этого едва ли десятком слов перекинулся, и теперь не мог вспомнить без жгучего стыда, от которого влажно делалось лицу, свой голос, то жидкий, то деревянный, свои косноязычные упрёки этой Зоечке, что вот, мол, бывают некоторые, которые своих знакомых забывают, зазнались, а Зоечка-то и не зазналась ничуть, Зоечка его моментально узнала и этого звонка очень даже ждала, и на каждый его попрёк отвечала таким щебетом, что у него в ушах звенело. Едва сведя разговор к концу, он лишь потом сообразил, не без натуги, что она ведь ему и свидание назначила, предложила хоть сегодня улучить минутку и заглянуть.

Он шёл к ней робея и с чувством вины, как идут к начальству на выволочку. Зоечка и начала с выговора: завидя его из окна телефонного узла, из автобуса, к которому сходились с разных сторон провода, подвешенные на шестах и ветках, она выпорхнула к Сиротину и заговорила сердитым полушёпотом, хотя и с улыбающимся лицом:

— Ты что ж это делаешь, недотёпа! Сначала приходят, а уж потом звонят. А ты всё наоборот. Ни с того ни с сего: «Позовите мне Зоечку». Какая я тебе Зоечка, если нас вместе не видели? Вот тебе — первый прокол!

— Так мне ж так майор сказал, — стал оправдываться Сиротин.

— Тише ты, дурень. Так, да не так, — прошипела Зоечка, но тут же, однако, смягчилась. — Пройдёмся, чтоб нас увидели.

Они сперва покружились по опушке, в пятнистой тени маскировочных сетей, дабы Зоечкины подружки-телефонистки, поглядывавшие из автобуса, могли себе уяснить характер их отношений. Из другого автобуса, где трещали пишущие машинки и сочинялась армейская газета, тоже на них поглядывали. Сиротин не находил, что сказать, Зоечка тоже не говорила, а только обращала к нему снизу вверх улыбающееся лицо. Со стороны показалось бы, что они от неожиданности встречи и нахлынувшего чувства просто не находят слов.

— Ну что, так и будем по одному месту кружить? — сказала Зоечка. — Хоть бы увлёк меня куда-нибудь.

— Куда? — спросил Сиротин. И даже вспотел от своей глупости.

— Закудакал! С девушками не знаешь, как обращаться? Можешь меня взять за плечо. Господи, не за погон, а за плечо!

Рука Сиротина, и без того не чересчур чистая, сразу взмокла. По Зоечкиному фаянсовому личику промелькнула брезгливая гримаска.

— Ты хоть не тискай...

— Так чо, убрать? — спросил он так же глупо.

Она лишь сердито дёрнула плечиком. Несколько погодя взяла его руку и обвила вокруг своей талии.

— Перемещать надо время от времени, а то, глядишь, приклеится. Только это надо делать украдкой, тогда похоже на правду. — Ещё погодя, сбросила его руку совсем. — А вот теперь у нас другое настроение. Просто смотри себе под ноги задумчиво и молчи.

В этот ясный предосенний день их могли видеть в разных местах среди редколесья, где новый плацдарм успел утвердить свою бивачную жизнь, прихватив себе то пространство, что зовётся *вторым эшелоном.* Видели из столовой Военного совета, расположившейся в огромной палатке с завёрнутыми полами, где стоял общий длинный стол и рядом, под своим навесом, дымила походная кухня на дутиках; повар, в белой куртке и колпаке, и обедавшие офицеры-штабисты провожали влюблённую пару усмешливыми взглядами. Зоечка, мечтательно улыбаясь, склоняла голову к плечу Сиротина и покусывала травинку, порой щекотала его этой травинкой по щеке.

Зенитчики, полёживавшие на травке возле своих счетверённых пулемётов, белыми животами к солнышку, тоже их видели — они хоть и накрыли глаза пилотками, но головы поворачивали вслед, все трое одновременно.

Могли их видеть возле танковых мастерских, где чинились под маскировочным пятнистым тентом две пригнанные из боя «тридцатьчетвёрки»; ремонтники, в чёрных промасленных комбинезонах, обстукивали кувалдами разрывы брони, пригоняли заплаты, приваривали их шипучей дугой от передвижного генератора; один, повязав тряпкой рот и нос, счищал надетой на палку скоблилкой с почерневшей башни комки прикипевшего горелого мяса.

Видели около медсанбата, нескольких таких же огромных палаток, но далеко не вместивших всех пациентов; койки и носилки плотными рядами стояли снаружи, под шумящими кронами; санитарки, делая спешные перевязки и уколы, привычно-ласково уговаривали стонущих потерпеть немного, и, невольно впадая в их тон, такими же причитаниями, почти бабьими голосами, разговаривали санитары-мужчины. У входа в крайнюю палатку, прислонясь к трубчатой опоре и зажав под мышкой жёлтые резиновые перчатки, торопливо-жадно курила врачиха в клеёнчатом мясницком фартуке, заляпанном ржавыми потёками, порою оборачивалась внутрь палатки и хриплым осевшим голосом отдавала распоряжения, а порой по измученному её лицу пробегала улыбка — когда она смотрела, как двое легкораненых, уже выздоравливающих, помогая один другому, осваивали тяжёлый немецкий велосипед. Время от времени выносили в оцинкованных тазах и выплёскивали здесь же, в бомбовую воронку, красную жидкость с комьями размокшей ваты. Шагах в десяти, присев на корточки, в такой же таз доил корову седой рыжеусый солдат в белесой заплатанной гимнастёрке.

Кровавая и костоломная работа передовой шла безостановочно — то и дело подъезжали наполненные своим стонущим, слабо шевелящимся грузом телеги, бортовые машины и фургоны. И запахи смерти и страдания смешивались в чистом воздухе с запахами кухни, еды — от этого делалось особенно тяжело, тошнотно. Поморщась, Зоечка предложила:

— Ну всё, программу выполнили. Можем теперь удалиться куда-нибудь в тихое местечко. Мне надо кой-чего дополнительно тебе сказать.

Так они пришли к той поваленной сосне, и Зоечка, усевшись на неё, сбросила наконец ей самой уже надоевшую улыбку и аккуратно обтянула юбкой круглые коленки. Он подумал, что она здесь не раз уже побывала с майором Светлооковым, перед которым, наверное, не так уж прикрывала скрещенье ног.

— А ты... давно с ним? — глухо, пересыхающим ртом, спросил Сиротин.

— Что — «с ним»? — Зоечка поглядела на него поверх носа, отчего её лицо сделалось надменным. — Живу, что ли?

— Работаешь, — смущённо поправился Сиротин.

— Надо ясно выражаться. Ты что думаешь — тут всё вместе может быть? О, нет! Работать и спать — две вещи несовместимые.

— Это почему ж так? — Он искренне удивился.

— А потому. Фиктивных романов не бывает. Кто-нибудь обязательно по правде влюбится, и это всю конспирацию нарушит. У нас с ним характер работы такой, что этого — не нужно. С тобой — характер другой. Но мы же ни к чему такому, в общем, не стремимся, правда? Меня твоя личная жизнь не касается, а тебя — моя.

— Тем более, что у тебя другой есть. Покуда жена далече. В Барнауле, — съязвил Сиротин, сам немного уязвлённый.

Тот, о ком он говорил, был едва не всей армии известный майор Батлук из оперативного отдела штаба, живописный полнеющий красавец-брюнет, любитель поесть и попить, а также попеть украинские песни — голосом ненатуральным, зато чрезвычайно громким.

— Ах, этот... — сказала Зоечка небрежно, однако матово-белые её щёки стали медленно розоветь. — Это была ошибка. То есть, в общем... это тоже была работа. Его одно время подозревали.

— В чём? — Сиротин опять подивился: в чём уж таком могли подозревать майора Батлука. Разве что в уклонении от алиментов трём семьям.

— В ротозействе. Показалось, что есть утечка оперативных данных. Но выяснилось, что это ошибка. Во всех смыслах ошибка, — добавила Зоечка со значением и загадочно помолчала, и Сиротину показалось, что эти мгновения она всё же посвятила воспоминанию о своём певучем майоре. — Я смотрю, ты всё знаешь. Ну, в общем, я им действительно увлеклась. Мужчина что надо. Только самомнения много. На наш роман смотрел как на временный. Ну, может быть, так и надо смотреть. Потому что в Европе всё равно всё переменится.

— Как это?

— А так, очень просто. Это здесь мы у вас считанные, боевые подруги. А там вы себе баб найдёте каких угодно и сколько угодно. И не только офицеры, а последние обозники. Даже кто из себя ничего не представляет, ноль без палочки, у него ведь оружие, кто ж устоит. В общем, как майор говорит, Светлооков: «Спешите жить, девочки, на-

двигается на вас девальвация». Ладно, закруглимся. На первом плане должно быть дело. А романы – побоку.

Ему тоже – наверное, впервые в жизни, – говоря с женщиной, молодой и не совсем ему безразличной, захотелось перевести разговор на другое.

– И что тебя потянуло... к этой работе? – спросил он угрюмо.

– А что? – Она улыбнулась мечтательно. – Скажешь, тут нечем увлечься? Хотя бы сознание, что можешь большие дела делать, столько пользы принести... Ты об этом не думал?

– Я думал, каждый, куда его поставили, пускай своё делает как следует. И того с головой хватит.

– Ну, а мне этого мало. Что я такое? Телефонистка. Приложение к коммутатору. Ты тоже приложение – к «виллису». А майор мне такие перспективы открыл, что голова кружится, честное слово. Ты даже не представляешь, сколько в наших рядах скрытых врагов, как люди в большинстве настроены. Кто неправильно, а кто и враждебно. Иногда и высокие люди, с такими званиями, и орденов полно. Пока что они воюют, исполняют свой долг, и мы сейчас не можем ими заниматься вплотную. Ещё не время. Пока что нужно о каждом узнать побольше. И с каждым работать – терпеливо, упорно и в то же время беспощадно.

– Он мне совсем другое говорил, – сказал Сиротин растерянно.

– Что же ты хочешь, чтоб тебя сразу во все тонкости посвятили? Я вот уже три месяца с ним... работаю, а он мне только краешек приоткрыл. Но и краешек – это, ого, как много! Просто у меня к этой работе сразу вкус проявился. Он говорит, что я даже, может быть, будущая Мата Хари. Такая была всемирная разведчица. Ну, а у тебя, значит, пока что вкуса не обнаружилось.

Явное и пугающее ощущение, что его уже втянули куда-то, откуда не так просто выбраться, отрезвило его.

– При чём тут вкус? – сказал он, нахмурясь. – Мы с ним совсем о другом говорили. Позаботиться, чтоб командующий себя риску не подвергал...

Зоечка поглядела на него искоса и насмешливо, но быстро её лицо сделалось серьёзным.

– Ну, кто ж спорит, чудак. Это такая задача, что по сравнению с ней всё остальное чепуха, суета сует. Но мы же для этого и встретились.

Он уловил в её голосе разочарование. Как будто она совсем другого ждала от этого свидания.

Ей стало откровенно скучно с ним. Разбросав руки по стволу и приподняв плечики, так что на них изогнулись погоны, и вытянув скрещённые ноги в хромовых сапожках и нитяных, телесного цвета чулках, она вертела головой, поглядывая вверх, провожала глазами летящие клочья паутины и напевала вполголоса:

Дует тёплый ветер, развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

...Она не знала, как права была. Через много лет она будет вспоминать этот ясный день бабьего лета, когда что-то не удалось ей, на что она рассчитывала; она впервые вспомнит об этом дне, войдя с армией в освобождённую Прагу и фотографируясь в группе друзей-смершевцев на многолюдной, усыпанной цветами Вацлавской площади, сама уже в лейтенантских погонах, с орденом и медалями на груди; она изредка, но всё острее и грустнее будет его вспоминать потом лет восемь, исполняя работу, для которой так много у неё *проявилось вкуса,* что её даже выдвинут в столичный *аппарат;* затем, когда надобность в её ретивости несколько поубавится, и Зоечку выставят за порог аппарата, и ей придётся избегать встреч с таким множеством людей, что проще окажется уехать из Москвы, она будет вспоминать этот день всё чаще и чаще в чужом для неё городе, верша человеческие судьбы уже в ином качестве, — потому что вершить их составляет единственное её призвание и потому что надо же куда-то приткнуть дебелую партийную бабёнку, переспавшую со всеми инструкторами обкома, — поэтому в качестве расторопной хитрой судьихи, ценимой за её талант писать приговоры, полные птичьего щебета и совершенно бесспорные ввиду отсутствия в них какой бы то ни было логики; она его будет вспоминать — опустившейся бабищей, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отёчными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле, — вот этот солнечный день на днепровском плацдарме и этого парня, первого ею погубленного, и однажды чётко сформулирует: «Он был в меня влюблён!» — после чего ей всё больше будет казаться, что между ними

было тогда что-то настоящее, идеальное, кристально чистое, единожды даримое человеку в жизни, что парень этот был и остался её единственной, хоть и неизречённой, любовью...

Зоечка поднялась на ноги и потянулась, едва не до хруста, всей стройной, тонкой фигуркой, выгнув стан, перетянутый офицерским ремнём с портупеей.

— Мне пора, — сказала она, тряхнув прелестными пепельными локонами, свисавшими из-под пилотки спиральками. — Завтра опять встретимся, шифр надо согласовать. Сказал тебе майор?

— Говорил.

— Я кое-что там разработала, к завтрему закончу. У меня быстро освоишь. Да не боги горшки обжигают.

Он возвращался, сбитый с толку, с тревожной раздвоенностью в душе. Он думал о Зоечке с азартной самонадеянностью здорового парня — что наперекор всякой *работе* у них вполне может наметиться что-то другое, — и с опаской: как бы не сделать завтра какой-нибудь промах, не ступить уже ни на полшага в то зыбкое и пугающее, в чём она уже сильно погрязла и куда его тоже могло затянуть. Сохранить себя и её вытащить — вот с чем он решил прийти к ней и объявить напрямик.

А назавтра — и случилось вот это, всё преломившее: «Запрягай, Сиротин. В Москву!» Однако ещё одна встреча была у них с майором Светлооковым — последним в армии, кого видел Сиротин и с кем говорил. Разогревая мотор, он разглядел неясное отражение в лобовом стекле и обернулся. Майор Светлооков стоял за его спиной, чуть поодаль, смотрел на него своим простодушным взглядом и легонько похлопывал себя прутиком по сапогу.

— Вот, отбываем, — сказал Сиротин, разведя руками, отчего-то виновато. — Выходит, служба наша кончается?

— Знаю, знаю, — ответил майор. — С богом, как говорится... А служба наша не кончается. Она начинается, но никогда не кончается.

Перебирая всё это в памяти — сидя слева от генерала, во весь путь молчаливого и сумрачного, — Сиротин вдруг понял, с упавшим сердцем, что ведь, наверное, те разговоры в леске, у поваленной сосны, имели какое-то отношение к внезапному этому отъезду. И может быть, предупреди он генерала — который ведь был ему не чужее этого майора Светлоокова и чёртовой этой Зоечки! — признайся

он тогда же, генерал предпринял бы какие-то свои меры, и отъезда, вовсе для него не радостного, могло и не быть. Но вместе со своим признанием Сиротин представил себе удивлённый и брезгливый взлёт генеральских бровей и бьющий в лицо вопрос: «И ты согласился? Шпионить за мной согласился!» Чем было бы ответить? «Для вашего же сохранения»? А на это он: «Скажи лучше – для своего. О своей шкуре заботился!» И после этого – ничего Сиротин бы не сумел объяснить генералу.

Глядя на дорогу, летящую в забрызганное слякотью стекло, он постигал то, чего не успел постичь по молодости: так не бывает, чтоб кто бы то ни было, вызвавшись разгрузить часть нашей души, разделить бремя, другую её часть не нагрузил бы ещё тяжелей, не навалил бы ещё большее бремя. И ещё одно постигал водитель Сиротин, изъездивший тьму дорог: если пересеклись твои пути с интересами тайной службы, то, как бы ни вёл ты себя, что бы ни говорил, какой бы малостью ни поступился, а никогда доволен собой не останешься.

2

И эта же Ставка совсем иной представлялась генеральскому адъютанту, так же мало знавшему о станции метро «Кировская». Дорога шла под уклон, к мостку через невидимый ещё ручей, с обеих сторон бежали полосатые краснобелые столбики – крохотный уголок земли, по которому война прошлась безобидно, – а за обочиной выстроились коридором бежевые стволы тополей, и, наверное, в этот миг воображению майора Донского открывался коридор Ставки, по которому он проходил с генералом, – вот, как сидел, позади и левее. Тот коридор был широк и сумрачен, с высокими сводами и весь выстлан ковровой дорожкой, в которой тонул тяжкий переступ генеральских сапог, только чуть позвякивали шпоры. Ноги адъютанта, упиравшиеся в железный вибрирующий пол «виллиса», явственно ощущали ворсистую мягкость той дорожки, трёхцветной, как флаг неведомой республики, и мысленно он проходил по ней дважды: сначала – как генерал, посередине, наклонив голову, чтобы уж поэтому не кланяться знакомым встречным, а лишь бровями обозначать приветствие, – именно так ничего не ронялось из достоинства и покоряющей красоты, которой, что ни говори, исполнено

поверженное могущество. А затем проходил и сам, шаг в шаг с генералом, не отдаляясь, чтоб это не выглядело отмежеванием. Ведь коридор полон глаз, офицеры из отделов и управлений показываются в бесчисленных дверях или пробегают мимо, прижав локтем папку с докладом. Не взглянуть на майора Донского они, естественно, не могут, и как же сильно они ему завидуют — его усталой, но и чёткой походке, его полинялой гимнастёрке с неяркими полевыми погонами, его утомлённым, но и спокойным глазам, повидавшим всё то, о чём они только вычитывают из сводок. Больше, пожалуй, и не нужно поводов для зависти — никаких орденов, ни даже колодок, только гвардейский знак, — но это ведь и не личная награда. Как-никак его судьба теперь зависит от них — штабных, тыловых, завидующих.

В приёмной, обшитой дубовыми панелями и светло-зелёным линкрустом, вставал им навстречу величественный дежурный — не ниже полковника, — принимал от них личное оружие и сопроводительные документы, после чего генерал усаживался ждать в кресло, отворотясь к окну, адъютант же, которому здесь уже незачем было находиться, понятными жестами показывал дежурному, что отлучается в курилку, а тот кивал в ответ, что вызовет при надобности.

В тот же час, когда за двойными дверьми *того* кабинета решалась судьба генерала, решалась и адъютантская — в просторной бело-кафельной курилке, где, надо полагать, стильные полумягкие стулья вдоль стен и никелированные, на подставках, пепельницы — и ещё одна общая, малахитовая, на огромном низком столе чёрного дерева, — и где совершенно не пахнет ни табачным дымом, ни близрасположенным сортиром и ровно гудит приточно-вытяжная вентиляция, не мешающая двоим-троим говорить вполголоса и так, что не обязательно слышно остальным. К этому часу следовало приготовить слова рассеянно-доброжелательные, улыбку сожалеющую и слегка ироничную, весь облик верного, исполнительного и знающего себе цену офицера для поручений, переживающего за ошибки начальства, но не так уж согласного за них отвечать своей карьерой. Не начинать разговора самому, ни о чём не спрашивать, но скромно войти, всем кивнуть глубоко и сесть отдельно или стать у окна — и не может быть, чтоб не заметили, не завязали бы разговора с милым застенчивым фронтовиком, выуживаю-

щим пожелтевшими заскорузлыми пальцами папироску из самодельного портсигара, на котором что-то интересное выколото сапожным шилом, а именно — скрещение штыка и пропеллера, перевитое гвардейской лентой, с надписью: «Давай закурим, товарищ, по одной!» — и пониже: «Будем в Берлине, Андрюша!» С портсигара только начать и тут же его упрятать смущённо — баловство, плод окопного безделья. И чутким ухом ловить вопросы, из них-то и выуживая недостающие сведения насчёт генерала, намёками, полувопросами дать понять, что готов принять братскую руку помощи, кто протянет её — не пожалеет. Чего в принципе хотелось бы? Самостоятельности. Быть кем-то, а не при ком-то, осточертел этот горький хлеб. Конечно, остаться *здесь* он и не мечтает, хотя за ним кое-какой оперативный опыт, и если б взялись его поднатаскать... но нет, мечтать не приходится, скорее мечтал бы — *стать на бригаду,* не обижен был бы и полком. Чертовски трудна задача — и всего час на неё, на переустройство всей жизни. Когда вызовет дежурный и узнается наконец, что́ там решено с генералом, поздно будет что бы то ни было переигрывать, придётся покориться решению, принятому без тебя.

Длинным ногам адъютанта было тесно за спинкой водительского сиденья, приходилось колени скашивать к борту, и левое, упёршееся во влажный брезент, сильно холодило; казалось, слякоть просачивается сквозь галифе, и от этого, вместе с брезгливостью к себе, возникала обида на генерала — за то, что в своём грехе или в своей ошибке не принимал в расчёт участь его, майора Донского, всегда вынужденного примащиваться обочь и позади генеральского кресла. Жгла в который раз досада, что засиделся на этом месте, засиделся в майорах, когда надо *делать свою игру.* Вспомнилось, кстати, как обошёл его генерал наградою за форсирование Десны — и как ещё обидно обошёл! Он передал с Донским личные инструкции командиру батальона, оборонявшегося на плацдарме; инструкции эти нельзя было доверить рации и передать по проводу, который ещё не протянули, но и везти их самому тоже не было надобности, хватало сообщить их любому расторопному офицеру, переправлявшемуся на тот берег; Донской, однако ж, их никому не доверил, а переправился сам на плоту, под чувствительным обстрелом, и втолковывал их батальонному, вконец замороченному и полуоглохшему, покуда тот их связно не повторил. Потом, в тихой прохладной

избе, он рассказывал генералу, с лёгким юмором и не выделяя себя, каких мучений стоило несчастному батальонному стоять перед ним в полный рост в неглубоком окопе, не моргая от близких разрывов и не втягивая голову в плечи. Генерал, сидевший в галифе со спущенными подтяжками и в нижней белой рубахе, слушал насупясь, отхлёбывая молоко из крынки и шевеля пальцами босых ног, потом вдруг сказал: «Значит, говоришь, он кланяется? – хотя Донской говорил как раз обратное. – А надо его к Герою представить, тогда кланяться не посмеет. Ты мне напомни завтра – в список его вставить». Получилось, рассказом о *своих* действиях Донской выхлопотал награду другому и ещё обязан был про это напоминать; ему же, главному действующему лицу в рассказе, отвели его всегдашнее второе место. Однако то был лишь первый укол: напоминать пришлось не однажды, а чуть не десять раз – генерал всё отмахивался: «Не до него сейчас, завтра напомнишь». В конце концов это надоело Донскому, и он сам позвонил в политотдел, чтоб не обошли там этого батальонного. Ему ответили, что список уже дней пять как ушёл в политуправление фронта и капитан Сафонов там есть, вставлен самим командующим. Донской только и нашёлся пролепетать: «Это я и хотел проверить», – и всего обиднее было теперь вспоминать этот лепет.

Из тёмного своего угла он с неприязнью разглядывал мощный затылок генерала, с краснотою от воротника, и по привычке мысленно сажал на его место себя. Побывав в его естестве, адъютант несколько смягчался, поскольку приходил к выводу, для себя лестному, что сам он в подобной ситуации держался бы много лучше. Ну хоть не сидел бы всю дорогу нахохленной вороной, подумал бы о том, каким его запомнят спутники – на всю жизнь. Зачем-то же в старой армии гвардейские офицеры брились перед тем, как застрелиться, распивали перед дуэлью шампанское...

То было маленькой тайной адъютанта – ставить себя в положение генерала, пребывать в его сущности, как судно с погашенными огнями пребывает в чужих территориальных водах. Притом он генерала не копировал, не подражал его интонациям и жестам, это было бы примитивно, да и смешно: генерал был высок, но грузен, адъютант же отличался «типично английскими» долговязостью и сутулостью; лицо генерала было –

откормленного кота, с фатовскими усиками ниточкой по всей губе, глаза — буркалы, не поймёшь даже, какого цвета, адъютант же гордился своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка», глазами. По «внешним данным» он себе ставил плюсы, а генералу минусы, хотя и признавал за ним «очаровательную кабанью грацию с известной долей импозантности», а в поведении отмечал «обаятельную солдатскую непосредственность, временами переходящую в хамство». Он старался понять, так ли уж сложно быть тем, кому предназначено повелевать, и почему бы и ему не принадлежать к этой категории. Возраст был ни при чём, в его летах — слегка за тридцать — командовали полками, а то и дивизиями; стало быть, находились в генеральской должности. Да оно и выходило в девяти случаях из десяти, что он, Донской, поступил бы выигрышней генерала, сказал бы умнее, тоньше, выглядел бы привлекательнее. Наверно, и в последней ситуации, кончившейся отъездом из армии и о которой Донской был, правда, недостаточно осведомлён, он, пожалуй, не сплоховал бы, не дал бы легко свалить себя, превратить, по сути, в ничто. То есть генерал оставался ещё при своих звёздах и со свитой, но, в сущности, что он был теперь? «Восемь пудов чистого негодования и обиды», не более того.

Теперь, пожалуй, можно было подбить итоги, что адъютант и делал, в мыслях обращаясь к генералу на «ты». Честно сказать, жаль мне с тобой расставаться: со скрипом, но приспособился я к тебе. Гонял ты меня побожески, с другим побольше было бы гону... но ведь побольше и славы! Ты и сам звёзд не нахватал, и мне на грудь — одни «разновесы», а мог бы за ту же Десну и к золоту представить, всё-таки — плацдарм, там время по-другому течёт, за один час трое суток следует засчитывать. И при этом ещё глазом не моргни, в позвоночнике не согнись, ведь тобою послан, тебя представлял. Сам теперь испытываешь, каково это, когда заслуг не отмечают. Это тебе наука — вперёд цени людей по достоинству. Но я не держу обиды. Я своего стиля не меняю. А стиль у меня — невозмутимость и скромность. Это надо ценить особо, эту незаметность *замечать* надо. И, между прочим, посторонний человек, майор Светлооков из «Смерша», тот заметил: «Хорошо держишься, Донской, скром-

но. Но надо, чтоб от твоей скромности пар валил – и прямо Фотию в глаза». Всё же он тонкий человек, Светлооков, и наблюдательности не лишён, хотя, разумеется, дубина. Пар – это как раз для него, а настоящий аристократизм – о, это совсем другое!..

Как ни мечталось майору Донскому *стать на бригаду*, однако же со своим адъютантством приходилось мириться и, стало быть, находить в нём свой особый смысл. Среди немногих книг, которые он таскал в чемодане по своим фронтовым путям, были неполные «Война и мир», и то обстоятельство, что адъютант командующего был чуть не главным героем эпопеи и его любила чуть не главная героиня, определённо вселяло гордость. Из своего века князь Андрей Николаевич Болконский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу Донскому и одобрительно похлопывал по плечу. Что князь Андрей был небольшого роста и слабый, это Донской заносил ему в минус, а себе в плюс, по «усталому скучающему виду» и по «тихому мерному шагу» их достижения уже примерно сравнялись, но вот своим чертовским умением «по привычке переходить на французский» князь его оставлял далеко позади, хотя Донской себя оправдывал, что воюет не с французами, а с немцами. Оно, правда, и на немецкий «перейти по привычке» не выходило, но кое-что другое уже удавалось у князя при случае перенять: его манеру говорить с женщинами «с своим нежным и вместе высокомерным видом», а с мужчинами – «с спокойной властию в голосе» и вот в особенности «презрительно сощурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать)». Не сказать, чтобы со стилем всегда выходило гладко, всё-таки князь Андрей умел здорово его варьировать: с одними «морщить лицо в гримасу, выражающую досаду», других «ласково притягивать за рукав, чтобы тот не вставал»; у Донского это либо выходило невпопад, либо он отступал от стиля по забывчивости и в спешке, и весь эффект не то что пропадал, а был прямо противоположный. К примеру, хотелось ему перенять у князя его частенько упоминавшийся «неприятный смех», как бы это сгодилось при случае! Но, сколько он этот смех ни культивировал, а выходило либо наоборот, даже ещё приятнее, и собеседники умилялись и расплывались ответными улыбками, либо

уж так фальшиво, что взглядывали с опаской — не рехнулся ли. И вообще, обнаруживалось, к удивлению Донского, скорее печальному, что и война эта, и люди на войне были не совсем те, что в 1812-м.

Взять того же майора Светлоокова, который с некоторых пор занимал его мысли даже посильнее кутузовского адъютанта. Вот кто загадкою был для Донского — хотя бы странным своим воздействием на генерала, да и всей своей непостижимо стремительной карьерой. Донской его знавал старшим лейтенантом, командиром батареи тяжёлых гаубиц — должность как бы с трагическим ореолом, почти во всей ствольной артиллерии, бьющей с закрытых позиций, офицеры гибнут чаще солдат, поскольку свои НП* выдвигают обычно вплотную к противнику, в особенно же героических эффектных случаях вызывают огонь на себя. Со Светлооковым такого красивого случая не произошло, но корректировщик он был грамотный, славился быстрым счётом и изобретательностью. Как-то, застряв на передовой, Донской у него заночевал в крохотной землянке, вмещавшей лишь односпальные нары и столик; Светлооков был донельзя прост, мил, гостеприимен, выложил все свои припасы и выставил полфляжки водки-сырца, читал, приятно смущаясь, стихи собственного изготовления, говорил задушевно и романтично — о том, что никогда ещё не жил такой наполненной жизнью, как в этой собачьей конуре, в ста шагах от немецких позиций, что у него со своими батарейцами, помимо телефонной связи, связь братская и как бы сверхчувственная. При таких обстоятельствах горючего не хватило, и Светлооков сбегал к старшине стрелковой роты и вернулся ещё с полфляжкою, к некоторому даже удивлению Донского: на передовой, да посреди ночи, водки очень не всякому отольют; Светлооков, как видно, был здесь свой и любим. В том, как он вёл себя, не чувствовалось ни фанаберии бывалого окопника, ни заискивания перед чинами, Донской для него был не адъютант командующего, а желанный терпеливый слушатель, к тому же *разбирающийся в литературе*. Спать улеглись под утро, при этом хозяин уступил свои нары гостю почти насильно, а сам улёгся на полу, головою под столик, говоря, что так ему даже лучше: для головы — не лишняя защита.

---

* Наблюдательные пункты.

Этой весной, когда стали организовываться в армиях отделы «Смерша», брали туда, кроме прежних особистов, и некоторых боевых офицеров с наградами. Желающих не много нашлось, большинство уклонилось; не уклонился, для всех неожиданно, старший лейтенант Светлооков. С братьями-батарейцами, заодно и с полной жизнью в собачьей конуре, он расстался без грусти и боли, одним объяснив, что «надо же и отдохнуть от грохота», другим — что «надо ж расти, тут, глядишь, через пару месяцев в капитаны выйдешь», а третьим — совсем коротко: «Родина велит». Месяца через два-три и правда он возвысился в звании, даже, сверх ожидания, перескочив капитана; новые начальники провели его в старшие же лейтенанты госбезопасности, а это уже соответствовало армейскому майору. Впрочем, настоящее его звание было как-то расплывчато: в малопонятных конспиративных целях, а скорее из чистого шерлокхолмства, он появлялся то в форме сапёрного капитана, то лейтенанта-лётчика, но чаще — всё же майора-артиллериста.

Оставшись таким же простым, шутливым, он претерпел, однако, быстрые изменения. Как-то невозможно стало Донскому поверить, что это он некогда бегал за водкой и спать укладывался на полу, а нары предоставлял гостю. Не пополнев, он как-то больше места занимал теперь в пространстве — ноги ли разбрасывал пошире, локти ли раздвигал, но с ним стало не разойтись в дверях — прежде легко расходились. Ещё и прутик его неизменный потребовал своего пространства, которое он со свистом иссекал замысловатыми траекториями. Со стихами тоже пошло успешно: уже так мило не смущаясь, он ими заваливал армейскую газетку «За счастье Родины», а как набралась солидная подборка, послал её на отзыв Илье Эренбургу и получил определённое «добро», вкупе с советами учиться побольше у классиков — Пушкина, Некрасова. После этого в газетке даже отдельную рубрику завели — «Поэтическая страничка Ник. Светлоокова», — и он говорил, ухмыляясь, не совсем в шутку:

— А придётся ещё Светлову другой псевдоним искать, а то путать начнут.

Перед праздничными днями и в особо ответственных случаях газетку приносили на подпись к генералу. Тогда же являлся без вызова автор поэтической рубрики и с нетерпением ждал, когда генеральский красно-синий

карандаш дойдёт до его «Казачьей лирической» и отметит наиболее ударные строки:

Мы идём, любимая, в беспощадный бой,
Чтобы в дни победные встретиться с тобой.
С этой думкой радостной седлаю я коня.
Милая, хорошая, не забудь меня!

— По линии рифмы, — говорил генерал, — претензий не имею. Но я что-то не понял, товарищ Светлооков, вы в этот самый... беспощадный-то бой — пешим ходите или конным? Потом — вот они уже идут, а вы ещё только седлаете...

Майор Светлооков красиво зарумянивался, весь его крутой выпуклый лоб вспыхивал и озарялся до корней белесых волос.

— Неудачный эпитет, товарищ командующий? Можно заменить.

У него в стихах каждое слово было «эпитет», а генерал, по-видимому, не знал, что это значит. Он вздыхал и подписывал номер.

И всё же что-то странное, на взгляд Донского, установилось меж этими двумя. Наверное, генерал, хозяин армии, мог бы со Светлооковым выбрать и другой тон, кроме насмешливой, но безобидной пикировки, однако он неуловимо пасовал перед вчерашним старшим лейтенантом, а тот неуловимо, всё раздвигая локти, осваивал новые пространства. Никто не знал точно границ его власти; должность его была — «уполномоченный контрразведки при управлении армии», но что значило это — наблюдает ли он за людьми штаба? или выше того — контролирует штабную работу? Передвигался он вместе со штабом, вытребывая из его помещений для себя и своих сейфов отдельное и с надёжными замками. Стал являться и на Военный совет — задавал обыкновенно два-три вопроса: сначала по своей, артиллерийской, части, попозже — с накоплением оперативных познаний — и о том, как увязано взаимодействие с поддерживающей авиацией и не слишком ли при таком-то продвижении оголятся фланги. Тут же присутствовавший начальник армейского «Смерша», полковник, не пресекал его любопытства: может быть, гордился такой дотошностью своего подчинённого, а могло быть, что подчинённый обрёл над своим начальником некую тайную власть. Светлоокову терпеливо отвечали, не

глядя в его сторону, что с авиацией увязано так-то и о флангах тоже побеспокоились, никогда не отвечал – сам командующий, но неизменно заканчивал совещание шуткой: «У товарища Светлоокова нет вопросов? Тогда – всем ясно». Но – как ни смешно было предположить – не от него ли сбежал генерал в разбитый вокзальчик на Спасо-Песковцах, чтоб вызывать к себе нужных ему людей, а у майора Светлоокова не было бы частой причины туда являться?

С ощущением, будто задел едва зажившую болячку, Донской вспоминал давнишний, ранним летом, бой под Обоянью, когда впервые встретился с другим Светлооковым, не тем, с каким пили водку и говорили о стихах. Сложилась обычная ситуация, когда неясно, кто кого окружает. «Съезди-ка выясни, – велел генерал, – кто там кого за причинное место ухватил», – выяснилось, что ухватили наши, но немцы этого не поняли и пытались зайти в тыл нашему вклинившемуся полку, отчего только углубились безнадёжнее в клещи охвата. Связь восстановилась ещё до прибытия Донского, и генералу уже обо всём доложили, Донского же кто-то позвал поглядеть на пленных...

Не было нужды адъютанту командующего идти в ту заповедную страшную зону, на неубранное поле, с ещё краснеющими не впитавшимися лужицами, где бродили пожилые дядьки из трофейно-похоронной команды, легонько сапогами пиная лежащих. Всё же он туда направился – повинуясь ли общему возбуждению от успеха или рассчитывая увидеть важных чинов, интересных для генерала, – но не оказалось даже фельдфебеля, одни солдаты. Они стояли, тесно сгрудясь, человек восемь-десять, в окружении разгорячённых, но отчего-то примолкших победителей, не говоря им привычно-заученного «Гитлер капут», не говоря и между собою ни слова, и понуро смотрели себе под ноги, изредка поднимая злобно-затравленный взгляд исподлобья. Двоих мучили пулевые раны, однако они не стонали, а лишь, закрыв глаза, втягивали воздух сквозь стиснутые зубы. Никто не спешил им помочь, увести. При виде Донского пленные слегка оживились, взгляды сошлись на нём, на его погонах. Составив загодя подходящую немецкую фразу, он вдруг отчего-то понял, догадался, что она не понадобится, *эти немцы* его не поймут. Другие были у них лица, другие глаза, хоть на немецкий манер засучены рукава и расстёгнуты на груди мундиры.

Тот, кто позвал его, сыграл с ним невинную, но злую шутку, уготовил непредвиденное испытание. Он чувствовал тягучую, с каждой секундой всё более расслабляющую растерянность, не знал, что приказать, о чём спросить этих пленных, которые как будто ждали от него вопроса – со страхом, но и с какой-то надеждой. Машинальное движение военного – оправить под ремнём гимнастёрку – он продолжил другим движением, безотчётным и которого не ждал от себя: задвинуть пистолет подальше за спину, – и увидел, как застыли напряжённо их лица в начале этого жеста и расслабились – в конце. И от этого ещё больше он растерялся и не знал, что делать.

Тогда-то и подоспел на помощь к нему Светлооков – невесть откуда взявшийся, подходивший не торопясь, с улыбкой, похлопывая себя прутиком по сапогу.

– Что ж оружие побросали, земляки? – спросил он, улыбаясь ободряюще, простецки, но с лёгким упрёком. – С оружием надо было сдаваться, это бы вам зачлось. А так – и не поймёшь: может, у вас его из рук выбили. Тогда – не считается, что сдались добровольно...

Лёгкое движение, неясный говор прошли среди пленных и своих. Светлооков в тот день был чином капитан, но, должно быть, внушила большее впечатление его гимнастёрка американского жёлто-зелёного габардина, почему-то в нём признали старшего, все взгляды обратились к нему, к его весёлой улыбке.

– А может, вы его и в руках не держали, оружие? Обозниками служили? Или же переводчиками? – Никто соврать не решился или не успел понять, спасительней ли такой вариант, и сам же Светлооков его отверг. – Дурацкие вопросы задаю. Таких ребят в обозе держать, когда они столько своих перестрелять могут, – не-ет, это не дело!.. Так что, земляки, молчать будем? Такая встреча радостная – и молчим. Самое время поговорить... Смоленские среди вас есть?

Двое пленных подались к нему, вытолкнутые безумием надежды.

– Гляди, понимают. – Светлооков, как сообщнику, подмигнул Донскому. – А среди вас, герои? Нешто смоленских не найдётся?

Внимательно, испытующе он оглядывал лица своих, изгвазданные, в грязи, в копоти и в поту, с ярко блеставшими белками глаз, в которых ещё доцветали злоба и

азарт боя. Смоленские нашлись, и Светлооков их подбодряюще похлопал по плечам. Нашлись, с той и другой стороны, и калужские. Также и воронежские. Всё больше людей включалось в захватывающую и зловещую игру, и Донской не знал, как пресечь её, хоть и догадывался уже, к чему она приведёт.

— Что ж, поговорите, земляки с земляками, — сказал Светлооков и прутиком показал куда-то мимо Донского. — Во-он в тех кустиках...

Донской, чувствуя на своей щеке горящие взгляды пленных, повернул всё лицо к Светлоокову. И, понимая, как он сейчас бессилен, как нелеп и жалок, жгуче себя презирая, а всё же переступая, переступая онемевающими подошвами, повернулся к нему весь, так что пленные оказались за спиною.

— Куда торопишься? — спросил он хрипло. Во рту появились неодолимая сухость и какой-то медный вкус. — Их допросить нужно... назначить конвой...

— Так я же и назначил, — удивился Светлооков. — Ты разве не слышал?

— Я не это имел в виду...

— Ты только в виду имел, а я уже распорядился. А куда тороплюсь? Тороплюсь, покуда ребятки горячие, с боя не остыли.

Всё же у Донского ещё было время, коротких несколько секунд, и будь это немцы, он бы знал и что приказать, и как этого Светлоокова всё-таки поставить на место, а сейчас не знал и терял эти секунды. Кто-то там, за его спиной, рванулся бежать, послышались топот сапог и хрипение погони, борьбы, удары по телу и треск кустов, бессвязная мольба, замирающий стон, короткое безмолвие — и затем звенящий, убойный грохот винтовок. Ему казалось, вспышки тех выстрелов отражаются у него на лице — так внимательно, с любопытством, смотрел на него Светлооков.

— Там двое раненых, — сказал Донской с запоздалым слабым упрёком.

Светлооков, не переставая глядеть в глаза ему, кивнул согласно.

— Вылечат их. Уже вылечили.

Всё так же не оборачиваясь взглянуть, Донской лишь вытянулся во весь свой рост и, оказавшись выше Светлоокова на полголовы, слабым подёргиванием плеч выказал ему всё презрение, какое чувствовал к себе. И медленно побрёл прочь.

Весь день была давящая тяжесть на душе, суетливо подрагивали руки, не хотелось есть, не хотелось даже курить. И не хватало духу пожаловаться генералу на Светлоокова, который преступно превысил свою власть, да ещё так демонстративно, в присутствии адъютанта командующего. За подобную жалобу однажды уже досталось — самому Донскому. «Что ты мне жалуешься? — мгновенно рассвирепев, закричал генерал. — У тебя на поясе пистолет болтается или хрен запасной? Вооружённый мужчина жалуется! Чтоб я этого от тебя не слышал». К вечеру, однако, вернулась способность докладывать сухо, деловито и как бы между прочим, не выказывая личного отношения. То, как воспринял его доклад генерал, несказанно удивило Донского. Он слушал насупясь, но не перебивая, лишь несколько раз в продолжение рассказа взглянул на Донского почти умоляюще, как бы прося его не продолжать. Затем встал и заходил по комнате, странно ссутулясь и заложив руки назад, как полагается арестованному ходить под конвоем.

— Видишь ли, в чём дело, Донской, — сказал он после долгого молчания. — Они, как бы сказать... не пленные. Конечно, нехорошо это — в смысле воспитательном, для солдат. Но для них, пожалуй, лучше так. Чем ещё суток десять трибунала ждать, да потом вся эта церемония... По мне — так лучше сразу...

Донской, обретя уверенность, осмелясь возражать, заговорил пространно, красиво и с задушевным пафосом — о том, что эти бессудные расправы, о которых он слышал доселе из чужих рассказов, а вот сегодня оказался свидетелем, расправы эти не только порочны в смысле воспитательном, но прежде всего не достигают цели, даже производят обратное действие. Предателей, перебежчиков нужно судить открыто, показательным судом, чтобы все видели, в чём их вина перед родиной и как глубоко падение. Но солдат-фронтовиков втягивать в исполнение, чтобы они участвовали в казнях, — ведь это не укрепляет, а разрушает психику. Улягутся в их солдатской памяти и штыковые бои, с распоротыми животами, с проломленными черепами, простится себе и тот раненый, которого ты всмерть добивал сапёрной лопаткой или каской, — то было в бою, не ты его, так он тебя, — но никогда не простится, не забудется бессильная жертва, схваченная за локти, чтобы ты мог спокойно взвести затвор, а прежде разбить ему

губы в кровь или, сняв ремень, свободно замахиваясь, пряжкой крест-накрест располосовать лицо. Это не покинет тебя ни в снах, ни во хмелю и до конца жизни будет маячить перед глазами. Озверевший садист может всего этого не предвидеть, или ему наплевать на последствия, но те, кому власть дана...

— Не дана, — глухо откликнулся генерал. И Донскому даже показалось, что он ослышался. Генерал уже не ходил по комнате, а смотрел, не отрываясь, в окно. — И ты вот что, братец... мне обо всём этом докладывать необязательно.

Донской умолк и более никогда об этом не докладывал. И с этого дня явственно зазвучали в нём слова, обращённые к генералу: «И ты такой же», — что-то не слишком определённое, в чём были и понимание, и сочувствие, и лёгкая насмешка, и оправдание себя самого. Увы, есть такого рода страх, которому все подвержены без исключения, и даже — вооружённые мужчины.

А страх такого рода, посетивший его самого, вовсе не труса, всё не выветривался. В столовой Военного совета он не мог заставить себя сесть рядом со Светлооковым, лишь украдкой, с неприятным чувством, поглядывал издали на его руки, точно бы это они держали тогда оружие, когда говорилось с ясной улыбкой: «Смоленские среди вас есть?..»

Но вот, несколько дней назад, Светлооков неожиданно оказался против него за столом и сказал вполголоса, глядя прямо в глаза:

— Охота мне, майор, с тобой посплетничать.

— Здесь? — почему-то спросил Донской, едва не поперхнувшись.

— Можно и здесь. Было время, мы стихи читали и водку до утра кушали. Но лучше в другом месте.

Странным показалось, что для «сплетен» он назначил свидание в леске, неподалёку от штаба, хотя мог бы, кажется, к себе пригласить, коли так дороги были ему воспоминания. И ещё неприятно покоробила эта его уверенность, что Донской придёт, куда ему укажут. В довершение всего он ещё выговорил Донскому, когда тот с намеренным опозданием явился к поваленной сосне:

— Опаздываешь, адъютант. Это не годится. От бабы, что ли, никак оторваться не мог?

Для таких случаев князь-Андреева наука предусматривала, как отбросить это прилипчивое «ты», переменить навязываемый тон, — для этого следовало состроить на лице

выражение, которое Донской мог бы сформулировать наизусть: «Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, коли вы не будете иметь достаточно уважения к самому себе, но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны».

— Простите, — сказал Донской с таким именно выражением, ещё усиленным холодностью тона, — как вас по имени-отчеству? Не имел до сих пор чести...

— Николай Васильич. Как Гоголя, — ответил Светлооков готовно, не оценив этой холодности. — Садись, потолкуем.

Донской, однако, остался на ногах и то прохаживался, то останавливался против Светлоокова, не сняв фуражки, как сделал он, и не расстегнув воротника.

— Ты чего-нибудь понимаешь, Донской, что происходит?

— Что вы имеете в виду? — Донской всё же не оставил усилий вернуться к допустимому «вы». — И где именно «происходит», как вы изволили выразиться?

— Ты чо это ершишься? — спросил Светлооков весело. — Вот, будем мерихлюндии разводить. «Не имею чести», «изволите». Кстати, можешь меня на «ты», мы вроде одногодки и в чинах одних. — Он вынул из кармана перочинный ножик и огляделся по сторонам. — Нагни-ка мне веточку.

— Какую веточку?

— Какая тебе понравится.

Донской, подёрнув плечами, пригнул ему вершинку молодого вяза. Светлооков ловко отхватил её и стал выделывать прутик, срезая боковые побеги.

— Я понять не могу, какой у него следующий шаг, у Фотия. Ну, повезло ему с плацдармом, это все признают, а дальше что? Есть у него в голове план или же торричеллиева пустота?

— Я попросил бы!.. — сказал Донской, вытягиваясь. — Я попросил бы вас о командующем...

— Брось, — перебил Светлооков. — Тут тебя не слышат. Намерен он этот Мырятин брать или ему сразу Предславль подавай?

— Всё возможно. Командующий наш — человек масштабный.

— Чепуха, — отрезал Светлооков. — Кто о Предславле не мечтает, не клянчит у Ватутина*, чтоб позволили взять?

* Генерал армии Н.Ф.Ватутин — в описываемое время командующий 1-м Украинским фронтом.

И масштабные, и не масштабные – все хотят и все могут. А только подавиться можно, хапнешь горяченького – а не проглотишь. Силёнок-то у Фотия и на Мырятин не хватает, так ведь получается объективно? Считай, три недели армия топчется возле вшивого городишки.

– Простите, – Донской опять подёрнул плечами, – не предполагал, что и вопросы оперативные вас так живо интересуют.

– Меня всё интересует. Потому тебя и позвал.

– Но вам, насколько я знаю, по роду деятельности доступны оперативные документы, даже совершенно секретные.

– Это когда они есть, документы. А когда их нету, ещё не составлены? Как тогда?

– Что же может знать адъютант? Спросили бы у начальника штаба.

– Спрашивал. Начштаба он игнорирует, Фотий. Или же они в сговоре. А только ни хрена от начштаба путём не добьёшься. Может и так быть, что Фотий его заранее не посвящает. А кого он вообще посвящает? Ты ж помнишь, чего он тогда, накануне переправы, с танками учудил. Переполох устроил во фронтовом масштабе: сутки никто не знал – ни в армии, ни в штабе фронта, – куда танковая колонна делась, шестьдесят четыре машины! Один он знал, да распорядиться не мог. Во даёт! Собственные танки у себя, можно сказать, украл, только бы другим не достались. – Он поглядел искоса, снизу вверх, на Донского и быстро спросил: – А ты тогда – знал про эти танки, куда он их погнал?

– Ну, предположим...

– Знал всё-таки?

– Простите, – сказал Донской, не отвечая на вопрос, – а что, у нас, в Тридцать восьмой армии*, секретность подготовки отменена?

– Секреты секретами, а если б что случилось? В одном «виллисе» ездите, всех поубивало – с кого тогда за танки спросить?

– Насколько я в курсе, вопрос был заранее согласован с командованием фронта.

– А насколько я в курсе, Ватутин перед представителем Ставки оплошал. На вопрос, где танки Тридцать

* Номера частей, соединений, объединений (38-я армия и т. п.) – конечно же, условность.

восьмой армии, ответить не мог. То же и Хрущёв* — ни бэ, ни мэ.

— Что ж, бывают у командующего и странности.

— Дурь наблюдается, одним словом?

— Ну, если вам угодно применить такой термин...

— Дурь — это хорошо, — перебил Светлооков. Он говорил: «храшо-о». — Дурь, она способствует украшению генеральского звания. — Донской подумал, что этот афоризм, пожалуй, следует прихватить в свою коллекцию *метких фраз.* — Только что у него ещё имеется, кроме дури?

— Знаете, не могу поддерживать в таком тоне...

— Брось! — сказал Светлооков, хлестнув себя прутиком по сапогу, отчего Донской слегка вздрогнул и выпрямился. — Ещё раз говорю — брось. Ты же не попка, не чурка с глазами. И знаешь прекрасно, что и командармы вашим умом живут — штабистов, оперативников, адъютантов. Да, и адъютантов. Нет-нет да подскажете ему чего-нибудь путное. Да ещё внушите, что он это сам придумал, иначе же он из ваших рук не возьмёт.

Майор Донской, по правде, не припомнил бы случая, когда бы он что-то подсказал генералу, но услышать это было лестно. И всё же если не здравый смысл и его положение офицера для поручений, то по крайней мере хороший стиль требовал возразить.

— И вы не делаете исключения для генерала Ко́брисова?

Светлооков посмотрел на него с простодушным удивлением в голубых глазах.

— А почему это для него исключение? Имеются и погромче командармы. Ты присядь-ка, — он похлопал ладонью по стволу, на котором сидел, и Донской, к удивлению своему, подчинился. — Что у тебя за преклонение такое? Да в твоём возрасте, при твоих данных, другие бригадами командуют. А то и дивизиями.

— Умишком, значит, не вышел.

— Умишка тут много не требуется. А просто мямля ты. И тем, кто тебе мог бы помочь, сам руку не протянешь. Ты хорошо держишься, майор, скромно. Но нужно, чтоб от твоей скромности пар валил. И прямо Фотию в глаза. Тогда он тебя оценит. А может, и нет... Я-то вот — безусловно тебя оценил.

---

* Генерал-лейтенант Н.С.Хрущёв — Первый член Военного совета этого фронта.

Сердце Донского ощутимо дрогнуло. Было приятно узнать, что за ним наблюдали пристально и так неназойливо, что он этого не замечал, и однако ж, не замечая, совершенно естественно, произвёл выгодное впечатление. Он понемногу оттаивал и проникался расположением к той силе, которую представлял новый Светлооков, к неожиданной её проницательности, и вместе с тем испытывал некую почтительную робость перед ним самим, — которую, впрочем, все снобы испытывают перед людьми тайной службы.

— Вы сказали — «руку протянуть». Что это значит? Мы как будто и так делаем общее дело...

Светлооков опять хлестнул по сапогу — точно с досады.

— Всё ты из себя непонятливого строишь. Ты же умный мужик.

— Предпочёл бы всё-таки, чтоб было чётко сказано...

— Скажу. — Светлооков закрыл глаза, как бы в раздумье, и, широко открыв их, весело огляделся по сторонам. — Природа хороша тут, верно? Нам бы любоваться — может, последняя в жизни. А мы тут чёрт-те чем занимаемся, интригами... А ты вправду не знаешь, что он там решил насчёт Мырятина? Брать его или обойти?

— Не знаю.

— Ни слова при тебе не говорил?

— Не говорил.

— Верю. И вообще знай — *мы тебе верим.* Ну, если скажет что про Мырятин — я про это должен знать. Сразу. Буквально через час.

Донской выпрямил стан и сделал строгое лицо. Ему показалось, что он уступает слишком рано — и оставленная позиция уже почти невозвратима.

— Вы понимаете, что вы мне предлагаете?

— Я-то понимаю, — сказал Светлооков, — ты пойми. Мы Кобрисова терпим, всё же у него заслуги имеются. Может, я тут кой-чего зря про него, надо быть объективным. Он и заместителем командующего фронтом был, и он же армию формировал, это нельзя не учитывать. Но боимся, дров он наломает. Надо за ним послеживать неусыпно. Понимаешь? Предупреждать нежелательные решения. Ватутин не всегда знает, что у Фотия на уме, куда его завтра занесёт. Он одно говорит, а делает другое. Он этим славится. Тут одна тонкость имеется... не знаю, известно тебе или нет. Он же из этих... ну, репрессированных.

Донской, со строгим лицом, важно кивнул.

— Знаю, — сказал он. Хотя услышал впервые. Однако он и не врал, в нём явственно прозвучало: «Ах, вот оно что!», словно бы подтвердились его догадки, и всё наконец стало на свои места. — Но ему же как будто простили?

— А чего там прощать было? Ни за что попал. Да я не в том смысле, что ему не доверяют. Кто б его тогда на армию поставил? Но он-то себя обиженным считает, ему реванш нужен, реванш! Беда с этими репрессированными. Уже сказали ему: «Ошиблись, ступай домой», — нет, он вокруг себя сто раз перевернётся, чтоб всем доказать, кто он и что. Почему он на Предславль и нацелился: Мырятин — это шестёрка, это его не устроит, а там — туз козырный, как минимум две звезды — и на погон, и на грудь. А вдуматься — это же карьеризм чистый, надо же прежде всего о людях думать, о потерях. Одной дури и желания непомерного мало, ещё талант нужен. И учёт сил. Силами одной армии Предславль же не взять. Значит, надо координироваться с соседями. А он всё хочет единолично. Не получится это — одному банк сорвать!.. Моя бы власть, я б таким командования не доверял. С кем один раз ошиблись — тот для нас уже пропащий. Но — где-то повыше нас думали. И вот приходится нам возиться. Поэтому и прошу тебя — помоги нам. Давай уж вместе как-нибудь...

— Как я понимаю, — сказал Донской, сочтя уместным сделать шажок к оставленной позиции, — одних ваших сил недостаточно?

Светлооков покосился на него с насмешливым одобрением.

— Ну, не управимся без тебя. Это хочешь услышать? Молодец, майор, научился цену себе набивать.

Донской обошёл эту похвалу, не подобрав её.

— Могу я знать, кто такие «мы»? Это ваш «Смерш» или что-то другое?

— Одного «Смерша» мало тебе?

— Я только уточняю.

— А стоит ли уточнять? Чем дальше в лес — дорожка назад труднее.

Легко читаемую угрозу Донской пропустил; предприятие уже захватывало его, и голова кружилась не от страха — от возникающих перспектив.

— Бутылка вскрыта, — сказал он игриво, — надо пить вино.

— Это пожалста, — сказал Светлооков добродушно. — Хозяин — барин. «Мы» кто, хотел знать? Штаб фронта, ежели угодно. Некоторые представители Ставки. Такие, брат, инстанции, что вся твоя биография может круто перемениться. — И тут же быстро нахмурился. — Теперь понимаешь, что разговор у нас — смертельно секретный? Вот про этот лесок ни одна собака знать не должна. Ни шофёр Фотия, ни ординарец чтоб не почуяли. У них, ты это учти, носы по ветру стоят.

Он передвинул на колени планшетку, и у Донского заныло под ложечкой — от предчувствия, что ему сейчас будет предложено дать подписку и вряд ли он сумеет выкрутиться элегантно, не осердив Светлоокова отказом.

Донской кашлянул и сказал пересыхающим ртом:

— Понимаю, всё сказанное оглашению не подлежит. Меня об этом даже предупреждать не надо.

Светлооков, разворачивая планшетку, усмехнулся едва заметно.

— Знаю, тебя не надо. Всё торопишься, майор... Я тебе чистую карту приготовил, держи у себя в сумке. В случае чего — съешь. Здесь будешь отмечать все его задумки. Именно все. Он стрелу нарисует, после зачеркнёт — ты тоже нарисуй и зачеркни. И таким же цветом. Карандаши есть?

— Попрошу в штабе.

— Вот это не надо. Эх ты, стратег... На, держи. Всё понял? Ходить ко мне, звонить — не надо. В столовой не садись рядом. Я сам назначу, где встретиться. Мог бы я тебе дать явочного человека — для экстренных сообщений. Но мы этой детективщины избежим, будешь только со мной дело иметь. Потому что тут всё важно, мелочей в нашем деле нет.

Пряча карту — торопливыми и неловкими движениями, — Донской неуклюже пошутил:

— Теперь буду знать, как становятся агентами.

Светлооков, внимательно и хмуро наблюдавший, как он застёгивает сумку, сказал сухо:

— Успокойся, ты ещё не агент. До этого много воды утечёт.

— И только тогда, — спросил Донской в том же своём тоне, — последует награда?

4 — 3572

Светлооков резко поднялся и зашвырнул свой прутик в кусты.

— Пошли. Вот что я скажу тебе, Донской. Ничего конкретно я тебе не обещал. Мы этого не делаем. Это не значит, что мы заслуг не отмечаем. Но вот чего мы не любим — это когда с нами торгуются.

Было похоже, как если бы смазали небрежно по лицу — вялой, потной ладонью. Донской даже ощутил очертания этой ладони, загоревшиеся неудержимым румянцем.

Светлооков, шедший впереди, вдруг остановился и, взяв его за портупею, приблизил к нему враз переменившееся лицо с простодушно вылупленными глазами.

— Слушай, Донской. Ты у нас образованный, вон книжки в сумке таскаешь. Может быть, умеешь странные явления объяснять. Вот сны, например. Погоди плечами вертеть, выслушай. Значит, такой сюжет — всю ночку я с бабой барахтаюсь. Не то что она мне не уступает, а — вроде увертюры, удовольствие оттягивает. Потом же, ты ж знаешь, только лучше от этого. И, значит, только-только я позицией овладеваю, ещё не овладел, но к первой линии определённо пробился, все заграждения преодолел — и надо же! Оказывается, не баба это, а мужик! Что за плешь?

Молча, отупело Донской смотрел в эти простодушные изумлённые глаза, где в самой глубине, в расширившихся зрачках, таилось что-то больное, зверино тоскливое.

— Не объяснишь мне? — спросил Светлооков печально. — К чему бы это, а?

Донской, выпрямившись, приняв надменный вид, ответил брезгливо:

— Н-не знаю...

— Жалко! — Светлооков ещё подержался за его портупею, поцокал языком и вздохнул. — Ну, тогда разойдёмся. Счастливо! И кто ж мне это всё объяснит?

Говорилось ли это всерьёз или в шутку, но ощущение потной ладони на щеке не проходило, только ещё усилилось. «Чёрт бы тебя побрал, с дурацкими откровениями!» — рассердился Донской, но тайный голос ему говорил, что откровения были вовсе не дурацкими, они имели какую-то цель, уже хотя бы ту, чтобы смутить его, дать почувствовать, что он опутан — мерзкой, тягостной, нерасторжимой связью.

Ещё об одном вспоминалось теперь с неясной тревогой — о том, как впервые после той встречи в леске он вошёл к генералу, в комнату вокзальчика, лучше других сохранившуюся, где на двери уцелела табличка под стеклом: «Комната матери и ребёнка», где генерал спал и ел, откуда он командовал армией. Он сидел за столом, над картой, в чёрной кожанке, накинутой на белую рубашку, и, глядя на него со спины, на его напруженный раздумьем затылок, Донской вдруг отчётливо почувствовал странное своё превосходство над ним — превосходство ли тайного знания? скрытой ли силы, осознавшей себя? — и, кажется, впервые догадался, отчего так много значит для генерала какой-то вчерашний старлей. Да ведь он *имел доступ*, он знакомился с *делом*, он проник в подноготную, — может быть, прочёл, какие применялись на допросах *меры воздействия* к подследственному и *как тот себя вёл*, — вот в чём была его власть! Эту власть обретает даже читающий чужие письма к любовнице — как бы это ни осуждали моралисты. И то, что считалось зазорным когда-то, за что не подавали руки, отказывали от дома, били по морде подсвечниками, сделалось теперь как бы графским титулом, княжеским достоянием. Ставило майора вровень с генералом, а чем-то и повыше...

Генерала тяготил его взгляд, это стало видно по тому, как он плечами привздёрнул кожанку, чтобы прикрыть затылок, и как резко прочертил изогнутую стрелу — так резко, что сломал карандашный грифель.

— Ах ты... — Он длинно выругался и, полуоборотясь к Донскому, показал ему сломанный кончик. — Ножичка нет — очинить?

Не думая, Донской вытащил из бокового кармашка сумки отточенный красно-синий карандаш — и помертвел, встретив удивлённый, поверх очков, взгляд генерала.

— Уже успел? Ловкий ты, брат. Умелец!

То была мелочь, о которой генерал, наверное, тут же забыл, снова углубясь в карту, но которая обозначила для Донского все тернии извилистой тропы, выбранной им чересчур поспешно.

Впрочем, он по ней прошёл не далее первого шага. Оказалось, не так просто исполнить просимое Светлооковым. Не вычертив плана целиком, генерал свою карту от себя не отпускал и никому смотреть на неё не позволял.

И Донскому пришлось испытать чувство унизительное, когда Светлооков, против их договорённости, вдруг сам подошёл к нему в столовой — только, впрочем, спросить вполголоса:

— Насчёт Мырятина есть решение?

— Нет, — быстро ответил Донской, косясь по сторонам.

Но людей из штаба не было в столовой. Два приезжих корреспондента, в полковничьих погонах, отоваривали свои аттестаты, шумно и придирчиво выясняя у начальника столовой, полагается ли им водка и по какой норме.

— Так я и думал. — Светлооков кивнул удовлетворённо и даже с каким-то торжеством. — А чем он вообще занимается?

— Читает Вольтера.

— Что-о? — У Светлоокова от мгновенного раздражения побелели глаза.

— Я не шучу — Вольтера.

— Ну-ну. Это хорошо. Это вот им скажи, — он кивнул на корреспондентов, — непременно вставят в свою писанину. А мне бы — чего посущественней. Если будет. Хотя — навряд ли...

Следовало ли так понять, что силы, нуждавшиеся в нём, Донском, уже обошлись без него? Или мечтательные размышления о ковровых дорожках Ставки всё-таки имели какое-то основание?

...А «виллис», яростно подвывая, мчался под серым промозглым небом, и неудержимо адъютантские размышления съезжали с ковровых дорожек к предметам иного свойства, о которых так сладостно думается в сырости и на ветру, — к стакану водки и тарелке дымящихся щей где-нибудь в тыловой комендатуре, к тёплой постели с чистыми простынями, а перед тем, чёрт побери, к жаркому блаженству бани. Или же он принимался думать о радостях этого случайного отпуска, о том, что удастся всё-таки побыть в Москве денька три-четыре и, может быть, оторвать у судьбы суровый роман, маленькое приключение с горьковатым привкусом неизбежной разлуки. А если оно и не состоится, эти три дня всё равно пойдут на пользу — рыжая Галочка из поарма*, которая всё ещё колеблется, непременно спросит, как он провёл

* Политотдел армии.

их, и можно будет ответить: «Ох, Галочка, лучше не вспоминать...» А если она спросит, не скучно ли было в Москве, можно улыбнуться многозначительно, утомлённо: «Москва – живёт!»

Эта Галочка, правда, слабо вязалась с расчётами на новое назначение, но обращался он всё же к ней. Что-то ему говорило, что в эту армию он ещё вернётся. «Со щитом, – прибавлял он, – непременно со щитом!»

Князь Андрей, из своего века, подсказывал тоже недурной вариант: «Это будет мой Тулон!»

Глава вторая

ТРИ КОМАНДАРМА И ОРДИНАРЕЦ ШЕСТЕРИКОВ

1

Что же мог думать о Ставке третий — ординарец, сидевший за спиной генерала? Какой он её себе представлял — скуластый крепышок с лычками младшего сержанта, с замкнутым лицом, жёстко обтянутым задубевшей кожей, со складкой на лбу, отражавшей сосредоточенность на невесёлой мысли? А ничего он про эту Ставку не думал, не занимало его, где она там расположилась — в кремлёвской ли башне, в глубоком ли бункере, и какие там стены и потолки; да хоть золотые, хоть и хрустальные; ему, Шестерикову, она хорошего не обещала, она была лишь тем местом, где генерала будут изводить дурацкими расспросами, издеваться над ним и насмехаться — ни за что ни про что. Заведомо все неприятности, готовые пасть на эту седеющую и лысеющую голову, казались Шестерикову несправедливыми, и он единственный мог бы заплакать от жалости к генералу, он и взаправду, хоть и без видимых слёз, оплакивал его судьбу, а заодно и свою собственную.

Скорчась в тесном углу «виллиса», он держал на коленях вещмешок и противогазную сумку, набитые разными твёрдыми вещами, на ухабах его швыряло и колотило, но всё было ничто в сравнении с тем сознанием, что лучшее в его жизни — кончилось; то, что делало её осмысленной и стоящей страданий, — теперь уж невозвратимо.

И, как перебираем мы в памяти первую любовь, давно отлетевшую от нас, — день за днём, всё ближе к сладостному её началу, — так угрюмый Шестериков приближался к тому морозному дню под Москвой, когда их пути с генералом пересеклись. Удивительное то было пересечение! Кто бы это мог так распорядиться, расставить вехи, чтобы ни он, Шестериков, ни генерал не опоздали ко встрече, и ещё столько потом сплести событий, чтоб не показалась

им эта встреча случайной? Как-то в душевную минуту, за водочкой, он даже высказал генералу своё удивление по этому поводу, и вот что ответил генерал: «А знаешь, Шестериков, оно иначе и быть не могло. Три генерала, три командарма в твоей судьбе поучаствовали». Ну, двоих-то из них Шестериков так и не увидел, а лишь своего командующего, Кобрисова, когда тот вышел в зверский мороз на крылечко избы, а Шестериков как раз и проходил мимо того крылечка, с котелком щей и с кашей в крышечке — для старшины своей роты.

За три дня до того батальон, в котором воевал Шестериков и где их осталось человек сорок, был причислен к армии, стоявшей на Московском полукольце обороны, — рассчитывали повидать столицу, за которую, может, и погибнуть предстояло, хоть отдохнуть в ней, отдышаться, да вот не вышло — и как хорошо, что не вышло! И мог бы старшина роты сам за своим обедом сходить, но прихворнул чего-то, лежал в избе под кожушком, глядя в потолок, — и хорошо, что захворал! Мог бы он кого другого послать на кухню, но Шестериков перед ним провинился, ответил грубо, и это ему вышло как наряд вне очереди, — и, Господи, как хорошо, что провинился! Ну, наконец, и генерал мог бы не выйти тогда на крылечко — в бекеше и в бурках, с маузером на ремне через плечо, готовый к дальнему пешему пути, — а вот это, пожалуй, и не мог бы, потому что был приглашён на коньяк, и не на какой-нибудь — на французский.

Он ещё и не обосновался в той избе, и комната его пуста была, из хозяевых вещей оставили один топчан, всё вынесли, а письменный стол из штаба ещё не привезли, и связисты устанавливали телефон прямо на полу — от них-то Шестериков и вызнал потом все подробности.

Только подключили аппарат — заверещал зуммер, и генералу подали трубку. Телефонисты, проверяя качество связи, слушали по другой трубке, отводной.

— Рад тебя слышать, Свиридов, — сказал генерал. Звонил ему командир дивизии, полковник, с которым отступали полгода, от самой границы. — Опережаешь начальство, в принципе я тебе должен первым звонить*. Как ты там? Больше всех ты меня беспокоишь.

---

* Генерал имеет в виду, что связь в войсках устанавливается от вышестоящего к нижестоящему.

Свиридов спросил, с чего это он больше других беспокоит.

— Как же, ты у меня крайний. Локтевой связи справа у тебя же нет ни с кем.

Свиридов подтвердил, что какая уж там локтевая связь, правый сосед у него — чистое поле.

— Должна ещё бригада прибыть, — сказал генерал. — Из Москвы, свеженькая. Вот справа её и поставишь, я её тебе отдаю.

Свиридов поблагодарил, но намекнул, что лучше бы дарить, что имеешь, а не то, что обещано.

— Рад бы, да сам пока обещаниями сыт, — сказал генерал. — Ну, докладывай. Может, чем утешишь...

Свиридов его утешил, что к нему на участок обороны прибыло пополнение — два батальона ополченцев из Москвы: артисты, профессора, писатели, одним словом — интеллигенция, очкарики, сплошь пожилые, одышливые, плоскостопных много, — а вооружил их Осоавиахим учебными винтовками, с просверленными казённиками, со спиленными бойками, выстрелить – при испепеляющей ненависти к врагу и то мудрено, только врукопашную. Ещё у них по две гранаты есть, сейчас как раз обучают бросать — пусть не далеко, но хоть не под ноги себе. Знакомят некоторых, кто посмышлёней, с миномётом — мину они опускают в ствол стабилизатором кверху, но, слава богу, забывают при этом отвинтить колпачок взрывателя.

— Ясно, — сказал генерал со вздохом. — Но настроение, конечно, боевое?

Свиридов подтвердил, что прямо-таки жаждут боя. Ни шагу назад, говорят, не ступят, позади Москва.

— Ясно, — сказал генерал. — Пороху, значит, совсем не нюхали. Но это же ещё не всё, Свиридов, должен же быть заградотряд.

Верно, Свиридов подтвердил, заградительный не задержался, прибыл батальон НКВД, да только он расположился во второй линии, за спиной у ополченцев, так что фронт растянуть не удаётся.

— А в первую линию ты их не приглашал?

— Как же, — сказал Свиридов, — ходил к ним, предлагал участок. Комбат отказался наотрез: «У нас другая задача».

— А ты ополченцев обрадовал, что бежать им некуда?

Да, Свиридов их обрадовал.

— И как отнеслись?

— Обиделись даже. А мы, говорят, бежать не собираемся.

— Правильно, — сказал генерал. — Назад не побегут. Что у них за спиной не одна Москва, а ещё заградотряд имеется, это они не забудут. Поэтому, как немец напрёт, они в стороны расползутся. И придётся тогда уж заградотряду принять удар. Всё хорошо складывается, Свиридов. Рассматривай этих энкавэдистов как свой резерв. Им тоже бежать некуда. В случае чего они друг дружку перестреляют.

Свиридов помолчал и спросил:

— Не приедете поглядеть, как мы тут стоим?

— Да что ж глядеть... Хорошо стоите. Не сомневаюсь, ты всё возможное сделал.

— Тем более, — продолжал Свиридов голосом вкрадчивым, — есть одно привходящее обстоятельство. В красивой упаковке. Из провинции Cognac. Парле ву франсе?

— Что ты говоришь! — Генерал сразу взвеселился. — Ах, проказник!.. Где ж добыл?

— Противник оставил. В Перемерках.

— Постой, ты что? Ты его из Перемерок выбил? Что ж не похвастался, скромник? Ай-яй-яй!

Но кроме «ай-яй-яй» упрёков Свиридову не было. Оба же понимали, что лучше не спешить докладывать. Ведь это, глядишь, и до Верховного дойдёт — а ну, как эти чёртовы Перемерки отдать придётся? С тебя же, кто их брал, голову свинтят.

Генерал положил трубку на пол, походил по горнице, бросил рядом с телефоном развёрнутую карту и, глядя в неё, опять трубку взял.

— Свиридов, тут их двое, Перемерок — Малые и Большие. Ты в каких?

— В Больших, Фотий Иванович, в главных. Малые пока у него.

— Ты это... не финти, ты мне скажи чётко: выбил ты его или он сам ушёл? Я тебя так и так к награде представлю, только по правде.

— Да как сказать? Желания у него особого не было за них держаться. Ну, и я со своей стороны помог. Во всяком случае — коньяк он забыл. Аж четыре ящика, представляете?

Генерал опять положил трубку, успокоился и снова взял.

— Знаешь, Свиридов... Пожалуй, мне твоя оборона нравится. Хорошего мало, а нравится. А может, он это... отравленный?

— На пленных испытали.

— Так ты и пленных взял? Ну, и как?

— Согрелись. Дают показания.

Генерал поглядел в карту совсем уже весёлыми глазами, уже как бы отведав того «привходящего обстоятельства».

— Слушай, а ты сам-то где сидишь?

— Да в Перемерках же. От вас километров шесть. Могу лошадей выслать.

— Всё не приучишься «кони» говорить, Свиридов. Кони и у меня есть, только они с утра снаряды возили, пристали кони. Ведь не люди они — устают...

— Так всё-таки ждать вас? Опять же, День Конституции страна отмечает...

— Разболтались мы с тобой, Свиридов, — сказал генерал построжавшим голосом. — День Конституции выдаём. А враг подслушивает. У тебя всё? До свиданья.

Генерал, заложив руки за спину, походил взад-вперёд по горнице, погуживая себе под нос своё любимое: «Мы ушли от пр-роклятой погони, пер-рестань, моя радость, др-рожать!..», и стал против красного угла, разглядывая иконы.

— Это сей же час уберём, — поспешил к нему ординарец. — Это живенько!

— Зачем? — удивился генерал. — Чем они мешают?

— Мешают думать командующему, — тот ему отвечал молодецки, с восторгом в голосе. — Мысли отвлекают в ненужное направление.

Ординарец этот был, что называется, деланный дурак, то есть не от природы глупый, а для своего же удовольствия. Не рохля, а вполне даже расторопный, но говорил часто невпопад и ещё очень этим гордился. Особо раздражало генерала, что он вместо «Слушаюсь» усвоил отвечать: «С большим нашим пониманием!» — и никак его было не отучить. Ответил и на сей раз, когда генерал велел ничего в красном углу не трогать, оставить как есть.

Уже закипая, поджав губы недовольно, генерал разглядывал тёмные лики — Спасителя, великомученицы Варвары, Николы Чудотворца, — подержал палец над лампадкой, потрогал чёрное потресканное дерево киота.

— Вот это — как называется?

— Это? — Ординарец не понял ещё, что осердил генерала, и отвечал так же молодецки, с восторгом. — А это, Фоть Иваныч, никак не называется!

— Вот те раз! — даже ошеломился генерал. — Мастер их делал — может, три тыщи за свою жизнь, — и это у него никак не называлось?

— Ящичек — и всё.

— Тьфу! — сказал генерал. — Подай мне бекешу. А шинель свою — оставь дома. И чтоб к моему приходу знал бы точно, как этот ящичек называется.

И ординарец, всё понявши, только ему и ответил «большим нашим пониманием». Более генерал ничего от него не услышал и самого его не увидел никогда.

Настала минута Шестерикова вступить в сектор генеральского наблюдения — с котелком и с крышечкой.

— Боец, подойдите, — услышал он голос с высокого крыльца, недовольный и обиженный, но это не к Шестерикову относилось, а к морозу, какого начальство, угревшееся в избе, не ожидало, — так уже должно было на кого-нибудь обидеться. Незнакомый грозный человек стоял, поёживаясь, подёргивая плечами, картинно при этом расставив ноги в бурках и утвердив руку на кобуре маузера.

— Слушаюсь, товарищ командующий! — Шестериков подошёл резво и доложился по форме, чему котелок и крышечка не помешали. Всю остальную жизнь он изумлялся, каким это чутьём признал он под бекешей без петлиц не просто генерала, а — командующего, и объяснения не находил. Разве что маузер в деревянной кобуре его надоумил, какой он видал в кино у революционных братишек и комиссаров.

— Будете меня сопровождать, — объявил генерал, оглядывая серое небо. — Автомат у вас полный? Пару бы дисочков иметь в запас...

Сердце Шестерикова стронулось и сладко покатилось куда-то. Всё же он возразил, что связан приказанием — отнести обед захворавшему старшине. Генерал поморщился, но внял, согласно кивнул. И произнёс волшебные слова:

— Валяйте. Я подожду.

С этими словами река судьбы генерала и малая речка Шестерикова начали сливаться в одно.

— Я по-быстрому, — обещал он генералу не совсем по уставу и, зачем-то ему показав котелок, метнулся исполнять это самое «валяйте».

— А сам-то пообедал? — спросил генерал вдогонку. И, отсылая дальше рукою, себе же ответил: — Хотя ладно, там нас накормят.

С крупного шага история перешла на рысь. Но не таков был Шестериков, чтоб ещё пёхаться до этого старшины, будь он неладен со своей хворобой, однако и вылить обед на снег он тоже не мог. Заскочив за угол, в проулок, он малость отхлебал из котелка через край, ссыпал в рот горсточки три каши, отломил полгорбушки хлеба и положил за пазуху, чтоб не обмёрзла. Там ещё когда накормят, успокоил он шевеление совести, а пока дела серьёзные предстоят, не под кожушком лежать, считать тараканов на потолке. На его счастье, двое дружков из своей же роты топали по проулку, сопровождая местную деву и стараясь наперебой, с обеих сторон, её насмешить. Шестериков напал на них диким коршуном и с ходу распатронил, отобрал два тяжёлых диска, а взамен отдал свой неполный, заодно и обед им вручил — с приказанием *от имени командующего* доставить срочно. Спустя лишь минуту предстал он снова пред генералом — и в самое время успел: в заиндевевшем окошке углядел он продышанный уголок, а в нём чей-то обиженный и завидущий глаз — поди, ординарца, на которого генерал за что-то прогневался. И ещё подумалось, что не к добру этот глаз окошко сверлит, — хотя и не верил Шестериков ни в понедельник, ни в число тринадцатое, ни в чёрного кота, но верил в порчу и сглаз.

— Уже? — спросил генерал и поглядел с одобрением на Шестерикова, готового к чёрту в зубы идти. — Ну, потопали.

И так-то они — хрум-хрум — начали свой путь по снежку: генерал — впереди, при каждом шаге отбрасывая маузер бедром, Шестериков — приотстав шагов на восемь. За околицей набросился на них степной ветер, стало уныло и даже страшновато, но генерал шага не убавлял, что-то его изнутри грело и двигало вперёд.

Сперва шли по проводу, от шеста к шесту, потом кончилась шестовка, провод ушёл под снег. Однако ж тропинка, пробитая связистами и всякими посыльными, ясно виднелась — со склона в низинку и опять на бугор,

так что — хрум да хрум — шли уверенно, и солнышко, хоть и туманное, а бодрило, а леса поодаль, хоть и чёрные, а не страшили неизвестностью. Поле и поле, Шестерикову было не привыкать. Да всё ничего, только вскорости, едва версту отмахали, мороз начал под шинелькой продирать насквозь, сил не стало терпеть, не хлопать рукавицами по груди, по плечам. И сперва Шестериков стеснялся при генерале, но, видно, и тому мороз не нравился, то и дело он руки в перчатках прижимал к ушам, и этими-то моментами Шестериков и пользовался, а то терпел.

— Не там хлопаешь! — закричал ему генерал. Всё же, значит, услышал. — Там тебя молодость греет. Ногами, ногами тупоти. Тут главное — не упустить.

Шестериков и не упускал, но в ногах-то ещё терпимо было, а вот душа заледенела.

— Большевистскую родную печать использовал? — спрашивал генерал, оборачиваясь с весёлостью и некоторое время идя спиной вперёд. — Газетку поверх портянок не намотал? А зря.

Так наставление советовало: читанное ещё раз использовать — против обморожений, но Шестериков в эти чудеса не верил, печать он пускал на курево и по другому делу, а больше доверял шерстяному платку, который ему жена прислала — разодрать на портянки.

Генерал про платок выслушал и развёл руками.

— Всё гениальное — просто. Кто это сказал?.. И я тоже не знаю.

Потом он придержал шаг немного, чтоб Шестериков его нагнал.

— Ты в бильярд не играешь? Учти, кто в бильярд играет — на местности лучше ориентируется. Вот как ты думаешь, километра четыре прошли уже?

По Шестерикову, так и все десять отхрумкали, а в бильярд он не играл сроду, потому, наверно, и вовсе не ориентировался.

— Ничего, потерпи, — утешил генерал. — Ещё полстолька пройти, и встретят нас в Больших Перемерках. Французский коньяк пил когда-нибудь? Попьёшь!

Генерал, видать, всю карту держал в голове, шагал без задержки, на развилке решительным образом вправо шагнул, хотя, отчего-то показалось Шестерикову, так же решительно можно бы было и влево. Но, пожалуй, это уже

потом он себе приписал такое предчувствие, а на самом деле во весь их путь ни разу не догадался, что история уже притормозила свой бег, плетётся шагом, а зато круто набирала ход — география.

Они с генералом шли в Большие Перемерки — и правильно шли, а идти-то им нужно было — в Малые. Свиридову, который по величине судил и с картою второпях не сверялся, в голову не пришло, что тут, как часто оно на Руси бывает, всё обстояло наоборот. Малые Перемерки, возникшие после Больших, то есть настоящих, первых, и считавшиеся как бы пониже чином, понемногу раздобрели вокруг фабрички валяной обуви и давно уже переросли Большие, да названия уже не менялись; местные и так различали, а на приезжих было наплевать, и их это тоже не тяготило. Ну, и то правда, названия сёлам сменить — это же сколько вывесок надо перемалевать, да всяких бланков перепечатать, да и надписи переписать на тех ящиках, в которых малоперемеркинские валенки ехали во все концы отечества. Опять же, глядишь, захудалые Большие, в свой черёд, подтянутся, стекольный заводик отгрохают — и Малым, в Большие переименованным, опять догонять? А совсем другое название — откуда взять? Ещё и похуже выйдет — в Стеклозаводе каком-нибудь жить. Вот разве одни, предположим, Ждановском назвать, а другие Шкирятовом или Кагановичами, так ведь на все населённые пункты дорогих вождей не хватит...

Уже сумерки начали сгущаться, когда они с генералом дохрумкали наконец и на задах этих Перемерок увидели встречных. Человечков тридцать высыпало. Но как-то не торопились подскочить, доложиться. Генералу это понравиться не могло, он им ещё издали, шагов за полста, приказал сердито:

— Полковника Свиридова ко мне!

А встречные и тогда не зачесались. Переглянулись и отвечали со смехом:

— Карашо, Ванья! Давай-давай!

Генерал стал столбом и скомандовал Шестерикову:

— Ложись!

И только Шестериков упал, у одного из тех встречных быстро-быстро запыхало в руках впереди живота, и долетел сухой треск — будто жареное лопалось на плите. Генерал, свою же команду выполняя с запозданием, повалился всей тушей вперёд. Не помнил Шестериков, как оказался

рядом с ним и о чём в первый миг подумал, но никогда забыть не мог, как, нашаривая в снегу слетевшую рукавицу, вляпался в липкое и горячее, вытекающее из-под генеральского бока.

— Товарищ командующий, — позвал он жалобно. — А товарищ командующий?

Генерал только хрипел и кашлял, вжимаясь лицом в сугроб.

— Вот и бильярд! — сказал Шестериков, отирая ладонь о льдистый снег. — Ах, беда какая!..

Но какая случилась беда, он всё же не осознал ещё. В голове его так сложилось, что это свои обознались спьяну или созорничали, придравшись, что им не сказали пароля. Таких дуболомов он повидал в отступлении — страшное дело, когда им оружие попадёт в руки. И в ярости, чтоб их проучить, заставить самих поваляться на снегу, он выбросил автомат перед собою и чесанул по ним длинной очередью — над самыми головами. Дуболомы залегли исправно и открыли частый огонь, перекликаясь картавыми возгласами.

— Немцы, — вслух объявил Шестериков, то ли себе самому, то ли генералу.

И стало ему досадно, прямо до слёз, за те патроны, что он выпустил сгоряча без пользы. По звуку судить, штук двадцать пять ушло. Впредь этой роскоши — очередями стрелять — он себе не мог позволить. И решительно переключил флажок на выстрелы одиночные. Как по уставу полагалось, раскинул ноги, упёрся локтями в снег, приступил к поражению живой силы противника. Впрочем, он не думал о том, скольких удастся ему убить или ранить, он был уже опытный солдат, и перед ним были опытные солдаты, и он знал, что, когда перестреливаются лёжа, на результаты ни та, ни другая сторона особенно не рассчитывает. Главное было — не дать им головы поднять, потянуть время, покуда они убедятся, что можно подойти спокойно и взять живыми. И, конечно, не мешало создать у них такое впечатление, что не один тут постреливает, а всё-таки двое.

Он вытащил генеральский маузер из кобуры и, держа впервые такую красивую вещь, сразу сообразил, как вынимается обойма. В ней было девять патронов; он перещупал коченеющими пальцами их округлые головки, беззвучно шевеля губами: «Один, два, три...» — а дальше

шли пустые пять гнёзд, маузер был 14-зарядный. И, видать, генерал любил пострелять из него — для настроения, а может быть, и самолично кого в расход пустить, есть такие любители. Ну, что ж, подумал Шестериков, на то война, ему вот и самому захотелось парочку этих «дуболомов» срезать, едва рука удержалась. Только обойму-то надо ж было пополнить. В кобуре было место для обоймы запасной, но самой её не было. «Пару бы дисочков иметь в запас...» — вспомнил он с укором. Но и себя укорил — зачем отдал тем дружкам свой неполный диск, они до того своей девкой заняты были, что и не заметили бы, если б не отдал. И тотчас — с обидой, с завистью — вспомнил саму деву, которую они наперебой старались насмешить армейскими шутками, вспомнил её разрумянившееся лицо, которое она, играючи, наполовину прикрывала пёстрым головным платком, — хорошо им сейчас в селе, в тепле, уже, поди, захмелившимся и напрочь забывшим о нём, который невесть по какому случаю лежит здесь в снегу, задницей к чёрному небу, перед какими-то чёртовыми Перемерками, бок о бок с беспамятным, безответным генералом, и перестреливается с какими-то невесть откуда взявшимися, как с луны прилетевшими, людьми. Но хорошо всё-таки, подумал он, что хоть дружки эти встретились, да с полными дисками, дай им там Бог время провести как следует.

Посмотреть, не всё в его положении было плохо, могло и хуже быть. Хорошо, что смазка не застыла и автомат не отказал в подаче, а теперь уже и разогрелся. Хорошо, что ещё маузер есть, с девятью патронами. Хорошо, что немцы не ползли к нему, постреливали, где кто залёг. Генерал тоже хорошо лежал, плоско, головы не высовывал из сугроба. Но одна мысль, тоскливая, то и дело возвращалась к Шестерикову — что уже с этими немцами не разойтись по-хорошему. Бывало, когда солдаты с солдатами встречались на равных, удавалось без перестрелки разойтись — какому умному воевать охота? Но тут — как разойдёшься, когда генерал у него на руках — и живой ещё, дышит, хрипит. И эти, из Перемерок, ещё при свете видели, кто к ним пожаловал, видели тёмно-зелёную его бекешу, отороченную серой смушкой, и смушковую папаху — разве ж с этим отпустят? Убитого раздеть можно, одёжку поделить, а за живого — им, поди, каждому по две недели отпуска дадут. И сдаться тоже нельзя, стрельба всерьёз пошла, уж они теперь, намёрзшись,

злые как черти! Его, рядового, они тут же, у крайней избы, и прикончат, а если ещё убил кого или подранил, то прежде уметелят до полусмерти. А генерала оттащат в тепло, там перевяжут, в чувство приведут, потом — на допросы. И если говорить откажется — крышка и ему.

Он отъединил опять ту обойму и выдавил два патрона, чтоб сгоряча их не истратить. Эти два он заложит в маузер перед самым уже концом — пробить голову генералу, потом — себе. Всё-таки лучше самому это сделать, чем ещё мучиться, когда возьмут, изобьют всласть, к стенке прислонят и долго будут затворами клацать — надо ж потешиться, перед тем как в тепло уйти. Сперва он эти патроны запрятал в рукавицу, но там они сильно мешали и слишком напоминали о неизбежном, и он их сунул за пазуху. Тут его пальцы ткнулись во что-то твёрдое и шершавое — это в запазушном кармане хранилась его горбушка, уже как будто забытая, а всё же — краешком сознания — памятная. Чувство возникло живое и тёплое, но сиротливое, опять стало жаль до слёз — что придётся вот скоро убить себя. Он подумал — съесть ли её сейчас? Или — перед тем? И почему-то показалось, что если сейчас он её сжуёт, тогда уже действительно надеяться не на что.

А надежда оставалась, хоть и очень слабая. Постреливая одиночными — то из своего ППШ, то из маузера, — после каждого выстрела подышивая себе на руки и уже не различая, ночь ли глубокая или всё тянется зимний вечер, он всё же нет-нет да согревал себя тем мудрым соображением, что и противнику не легче. И когда же нибудь наскучит этим немцам мёрзнуть на снегу, и плюнут они возиться с ним: за ради бекеши жизнью рисковать кому охота, а на отпуск — если генерал не живой — тоже можно не рассчитывать. Только вот уйдут ли в тепло все сразу? Народ аккуратный, оставят, поди, часовых и будут подменивать — хоть до утра.

Что-то надо было предпринять ещё до света, хоть отползти подальше да схорониться в каком-нито овражке либо снегом засыпаться. Генерала оставить он не мог, тот покуда хрипел, поэтому Шестериков, чуть отползя назад, попробовал его подтянуть к себе за ноги. Так не получалось: бурки сползали с ног, а бекеша задиралась. Он решил по-другому: толкая генерала плечом и лбом, развернул его головою от Перемерок и, на всё уже плюнув, привстав на колени, потащил за меховой воротник. Протащив метров пять, вернулся за автоматом — его приходилось оставлять,

уж больно мешал. И, произведя выстрел с колена, в снег уже не ложась, поспешил назад к генералу — сделать очередной ползок.

Меж тем в Перемерках начались какие-то иные шевеления — огонь вдруг зачастил, крики усилились, и Шестериков это так понял, что к тем, замерзающим, прибыли на подмогу другие, отогревшиеся. Уже не тридцать автоматов, а, пожалуй, сто чесали без продыху, и все пули, конечно, летели в Шестерикова. Это уже потом он узнал, что Свиридов, обеспокоенный слишком долгим путешествием генерала, сунул наконец глаза в карту и, с ужасом поняв, в какую ловушку пригласил он дорогого гостя, выслал роту — прочесать эти Перемерки и без командующего, живого или мёртвого, не возвращаться. И, покуда та рота вела бой на улицах села, Шестериков ей помогал как мог и как понимал свою задачу: оттаскивал генерала, сколько сил было, подальше прочь. Стрелять ему уже и смысла не было, за своим огнём немцы бы не расслышали его ответный, а вспышки его бы только демаскировали.

Когда пальба в Перемерках поутихла, они с генералом были уже далеко в поле, и поземкой замело их широкий след, а там и овражек неглубокий попался, куда можно было стащить умирающего и хоть перевязать наконец. Расстегнув бекешу с залитой кровью подкладкой, Шестериков увидал, прощупал, что вся гимнастёрка на животе измокла в чёрном и липком. Из одной дырки, рассудил он, столько натечь не могло, и не найти её было. Задрав гимнастёрку и перекатывая генерала с боку на бок, Шестериков намотал ему вокруг туловища весь свой индивидуальный пакет да потуже затянул ремень. Вот всё, что мог он сделать. Затем, передохнув, опять потащил генерала — по дну овражка, теперь уже метров за полста перенося и вещмешок свой, и маузер, и автомат и вновь возвращаясь за раненым. Генерал уже не хрипел и не булькал, а постанывал изредка и совсем тихо, будто погрузившись в глубокий сон.

Ещё до света слышно стало какое-то движение наверху, за гребнем овражка: рокот автомобильных моторов, скрип тележных колёс, голоса — не ясно чьи. Шестериков с одним маузером отправился ползком на разведку. Оказалось, овражек проходит под мостком, а по мостку идёт дорога. Ещё не добравшись до неё, он замлел от радости, расслышав несомненную перекати-твою-мать, бесконечно

знакомый ему признак отступления. А куда же отступать могли, как не на Москву, ведь Москва — рукой подать, к ней и движется вся масса людей, машин, повозок. Он не знал, что то было следствием удара 9-й немецкой армии, точнее — впечатлением от этого удара, опрокинувшим все надежды, что врага остановят подвиги панфиловцев и ополченцев и противотанковые рвы, отрытые женщинами столицы и пригородов. Впечатление, по-видимому, было внушительное: грузовики, переполненные людьми, неслись на четвёртых, на пятых скоростях, сигналя безостановочно, от них в страхе шарахались к обочинам повозки, тоже не пустые, нещадно хлестали ездовые загоняемых насмерть лошадей, но, как ни удивительно, а не сказать было, чтоб так уж сильно отставали пешие — кто с оружием, кто без, но все с безумными, как водкой налитыми, глазами. Вся эта лавина — с рёвами, криками, храпением, пальбой — текла по дороге, как ползёт перекипевшая каша из котла, у Шестерикова даже в глазах зарябило.

Но явилась надежда.

Быстренько он вернулся к генералу и, выбиваясь из сил, подтащил его поближе к мостку, чтоб на виду лежал; не могло же быть, чтоб не кинулись помочь, да хоть разузнать, в чём дело, почему тут генерал. Никто, однако, не кинулся, да едва ли и замечал постороннее.

Вдруг увидал он — милиционера, одиноко ссутулившегося на обочине, обыкновенного подмосковного регулировщика, в синей шинельке и в фуражке поверх суконного шлема, смотревшего на происходящее уныло, но без испуга, опустив руку с жезлом. Шестериков кинулся к нему с мольбою:

— Милый человек, останови ты мне машину какую или же повозку...

Милиционер только покосился на него и зябко передёрнулся.

— Мне ж не для себя, — объяснил Шестериков. — Мне для генерала. Вон он, можешь поглядеть, раненый лежит, сознание потерял.

— Чем я тебе остановлю? — спросил милиционер, не поглядев.

— Как то есть «чем»? Вон у тебя палка руководящая да пистолет. — Шестериков забыл в эту минуту, что и у него маузер, а в овражке остался ещё автомат. — Погрози, погрози им — неуж не остановятся?

— Ты это... — сказал милиционер. — Пушку свою спрячь. И не махай.

И он показал глазами на то, чего Шестериков не заметил впопыхах, — на человека, лежавшего шагах в пяти от него, на той же обочине, в шинели с лейтенантскими петлицами. Он лежал вниз лицом, откинув голую, без рукавицы, руку с пистолетом, рядом валялась окровавленная ушанка.

— Всё грозился, — поведал милиционер. — Возражал очень: «Подлецы, понимаешь, трусы, Москву предали, Россию предали!» А они ему с грузовика — очередь. Теперь, видишь, смирно лежит, не возражает.

— Что ж делать? — спросил Шестериков жалобно. И повторил свой довод: — Кабы я для себя, а то ведь генералу...

— Он что, — милиционер покосился наконец, — живой ещё?

Шестериков не уверен был, но тем горячее воскликнул:

— Дак в том-то и дело, что живой! Довезти б до госпиталя побыстрее...

Милиционер то ли задумался глубоко, то ли от безысходности примолк; его лицо, обветренное и от мороза багровое, движения мысли не выражало.

— А может, вдвоём попытаемся? — спросил Шестериков с надеждой, вспомнив наконец и про свой автомат. — Шарахнем по кабинке, а? Только заляжем сперва. Не очень-то нас это... очередью.

— Это не метод, — сказал милиционер. Похоже, он это время всё же потратил на раздумья. — Тут бы сорокапятку выкатить. Со щитком. Да по радиатору врезать! Сразу несколько тормознут. А так их, очередями, не вразумишь.

— Сорокапятка — это вещь, — сказал Шестериков, вспомнив некоторые моменты из собственного опыта. — Да где ж её взять!

Милиционер ещё подумал и развернулся всем корпусом к Москве.

— Ты вот что, — посоветовал он, — сбегай-ка, тут, метров двести, за поворотом, зенитная позиция. Они против танков стоят, но, может, для генерала один снаряд пожертвуют.

Перед тем, как сбегать туда, Шестериков вернулся к генералу — проведать — и ужаснулся новому удару судьбы. Всего на минутку оставил он генерала, но кто-то успел стащить с его головы папаху, а с ног — бурки, прекрасные,

валянные из белой шерсти, с кожаной рыжей колодкой. Кто был этот необыкновенный, неукротимой энергии человек, кто и в смертельной панике ухитрился ограбить лежащего, да у всех на виду? И ведь не за мёртвого же принял, видел же, что дышит ещё!

Уши и ступни генерала уже побелели, и нечем их было укрыть. Шестериков развязал вещмешок, без колебаний вытряхнул из него кое-какие инструменты, курево, спички, мыло, моток ниток с иголкой и пару грязного белья. Это бельё он подложил генералу под голову, прикрыв уши, а мешок напялил ему на ноги и затянул шнуром.

— Облегчили? — спросил, подойдя, милиционер. Он покачал головой и заметил мрачно: — А не умерла Россия-матушка, не-ет!

— Милый человек! — взмолился Шестериков. — Ты постереги тут, чтоб его хоть из бекеши не вытряхнули. Тогда уже пиши похоронку. — И так как он привык вознаграждать человека за труды, то подумал, что́ бы такое предложить милиционеру. Из содержимого вещмешка ничего, как видно, того не заинтересовало. — Тебе жрать охота?

— А кому неохота? — откликнулся милиционер угрюмо.

Шестериков, опять не колеблясь, достал из-за пазухи свою горбушку и, только малый краешек отломив, подал её стражу. Тот её принял, не благодаря, и это Шестерикову даже понравилось.

— Только ты недолго, — сказал милиционер. — Всем, знаешь, драпать пора...

...Зенитчиков оказалось двое: один — совсем молоденький и, как видно, необстрелянный, весь в мыслях о предстоящем испытании, другой — постарше и поспокойнее, с рыжими гренадёрскими усами. Шестериков спросил, кто у них за командира, — по петлицам оба были рядовые.

— А нам командира не надо, — сказал тот, кто постарше, выуживая ложкой из консервной банки мясную какую-то еду. — Чего нам тут корректировать? — Он кивнул на зенитку, стоявшую стволом горизонтально — к повороту, из-за которого всё ползла человеческая лава. — Как покажется коробочка — шарахай её в башню и в бога мать. И спасайся, как успеешь.

Банка у них, видать, одна была на двоих, и молодой внимательно следил, не переступил ли старший за середину. Старший ему время от времени ложкой же и показывал — нет ещё, не переступил.

— Чего ж вам-то спасаться, — подольстился Шестериков, стараясь на еду не смотреть. — Вон вы какая сила!

— А это ещё неизвестно, — сказал кто постарше, — станина выдержит или нет. Мы из неё по горизонтали не стреляли ни разу.

Просьбу Шестерикова они выслушали с пониманием и отказали наотрез.

— Ты погляди, — сказал молодой, — много ли у нас снарядов.

Снарядный ящик, из тонких планок, как для огурцов или яблок, стоял на снегу подле зенитки, и в нём, поблескивая латунью и медью, серыми рылами головок, лежало всего четыре снаряда.

— Только по танкам, — пояснил старший, — даже по самолёту нельзя. Иначе трибунал.

— Братцы, — сказал Шестериков, — но тут же случай какой. За генерала — простят.

Они пожали плечами, переглянулись и не ответили. Но старший всё же подумал и предложил:

— А вот к генералу и обратись. К нашему генералу. Его приказ — может, он и отменит. В виде исключения.

— Вообще-то навряд, — сказал молодой. — Генерал, он больше всего танков боится. Но уж раз такой случай...

— А где он, ваш генерал?

Старший не повернулся, а молодой охотно привстал и показал пальцем.

— А во-он, церквушку на горушке видишь? Там он должен быть. Километров пять дотуда. Может, поменьше.

Шестериков поглядел с тоской на далёкий крест, едва-едва черневший в туманной мгле морозного утра. Глаза у него слезились от студёного ветра, и никаких людей он близ той колоколенки не увидел.

— Что вы, братцы, — сказал он печально, — да разве ж до вашего генерала когда досягнёшь? — Он имел в виду и расстояние, и чин. — Да и есть ли он там? Может, его и нету...

— Где ж ему быть? — сказал молодой неуверенно. — Место высокое, удобное для «энпэ». Оттуда, считай, вёрст за тридцать видимо.

— Дак если видимо, — возразил Шестериков, — у него сейчас одна думка: скорей в машину и драпать. Они-то первые и драпают.

Так говорил ему полугодовой опыт, и зенитчики не возражали, а только переглянулись — с ясно читавшимся на их лицах вопросом: «А не пора ли и нам?»

Шестериков ещё постоял около них, слабо надеясь, что зенитчики переменят своё решение, и поплёлся обратно, к своему генералу. В этот час он был единственный, кто двигался в сторону от Москвы.

2

Между тем генерал, о котором говорили зенитчики и от кого исходил приказ — не тратить снаряды, под страхом трибунала, ни на какую цель, кроме танков, — находился в ограде той церкви и меньше всего собирался сесть в машину и драпать, хотя со своей высоты действительно видел всё. При нём, впрочем, и не было машины, он сюда поднялся пешком. Три лошади, привязанные к прутьям ограды, предназначались адъютанту и связным, но стояли надолго забытые, понуро смежив глаза, превратясь в заиндевевшие статуи.

Со стороны показалось бы, что генерал в этот час был, что называется, *на выходе* — как бывает выход короля к своим приближенным, чтоб и на них поглядеть, и себя показать, как и у любого командира есть эта обязанность время от времени являться на люди — для одних тягостная, для других не лишённая приятности. Этот генерал, по-видимому, относился ко вторым, да и окружавшие не сводили с него преданных и умилённых глаз. Он резко выделялся среди них — прежде всего ростом, не уменьшенным, а даже подчёркнутым лёгкой сутулостью, в особенности же выделялся своим замечательным мужским лицом, которое, быть может, несколько портили — а может быть, именно и делали его — тяжёлые очки с толстыми линзами. Прекрасна, мужественно-аскетична была впалость щёк, при угловатости сильного подбородка, поражали высокий лоб и сумрачно-строгий взгляд сквозь линзы, рот был велик, но при молчании крепко сжат и собран, всё лицо было трудное, отчасти страдальческое, но производившее впечатление сильного ума и воли.

Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно, и разве что наблюдатель особенно хваткий,

с долгим житейским опытом, разглядел бы в нём ускользающую от других обманчивость.

Он прохаживался среди своих спутников, не суетясь, крупно ступая и сцепив за спиною длинные руки; от всей его фигуры в белом тулупе, перетянутом ремнём и портупеями, исходили спокойствие и уверенность, которых вовсе не было в его душе. Зенитчики ошибались: никакого НП здесь не было, не высверкивали из окон звонницы окуляры стереотрубы, которые могли бы только привлечь немецких артиллеристов, а ясности не прибавили бы. И что привело сюда генерала, он и себе не мог бы признаться. Скорей всего страх, рождённый непониманием происходящего, который ещё усиливался в закрытом пространстве.

Ему вдруг невыносимо тесно стало в тёплой избе, с телефонами, картами, столами и жёсткой койкой за занавеской, тесно и в закрытой кабине «эмки», захотелось на простор, пройтись пешком, подняться хоть на какую-то высоту, хоть что-то понять и решить.

Несколько дней назад его, вместе с шестью другими командармами, вызвал к себе командующий Западным фронтом Жуков и, как всегда, мрачно, отрывисто и с неопределённой угрозой в голосе объявил, что, если хотя бы одной армии удастся продвинуться хоть на два километра, задача остальных шести – немедленно её поддержать, любой ценой, всеми наличными силами расширяя и углубляя прорыв. Семеро командармов приняли это к сведению, не делая никаких заверений, но, верно, каждый спросил себя: «Почему бы не я?» Про себя генерал знал точно, себе он сказал: «Именно я».

И вот, не далее как вчера, он попытался это сделать – силами двух дивизий – и попал немедленно в клещи вместе со своим штабом. Он испытал страх пленения, который и сейчас не утих, то и дело вспоминался с содроганием в душе, заодно и с чувством неловкости и стыда – оттого, что был вынужден по радио, открытым текстом, приказать всем другим своим частям идти к нему на выручку. Он успел унести ноги, он вырвался без больших потерь, но что-то говорило ему, что немцы и не могли бы создать достаточно плотные фронты окружения – внутренний и внешний, и может быть, зря он поторопился наступление прекратить. Может быть, следовало идти и идти вперёд?

Против этого как будто говорила вся эта паника на Рогачёвском шоссе, которую он видел отсюда: замыкая клещи вокруг него, немцы произвели внушительнос впечатление и на его соседей. Однако он знал: эта паника могла возникнуть и от одного-единственного танка, появившегося, откуда его не ждали, к тому же ещё заблудившегося. Наибольшего эффекта, и весьма часто, достигают именно заблудившиеся. В августе под Киевом он был свидетелем, как три батальона покинули позиции, не вынеся адского грохота и треска, доносившихся из ближнего леса, — как выяснилось, это несчастный итальянец-берсальер, сам обезумевший от страха, метался меж деревьев на мотоцикле... Всё было возможно при той конфигурации фронта, какая сейчас сложилась к западу от Москвы, точнее — при отсутствии какой-либо конфигурации, когда противники не знают, кто кого в данный момент окружает. Так всё-таки — зря он поспешил или не зря?

В эти его размышления ворвался громкий и возмущённый спор его спутников, осуждавших панику с негодованием людей, смотрящих на чей-то страх со стороны. Следует, доказывал один, послать туда роту автоматчиков и кой-кого из этой сволочи перестрелять, тогда остальные опомнятся. Другой же говорил, что, напротив, все эти люди, потерявшие своих командиров, — ничейный резерв, который не худо бы присоединить к себе.

Генерал выслушал оба довода и сказал, легко перекрывая — и закрывая — этот спор своим звучным, глубоким, рокочущим басом:

— Когда русский Иван наступает — спиной к ненавистному врагу, — у него на пути не становись. Сомнёт!..

Он это сказал отчасти с восхищением, усластив последнее слово таким сложно-витиеватым добавлением, какие уже создали ему славу любимца солдат, первого в армии матерщинника. Спутники охотно смеялись, но сам он не рассмеялся, он удивился своему же неожиданному решению.

Ещё не зная, прикажет ли он сегодня продолжать наступление, он уже чётко себе уяснил, что против бегущих не выставит ни одного автоматчика, не истратит ни одного патрона. Лучше пропустить их мимо себя, а двинуться вдоль шоссе целиною. Есть даже некий оперативный смысл, своя изюминка — чтоб не было остановки в этом паническом бегстве.

— Что Иван опомнится и упрётся, этого немец ожидает, — произнёс он вслух. — А вот чего он не ожидает — кулака в рыло!

И это было первое правильное его решение.

Но пошла неожиданно метель, снег запáдал полого и так густо, что стало не видно лошадей у ограды, и он даже обрадовался поводу ещё потянуть с приказом. Никогда ещё в его военной жизни не было такой кромешной неясности. Никаких разведданных о противнике, кроме самых общих, к тому же устаревающих с каждым часом; рассчитывать он мог лишь на интуицию, которую за собою признавал, на везение, ну и на смелость, наконец, о которой кто-то из Мольтке, старший или младший, а может быть, и Клаузевиц, высказался неглупо: «Помимо учёта сил, времени и пространства, нужно же несколько процентов накинуть и на неё».

Он приказал, чтоб ему развернули карту. Поставив ногу на ступеньку паперти, он положил карту себе на колено и, сняв перчатку, огромной, костистой и красной от мороза кистью стряхивал с неё налетавший снег. Двое его спутников держали углы. Кажется, и они понимали, что он только тянет время, никаких подробностей карта ему не могла открыть, а то общее, что сложилось сейчас под Москвою, он видел и так. С севера, от Калинина, протянулась хищная, раздвоенная крабья клешня — танки Рейнгардта и Гёппнера; с юга, от Тулы, нацеливалась другая клешня, ещё того зловещее — танки Гудериана, и не могло быть решения безграмотнее, безумнее, чем ринуться в разинутый зев этих, готовых сомкнуться, клещей. Но — если б хоть иногда не выручало нас безумие и только трезвый расчёт был бы нашим единственным поводырём, жизнь была бы слишком скучна, чтоб стоило её начинать. Было нечто, рассеянное в воздухе, не подтверждаемое, казалось бы, никакими объективными признаками и всё же профессионалами угадываемое безошибочно, — нечто, обещающее перелом, как обещает весну запах февральского снега. В жизни генерала, совсем недавней, три месяца назад, было и худшее, чем сейчас: когда пришлось свою армию, которой он командовал тогда, и остатки чужих разгромленных армий вытягивать из Киевского «котла». Каким обещанием пахло тогда, что рассеяно было в воздухе? Нарастающее гудение земли, рёвы сотен моторов, дымом застланный горизонт — всё

это вместе называлось «Гудериан» и появлялось откуда меньше всего ждалось. Право же, появись оно вдруг из этой метели, он бы это не посчитал за чудо. Скорее чудом было, что удалось тогда вырваться, избегнуть стальной хватки клещей. Но ведь удалось же! Было везение, но было и умение не упустить его. Что ж, всего только и нужно сейчас — *повторить чудо*. И пришла робкая мысль — что ещё какое-то событие должно случиться сегодня, какое-то знамение будет ему подано, обещающее удачу. Только бы — не упустить...

Он давно уже смотрел поверх карты, на выщербленные малиновые кирпичи притвора, на ржавые двери с тяжёлым амбарным замком, на затёртую, еле различимую вратную икону. Вот что его тревожило: если всё-таки продолжать наступление, он должен будет пройти правым своим флангом мимо северной клешни, подставить бок, а затем и тыл под танки Рейнгардта. Сейчас в восьми километрах отсюда шёл бой за малую деревеньку Белый Раст, несколько дней назад отданную немцам. Два батальона моряков шли на смерть, чтоб только узналось — двинет Рейнгардт свои танки или примирится с потерей. Без этого, решил генерал, нельзя начинать.

В одиннадцать утра вынырнул из метели всадник, делегат связи, и доложил: Белый Раст взят, танки Рейнгардт не двинул.

Генерал не спешил что-либо сказать на это. Потому что известие ровно ничего не значило или почти ничего, он это понял в ту же минуту, как услышал. Больше хлопот доставляет противник, когда чего-то не делает, что, казалось бы, должен сделать, чем когда он действует — и можно оценить его действия и предсказать следующие. Не примирился, но и не двинул — потому ли, что не смог? Или какой-то иной был у него расчёт и отдать этот Белый Раст даже входило в его планы?

Делегат связи ждал, свесясь с седла и отогнув ухо на ушанке.

— Узнай-ка, — сказал генерал, — чей престол у этой церкви.

Лицо делегата не выразило удивления — но лишь оттого, что залубенело на ветру.

— Вопрос понятен?

Делегат вопрос повторил, но спросил в свой черёд, где это можно узнать.

— Об этом у начальства не спрашивают.

— Виноват, товарищ командующий. У кого *прикажете* узнать?

Генерал, одним краем рта, усмехнулся этой армейской хитрости.

— У любой бабки в деревне, на тридцать вёрст окрест. И можешь не проверять.

Делегат, взмахнув валенками, дал стремя коню и исчез в метели. Покуда он не вернулся, ни о чём существенном не было сказано ни слова, как будто ждали известия самого важного и главного.

— Узнал, товарищ командующий. И не у бабки, а у самого отца Василия в Лобне. Полагаю, оно надёжнее.

— Так чей же престол? — спросил генерал нетерпеливо.

— Мученика Андрея Стратилата.

— И с ним?

Делегат связи смотрел отупело и медленно багровел.

— Одного Стратилата он тебе назвал? А сколько же было вместе с ним убиенных?

— Виноват, вот число запамятовал.

— Две тысячи пятьсот девяносто три?

— Точно!

Все посмотрели на окаменевшее лицо генерала, непроницаемо поблескивавшее очками.

— Это имеет какое-нибудь значение? — спросил, улыбаясь, начальник артиллерии, низкорослый и толстенький, но ужасно воинственный в своих скрипучих ремнях, с «парабеллумом», оттягивающим пояс, и с биноклем на груди. Фамилия у него была — Герман. Многие начальники артиллерии любят носить фамилию Герман.

— Значения никакого, — ответил генерал. — Кроме того, что это мой святой. И моего отца тоже.

— А Стратилат — это что значит? — спросил начарт. — Фамилия?

— Ты, конечно, безбожие исповедуешь? — генерал на него покосился насмешливо-добродушно. — Ну, а я, грешным делом, немножко верую. Теперь же это не возбраняется? — и, широко, даже несколько театрально, себя перекрестив замёрзшей огромной кистью, сложенной в троеперстие, ответил на вопрос начарта: — Стратилат значит полководец, стратег.

— О, тогда это имеет значение. И очень большое. Разрешите поздравить?

— С чем же? Ведь мученик.

— Э! — сказал начарт. — А мы не мученики?

Начарт не знал, но генерал знал страшную историю Андрея Стратилата, преданного и убитого, со своим отрядом, теми, для кого он добывал свои победы. Предзнаменование было скорее ужасное по смыслу. «Значит, буду ранен», — решил генерал, но, не слишком устрашась будущей боли, понял, что этим лишь хотел бы отодвинуть худшее. Но ведь прежде, подумал он, Стратилат одерживал победы, а уж потом был предан и убит. В конце концов, может быть, это и справедливо, за чудеса приходится платить. Он спрашивал себя, готов ли он принести эту плату, но широкие его губы, деревенеющие от мороза, произнесли другое:

— Хотелось бы мне знать, что сейчас делается в башке у этого Рейнгардта!

Делегат связи, точно вопрос относился к нему, виновато развёл руками. Начарт поднял глаза к небу.

3

А быть может, в эту минуту мрачный Рейнгардт, одетый в русскую безрукавку, горбился перед низким окошком избы, складывая и перемножая тридцать пять градусов мороза с тридцатью пятью километрами, оставшимися ему до Московского Кремля. Он не потому не двинул свои танки, что потеря Белого Раста ничего для него не значила — так не бывает, когда уже в бинокль видишь само окончание войны! — а потому, что был связан с южной клешнёю планом одновременного охвата Москвы. Оси наступлений пересекались на Садовом её кольце: где-нибудь на Таганке, или на Самотёке, или на бывшей Триумфальной, теперь — Маяковского, танкисты Рейнгардта и Гёппнера должны были пожать руки танкистам Гудериана и тем завершить наконец столь затянувшийся блицкриг. Так было задумано — и так было близко!

Однако Рейнгардт знал: к этому дню движение немецких армий на всех фронтах приостановилось, и только Гудериан ещё каким-то чудом двигался. 3-го декабря он перерезал железную дорогу Тула–Москва и шоссе Тула–Серпухов, осталось развязаться с самой Тулой. «Тула — любой ценой!» — сказано было фюрером, но, видимо, было не в натуре

«капризного Гейнца» исполнять чьи бы то ни было предписания «любой ценой», было против его правил и всей его науки растратить свои танки в бесплодном ударе в лоб: за Тулу с её оружейными заводами русские были готовы заплатить каким угодно количеством жертв. Их бронебойщики и бутылкометатели умирали так охотно, точно бы смерть была для них единственной целью в жизни. И, насколько Рейнгардт мог понять, Гудериан не сделал того, чего хотели бы от него и фюрер, и русские, он только дал своим танкам ввязаться в бой, дал русским послушать рёв двухсот моторов, но встретились они — с его пехотными, конными и мотоциклетными частями, а танки он высвободил, как только он один умел, и длинным изогнутым рейдом обошёл Тулу с востока. Она оказалась в мешке, и мешок этот всё растягивался, и, кажется, Рейнгардт уже постигал своевольный замысел Гудериана: не Тула ему была нужна, а — Кашира. О, разумеется, Кашира, это чуть не вдвое ближе к Москве! При обстоятельствах чудесных, какие умел создавать или использовать «Быстроходный Гейнц», это мог быть один переход к окраинам русской столицы, один боекомплект, одна заправка баков, один суточный рацион экипажам. В любой час могла прийти весть о взятии Каширы, и это было бы сигналом Рейнгардту — начать и ему последний бросок. И вот этого часа Рейнгардт ожидал с ужасом.

Его танки, не двигаясь с места, жгли ночами безостановочно последнее горючее, иначе б к утру не завелись моторы. В рубашки охлаждения вместо незамерзающего глизантина залита была вода — через час-другой остановленные моторы можно было считать погибшими. А ещё потому нерассчитанно много потрачено было горючего, что давно стёрлись шипы на траках гусениц, и буксование по гололёду стоило двойного, тройного расхода. Несколько дней назад на станцию Калинин пришёл эшелон, гружённый «особо ценным грузом». Не разбитый русской авиацией, не подорванный партизанами, он привёз — вместо горючего, вместо глизантина, вместо новых гусеничных траков, вместо снарядов — отёсанные плиты красного финского гранита: на памятник Адольфу Гитлеру в центре поверженной Москвы...* Так пожелать ли удачи Гейнцу или лучше бы о ней не услышать?

---

* Этими плитами облицованы в Москве, на ул. Тверской, цоколи зданий Центрального телеграфа и соседних.

Впрочем, неизвестно, был ли бы Рейнгардт более мрачен или даже обрадован, если бы знал истину. В тот самый день, когда генерал Кобрисов, выслушав невесёлый доклад комдива Свиридова, сказал ему: «Ты знаешь, мне твоя оборона нравится», – и, прихватив с собою Шестерикова, так легкомысленно отправился в гости на французский коньяк, в этот самый день – да не в этот ли сумеречный час? – за двести километров к югу, за Тулой, накренясь на обледенелом склоне и также лишённый шипов, неудержимо сползал в овраг командирский танк Гудериана. Взвихренным снегом застлало смотровые щели, и долгое скольжение вниз в белой слепоте было мучительным, как тошнота. Ещё тягостней, унизительней стало на душе Гудериана, когда танк наконец остановился – на самом дне. Ни словом не попрекнув водителя – прусская традиция предписывала адресовать своё раздражение только вышестоящему, никогда не вниз! – он вылез через башенный люк и побрёл по сугробам, ища, где бы выбраться. Танк, с задранной пушкой, медленно полз за ним.

А всего только час назад он был на позициях егерей своего 43-го армейского корпуса и возвращался оттуда обнадёженный, в душе его что-то пело, душа была тронута едва не до слёз, но для записи в дневнике отстаивалось суровое, торжественное, римское: «Солдаты узнавали меня и приветствовали радостными возгласами».

Так оно и было. Этот его танк, выкрашенный белилами, лишь с жёлтыми крестами и чёрными именными литерами «G» на бортах, с качающимся над башней хлыстом антенны, так же медленно полз по дну неглубокой лощины – быть может, руслом вымерзшего ручья, – и с обеих сторон с пологих склонов сбегались, сходились к нему солдаты. Стоя по пояс в люке, он оглядывал их лица, поднятые к нему с надеждой и вопросом, сам при этом немалым усилием сохраняя лицо таким, какое они привыкли видеть в лучшие дни, – крепкое лицо ещё моложавого озорника, лукавое, но неизменно приветливое. А между тем он замечал и нечто кроме их лиц – грязных, заросших щетиной, тронутых обморожением, с конъюнктивитными красными глазами, – он видел разбросанные вокруг заметённые холмики, выглядывавшие из-под снега подбородки и носки сапог, иной раз ногу, согнутую в колене, скрюченные пальцы, засыпанные снегом глазницы. Случилось предельное и, наверно, необратимое: германцы перестали

хоронить своих покойников! Их только оттаскивали от траншей — сюда, в эту лощину. Он ехал и топтал гусеницами кладбище!

Но, кажется, живые были всё-таки рады ему, он слышал возгласы, какие и хотелось ему услышать:

— Старик пожаловал...

— Молодчина, выглядит, как всегда...

— А может, не так всё и плохо?..

— Сейчас он скажет... Кто же, если не он?

— Гейнц, не скрывай от нас ничего!

Они перестали верить своим офицерам, они верили только ему. Это был *его* батальон, в котором давным-давно, ещё лейтенантом, он командовал ротой; здесь по традиции хранились его пилотка и пистолет, и он был произведён в «почётные солдаты»; здесь каждый день в *его* роте выкликал на поверках фельдфебель: «Гудериан Гейнц!» — и так же зычно откликался правофланговый: «Отсутствует по уважительной причине: командует нашей Второй танковой армией!» Эти егеря и он считались «Kriegskameraden» *, и значит, они могли обращаться к нему на «ты» и спрашивать о чём угодно. Но, Боже, что сделалось с его батальоном! Это невозможно было признать за войско! Только редкие в полной форме — то есть в кургузых шинелишках, в каменных сапогах, уши прикрыты вязаными подшлемниками, большинство же — в пилотках, завёрнутых на щёки, или в русской драной ушанке, или обмотанные бабьим платком, в крестьянских тулупах или в женских шубках, кто в валенках, кто в резиновых галошах, набитых тряпьём и бумагой, кто даже в лаптях с онучами... Грязные, мучимые вшами, греющие руки под мышками, припрыгивающие с ноги на ногу, в глазах что-то собачье, слезливое, молящее, — так выглядели герои Польского похода, боёв на Маасе и при Дюнкерке, победители Бреста, Смоленска, Орла!

Он приказал водителю остановиться, сорвал с головы шлем с очками-«консервами» и чёрными капсулами ларингофона, стянул подбитые мехом перчатки, положил руки на обжигающую броню. Он знал, как говорить с солдатами, но нужно было, хотя бы отчасти, почувствовать то же, что и они.

---

* Боевые товарищи (*нем.*).

Голос прежнего Гудериана разлетелся над ними, превратившимися в смердящий сброд:

— Солдаты! Я старался вести вас дорогой побед, и вы мне дарили эти победы. Я счастлив, что командую вами! Выше головы, нам есть чем гордиться. Бывало нам и пожарче, чем в этих русских снегах, ведь правда? Но ни про одну нашу победу никто никогда не мог бы сказать: «Им повезло». А вот вашему противнику, — он протянул руку туда, где находились не видимые ему позиции русских, — ему просто везёт сейчас, везёт отчаянно. Но это не значит, что счастье покинуло нас навсегда. Ещё три дня — и всё переменится, только нужно сделать одно, последнее усилие. Но, солдаты... Генерал может потребовать от вас лишь того, что возможно, что в пределах человеческих сил, о невозможном он вправе только просить. Вы измучены, вы заслужили отдых, и я обязан вас отвести в тыл. Но я не могу этого, мне сейчас некем вас заменить. И вот — ваш старый Гейнц просит вас...

Он оглядел всю толпу и ничего не прочёл на их лицах, задубевших от мороза, тупых, не способных выразить ни страха, ни уныния, ни даже покорной готовности умереть.

— ...просит вас, — повторил он, прижав руку к груди, — покуда ваши товарищи наступают на другом участке, ещё на три дня остаться в окопах. Подумайте хорошенько: быть может, кто-то из вас не доживёт до четвёртого дня. И любого, кто не захочет остаться, я отпущу. У меня язык не повернётся упрекнуть его. Это всё, солдаты.

Он слушал их молчание, вполне сознавая, что только оно и могло быть ответом на его призыв к последнему усилию. Мороз сжигал ему щёки и уши, леденящий ветер шевелил волосы и стягивал кожу на голове. Ему стоило усилий не вздрогнуть, не поёжиться под меховым комбинезоном.

Но какое-то движение произошло в толпе, чуткое его ухо расслышало некую перемену. И вот чей-то хриплый голос произнёс то, чего так напряжённо он ждал:

— Какие могут быть разговоры, Гейнц. Конечно... Мы останемся.

Как будто общий вздох облегчения прошёл по толпе, она смыкалась теснее вокруг его танка, и, сдавленные, вибрирующие от холода, их голоса звучали для него слаще любой музыки:

6 — 3572

— Раз ты просишь, Гейнц, значит надо... Правда же, все, как один, останемся?

— Ты мог бы и не просить, а потребовать. Ты же немец, ты знаешь святое слово «verboten»*.

— Мы постараемся, Гейнц! Мы выбьем русских из их позиций!

— Я этого не прошу, — отвечал он, почти никого не видя, чувствуя в горле запирающий комок. — Только в своих окопах. И только на три дня. За это время придёт пополнение, прибудут снаряды, горючее, вы наденете зимнее обмундирование. И отдохнёте в тепле.

— Не слишком ли много обещаешь, Гейнц?

Это послышалось сзади, и он обернулся — резко и гневно. Некто — маленький, чернобородый и носатый, похожий на итальянца, закутанный поверх шинели в рваное одеяло, — сердито хмурясь, зажав автомат под мышкой, простирал руки к створкам жалюзи, откуда веяло теплом двигателя.

Гудериан, рассмеявшись, сверкая зубами, показал на него рукою.

— Этому уже ничего не надо. Согрелся у моей задницы.

Тот, вздрогнув, убрал руки, смутился, но все уже смотрели на него с чем-то похожим на улыбки, и он тоже попытался улыбнуться.

— Как тебя зовут? — спросил Гудериан.

— Рядовой Вебер, господин генерал-полковник.

— Господин Вебер, зачем такие строгости? Меня зовут Гейнц. А тебя?

— Ну, Фридрих... Фридрих Вебер.

— Что ты говоришь! Неужели — Фриц?

Тот, ещё больше смутясь, согнав улыбку, спросил с обидой:

— Не понимаю, что тут смешного?

— Ничего. Мой отец был Фриц. И мой брат — Фриц. Я смеюсь над тем, как тебя называют русские: «мороженый Фриц». По их понятиям, ты уже не вояка. Что скажешь на это?

И этот коротышка, такой с виду тщедушный — но, видно, из тех, кто показывает характер и в бою, и в постели, — вдруг закричал, трясясь от ярости, подняв руку со скрюченными пальцами, никак не сжимавшимися в кулак:

---

* Запрещено (*нем.*).

— Прикажи атаковать, Гейнц!
— Ну-ну, успокойся...
— Ты увидишь сегодня «мороженого Фрица»! Десять русских покойников, тёпленьких, я тебе обещаю!..

Нет, это всё-таки было войско. Тевтонский дух под ровными рядами глубоких касок, под штандартами на парадном плацу, в гулком шаге марширующих легионов — это чересчур просто!.. Они этот дух явили — за пределом отчаяния, вмерзая в сугробы рядом с мертвецами; они уже с мыслью простились когда-нибудь вернуться к жизни, но при первом же к ним призыве встрепенулись, воспрянули, как боевые кони при пении горна, и вот уже шли гурьбою за его танком и требовали, потрясая оружием:

— Поведи нас хоть сейчас, Гейнц!
— Мы согреемся в атаке!
— Помнишь, как было под Дюнкерком?
— А как форсировали Березину? То ли ещё было!

...Что сказали б они сейчас, увидя, как он бредёт по дну бесконечного оврага, указывая водителю, где положе, и уже заранее зная, что опять ничего не выйдет! Белый танк они бы, пожалуй, не разглядели в темноте, а лишь его самого в чёрном комбинезоне, кому-то куда-то указывающего рукой, — зрелище, наверно, диковинное, но и жалкое; тот, «мороженый», хорошо бы посмеялся в отместку.

Оставив все попытки, он забрался в танк и приказал выключить двигатель, а люк держать открытым, чтобы не упустить какой-нибудь случайной машины. Он не решался радировать о своём несчастье, десятки слухачей услышали бы его просьбу, которую нельзя было даже зашифровать, и, разумеется, разнесли бы по всему фронту. Скорчась в остывающей стальной коробке, боясь задремать и время от времени взбадривая экипаж, он всё возвращался к тем егерям и думал о том, что солдатское обещание, которое он вырвал сегодня — нет, выманил! — из их обмерзающих уст, его самого повязало путами и давит на него убийственной тяжестью. Генерал, повелевая солдату умереть, по крайней мере не обманывает его. Но он трижды убийца, когда обещает победу, в которую сам не верит.

Близко к полуночи случайная машина связи подобрала их и доставила в штаб 2-й танковой армии, расположившийся в Ясной Поляне, имении Толстого. Белые башни ворот — как и впервые, когда он в них въезжал, — показались ему бастионами, которые всякий раз приходится

6*

брать заново, и, поднимаясь к усадьбе аллеей могучих лип, он чувствовал, что поднимается к самому значительному за всю его жизнь решению.

Адъютант и офицеры штаба, ждавшие его с докладами, помогли ему стащить комбинезон, и он поужинал с ними за семейным столом Толстых, отогреваясь коньяком и рассказывая со смехом о происшествии в овраге. Он знал, что об этом будут рассказывать в армии его словами и подражая его интонации. С тем он отпустил их спать, попросив, чтоб они, не зовя денщиков, убрали со стола и заменили все четыре свечи в подсвечнике. Кроме того, он заказал связь с командующим группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалом фон Боком — как только представится возможным.

Несколько минут он просидел неподвижно, прислушиваясь к шорохам, скрипам и жалобным вздохам старого дома, к вою метели и окрикам патрулей, проникавшим сквозь плотные светомаскировочные шторы, затем встал, подошёл к стенному зеркалу в потресканной овальной раме орехового дерева. Зеркало, в которое, наверное, любили смотреться дочери Толстого, отразило сухощавую, но и достаточно плотную фигуру 53-летнего генерал-полковника германских бронетанковых войск, в сером мундире с чёрным плюшевым воротником, с Рыцарским крестом на шее и особо ценимой наградой — дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, начавшее стареть мальчишеское лицо с серо-голубыми глазами и небольшими, пшеничного цвета, усами. Сейчас, когда лицо не для кого было делать, не выглядело оно ни улыбчивым, ни лукавым, а измученно-серым. Вглядываясь в себя придирчиво, как женщина, он его умыл рукою, но только резче обозначились набрякшие потемнения под глазами. Затем рука опустилась, расстегнула две пуговицы мундира, проникла за обшлаг к левой стороне груди. Никто во всей армии, даже из самого близкого окружения, не знал, что бравый Гейнц, казавшийся воплощением здоровья духа и тела, в сущности, очень больной человек, подверженный внезапным обморокам и сердечным припадкам. Пока ещё эту железную, но одетую в мягкое руку, сжимавшую сердце пугающим теснением, удавалось разжать двумя рюмками коньяка. Но рано или поздно следовало всё же открыться врачам. Он собирался это сделать в Москве. Но из сегодняшнего оврага Москва ему показалась уж слишком далёкой.

Взяв тяжёлый подсвечник, он перешёл в кабинет хозяина, к письменному столу, которые были теперь его кабинетом и его рабочим столом. Решение было ясно и почти готово, но, страшась его, отодвигая его в сознании, он решил прежде написать письмо жене. Он ей пожаловался на теснения в сердце, о которых она уже знала, описал подробно свои ощущения и попросил, чтоб она осторожно, без огласки, посоветовалась с врачом. И далее, почти без перехода, обрушил на неё жалобы совсем не медицинского свойства, точно бы фрау Маргарита Гудериан, его Гретель, одна во всей Германии могла ему и в этом помочь. Впрочем, годы спустя, называя три вещи, которые «делают нашу земную жизнь священной», упомянет он — любовь к женщине, и это, несомненно, о ней, Маргарите Герне, с которой встретился двадцати пяти лет от роду, счастливым лейтенантом, командиром егерской роты; и особо оценил её способность быть *верной подругой солдату*, — кому же ещё и было адресовать горестные признания?

«Мне самому никак не верится, — выводила его рука, — чтоб за два месяца можно было так ухудшить ситуацию, которая казалась почти блестящей!..» Ей предстояло узнать, что «наше командование слишком натянуло тетиву лука, оно требует от армии выполнения задачи, невыполнимой при теперешнем состоянии дорог, погоды, снабжения частей горючим, техникой, зимним обмундированием...» К ней, наконец, посылался вопль души, говоривший и о том, что её Гейнц знает цену себе, своему умению, и о том, что резервы его умения исчерпаны: «Не могу же я один опрокинуть весь Восточный фронт!»

Но — откуда же взялось малое это словечко «почти», которое сама рука вывела и не решалась зачеркнуть? Не казалась ли ситуация блестящей — без всяких «почти» — в начале вторжения, хоть было известно заранее, и ему больше, чем кому бы то ни было, что русский «танковый аргумент» впятеро превосходит немецкий? «Зато, господа, — так ему передали слова фюрера, — у нас есть Гудериан!» И как кружила голову эта легкомысленная, в сущности, похвала!.. «Мой дорогой генерал-полковник, сколько дней вам понадобится разделаться с Минском?» — «Пять-шесть, мой фюрер». — «Значит, я могу быть уверен, что вы там будете по крайней мере 28-го?» — «Да, мой фюрер». Он ошибся — на один день: его танки и танки группы Гота

были в Минске 27-го. Блицкриг с опережением на один день, пусть даже с запозданием на неделю, – разве не блестяще?

Но ещё весной, когда в Германии в последний раз побывала военная комиссия русских и они, осматривая заводы Порше, спрашивали недоверчиво: «Неужели T-IV ваш самый тяжёлый танк?» – закралось подозрение, что не в одном численном превосходстве дело. И уже в конце июня разнеслась весть о новом русском танке, превосходившем всё, что знало до сих пор танкостроение. В это не хотелось верить, но первое же знакомство с пленённым «русским Кристи»* под скромным индексом «Т-34» все сомнения опровергло. Поразило прежде всего изящество форм, наклонные плиты корпуса и башни, круглый её лоб. Ни одной вертикальной плоскости, и какая приземистая посадка, и какие широкие, в полметра, гусеницы! – как не додумались до этого ни Кристи, ни Фердинанд Порше, ни он сам, наконец, кого считают создателем бронетанковых сил Германии! Ему не терпелось испытать «тридцатьчетвёрку»; сев за рычаги, он погонял её по полю, изрытому окопами и воронками, пробил кирпичную стену, пострелял из пушки и обоих пулемётов – башенного и курсового. Потом её расстреливали из танковых пушек – она сопротивлялась активно, отсылая снаряды в небо, от попаданий под прямым углом оставались одни вмятины; только ударом сзади, в радиатор, удалось её подорвать. Танк умер, но не загорелся – и значит, спас бы свой экипаж, – ведь он работал не на бензине, от которого немецкие танки полыхали кострами. Подойдя к этой чудо-машине, положив руку на тёплую броню, он только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей растерянность, ошеломление: «На таком лимузине я бы объехал весь мир!»

Это нельзя было превзойти, это – увы! – нельзя было даже повторить. Немецким изобретением – дизелем – русские распорядились, как не смогли сами немцы: в алюминиевом исполнении, из некоего загадочного сплава, он получился компактным и лёгким и достаточно охлаждался в корме танка. Безвестному русскому конструктору уда-

---

* Уолтер Кристи (Walter Christie) – американский конструктор, заложивший принципиальные основы танкостроения. Немцы называли «русскими Кристи» советские танки ввиду слишком откровенного заимствования его конструктивных решений. В отношении «Т-34» это несправедливо.

лось преодолеть то, что составляло нелепый, чудовищный парадокс Германии: лёгкие бензиновые моторы на танках и чугунные дизели — на самолётах, где они ещё могли охлаждаться в скоростном потоке воздуха.

Бывая несколько раз в России, ещё в двадцатые годы, в составе миссии генерала Лютца, он себе не составил впечатления, что русские смогут так вырваться вперёд. Они охотно показывали свои заводы и полигоны, он присутствовал на манёврах в Казани, бывал и в Туле, по этому шоссе, что в двух километрах отсюда, неслись тогда кавалькадой машины, и майор Гудериан с командиром механизированного полка П. так мило, откровенно беседовали — оба, конечно, не предвидя, что когда-нибудь генерал-полковник Гудериан встретит и обнимет генерал-лейтенанта П., угодившего к нему в плен под Киевом. У вынужденного гостя за дружеским ужином он и спросил напрямую, как создавался русский танк и почему немцы о нём не знали. «Всё очень просто, Гейнц. Его делали враги народа — значит, делали на совесть и, конечно, подпольно». — «То есть?» — «Заключённые. В особом цехе паровозного завода в Харькове. Ваши агенты искали небось на Тракторном?.. А имя русского Кристи — Кошкин. Кажется, ему пришили троцкизм, а может быть, даже покушение на Сталина. Это, в данном случае, не важно. А важно, что у него были идеи и три хороших помощника. Многое приходилось делать впервые — и, конечно, не обошлось без русской смекалки. Когда имеешь крупповскую сталь, не задумываешься о формах; у них такой стали не было, а требовалось обеспечить непробиваемость — вот откуда наклонные плиты. Алюминиевый дизель — тоже от нужды: ты себе представляешь, сколько бы весил чугунный — при мощности в пятьсот сил, да ещё проблема охлаждения!.. Пришлось изобрести новый сплав. Тут главное — стимул: как-никак дополнительное питание и каждый месяц свидание с женой, сутки в отдельной камере. В случае успеха обещали освобождение». — «И они его получили?» — «Кроме Кошкина. Он освободился сам. Слишком волновался на испытаниях, сердце не выдержало...»

Так этот безвестный Кошкин из своего заточения, теперь уже — из могилы, достал-таки его, известного всей Европе, с Рыцарским его крестом и дубовыми листьями. Так четверо узников, вдохновляемых мечтой о свободе и о второй миске похлёбки, сотворили настоящее танковое

чудо и заставили сжаться в тревоге сердце Гудериана! «Истинно говорится, — сказал он П., — не камнем и не железом крепка тюрьма. Она крепка арестантами. Пожалуй, рухнет она — без одного хотя бы узника-патриота». — «Не сомневайся, Гейнц, — ответил П., усмехаясь. — Кошкин у нас не один. У нас таких патриотов — сколько понадобится».

(Разговор о патриотизме продолжился после ужина. «Изба, где тебя поселили, Миша, — сказал Гудериан, — не имеет запоров. Часовые, случается, засыпают на посту. В какой стороне восток, можно определить по звёздам, а впрочем, я подарю тебе компас. И можешь взять с собою двоих». П. размышлял минуты две — и отказался: «Кто же поверит, Гейнц, что я, генерал, ушёл от Гудериана!» — «И ты, патриот, предпочитаешь чужую тюрьму?» — «Я предпочитаю тюрьму, — отвечал П., — трибуналу и стенке. Спросят, почему не разделил судьбу Кирпоноса*, — и что я отвечу?»)

Но ведь были же — хотя всё больше вводилось в бой этих «тридцатьчетвёрок», — были «котлы» Белостокский, Киевский, Брянский, были за полгода три миллиона русских пленных, из которых он мог половину отнести на свой счёт. Что же это за страна, где, двигаясь от победы к победе, приходишь неукоснимо — к поражению?

Между тем он не мог не помнить, что на этом самом столе, за которым сидел он, лежала некогда рукопись, в которой объяснялось, что это за страна и откуда же черпает она такую силу сопротивления, когда уже всему миру и самой себе кажется поверженной и разбитой. Готовясь к вторжению, он читал эту книгу в числе материалов, относящихся к походам в Россию Карла Шведского и Бонапарта, разыскал её и здесь, в библиотеке усадьбы, но именно теперь, когда она его больше интересовала, он мог читать лишь урывками, по нескольку минут перед сном. Всё же одно место, подводившее итог Бородинскому сражению, было у него заложено муаровой ленточкой, и он к нему возвращался и возвращался:

«Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно,

---

* Кирпонос Михаил Петрович (1892—1941) — генерал-полковник, командующий Юго-Западным фронтом. В окружении под Киевом, согласно официальной версии, погиб в бою, по слухам — застрелился.

но все генералы, все... солдаты французской армии... испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв ПОЛОВИНУ ВОЙСКА, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения... Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знамёнами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, — а победа нравственная была одержана русскими под Бородиным... Французское войско ещё могло докатиться до Москвы, но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть... Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника».

Из этих строк, так энергично звучавших на немецком, но, быть может, утративших в переводе свой подспудный, мистический смысл, он хотел извлечь урок для себя — и не мог извлечь, хотя шёл так близко от дороги Наполеона и несколько раз её пересекал. Он не испытывал наложения чьей бы то ни было руки, сильнейшей, чем его рука, не ощущал и нравственного превосходства советских генералов, так щедро бросавших лучшие силы на убой, без расчёта и смысла, слишком оправдывая известное положение Альфреда фон Шлиффена, что и побеждённый вносит свою лепту в дело твоей победы. Отдавая должное русским солдатам, их доблести, спокойной жертвенной готовности расстаться с жизнью, он в то же время твёрдо полагал, что они, в отличие от немцев, безынициативны, страшатся любой неясности, ведут себя непредсказуемо даже для них самих. То, поддавшись необъяснимому страху, сдаются овечьим стадом или бегут, не разбирая дороги, а то вдруг отчаянная горстка их вцепляется намертво в клочок земли, не стоящий не только их жизней, но одной капли крови. О защитниках Брестской крепости, сражавшихся только потому, что не могли поверить в бегство своей армии и не понимали, в каком они глубоком немецком тылу, об этой крепости, за которую фюрер всё укорял его, потому что, видите ли, обещал Муссолини дать обед в её стенах, он, Гудериан, говорил: «Значение этой крепости неизмеримо вырастает, коль скоро мы ею интересуемся, и падает до нуля, когда перестаём интересоваться.

Нужно у одного её входа поставить пулемётное гнездо и прожектор и у другого входа пулемётное гнездо и прожектор, самим же двигаться дальше».

Некоторые военные страницы Толстого он не мог читать без чувства неловкости за автора. Пренебрежение к «подхваченным кускам материи на палках» или к цене пространства, где размещены войска, ещё можно было простить непрофессионалу, нельзя было ни простить, ни понять его упрямое непризнание войны как искусства, а не только бедлама, хаоса, в котором никто ничего предвидеть не может, а поэтому никакой полководец на самом деле ничем не руководит. Сколько страсти было потрачено — доказать, что Наполеон не руководил и не мог руководить ходом сражения при Бородине! И при этом автор забыл начисто, какой комплимент он уже отпустил Наполеону, когда описывал, как он с ходу, ещё до начала сражения, атаковал конницей Шевардинский редут и тем заставил русских передвинуться к полю, которое «было не более позицией, чем любое другое поле в России» и на котором «немыслимо было удержать в продолжение трёх часов армию от совершенного разгрома и бегства». Да после такого трюка, выигрыша позиции, Наполеону и не было нужды руководить самому, он мог всё препоручить своим маршалам, а сам идти играть в карты или пить свой пунш. Ну, и если быть справедливым, то и своим названием Бородинская битва обязана ему, а то б она была — Шевардинская. Однако ж у автора не поднялась рука написать, что битва была *выиграна* Бонапартом — ещё за двое суток до того, как она началась, — со скрежетом зубовным он признал только, что она была *проиграна* глупым русским командованием. Граф, верно, придерживался того расхожего мнения, что из двух генералов один побеждает просто потому, что должен же кто-то оказаться глупее. Остроты подобного рода не трогали Гудериана, знавшего к ним поправку: подозрительно часто побеждает как раз тот, кого заранее считали глупее.

Но один эпизод по-настоящему трогал его и многое ему объяснял — то место, где молоденькая Ростова, при эвакуации из Москвы, приказывает выбросить всё фамильное добро и отдать подводы раненым офицерам. Он оценил вполне, что она себя этим лишила приданого и, пожалуй, надежд на замужество, и он снисходительно отнёсся к тому, что́ там ещё говорится при этом: «Разве ж

мы немцы какие-нибудь?..» Что ж, у немцев сложился веками иной принцип: армия сражается, народ — работает, больше от него никогда ничего и не требовалось. Вот что было любопытно: этот поступок сумасбродной «графинечки» предвидел ли старик Кутузов, когда соглашался принять сражение при Бородине? Предвидел ли безропотное оставление русскими Москвы, партизанские рейды Платова и Давыдова, инициативу старостихи Василисы, возглавившей отряд крепостных? Если так, то Бонапарт проиграл, ещё и не начав сражения, он понапрасну растратил силы, поддавшись на азиатскую приманку «старой лисицы Севера», на генеральное сражение, которое вовсе и не было генеральным, поскольку в резерве Кутузова оставались главные русские преимущества — гигантские пространства России, способность её народа безропотно — и без жалости — пожертвовать всем, не посчитаться ни с каким количеством жизней. И что же, он, Гудериан, этого не предвидел? Где же теперь искать *его Бородино?*

Ведь он всячески избегал этих азиатских приманок, встречи грудь с грудью — как прежде всего остановки в движении; без движения не было «Быстроходного Гейнца», теряли цену его манёвры охвата, клещей, рассекающие удары, быстрые рокадные перемещения, знаменитое его «вальсирование», «плетение кружева» — не теряя при этом контроля над всеми своими танками, держа их всегда «в кулаке, а не вразброс». А приманка спокойно дожидалась его — Киев, поворот армии на юг, к Лохвице, где его танкисты встретились с танкистами фон Клейста и своим рукопожатием замкнули «котёл» с пятью русскими армиями. Более чем полмиллиона пленных — разве не блестящая победа? Но блицкриг имеет одну особенность: он не терпит изменений, даже изменений к лучшему. Было гибельным уходить с главного направления, на Москву. Почему же на том совещании в Борисове он согласился с фюрером, который вдруг перестал интересоваться Москвой и всё внимание обратил на Киев и Ленинград? Почему оставил попытки переубедить, не пригрозил отставкой? Потому что — солдат? Нет, этого мало сказать. Ему и самому захотелось уйти с Ельнинского выступа, где русские оказали сильнейшее сопротивление и где как раз назревало *генеральное.* Ему и самому казалось, что «сбегать» на 450 километров к югу и вернуться — ещё успеется до зимы.

Не успелось. И не без оснований укорял его тогда Гальдер*, этот сухарь, штафирка, профессор, в жизни не командовавший даже полком, к тому же ухитрившийся не присутствовать на совещании:

— Как вы могли, мой дорогой Гудериан, согласиться на это? Ведь вы были против такого решения. На какой крючок вас поддели?

Было дико и обидно слушать это Гудериану, который, единственный из генералов, осмелился возражать фюреру. Но именно потому, что это было дико и обидно, он, вскипая, отвечал надменно и заносчиво, а главное, уже почти убеждённо:

— Я два часа говорил с фюрером наедине, и он сумел меня переубедить. Я обещал ему, и я исполню обещанное как можно лучше. Я сделаю невозможное возможным.

— Но в таком случае, мой дорогой Гудериан, сами же и планируйте вашу операцию. Позвольте Генеральному штабу к ней пальцем не прикоснуться. Мы не занимаемся наступлениями, которые относятся к категории невозможных.

— Мой дорогой Гальдер, — отвечал Гудериан, уже взяв себя в руки, улыбаясь своей знаменитой улыбкой солдата, славного парня, — это как раз то, о чём я всегда мечтал. Чтоб Генеральный штаб занялся посильным для него, а к моим операциям пальцем бы не прикасался.

Сухарь и штафирка был, однако, прав — разумеется, не от избытка ума, а от унылого житейского понимания, что этой стране всё на пользу, а прежде всего — её бедность, её плохие дороги, её бесхозяйственность и хроническое недоедание в деревнях, недостаток горючего, мастерских, инструмента, корма для лошадей. Теми шестьюстами с лишним тысячами пленных русские оплатили главное для себя — время, они купили себе и дождливую осень, и нестерпимо холодную эту зиму, всю дьявольскую полосу невезения, в какой сейчас оказались немцы. И хорошо, если только время утеряно. А если — мужество? А если даже смысл вторжения?

«Я только солдат», — говорил он о себе, но чем-то должна же была вдохновляться его энергия, не одними же мечтаниями о фельдмаршальском жезле, и она вдохновля-

* Франц Гальдер — начальник Генерального штаба сухопутных войск. После 20 июля 1944 года Гитлер на эту должность назначит Гудериана.

лась сознанием, что серой чуме большевизма не сможет противостоять дряхлеющая Европа, предел поставит — лишь сильная духом, отмобилизованная Германия. И он чувствовал себя остриём меча, взнесённого отрубить все девять голов гидры, но, к сожалению... к сожалению, неповоротливую его рукоять держали другие. И не им это было заведено: генералы делают войну, политики делают политику. Как же втолковать тем господам в Берлине, которые не любят выглядывать из мира своих иллюзий, из скорлупы святого неведения, что здесь, в России, приходится заниматься и тем, и другим, и даже неизвестно, чем в первую очередь, приходится — страшно сказать — переосмысливать и самые цели войны? Как бы, к примеру, они отнеслись к словам старого царского генерала, которого он безуспешно приглашал в бургомистры Орла:

— Вы пришли слишком поздно. Если бы двадцать лет назад — как бы мы вас встретили! Но теперь мы только начали оживать, а вы пришли и отбросили нас назад, на те же двадцать лет. Когда вы уйдёте — а вы уйдёте! — мы должны будем всё начать сначала. Не обессудьте, генерал, но теперь мы боремся за Россию, и тут мы почти все едины.

При этом он был в мундире со всеми регалиями, пронафталиненном и со складками от двадцатилетнего хранения на дне сундука. И не отказывался поведать, как все эти годы он трясся от страха, что его генеральство откроется.

В те же дни было доложено Гудериану, что в камерах и подвалах городской тюрьмы найдены сотни трупов — узники, расстрелянные за день или два до падения города. Он приказал выяснить, кто эти люди и за что казнены. Ему пришлось, и не в первый раз, убедиться, что этот вопрос «За что?» — конкретный для любого мясника из гестапо — здесь звучит безнадёжной абстракцией. Ни один из казнённых не имел смертного приговора. Были чаще всего с пятилетними сроками, у некоторых они уже кончались, были и вовсе не имевшие приговора, только ещё подследственные — в большинстве по делам о «вредительстве», «антисоветских заговорах», «контрреволюционных намерениях»...

Он приказал выложить все трупы рядами на тюремном дворе и открыть ворота для всего города. Он и сам явился туда, назначив себе пятнадцать минут, и терпеливо

их отстоял у стены, близкий к обмороку. Всё же он переоценил свои нервы, это оказалось ещё ужасней, чем он ожидал, чем если бы эта массовая бессмысленная казнь совершалась на его глазах. Боевого генерала не поразишь видом и запахом мёртвых тел, даже и в бо́льших количествах, но до сих пор он их видел на полях боёв, в безмолвии и покое уже свершившегося и необратимого. Невыносимее было видеть — живых, когда они в припадке горя и какой-то сумасшедшей надежды пытались что-то вернуть, оживить родные лица, уже тронутые разложением, лаская их, исцеловывая, обливая слезами. Но что потрясло его ещё сильнее, было ужасней и смрада, и нескончаемого, неутихающего вопля — то, как смотрели на него самого: со страхом и ясно видимой злобой. Будто и он был к этому причастен или тем виноват, что мёртвые глухи к отчаянным мольбам откликнуться. Явно, от него требовали уйти, и он бы ушёл немедля, но дело касалось армии, за которой не было вины, и люди должны были это понять!

Между рядами, щедро крестя убитых и живых, похаживал священник в лиловой рясе, полненький, сивогривый, потёртый русский батюшка, по всему видать — выпивоха и чревоугодник, но душою жалостливый и любвеобильный. Он всех оплакивал щедрыми непросыхающими слезами, то и дело утирая глаза и нос подолом рясы. Гудериан велел подозвать его и спросил:

— Почему ваша паства так на меня смотрит? Кто-нибудь им сказал, что это сделали мои танкисты?

Покуда переводили его вопрос, батюшка, всхлипывая и ёжась от страха, смотрел снизу вверх на стройного генерала в чёрном плаще и фуражке с высокой тульей, на которой серебряный орёл держал в когтях венок со свастикой. Кажется, все слова застряли у него в горле от вида могучих охранников, немедленно, как только он подошёл, направивших на него винтовки. С этими парнями, тупыми — но, впрочем, готовыми умереть за него, — Гудериан ничего не мог поделать, они выполняли приказ фюрера, они головой отвечали за сохранность танкиста номер один.

— Говорите, — сказал Гудериан, — они вам ничего плохого не сделают. Но лучше, если оставите в покое вашу рясу.

Батюшка в ответ закивал и, не удержавшись, икнул от слёз.

— Господин генерал, вы бы не хотели, чтоб вам отвечали грешные мои уста, но ответила бы душа, потрясённая горем?

— Так, — сказал Гудериан. — Только так.

— Никто не думает, что это сделали ваши танкисты. Но может быть, не случилось бы этого, если б не ваши танки?

— Вы хотите сказать: я наступал слишком быстро? Перерезал шоссе, не дал времени для эвакуации? Это моё ремесло, батюшка. Старинное и почтенное, Бог его не отрицает. Я только стараюсь делать своё дело как можно лучше. Но вы уверены, что, если бы я его исполнял хуже и у тюремщиков было время, они бы не перестреляли узников, а вывезли на грузовиках? Я почему-то уверен в другом: они бы сделали то же самое, а на машинах вывезли бы самих себя и своё добро — как можно больше.

— Кто и в чём может быть уверен, кроме Бога единого?

— И тем не менее вы мне бросили упрёк. Хорошо, я его принимаю. Но тех, кто это сделал, вы не упрекаете, вы о них молчите. Как будто они — механическое следствие, безрассудная слепая сила. Как ураган, как землетрясение...

Батюшка, озираясь на винтовки охранников, тяжко вздохнул, по лицу его, по глубоким морщинам поползли слёзы.

— Да не обижу вас, господин генерал...

— Говорите всё.

— ...но это наша боль, — вымолвил батюшка, — наша и ничья другая. Вы же — перстами своими трогаете чужие раны и спрашиваете: «Отчего это болит? Как смеет болеть?» Но вы не можете врачевать, и боль от касаний ваших только усиливается, а раны, на которые смотрят, не заживают дольше.

— Значит, по-вашему, я сделал ошибку, что показал вам эти ваши раны? Лучше было бы скрыть их?

— Каждый шаг человека есть ошибка, если не руководствуется он любовью и милосердием. И если будете честны перед собою, господин генерал, то признаете...

— Благодарю, — сказал Гудериан. — Не смею вас задерживать.

Он прервал — не священника, а переводчика, уже догадавшись о сказанном и зная, что могло бы этому батюшке и не поздоровиться — потом, за его спиною. Уже сделали стойку офицеры из отдела пропаганды, пописывающие

доносы и на него самого в Берлин, — впрочем, аккуратно перехватываемые своим человеком в армейской контрразведке, — да и не было нужды выслушивать то, что было на уме у всех у них, плачущих, вопящих, причитающих, и что он знал и без этого. Ты пришёл показать нам наши раны, а — виселицы на площадях? а забитые расстрелянными овраги и канавы? а сожжённые деревни с заживо сгоревшими стариками и младенцами? а все зверства зондер-команд и охранных отрядов, все насилия и грабежи, совершаемые армией Третьего рейха?.. Слава о них обгоняла ход его танков и уже была здесь, на тюремном дворе, прежде чем он сюда явился. А могла ли не начаться — или хотя бы прерваться в каком-нибудь звене — эта извечная бессмысленная кровавая чехарда: сопротивление — кара за него — месть за кару — новая кара за месть — новая месть за новую кару?

...А ведь в Лохвице — той, что замкнула Киевский «котёл», — его танк забросали цветами.

Рукоять меча держали другие — и они не расслышали слов кремлёвского тирана, сказанных на одиннадцатый день войны тому самому народу, над которым он всласть наиздевался. А ведь, очухавшись, этот азиат сказал самое простое, гениальное, безотказное: «Братья и сёстры!..» Может быть, потому не расслышали, что этими же словами так дёшево бросался Гитлер; в устах угрюмого Иосифа Сталина они звучали весомей и обещали некую перемену. На самом же деле он ничего не обещал, не признал никаких своих преступлений и жестокостей, он только приспустил один флаг и поднял другой. Но и месяцы спустя Гитлер не заметил этой перемены флага — его разгневал наглый ноябрьский парад на Красной площади, но того, что он был обязан предугадать, он опять не расслышал, не внял речи, после которой ему противостояла уже не Совдепия с её усилением и усилением классовой борьбы, противостояла — Россия.

Всегда, до конца своих дней, считавший мифом «непобедимость русского колосса» Гудериан признавался себе этой ночью, что по крайней мере летняя кампания проиграна — в тот, одиннадцатый её день, когда из Кремля разнеслось набатным колоколом: «К вам обращаюсь я, друзья мои!..» — а в Имперской канцелярии в Берлине это было пропущено мимо ушей. Так, верно, пропустил бы и Бонапарт, если б его лазутчики донесли ему, что, покуда он

выигрывает позиции и ожидает на Поклонной горе ключей от Кремля, в это время — никем не предсказанная, не учтённая, сумасбродная «графинечка» Ростова без колебаний раздаёт свои подводы раненым. А между тем она ему объявила свою войну — и не легче войны Кутузова и Барклая!..

Но — Рубикон перейдён, и время не повернёшь вспять, к 21 июня; что ж оставалось теперь, когда наступательные силы исчерпаны? когда изношены моторы и стёрлись шипы? когда осталось горючего на два дня боёв, на столько же — снарядов, и в кулаке только четверть прежнего количества танков, и нет надежды, что всё это придёт, хотя бы через неделю? Выполняя приказ фюрера, спéшить экипажи и всех повести на отчаянный штурм? Это неплохо звучало бы для истории — «Ледовый поход Гудериана». И они — превосходные солдаты, они пойдут за ним куда угодно... Но пусть кто-нибудь другой погонит их в ледяную могилу. Что может Гудериан без своих танков?!

Его рука ещё выводила в письме: «Ростов был началом наших бед...» — но он знал: что простилось фон Клейсту, не простится ему. Старик фон Клейст брал Ростов и был вышиблен из Ростова, но он не оставлял следов, он не писал приказов, не принимал кардинальных решений. Гудериан, на которого столько возложено надежд, обязан принять такое решение, на которое не отваживается Генеральный штаб, да уже и принял его, и знал, что приказ будет им написан сегодня. Он уже выбрал участок обороны, куда следовало отвести войска от Каширы и Тулы, — линия рек Шат, Упа, верхнее течение Дона, — с командным пунктом в Орле. Здесь укрепиться, перезимовать, а весною продолжить начатое — второй кампанией. Решение казалось ему здравым и единственно возможным, но какая же была насмешка судьбы, что именно он, гений и душа блицкрига, должен был здесь, в доме Толстого и за его столом, написать первый за всю войну приказ об отступлении! Приказ, грозивший ему отставкой, немилостью фюрера, вызовом на рыцарскую дуэль, злорадным торжеством многих его коллег из генералитета. И этот доставшийся ему жребий было не обойти.

С командующим группой армий «Центр» Фёдором фон Боком его соединили в пятом часу утра. Фельдмаршал ещё не ложился, был крайне утомлён, говорил слабым голосом и рассеянно. Когда Гудериан поведал ему

о своём решении, ответа не было так долго, что казалось — прервалась связь. Наконец фон Бок спросил:

— Где, собственно, вы находитесь?

— В Ясной Поляне, пятнадцать километров от окраины Тулы.

— Я почему-то думал — в Орле...

— Господин фельдмаршал, танковые генералы таких ошибок не делают. Я нахожусь достаточно близко от своих войск, чтобы видеть воочию страдания наших доблестных солдат. И я нахожусь в достаточном отдалении, чтобы наблюдать общую картину. Она — безотрадна.

— Я понимаю, — сказал фон Бок. — Я понимаю, почему вы так решили.

Гудериан всё-таки ждал чего-то ещё. И дождался:

— Скажите, мой дорогой Гудериан, вас там надёжно охраняют? Вы хоть можете спокойно спать?

— Вполне, господин фельдмаршал.

— А я, знаете ли, хоть и в семидесяти километрах, а чувствую себя...

— Я желаю вам, господин фельдмаршал, — сказал Гудериан, — спокойной ночи.

Прерывая дерзко вышестоящего, он давал понять, что и не рассчитывал на его заступничество перед фюрером. Фон Бок ответил поспешно и даже как будто обрадованно:

— Доброй ночи, мой...

Гудериан положил трубку, не дослушав. Минуту помедлив, он дописал в письме: «Я меньше всего думаю о себе, гораздо больше меня интересует судьба всей Германии, за которую я очень опасаюсь». Затем положил перед собою чистый бланк с грифом командующего 2-й танковой армией.

Совершая свой поступок — может быть, высший в его жизни, — он чувствовал нечто похожее на смертное равнодушие бегуна, которому вдруг безразличными показались все почести, ожидающие его на финише, и ничтожным, бессмысленным — азарт первых минут бега. Никогда таких трудов не стоило ему написать несколько фраз.

— Да поможет мне Бог, — произнёс он вслух, откладывая перо.

Приказ лежал на столе Толстого. Он заканчивался обычным «Хайль Гитлер!», оставалось лишь подписать его. А «Быстроходный Гейнц» всё медлил, точно бы опасаясь, что, когда эта бумажка будет подписана, он станет уже не

господин её, а покорный исполнитель. Но вдруг он увидел себя со стороны, сверху, бредущим по дну бесконечного оврага, указывая путь одному-единственному танку, бессильному одолеть совсем не крутой склон. И, уже не колеблясь, он расписался. Впервые обычная его подпись — без имени, звания, должности — показалась ему как бы отделившейся от него, чуждой всему, что он делал до сих пор, чего достиг, чем прославился. Просто человек, голый и беспомощный, — *Guderian...*

4

Этот приказ только рассылался в войска, но ещё не приводился в действие, и советский генерал, находившийся в ограде церкви Андрея Стратилата, не мог о нём знать. Бездействие противника, выбитого из деревеньки Белый Раст, успокоения не принесло; в неожиданном и как будто покорном молчании Рейнгардта могли таиться и новый коварный замысел, и ожидание какого-то обещанного ему резерва, но и просто апатия, неохота посылать измученных солдат в метель и стужу на приступ. И, предполагая худшее, генерал то и дело гонял конного связного за полтора километра на свой КП в Лобню, к телефонному узлу, хоть проще уже было бы дотянуть провод сюда или самому туда вернуться. Чего так хотелось ему — отрешиться, подняться над суетой и неразберихой, — не вышло и здесь; неизвестность только пуще изматывала ничуть не отдалившимися угрозами. Здесь был он — страус, зарывший голову в снег.

В последний раз ждали связного особенно долго, и он возник из метели почему-то спешенный, ведя коня в поводу. Рядом возник ещё некто — в белом длиннополом тулупе, ушанке и валенках; на груди висел бинокль в новеньком футляре, плотно набитая командирская сумка моталась по бедру. Ещё молодое, обожжённое морозом лицо, с ямочками на щеках, выглядело как будто смущённым.

— Просятся до вас, товарищ командующий, — сообщил делегат связи. — Говорят: заблудились маленько.

Пришедший с ним это подтвердил — охотно вспыхнувшей зубастой улыбкой — и сказал, чуть разведя руками в перчатках, отороченных на запястьях белым мехом:

— Чего не случается... Виноват.

Генерал, убрав ногу с паперти, намеренно повернулся

сначала к делегату и потребовал доклада о Белом Расте. Выслушивая внимательно – всё о том же бездействии противника, – он боковым зрением не упускал пришельца. Скрипучая амуниция и слишком чистый тулуп не выдавали в нём фронтовика, но не мог он быть и порученцем из штаба фронта и тем более из Москвы, не так держался. «Морда, однако, у него командирская», – отметил генерал. И ощутил как бы крохотный толчок в сердце: не этот ли пришелец, стоящий в неловком ожидании, и есть то событие, которое непременно должно нынче случиться, то самое, поданное свыше, знамение удачи?

– Итак, заблудились, – протянул генерал басисто, поворачиваясь наконец к нему. И деланно возмутился, играя богатым своим голосом: – Как же так? Не понимаю! И бинокль не помог?

– Однако, – возразил пришелец со своей охотной улыбкой, – всё-таки вышли на вас. Если, конечно, вы – генерал Кобрисов. Не ошибаюсь?

Делегат связи стоял с невозмутимым лицом, поглаживая храп коню.

– Ошибаетесь, голубчик, ошибаетесь, – при том шутливо-драматическом тоне, в каком говорил генерал, его можно было понять двояко. – А я с кем имею честь?

Пришелец не чересчур поспешно вытянулся, изящно касаясь перчаткой своей пышной ушанки – много пышнее, чем у генерала.

– Подполковник Веденин, командир двести шестой отдельной стрелковой бригады. Прибыли в распоряжение генерал-майора Кобрисова.

– И что же с вашей бригадой? Не дай бог, потеряли?

– Никак нет. Видите ли... Пунктом назначения нам были указаны Большие Перемерки. Впрочем, кажется, Малые... – Подполковник было потянулся к своей сумке, но по дороге к ней отдумал. – Ну, теперь уже не важно, мы и те, и другие как-то миновали. А вышли – вот, к Лобне. Просил вашего связного нас сориентировать – он вместо этого привёл к вам...

– Умник он у нас, – сказал генерал насмешливо-одобрительно. – Да почему же «вместо этого»? Привёл правильно.

Делегат связи, глядя так же невозмутимо, стал руки по швам. Конь, звякнув удилами, положил ему голову на плечо и всхрапнул.

— Сколько у тебя людей? — спросил генерал быстро и требовательно, вынуждая к ответу столь же быстрому.

— Два полка полного состава.

— Полного состава, — повторил генерал, как эхо. — Что, только сформированы?

— Свежие, товарищ генерал.

Подполковник отвечал таким тоном, как если б сказал: «Гренадёры! Орлы!»

— Свежие — значит, небитые. Так оно — на военном языке?

— Сибиряки, однако, — возразил подполковник.

— И что же? — Генерал к нему подошёл вплотную и посмотрел сверху вниз с насмешливым интересом. — Как понимать — это особая порода: сибиряки? Вы там, в Сибири, с медведями в обнимку ходите? Водку из миски черпаками хлебаете и живыми тиграми закусываете?

Спутники генерала готовно хохотнули, но он оборвал их, возвысив голос до командного, глядя сквозь толстые линзы пронзительно-сурово:

— Особых ваших сибирских преимуществ не наблюдаю. Заблудились вы, как малые дети. И благо ещё, на противника не вышли походной колонной. Он бы вас отлично сориентировал — в гроб.

Подполковник, противясь распекающему начальству, как это принято в армии — одними пальцами рук в перчатках и пальцами ног в валенках, — вытянулся ещё попрямее, с потемневшим, построжавшим лицом.

— Прошу, товарищ генерал, указать наше расположение и поставить задачу. Если, конечно, вы — генерал Кобрисов. Если нет — прошу помочь исправить нашу ошибку. — Он поправился: — Мою ошибку.

— Твою, — подтвердил генерал. — А то ты всё: «мы» да «мы».

И, отвернувшись, он стал прохаживаться по церковному двору, сцепив руки за спиною. Эта бригада, из двух полков полного состава, то есть верных три тысячи людей, была, как видно, обещана его соседу Кобрисову, чтоб чем-то заткнуть широчайшую брешь между правым флангом его армии и Рогачёвским шоссе, и по всем военным законам, да просто по-соседски, следовало её переправить по назначению, выделив ей — ввиду неопытности командира и полного незнания местности — проводника. Но чего они стоили сейчас, соображения соседства и даже, чёрт

побери, дисциплины? Армия Кобрисова, по плану, не участвовала в наступлении и не принадлежала Западному фронту, это была одна из двух армий, которые Верховный наотрез отказался передать Жукову, а поставил на внутреннем полукольце обороны. Он оставлял себе этот резерв на тот случай, если танковые клещи Рейнгардта, Гёппнера и Гудериана всё же сомкнутся вокруг Москвы, — тогда, умирая, эти две армии позволят эвакуироваться ему самому и его сподвижникам из Политбюро и наркоматов, с их семьями и добром. Эту бригаду нельзя было выпросить у Кобрисова, нельзя было и у Жукова, можно лишь у самого Верховного — значит, ни у кого, разве что у Господа Бога. Но... не им ли она и послана была ему сейчас — для тяжкого искушения: присвоить эти три тысячи молодых, крепких, неплохо как будто одетых и вооружённых, пусть и необстрелянных, но — сибиряков, охотников, стрелков! В случае успеха — когда те две армии и не понадобятся, — о, разумеется, это простят. Но не пройди он хоть два километра — у какого же трибунальца будут ещё сомнения насчёт его вины и единственной за неё кары?

Мученик Андрей Стратилат с выщербленной вратной иконы смотрел погасшими тусклыми глазами и ничего ему не советовал, лишь напоминал о собственной страшной участи.

Командир бригады, замерев, водил взглядом за его похаживаниями, все другие тоже следили напряжённо, и долее медлить было бы уже проявлением слабости.

Генерал подошёл медленно к подполковнику и сказал, опустив взгляд:

— С Кобрисовым мы всегда договоримся. Поступаете в моё распоряжение.

— Не понял, товарищ генерал, — сказал подполковник. — Вы всегда договаривались, а сейчас только намерены договориться?

От ямочек на его щеках только сильнее теперь выделялись внушительные желваки. В нём как бы разжималась упрятанная до поры тугая пружина.

— О моих намерениях, — властно пробасил генерал, — прошу вопросов не задавать. В армии, согласно устава, выполняется последнее приказание. Так что будь спокоен, ты не отвечаешь.

— По уставу оно так, — согласился подполковник, но тут же и возразил: — И всё же попрошу о вашем при-

казании сообщить генералу Кобрисову. Или, разрешите, я сообщу.

Это маленькое сопротивление подействовало на генерала противоположно – только утвердило его в самоуправном, опасном для него, но, быть может, чем чёрт не шутит, и правильном решении – втором в этот день, после того как он не стал препятствовать бегству на Рогачёвском шоссе и понял, что единственного не ожидает наступающий противник – удара «кулаком в рыло».

Впрочем, не столько об этом ударе думал он, сколько о том, чтоб подавить сопротивление стоявшего перед ним, когда посмотрел на часы и отчеканил:

– Вот что, подполковник. Объяви своим людям: даю им полтора часа отдыха. И – в бой.

Командир бригады, закусив губу, вмиг утрачивая свой румянец, ещё секунду постоял в раздумье.

– Есть, полтора часа отдыха – и в бой...

– Дать ему коня, – сказал генерал. – Справишься?

Подполковник молча кивнул. Делегат связи отдал ему повод и подтолкнул в седло.

Упираясь сумрачным взглядом в спину всадника, очень прямую, но с опущенными плечами, генерал представил себе, как дрогнут сердца этих трёх тысяч, когда им объявят, что война для них начнётся не через неделю, как они того ждали и готовились, а сегодня, сейчас, и как пронзит их всех сознание, что многие из них видят друг друга в последний раз. Он представил, как они прежде замирают от этой новости, встреченной в молчании, а затем понемногу в этой трёхтысячной массе начинается движение – поначалу суетливое, потом всё более осмысленное, спокойно-расторопное: приготовление к самому худшему, что должно было когда-нибудь случиться и вот случилось. А виной тому – слово, короткое, сорвавшееся как бы и невольно...

Но между тем какое-то движение началось и вокруг него самого: как в полусне, он слышал распоряжения и команды, кто-то отвязывал лошадей у ограды, вскакивал и отъезжал, другие раскрывали свои планшетки и сумки, доставали двухвёрстные карты, планы и боевые карточки; радист, как будто и не спросясь никого, распаковывал рацию, втыкал антенный штырь с лепестками-звездой, кричал в трубку: «Заря! Как слышишь, Заря?.. Седьмой будет говорить, передаю Седьмому!..» Никто ни о чём не спра-

шивал генерала, всё происходило само собою, и вот из невидной отсюда балки донеслись тарахтенье и взрёвы — то заводились моторы пятнадцати танков, выделенных ему из резерва лично Верховным и называвшихся не по чину «дивизионом»; в разрывах и опаданиях метели стало видно, как в эту балку с дальнего холма стекает на рысях казачий эскадрон и выплёскивается, совсем уже близко, на этот берег, чернея бурками, алея верхами кубанок. И с замиранием сердца, как прыгнувший с высоты, он осознал, что приказ продолжать наступление уже отдан им — или по крайней мере так именно понято неотменимое слово командующего, сказанное тому, давно уже отъехавшему, командиру бригады: «Полтора часа отдыха и — в бой!»

Были побуждения — всё остановить, властным голосом всех вернуть на прежние места, сказать, что его не так поняли, совсем не то он хотел сказать. Но рот его, крепко сжатый, словно бы не мог разжаться, не могла, не смела гортань исторгнуть самые простые слова. И вместе с тем одна мысль, и окрыляющая, и парализующая, билась в нём, посылая толчками кровь в виски: что его поняли именно так и приказал он именно то, что хотел — и не решался.

Если бы знать ещё с утра, что судьба даст ему пройти в наступлении не два километра, на что он смутно надеялся, и не двадцать, о чём он даже мечтать не смел, но все двести километров — до Ржева — будет его армия гнать перед собою немцев, этим рывком — от малой деревеньки Белый Раст на Солнечногорск — побудив и приведя в движение все шесть соседних армий Западного фронта!

Так минута его решимости и час безволия определили судьбу Москвы.

И хотя остальное уже не от него одного зависело, он навсегда входил в историю спасителем русской столицы — той, куда четыре года спустя привезут его судить и казнить, и всё же никогда, никакими стараниями, не отделят его имя от её имени.

Через неделю газеты всего мира заговорят о «русском чуде под Москвой», но в этот час оно показалось чудом, пожалуй, лишь одному человеку — Шестерикову, стоявшему в совершенном отчаянии на обочине шоссе над своим умирающим генералом. Уже и милиционер отвалил, исполнив свой же завет: «Всем драпать пора». Всё же, к его чести, он ту горбушку отработал — более ничего из вещей

не было украдено, он даже нагрёб на них сапогами отличительный холмик. Другим таким холмиком, только подлиннее, был генерал. Однако ж, возле его рта ещё оттаивало, и значит, Шестерикову не пора было драпать.

Неожиданно сквозь завесу метели разглядел он поодаль, в поле, нечто неясное и странное, двигавшееся встречно движению по шоссе. Редкой цепочкой выплыло несколько танков, тащивших за собою сани, а в санях плотно сидели люди — в белых полушубках, в ушанках, в валенках, — держа к небу чёрные стволы автоматов. Белыми призраками, в маскхалатах, скользили друг за другом лыжники с притороченными за спиною винтарями. И, как в сновидении, медленной-медленной рысью, размётывая сугробы, шли чёрной россыпью конники в мохнатых плечистых бурках; передний держал стоймя у ноги зачехлённое знамя.

До сих пор Шестериков только убегал и прятался, и если б ему сказали, что он присутствует при начале *великого наступления*, он бы не то что не поверил, а не допустил бы до ума. Его озарила надежда — сугубо практическая: ближайший к нему танк, притом свободный от саней, полз в каких-то шагах тридцати, и он вовсе не был миражем, он рокотал двигателем, и чёрное облачко выхлопа реяло за его кормой; если изменили Шестерикову глаза и уши, так нос почуял знакомый запах работающего трактора. Это был танк, вещь убедительная, почище той сорокапятки, о которой возмечтали они с милиционером, и даже той зенитки с её ненадёжной станиной. И он кинулся наперерез, размахивая маузером, крича танку остановиться. Против слепой махины он себе сам казался муравьём, размахивающим лапкой против сапога. Но чудо произошло: танк ход замедлил, и приподнялась крышка башенного люка; вынырнуло из-под неё юное лицо под сдвинутым на затылок чёрным шлемом и ворот комбинезона с лейтенантскими кубиками.

Мальчишка-лейтенант, выбравшись до пояса, оглядывался по сторонам горделиво и мечтательно, дыша открытым ртом. Он будто и не слышал Шестерикова, который бежал рядом вприпрыжку, вздевая к нему руки и выкрикивая свои мольбы. Однако, не ответив ни слова, лейтенант кивнул ему, приопустился в люк и что-то там скомандовал. Танк повернулся на месте и пополз к шоссе. Он

пересёк наискось кювет, но весь на дорогу не выполз, а, медленно вращая башню, перегородил путь, как шлагбаумом, длинной своей пушкой.

Для лейтенанта, картинно стоявшего в люке, это могло добром не кончиться, и Шестериков ему покричал поберечься, но тот либо не расслышал, либо по молодости не учёл. Впрочем, стрельнуть не посмел никто, а первая же повозка остановилась, и лошади, как их ни нахлёстывал ополоумевший ездовой, перед пушкою осадили, храпя и вылезая из хомутов. Бывшие в повозке, человек восемь, выскочили и пробежали, но ездовой своих ко́зел не покинул, смотрел в страхе на лейтенанта, который молча, рукою, показывал ему на Шестерикова.

— Милый человек! — Шестериков бросился к ездовому, прижав одну руку к груди, а другой, по забывчивости, направляя на него маузер. — Пропустит он тебя, помоги только с генералом. Довези ты мне его до Москвы, до госпиталя, а там уж как бог положит...

С натугой дошло до ездового, что снежный холмик и есть генерал. Другие сообразили живее и уже покрикивали руководяще: «Под мышки его бери, а ты — под коленки...» — а там, не усидев, и сами кинулись помогать.

Шестериков уложил генерала на сено — головою вперёд, к Москве, сдул с лица снег, подоткнул сена под затылок ему и под бока, сеном же накрыл ноги, обмотанные грязным бельём, хотел бы и перекрестить, но постеснялся ездового и лейтенанта, только махнул рукой танку. Пушка медленно отвернула, и ездовой, мига не теряя, нахлестал лошадей в галоп.

Шестериков подошёл к лейтенанту, который, так ни слова и не произнеся, стоял в люке горделиво, едва только не подбоченясь.

— Слышь, лейтенант, а как мне тебя потом вспоминать? — спросил он и благодарно, и с немалым удивлением. — Ведь так ты меня, милый человек, выручил! И откуда вы такие взялись тут? Все отступают, а вы наступаете...

То, что ответил ему лейтенант, перед тем как закрыть над собою тяжёлую крышку люка, сказать правду, не произвело на Шестерикова особенного впечатления. Но время спустя он вспомнил эти слова отчётливо — и с горьким сожалением, что никогда никому невозможно их повторить:

— Запоминай, кореш: Двадцатая армия наступает! Командующий-то у нас — Власов Андрей Андреич. Он же шуток не понимает, всё всерьёз.

Шестериков никогда не узнал, что лейтенанту этому уже не суждено было открыть люк самому. Встретясь через какой-нибудь час с головным отрядом 9-й немецкой армии, его танк получил в башню снаряд, и хоть тот не пробил брони, но отколовшийся изнутри кусочек стали докончил дело, проникнув сквозь шлем и кости черепа в мозг...

Не узнал Шестериков и того, что люди, которых так неожиданно он разглядел сквозь завесу метели — десантники в санях, лыжники, всадники, — сгодились только на то, чтоб нанести 9-й армии единственный встречный удар — и едва не всем полечь, устлав широкое поле белыми полушубками и маскхалатами, чёрными плечистыми бурками. Но и 9-я армия остановилась. Но и ей не хватило сил двинуться дальше, переступив через их тела. Самое большее, чего она достигла, — завладела ненадолго полем, которое *было не более позицией, чем любое другое поле в России,* и на котором *немыслимо было удержать в продолжение трёх часов армию от совершенного разгрома и бегства...*

5

Успокоенный, Шестериков подобрал свой мешок, покидал в него всё добро, туда же и маузер в кобуре и, закинув автомат за плечо, отправился в свою роту. Он шёл той же дорожкой, по которой тащил генерала, а после и той, по которой они так резво хрумкали вдвоём, только теперь за версту обходя те чёртовы Перемерки — и не зная, что там живых с оружием никого не осталось, одни перестрелянные немцы да кого они успели перестрелять. И не ожидал он от всей этой истории хоть какого-то продолжения.

Однако ж оно состоялось. Всю эту массу бегущих задержал-таки на развилке Рогачёвского и Дмитровского шоссе своими пулемётами заградительный отряд, койкого — человечков десять самых резвых, которые всегда первыми поспевают, — тут же к стеночке прислонили и постреляли другим в острастку, а других — кого забрали

для выяснения, а кого заставили на месте искупать вину, стаскивая с грузовиков и становя бетонные надолбы и сваренные из рельсов ежи, в которых уже всякая нужда отпала, даже наоборот, следовало от них шоссе очищать. Ездового же с генералом не только пропустили, но ещё похвалили и записали все *данные* – для представления к медали «За отвагу». И он эту медаль принялся отрабатывать так рьяно, что не успокоился, пока не домчал генерала до госпиталя, и помогал носилки тащить по лестнице, и в палату вносил, и в подробностях рассказывал дежурному врачу и комиссару госпиталя всю историю геройского ранения генерала и геройского его спасения из-под огня. При этом, пока не вскрыли «смертный медальон», он счастливо избег вопросов, как же фамилия его генерала и чем он командовал, называл его коротко и исчерпывающе – «наш генерал», а на расспросы, куда делись папаха и бурки, отвечал: «Э, ладно, что голову не потерял и ноги целы», – и такое было у него на лице, что лучше не спрашивать. В награду его накормили с водкой и выдали ему справку для патрулей, что прибыл в Москву, «выполняя задание своего командования», а такая справка была повесомее медали, которую он к тому же и получил-то тридцать два года спустя – из рук седовласого прихрамывающего военкома, при торжественном салюте пионеров-«следопытов» и в присутствии журналиста, написавшего потом заметку «Награда нашла героя».

Восемь автоматных пуль, вошедших в просторный живот генерала, прошли счастливо навылет, не затронув жизненно важных точек, к счастью и то оказалось, что он не поел перед своим ранением, обошлось без воспалений и нагноения, а мощная плоть обещала засосать все пробоины и разрезы – и вскоре уже выполнила обещание. Куда хуже оказалось у него с ногами, обмороженными едва не до почернения, даже стоял вопрос – не отхватить ли их по колено, но после многих и долгих консилиумов рискнули оставить, ограничась переливаниями крови и питательными уколами. Поместили его в палату для обмороженных, хоть и отдельную, но наполненную таким ужасным, тошнотным запахом гниющего заживо мяса, что он уже поэтому не мог не очнуться. А очнувшись, он почувствовал смертную тоску и обиду и стал вытребывать к себе запомнившегося ему солдата.

Генералу, конечно же, пересказали чудесную историю его спасения, довольно складную, но в которой для полной правдивости недоставало Перемерок и французского коньяка; он требовал не ездового, а то ли Шустрикова, то ли Четвертухина из роты автоматчиков. За те дни, что генерал пробыл без чувств, его армия прошла километров сорок, и связь с отдельными её частями была такая, что ни дозвониться, ни запросить письменно, но генерал надоедал – и слабую запутанную ниточку размотали. Рота автоматчиков была одна в полку, находившемся прежде в том же селе, что и штаб армии; ни Шустрикова, ни Четвертухина в списках не оказалось, зато обнаружился Шестериков, от которого, правда, тоже не много осталось. И вот его, полуоглохшего, едва не утратившего рассудок, вытащили из мёрзлого окопа, где ему и спать приходилось, зарывшись в снег или в золу костра, выдали ему другую шинель и ушанку, паёк на три дня, продаттестат и предписание явиться в Москву, в военную комендатуру. С этим предписанием, где впервые в жизни увидел он свою фамилию напечатанной, хотя и с двумя подпрыгнувшими «е», он на попутных машинах добрался до Белокаменной, за которую чуть богу душу не отдал и которую наконец увидел.

В волнении, какого отродясь не испытывал, шёл он по Москве, иногда перелезая через неразобранные баррикады из брёвен, трамвайных платформ и мешков с песком, минуя на перекрёстках посты милиции с винтовками, ступил под своды вестибюля бывшего музыкального института, а теперь госпиталя для старшего комсостава, поднялся по мраморной лестнице – и едва не был сражён наповал тем смрадом, от которого генерал очнулся. Тут ещё санитары выкатили ему навстречу из лифта каталку с горкой отрезанных конечностей, еле прикрытых окровавленной простынкой; от того разноцветного, что выглядывало из-под неё, Шестериков зашатался и закрыл глаза. Стараясь дышать пореже и ртом, он одолел тошноту, миновал, не заглядывая, двери общих палат и, добравшись наконец до отдельной, увидел своего командующего – несчастного, исхудалого, без кровинки в лице, но, как отметил броский и незаметный взгляд Шестерикова, с обеими ногами под одеялом. И первое слово генерала было при их встрече:

– По́пили!

– Чего уж, – сказал Шестериков, стараясь улыбаться повеселее. – Отложили до другого разу...

— Но зато, — сказал генерал, — теперича различать будем, где Большие Перемерки, где Малые. Верно?

— Да уж, не ошибёмся!

Шестериков вытащил из мешка, который пронёс-таки под белым халатом, маузер и подал его молча генералу. Генерал открыл кобуру, вытянул маузер за рукоятку и прочёл гравированную витиеватую надпись на щёчке.

— Кому-нибудь ты его показывал? — спросил он, не поднимая глаз.

— Никому, — ответил Шестериков. — Иначе б забрали. Охотников много на такую вещь.

В последнюю фразу он вложил и другой, потаённый, смысл. Хорошая, уважительная надпись оканчивалась нехорошей фамилией — Блюхер. Генерал понял его и чуть усмехнулся.

— Стереть бы, да жалко. Дарёный всё-таки.

— Жалко, — сказал Шестериков.

Генерал отдал ему маузер.

— Пусть у тебя и побудет. Охотники и тут водятся.

День был свиданный, и генерал ожидал к себе жену, однако Шестериков, уже почувствовав себя как бы опекуном его, отсоветовал сюда её пускать: незачем женщине солдатские запахи вдыхать, это ей не свидание, а мука. Генерал, удивясь, согласился и велел позвонить к нему домой. Так вышло, что с генеральшей, Майей Афанасьевной, познакомились по телефону.

— А, Шестериков! — отозвалась она приветливо. — Знаю, знаю, слышала. А как по имени-отчеству?

— А это, Майя Афанасьевна, потом, когда уже повидаемся. А покамест я при командующем, так что — Шестериков и всё.

— Ну-ну, — согласилась генеральша. И согласилась, что и в самом деле лучше не доставлять мужу стеснения.

В мешке Шестерикова среди прочих интересных вещей хранилась консервная банка со снадобьем, которое употребляли его предки при обморожениях лет двести: некий сложный состав из отвара корней и травок, гусиного жира, пчелиного воска и мёда. Те мази, какими пользовали генерала, он забраковал, посоветовал не давать мазать сёстрам, а чтоб оставляли баночку, а из баночки всё выбрасывать. Мазал он сам, скрывая отвращение, затаивая дыхание на целую минуту, а потом, отвлекая генерала от страшного зуда и жжения, что-нибудь ему рассказывал из своей дере-

венской жизни, ну, и встречно выспрашивал осторожно про его жизнь. Поселился он здесь же, в госпитале, под лестницей, в каморке у истопника, здесь же и *стал на довольствие,* кормился в столовой по норме санитара. Норма была поменьше фронтовой, а выходило — получше, чем на фронте, где не каждый-то день горяченького поешь. Истопник же был по совместительству пожарник, стало быть, с телефоном, и Майя Афанасьевна в определённый час могла справиться, «как там наш».

— Наш ничего, — отвечал Шестериков. — Скоро запляшет. Уже у него ноги чешутся — плясать.

Ещё не повидавшись с нею, он уже всё вызнал: и что квартира у них на улице Горького — из четырёх комнат, не считая кладовки и «холла», — это слово и в госпитале говорили, зал был такой для ходячих, с шахматами и домино, и вот таким громадным Шестериков его себе и представлял, этот «холл», который *не считался,* — и что у генерала две дочки, шестнадцати лет и четырнадцати, одну, как и генеральшу, Майкой звать, а другую — Светланкой, в честь сталинской, и что — вот главное — сама генеральша родом деревенская, из-под Вышнего Волочка, и девичья у неё фамилия — Наличникова, а Майей она себя сама назвала, на самом же деле — Марья. Но, видать, от деревни своей она уже отщепилась, поскольку спрашивала Шестерикова, что вот генералов на дачные участки собираются записывать, по два гектара, в Апрелевке, так брать столько или не брать.

— Брать! — кричал в трубку из-под лестницы Шестериков. — Землю-то? Сколько дают, столько и брать!

Эта Апрелевка вошла в его голову и уж никак оттуда не выходила, заставляла ворочаться ночами на полу в истопниковой каморке, покуда тот, приняв кубиков двести медицинского спирта, похрапывал себе на топчане. Как думают о грозящем ранении или увечье, да с пущей ещё тоскою, думал Шестериков о возвращении в родную пензенскую деревню. Нисколько не мечталось ему вновь увидеть поникшие вётлы над тихой, ленивой речкой, пройтись босиком по росе или лошадь погладить по бархатистому храпу да после, вскочив на неё без седла, проскакать с полверсты и вогнать в речку по холку. Все эти радости уже лет десять как отошли от него, с тех пор, как с отцовского двора пришлось свести в добровольном порядке и обеих лошадей и корову, а земли урезали до лоскутка, так

что не жаворонка в небе слышно, а как сосед пыхтит, вскапывая гряды. Из двух сараев и то пришлось один снести — тесно и не положено два. Всё же теперь общее — и значит, ничьё. Своя только бедность — и такая безысходная, лет на сто вперёд, что руки опускаются, не знаешь, за что раньше хвататься, всё ветшает, обваливается, линяет, все труды уходят в песок. Всё безразлично стало, даже вот какого председателя выбрать. Да какого велят — самого сговорчивого с властями да покрикливее, а значит, самого никудышного, пустопорожнего мужичонку, а не найдётся такого — привезут откуда-нибудь. И никуда из этого не вырваться, не уехать, без паспорта на первой станции заберут, а справка от колхоза — самое большее на неделю, и ту выпроси, вымани. Вот так, отнюдь не поэтично, даже из мёрзлого окопа виделся Шестерикову его родимый край, над которым вместо весёлой гульбы, свадебных частушек и попевок, звяка поддужных колокольцев повисло в лунной ночи унылое, запьянцовское, хриплоголосое:

На селе собака лает,
Не собака — бригадир:
«Выходите на работу,
Не то хлеба не дадим...»

А вот Апрелевка эта, Апрелевка, ведь генеральская же земля, на неё кто посягнёт, кто посмеет урезать? Два гектара — да на них такое можно развести, что десять семейств прокормятся и за забор не выглянут. Были бы руки при себе и малость бы силёнок война оставила.

Меж тем генеральские ноги подживали, на них новая кожа нарастала — розовенькая, как у недельного поросёнка, — и однажды он встать решился, попросился — в душ. Едва довёл его Шестериков, так его шатало от слабости, а там, в уютной кабинке, они оба разделись и даже попарились немножко, напустив из крана одной горячей. Генеральское тело поразило Шестерикова — и щедрой мощью, и белизною, и многими рубцами. Генерал воевал во всех войнах, какие вела Россия с 1914 года, и с каждой войны привозил какую-нибудь рану. Даже на лбу у него из-под волос вытягивался шрам — от сабельного удара. Про каждое его повреждение можно было отдельно рассказывать, но он их все объяснял одинаково: «По глупости». Шестериков его помыл, как младенца, велел после этого посидеть, а сам при этом думал растроганно, что мог бы свою жизнь, всё равно несложившуюся, посвятить холе этого

тела и этой непутёвой и, как отчего-то показалось Шестерикову, по-своему настрадавшейся души.

Но вот настал день, когда генерал, с утра не ложась, а посиживая на койке, разглядывая розовые свои ступни, сказал мечтательно:

— Эх, мне бы коника сейчас, хоть какого. В седле бы я совсем ожил!

«Домой ему хочется. — На сердце Шестерикова потеплело. — Конечно ж, дома-то оно всё быстрей заживёт. Да где ж я ему коника достану?» Легче бы было с машиной, которую вызвали бы ему врачи, не возражавшие против досрочной выписки, — ан Шестериков и тут не оплошал. Ясным морозным утром, выйдя на крыльцо, поддерживаемый сёстрами, генерал перед собою увидел — коня. Даже трёх сразу: на другом восседал гордый Шестериков, а на третьем — тот, рогачёвский милиционер, который теперь служил в Москве, в конном патруле. Случайно с ним встретясь возле комендатуры, куда ходил каждый третий день отмечаться, Шестериков его пожурил за преждевременный драп, тот в оправдание ничего не привёл, а зато душевно справлялся о здоровье генерала и вот — искупил вину, удружил с кониками.

Генерал обошёл чалого конька вокруг, оглядел снисходительно его стати, попытался вскинуться в седло, но не вышло, пришлось его подсаживать с крыльца. Зато, оказавшись в седле, он так привычно, одной рукой, разобрал поводья, так — одним похлопыванием по шее — и успокоил, и взбодрил конька, что не понадобилось и каблука под брюхо, а только чуть повод отпустить — и он уже понёс, понёс косо, изгибая красиво шею, с места вскачь.

В ту зиму Москва была такова, что никто не обратил особенного внимания на трёх всадников, проскакавших аллюром едва не по всей улице Горького — от Белорусского вокзала до Моссовета, — шли нестройной растягивающейся колонной ополченцы, поя негромко, точно бы про себя, «Священную войну»; шли суровые девушки в шинелях, сопровождая вчетвером громадную серебристую тушу аэростата, больше всего, казалось, озабоченные, как бы он их в небо не унёс; извилистые и почти недвижные очереди мёрзли у магазинов с заколоченными, заложенными мешками с песком витринами; никто не оборачивался на цокот подков, маленькая кавалькада с живописным генералом во главе проскакала точно бы по пустому городу.

8 — 3572

А всё же генерал остался доволен – помолодел, разрумянился, глазами рассверкался – и возле дома, отдавая нехотя повод милиционеру, сказал:

– Ну, спасибо тебе, Шестериков.

Не сказал за своё спасение, не сказал за сохранённый маузер, за весь уход в госпитале, а вот за коника – сказал.

Майя Афанасьевна встречать на улицу не вышла, а, как бы опоздав, встретила на лестничном марше – в полураспахнутой каракулевой серой шубке, такой же шапочке-кубанке и с муфточкой на одной руке, – всё тактически правильно, как отметил Шестериков, в её годы она бы на морозе так румяно не выглядела. От природы блондинка, о чём свидетельствовали голубые глаза, она уже сильно красилась – в блондинку же, но прежняя несомненная её красота не убыла настолько, чтоб дочки затмили мать; у них не было такого аккуратного, победно вздёрнутого носика, таких изогнутых и полных губ, такого лица, суховатого и крепкого, да и ладной такой фигуры. Дочки генеральские были вылитые генералы, и что хорошо было в нём – просторно, могуче, полновесно, – то явно грозило их замужеству, хоть, впрочем, на генеральских-то дочек охотники найдутся.

Генерал, обцелованный всеми тремя, представил им Шестерикова:

– Это гость наш, не сильно его загружайте.

Генеральша, вынув руку из муфточки, ладошкой вниз, совочком, подала её Шестерикову и, глядя широко раскрытыми глазами прямо в глаза ему, сказала для полного осведомления:

– Майя Афанасьевна Кобрисова.

А дочки, обняв так бурно, что он слегка зашатался, поцеловали с обеих сторон в щёки.

С этой минуты пошла у Шестерикова такая жизнь, какой он себе и представить не мог. Это она, сама жизнь – в облике генерала, – выходила к нему по утрам в столовую, облачённая в жемчужно-сиреневую пижаму, и, простирая руку к накрытому столу, возглашала, как о начале сражения:

– Сейчас мы будем завтракать. Прошу!

Сидя за общим столом и учась потихоньку, как следует вкушать хлеб наш насущный, чтоб не только себе было приятно, но и другим удовольствие на тебя смотреть, Шестериков решительно признавал, что если выпадают

такие дни человеку, когда всё ему нравится, так вот они ему и выпали. Ему нравилось, как в этой семье все любят и уважают друг друга и что генерал не упустит поцеловать дочек в темя утром и на ночь, нравилось, что Майя Афанасьевна неукоснимо укрепляла свои позиции, сидя дважды в день по часу перед зеркалом и никогда не являясь пред очи мужа распустёхой, и что генерал её за это особо ценит, нравилась даже и болезнь генерала — не какая-нибудь там кила с геморроем, а красивая, генеральская — «мерцание предсердия». Его, Шестерикова, и впрямь не загружали, да он сам рад был загрузиться: раз в неделю он со своим мешком и с чемоданом ходил за пайками, ежедневно убирал всю квартиру, ежедекадно мыл и натирал полы, всё чинил, укреплял, подтягивал, понемногу вываживал генерала — сначала во двор, потом и по улице, по Тверскому бульвару. Его собственные позиции так укрепились в доме, что Майя Афанасьевна без его мнения уже не обходилась, говорила соседке по лестнице: «Мой Шестериков не рекомендует... Мой Шестериков, например, так считает...» — звала его к чулану и консультировалась, не выкинуть ли, скажем, старый диван. «Ни в коем разе, Майфанасин! Ещё как захочется Фотий Иванычу на нём отдохнуть после принятия пищи. Всё починим, всему место найдётся!» Он держал в голове всё ту же Апрелевку, где будет ещё и «шале»... Насчёт Апрелевки он не уставал напоминать, и всей семьёй строились планы, какая будет дача и расположение сада и цветников, и где отвести места под гряды — салата, огурчиков, редиски. Романтический пейзаж при этом несколько нарушался, но, возражал Шестериков, «разве ж своё и покупное сравнишь? Тут каждый витамин тебе на месте!» Ну, и сам он, хоть не говорил этого, но тоже выстроил в мечтах на этих двух гектарах домишко себе и непременно баньку, где будут они париться с генералом и вспоминать боевые дни.

Главным предметом изучения и забот был, конечно, сам генерал, включая в просторное это понятие и коллекцию его четырнадцати охотничьих ружей, из которых одиннадцать были дарёные, и многие фотоальбомы, запечатлевшие всю его биографию. Шестериков их разглядывал все свободные часы, посиживая в кресле в том самом «холле», который оказался просто частью передней, только отделённой от неё раздвижной перегородкой с рифлёными стёклами. Сперва шли порыжевшие фотографии детства —

маленький Фотя с двумя старшими братьями и тремя сёстрами, с матерью, могутной и очень на него похожей, и с отцом, казаком станицы Романовской, невысоконьким и худым, но, видать, быстрым и дерзким. А вот Фотя на коне, без седла, в отцовской фуражке, налезшей на уши, рот распялен в улыбке, зубы лопатками. Вот первое горе — всё семейство рядом с гробом отца, с напряжёнными вытянутыми лицами, глаза у всех какие-то рыбьи. Несколько лет спустя повзрослевший Фотий Кобрисов стоял, в гимнастёрке и в фуражке с кокардой, возложив руку на плечо сидящему другу, такому же бравому и лупоглазому, оба — солдаты империалистической войны. Далее он один сидел, положа руки на эфес шашки, уже с теперешними усиками на пухлой ещё губе, юнкер Петергофской школы прапорщиков. Потом шла Красная Армия: выпуск школы красных командиров, один ряд стоит, другой сидит, а возле ног у них двое лежат головами друг к другу, упираясь в висок ладонью, а локтем — в пол; Фотий Иванович сидит третий справа, немного отворотясь и выглядя мечтательно. Кое-какие снимки были отклеены, а на сохранившихся групповых некоторые лица то ли пальцем затёрты, то ли бритвочкой выскоблены, так что вместо голов на плечах у них сидели белые шары. Множество было снимков конных — рубка лозы по верхушкам, препятствия, вольтижировка, стойка на дыбы — она же «свечка», но чем более повышался Фотий Иванович в званиях, тем его конь делался степеннее: меняя масти и стати, он полюбил сниматься в одной позе — ногу вперёд выставя и к ней наклонясь изогнутой шеей. А вот и коня не стало, бывший кавалерист Кобрисов, в чёрном комбинезоне, приоткрывал над собой гробовидную крышку танкетки — шлем с угловатыми очками сдвинут к затылку, лицо чумазое и весёлое, голова бритая «под Блюхера». И вот последние предвоенные: санаторий в Ялте, крыльцо с широкими ступенями и колоннадой, Фотий Иванович с Майей Афанасьевной, во всём белом и дочерна загорелые, стоят по разные стороны колонны и как бы друг дружку, потерявши, высматривают; потом они у фонтана встретились и вот наконец рядышком сидят — в гроте, увитом стеблями хмеля или плюща...

Одно лишь облачко реяло в безмятежном небе Шестерикова — то, которое набегало на чело генерала, когда он после завтрака читал газеты. Шло наступление, и сыпались

награды, гремели имена Жукова, Власова, Рокоссовского, Говорова, Лелюшенко, а Кобрисова — не гремело, он себя в списках что-то не находил. Майя Афанасьевна так это дело объясняла соседке:

— А нас-то за что награждать? Мы ведь, по плану, и не должны были наступать, мы только подстраховывали. Вот если бы у них с наступлением не вышло, тогда вся надежда на нас. Но кто это сейчас помнит?

Генерал — тот помалкивал, только губу закусывал и пальцами барабанил по столу, но однажды всё-таки не выдержал — когда прочитал, что к Власову, первому из советских генералов, допустили иностранную корреспондентку взять интервью для мировой прессы:

— Интересно, интересно! А не рассказал он ей, как он у меня бригаду украл?

Но, поостыв — и может быть, вспомнив про счастливое своё спасение, — добавил рассудительно:

— Ну, если по справедливости... украсть-то он, конечно, украл, но распорядился неплохо.

Всё же и ему — за дела наступавшей без него армии — слетела на петлицу звёздочка, присвоили генерал-лейтенанта.

— Вспомнили! — сказала Майя Афанасьевна. — И на том спасибо.

Но если б его это успокоило! Именно с этого дня — как подменили генерала, ни весеннее солнышко не радовало, ни водка не пьянила, одно нетерпение во всём. И однажды утром из ванной, где брился, он со злым весельем в голосе прокричал:

— Шестериков, ты воевать — думаешь?

Все враз примолкли — и генеральша, и дочки, а сердце Шестерикова ощутимо стронулось и покатилось августовской звездой, оставляя замирающий след.

Но в свою армию они уже не вернулись, там утвердился новый командующий, бывший начальник штаба, так что послали генерала Кобрисова в ближний тыл, под Воронеж, формировать новую армию — вот эту самую, Тридцать восьмую. С нею сперва отступили от Дона чуть не до Волги и снова в Воронеж пришли, а оттуда, уже не отступая ни разу, дошли до Днепра и взяли плацдарм на Правобережье.

Жизнь Шестерикова при генерале была сравнительно тёплая и сытая, хотя и погибнуть случаи выпадали.

Но ведь оттого и смысл был высокий в этой жизни, и ценилась она не за тепло и сытость, а именно за высокий её смысл. По твёрдому Шестерикова убеждению, никто б на его месте не стоил того, что он, и сам он на другом месте стоил бы втрое меньше. Он не привык, он прирос к генералу, знал все причуды его и желания, как бы и несложные, а попробуй их предупреди. Сам генерал себя называл солдатом и привычки свои солдатскими, и только Шестериков ведал, каково этим привычкам потрафить. В морозы баня — чтоб пар до костей прошибал, в жару вода студёная — чтоб зубы ломило, щи — чтоб ложка в них стояла и не валилась, к обеду — водки два стопаря, а лучше спирта чуть разбавленного, а после обеда — семьдесят минут сна и чтоб муха не пролетела. Тут повертись, покрути задницей! И в избе, какая ни попадётся, чтоб чисто было и натоплено и ничем бы не воняло, воздух бы свежий был, а фортка — затворена. Тяжко ли всё это было Шестерикову? Ну, так тем и любимо!

Вот с каким человеком пришлось встретиться майору Светлоокову из армейской контрразведки «Смерш», вот кого пригласил он выкроить часок и прийти к нему «посплетничать». Свидание их было назначено неподалёку от штаба, в леске, майор объяснил подробно, как выйти к поляне с поваленной сосной, и ещё попросил — генерала не извещать, поскольку тема беседы «деликатная». Шестериков не явился вовремя, как водитель Сиротин, и не опоздал, как адъютант Донской, он пришёл загодя и понаблюдал из-за кустиков за майором, как тот, раскрыв планшетку, что-то там перечитывает и подправляет, почёсывая лоб карандашиком. Затем подошёл бесшумно, стал у майора за плечом и вздохнул. Майор, всполошась, выхватил пистолет, а планшетку не закрыл.

— Что бродишь? — спросил он, недовольный собою, что его смогли застать врасплох. — Так до смерти напугать можно.

— Чо ж пугаться, — сказал Шестериков, — район охраняемый. А я грибков тут поискать хотел. Командующий по грибкам соскучились.

— Не нашёл?

— Где ж найдёшь, дождика две недели не было. Одни опята, да ведь надоесть могут — без белого или хоть маслачка.

— Заботливый ты, — сказал майор, упрятывая пистолет суетливым движением, с лицом всё ещё недовольным и заметно растерянным.

Шестериков, не отвечая, уселся против него на травке, обхватив колени, и посмотрел в глаза майору смиренно и выжидательно.

— Печёшься о командующем, — продолжал майор, захлопывая небрежно свою планшетку. — Я вижу, лучшего союзника не найти мне. Вот как раз об этом я и хотел с тобой...

— Насчёт грибков?

— «Грибков», «грибков»! Меня нечто большее беспокоит. Здоровье командующего, общее состояние. Не нравится он мне последнее время. Нервничает, какой-то необщительный стал. Ты не находишь?

— Да вроде всегда такой был...

— Не скажи. Всегда-то он тон задавал, душою был армии. А теперь что-то гнетёт его, места себе не находит. С чего это он себе КП отдельно от штаба выбрал? Уставать начал от людей?

— От чего ж ещё так устанешь? — сказал Шестериков. — От них-то больше всего.

Какая-то неясная опасность подступалась к генералу, и Шестериков не мог понять, с какой стороны она грозит. Но он твёрдо знал, что с той стороны, где стоит он, Шестериков, эта опасность не подступится. Это он решил так же твёрдо и быстро, как в тот зверски морозный день у Перемерок, когда повалился рядом с генералом в кровавый снег и перевёл флажок автомата на одиночные выстрелы.

— Скажи мне честно, — майор наклонился к нему с видом озабоченным. — Девушка эта... не слишком его тогда к рукам прибрала? До сих пор небось переживает, что так с нею вышло...

— Это которая девушка? — спросил Шестериков, озабоченный не меньше.

— Ну, которая до переправы была... Надюша, сестричка. Ходила к нему уколы делать. И не одни там, поди, были уколы?

— Конечно, не одни. Давление ещё мерила. Пульс тоже считала.

— И всего делов?

— Какой там «всего»! — отвечал Шестериков. — Медики — они жутко настырные.

— Особливо фронтовички, — смеялся майор, — особливо молодые, горячие. А между прочим, — опять он делался серьёзным, — приказ Верховного, запрещающий кой-какие отношения ближе пятидесяти километров от передовой, не отменён. И генералов он тоже касается. Так что если кто проговорится...

— Ну, может, они на пятьдесят первый километр специально уезжали. Не знаю, меня с собою не брали.

Насчёт «кой-каких отношений» генерала Шестериков не сказал решительного «нет», поскольку не знал, какие на сей счёт сведения у майора. Проговориться сама же эта Надюша могла подружкам, а какая-нибудь из них непременно была у него на крючке. О суровом приказе Верховного Шестериков слышал и знал, что этот приказ давно уже ни к кому не применяли. Однако ж могли применить, если есть он и если кому-то это понадобится. Поэтому решение он принял единственно верное: раз это тебе зачем-то нужно, тем более не скажу.

И майор Светлооков, быстро его поняв, свои поползновения с этой стороны — оставил.

— А что, сердце у него действительно барахлит? Пойми ты, не шашни меня волнуют, а его состояние. Спит он хорошо? Порошками не злоупотребляет?

Выяснилось, что сердце у генерала болит. Оно болит — за родину. Выяснилось, что спит он плохо, почти даже не спит, всё печётся об армии. Насчёт порошков, правда, ничего не выяснилось.

— Лучше уж водки стакана два хлопнуть, — посоветовал майор. — А утром чайком опохмелиться — из бутылки с тремя звёздочками.

«Ах, сука, — думал Шестериков, глядя на него ласково и со вниманием, — я б тебе не три, я б тебе четыре зуба сейчас бы вышиб». Но отвечал он обстоятельно:

— Не уважают они этого — на ночь пить, а утром опохмеляться. Стопку одну за победу хлопнут — и то себя корят, что слабость проявили.

— Так, так, — сказал майор. — Ничего мы, значит, с тобой не выяснили? Или не откровенен ты со мной, или плохо своего Фотия Иваныча знаешь. Понаблюдал бы внимательней, дело-то первостепенной важности, тут все готовы на помощь прийти, и я в первую очередь. Должность такая.

Шестериков кивнул глубоко и спросил с большим интересом:

— А что это — «Смерш»?

— Не знаешь? — удивился майор. — Никогда не слышал?

— Слышать-то слышал, а вот не знаю.

— Ну, «Смерть шпионам», если тебе интересно.

— Как же не интересно? Ведь она же мне первому полагается, если я при командующем шпионом буду.

— Что значит «шпионом»? — раздражился майор, начиная уже розоветь. — То категория вражеская. А мы о проявлении заботы говорим. Как ты её понимаешь — настоящую заботу, а не формальную?

— А так и понимаю, товарищ майор: ночей недосплю, а ни одна гнида к Фотию Иванычу не подползёт.

— Правильно, — сказал майор Светлооков.

Он улыбался широко, уже густо порозовев лицом, но глаза ему плохо подчинялись, выдавали досаду и злость.

— Тоже думаю, что правильно, — сказал Шестериков.

Больше всего любил он кино про шпионов и контрразведчиков — «Партийный билет», «Ошибка инженера Кочина», да много чего было! — и вот сошёл к нему главный персонаж тех фильмов, разведчик там или контрразведчик — пойди разберись, но только воспринимал его Шестериков совершенно иначе. Не то чтобы те лучше были, а этот хуже, то были евклидовы параллели, ни в какой точке не пересекавшиеся. С таким же самозабвением смотрел он комедии из колхозной жизни, где мордастые и грудастые бабы, заходясь от восторга жизни, с пением бодрых маршей вязали в снопы и копнили непонятную поросль, и если б его спросили, как же это соотносится с той жизнью, какую он знал мозолями и хребтом, он бы только заморгал удивлённо: «Так это ж кино!» А впрочем, не исключал он и того, что где-то, может быть, и есть такие счастливые поющие колхозы, и люди там необыкновенные, которым повезло в тех местах родиться, где нас нет. Но насчёт сидевшего перед ним он не обманывался нисколько. И если для шофёра Сиротина смершевец этот был всемогущий провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полёте, если для адъютанта Донского он был тайная, границ не имеющая сила, восходящая в сферы недостижимые, то для Шестерикова он был — лоботряс. Да уж, не более того, но лоботряс энергичный, из той породы, которая изувечила, выхолостила, обессмыслила всю жизнь Шестерикова и

из-за которой любые его труды уходили в песок. Границы же власти таких людей, как Светлооков, он определял, не рассуждая, одним инстинктом травленого зайца: она там проходит, эта граница, где ты не допускаешь их к себе в душу, не отвечаешь улыбкой на их улыбку.

— Что ж получается? — спросил майор. — Не найдём мы с тобой общего языка?

— Да разве же не нашли? — услышал он спокойный ответ.

Кровавоглазая ненависть выглядывала из кротких голубых глаз Шестерикова — та ненависть, что подкидывала к плечу обрезы и поднимала на вилы охочих до чужого хлеба и заставляла своё сжигать, чтоб не досталось грабителям, и которая была обратной стороной любви — к мягкой родящей земле, к растущему колосу, к покорной и доверчивой, словно бы понимающей свой долг скотине, — ненависть человека, готового трудиться и поливать эту землю по́том, чтоб накормить весь свет, и у которого не получается это, не дано ему, не нарежут ему земли вдоволь, потому что от этого странным образом разрушится весь порядок жизни, позволяющий такому Светлоокову холить своё мурло, писать бумажки, годные на подтирку, и чувствовать себя поэтому хозяином.

— Не наш ты всё-таки человек, Шестериков, — сказал майор, перестав улыбаться. — Или не совсем наш.

— Ваш, — возразил Шестериков. — Ваш совсем. Именно что — ваш.

В печали, с какой он это сказал, слышался человек беспачпортный, крепостной, не могший никогда наесться досыта, ухватившийся за соломинку и почувствовавший, что и ту из его рук выдирают.

— Я понимаю, — сказал майор, — откуда это у тебя.

— Чего «откуда»?

— Обида на нас. Можно сказать, классовая обида. Думаешь, перед тем, как с тобой встретиться для беседы, я тебя всего не изучил? Что тебе сказать? Попал ты под колесо истории. Может, и несправедливо: ты ведь в кулаках не числился, а в подкулачниках, а это же почти что середняк, только идеология сходная. И какой ты, к чертям, подкулачник! Подумаешь, две лошади, да корова, да землицы малость. Много тогда было дров наломано. Но ведь это же партия сама тогда признала. Ты же товарища Сталина читал — «Головокружение от успехов»?

«Она-то головокружение своё признала, только не вернула ничего», — хотел сказать Шестериков. Но промолчал. Такие слова лучше было не говорить, даже и с глазу на глаз. И хотелось понять, куда теперь клонит майор Светлооков.

— Срежь-ка мне веточку, — попросил майор, доставая ножик.

— Зачем?

— Жалко тебе?

— Да чо жалеть, — сказал Шестериков. — Когда уж столько загублено...

Однако с места не сдвинулся. Ради майора что-то не очень хотелось ему шевелиться, вставать.

— Ладно, — сказал майор, — я сам.

Он потянулся к ольховому кусту, срезал ветку с покрасневшей уже кожицей, ловкими взмахами ножика стал выделывать прутик.

— Хочешь, Шестериков, я тебе всю твою классовую глупость докажу. Сам удивишься, до чего ж мы дураки бываем. Ты на своего хозяина молишься, хотел бы на всю жизнь к нему прилепиться, разве не так? А это у тебя — то же самое головокружение. Ты же про него не знаешь ничего. Вот такие, как он, и наломали дров тогда. И продотрядами твой Фотий Иваныч командовал, и раскулачивал в двадцать девятом, и бунты подавлял, и целые села переселял в места отдалённые. Родитель твой, по моим сведениям, коллективизации особо не противился, а то, глядишь, почувствовали бы вы руку Фотия Ивановича! Где-то он недалече от ваших мест шуровал. И такой был служака — родного брата не пожалел бы. Ну, а теперь, конечно, общее вас сплотило, война...

И Шестериков, с уныло сжавшимся сердцем, почувствовал, что вот это — правда. Чем же ещё и заниматься мог генерал между своими войнами, чем вся армия занималась, на чём тактику отрабатывала! Выплыл в памяти и такой странный их разговор за водочкой, когда генерал выспрашивал настойчиво: «А всё же мужичок принял колхозы?» — «Как не принять, Фотий Иванович, ежели обрезов не хватило». И генерал, насупясь, не поднимая глаз на него, а глядя в стопку, сказал: «Ну, выпьем, чтоб в следующий раз — хватило...» Вот что за этим «выпьем», оказывается, стояло!.. «А всё равно, — подумал Шестериков, — майору этому не верь». Ведь сколько лет уже это в нём

звучало, как заклинание: не верь им! Не верь им никогда. Не верь им ни ночью, ни днём. Не верь ни зимою, ни летом. Ни в дождь, ни в вёдро. Не верь и когда они правду говорят!

Он поглядел на майора с грустью, с невольно навернувшимися слезами и сказал дрогнувшим голосом:

— А вам-то — какое до этого дело?

Майор Светлооков, словно бы не вынеся ни этого взгляда, ни дрожи в голосе, резко поднялся и хлестнул себя прутиком по сапогу.

— Всё, закрыли тему. Значит, договоримся: о беседе нашей никому. Вообще-то молодец ты, Шестериков. Тайны начальства хранить умеешь.

— Служу Советскому Союзу, — сказал Шестериков.

Майор, похлёстывая себя прутиком, пошёл впереди по тропке, но вдруг остановился с таинственным видом.

— Слушай-ка, Шестериков, ты в снах-то, наверно, разбираешься. Вот к чему бы это: всю ночку снится, что с бабой возишься, и вдруг не баба это оказывается, а мужик? Что бы это значило?

— Понятное дело, товарищ майор, — сказал Шестериков с ласковой улыбкой.

— Скажешь, поменьше про это думать надо?

— И вовсе даже другое. А просто — погода переменится.

— Что ты говоришь!

— А вот так.

Более майор не обернулся ни разу, и разошлись, друг на друга не взглянув.

И вот теперь, трясясь на заднем сиденье «виллиса», Шестериков заново перебирал весь тот разговор в леске. Он чувствовал: от той беседы что-то зависело, тайными ниточками была она связана с внезапным отъездом генерала из армии, — и он искал, в чём мог бы укорить себя. Что он упустил? Какую позицию сдал? Кого предал? И находил, где и в чём сплоховал он, — в том, что майор Светлооков просил об этой беседе никому не рассказывать, и он — не рассказал. А может быть, это было важно для генерала, может быть, и не состоялся бы тогда этот их отъезд? Но и рассказать же он не мог — пришлось бы тогда выкладывать всё до конца, а он не мог бы видеть лица генерала, когда бы сообщил ему всё, что узнал об его подвигах. О продотрядах, о двадцать девятом «переломном» годе, о замирении бунтов, о переселении целых

сёл в места отдалённые. Через это Шестериков переступить не мог — и сам же переломил соломинку, за которую уцепился.

А ведь и тут он правду сказал, майор Светлооков: давней, затаённой мечтой Шестерикова было — служить генералу и после войны. На это вдохновляли его и те, московские планы насчёт Апрелевки, где как-то само собою выходило, что без Шестерикова не обойдётся, и письма генеральши, в которых Майя Афанасьевна упоминала в конце: «А ещё передай привет своему верному оруженосцу, и пусть он тебя бережёт. Ну, и себя, конечно...» В частых мечтаниях он представлял себе — вот закончатся бои, отгремят салюты, и генерал, прощаясь, спросит его: «Ну что, Шестериков, куда ж ты теперь, к себе под Пензу подашься?» — «Нет, Фотий Иванович. — Так заведено было, что ординарец, один из всей свиты, звал генерала по имени-отчеству. — Нет, не под Пензу». — «А почему же? — спросит генерал. — Ты ведь пензенский, из тех мест». — «Родом-то я оттуда, да никого у нас там с жёнкой из родни не осталось. Мать с отцом до войны ещё померли, вы помните, а братан с сорок первого вестей не подаёт, не знаю — жив он, не знаю — нет. Я уж как-нибудь... — Здесь наберёт он в грудь воздуху и выдохнет шумно: — ...при вас останусь. Такое у меня решение. Не знаю, как вы».

Весь разговор был давно отрепетирован вот до этого места. Но дальнейшее его течение раздваивалось. По первому варианту продолжения — генерал удивлённо вскинет брови и скажет, руками разведя: «Как же это при мне, Шестериков? Ведь я на покой ухожу. — А и правда, он после этой войны в отставку собирался. — Мне прислугу держать — по штату не положено». И тут возразить будет нечего, генерал был большой хлебосол, но деньгам живым счёт знал. Ну, а без денег, на один прокорм пойти — несолидно.

По второму же варианту, от которого душа у Шестерикова замирала сладостно, генерал растроганно улыбнётся, даже слезу смахнёт и скажет: «Значит, решено не расставаться? Так, что ли, Шестериков?» — «Да уж, Фотий Иванович, такие мы с вами боевые кони». И на том их мужской разговор кончится.

Теперь же, с отъездом, оба варианта отпадали напрочь. Их разговор не имел никакого продолжения. То есть, конечно, он спросит, генерал, при расставании: «Куда ж ты

теперь, Шестериков?» — но вот ответить ему: «Как-нибудь при вас» — нельзя, невозможно. Потому что он спросит уже насмешливо: «Как так — при мне? Меня, может, в тыл направят. И ты туда захотел?» И это будет ужасно, тем более напоследок. Таким генерал и запомнит его, так и рассказывать будет: «Солдатик мой, ординарец, просился со мною в тыл. Так уж ему хотелось в живых остаться». И не объяснил бы ему Шестериков, что выбрал бы и пекло, только бы — вместе.

С каждым часом пути всё тоскливее и пустее становилось в его душе и всё очевиднее, что лучшее в жизни отходило прочь, назад, к тому зверски морозному дню под Москвой, когда он нёс котелок со щами для захворавшего старшины и ещё не окликнул его с крыльца — но вот сейчас окликнет! — грозный человек в бекеше и с маузером в деревянной кобуре.

Глава третья

КОМУ ПАМЯТЬ, КОМУ СЛАВА, КОМУ ТЁМНАЯ ВОДА...

1

Если для адъютанта Донского, если для водителя Сиротина и ординарца Шестерикова всё то, что случилось с генералом, случилось бесповоротно, то для него самого как будто ещё продолжалось подвластное ему действо, которое он мог вновь и вновь переигрывать, ища и находя более выигрышные ходы. Вероятно, он занимался самым бесполезным делом — планированием прошлого, но в генерале Кобрисове эта работа происходила помимо его воли, к тому же он вынужден был ею заниматься. Мало того, что с каждым часом он всё больше отдалялся от армии, потеря которой означала для него потерю всего, что, как ему казалось, привязывало его к жизни, но ему ещё предстояло держать ответ перед Ставкой, претерпеть унизительную процедуру, которой не он первый подвергался: в *непринуждённой беседе*, где ему отводилась роль наглядного пособия при разборе оперативной ошибки, рассказать, ничего не утаивая и не ища оправданий, о своих промахах, после чего ему на них с торжеством укажут и вынесут вердикт, им же самим подготовленный и разжёванный: «Вот за это мы вас и снимаем».

Он живо, в режущих глаз подробностях, представлял себе огромный кабинет, обшитый дубовыми панелями, длинный стол под зелёным сукном и Верховного, неторопливо похаживающего по ковровой дорожке, посасывая мундштук погасшей трубки и время от времени перебивая общий разговор язвительной репликой. Что рассказать им всем, поворачивающим головы вслед за его похаживаниями, жаждущим хоть за минуту предугадать его решение?

Не начать ли с того, как в один из последних дней августа возник в окулярах стереотрубы огромный город

на том берегу, весь в грудах кирпича и обломков железобетона, дымящиеся развалины проспекта, наклонно и косо выходившего к Днепру, и чёрный ангел с крестом на плече, высоко вознесшийся над зелёным холмом, над кущами парка? Вернее, это так выглядело, как будто ангел, устав нести к реке тяжёлый крест, упёр его в землю комлем и отдыхал, привалясь к нему и опустив голову. Далеко позади него, в синеватой утренней дымке и непогасших дымах вчерашней бомбёжки, посверкивали позолотою луковки звонницы и четырёх боковых куполов и гигантский главный купол, с дырою от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри. Нет, никакой бог не искривил пути снаряда, но прав оказался древний строитель, верно, наперёд знавший, что всему преходящему, сколько б его ни настроили потом, суждено погибнуть, а это — останется. Казалось, один его белый храм и высился целый над морем каменного мусора. Этого не объяснишь бережностью артиллеристов или пилотов, фугасы — свои и чужие — ложатся одинаково густо по всем квадратам, а церквям ещё достаётся особо за их удобство для наблюдателей, но — секрет ли тут каменной кладки или заговорённость, а только снаряды, попадая в стены, не рушат их, лишь отбивают углы да просверливают дыры. Вот это — интересно им будет послушать? Или тут же перебьют насмешливо? А ещё можно упомянуть лепнину старинных домов, повисшую над пепелищем, обнажившиеся пролёты лестниц и внутренность бывших жилищ, и над всем господствующее траурное сочетание — малиновую красноту кирпича и чернь окалины и копоти. И нужно ли добавлять, как всё виденное обжигало глаза и как звенели в ушах толчки сердца?

Не совладав с волнением, он покинул окопчик наблюдателей и пополз с биноклем к пустынному пляжу, где ещё сохранились красные, голубые, жёлтые, зелёные кабинки и лежаки, а возле спасательной станции — лодки с растресканными бортами, полузасыпанные песком или наполовину в воде. Распластавшись, как большая жаба, он вбирал в окуляры и в глаза всё бывшее перед ним — плёсы, заводи, островки с зарослями камыша и осоки, всю широкую серебристо-чешуйчатую ленту Днепра и — на том его берегу — завалы из брёвен и мешков с песком, стволы орудий и крупнокалиберных пулемётов, башни танков, обложенных кирпичом и булыжником.

Он смотрел на руины без той горечи, какую обычно предполагают и о какой принято говорить. Он не видел Предславля довоенного, существовал для него только этот, теперешний, — и волнение его было иного рода. Само необозримое нагромождение развалин говорило о величине города — наверное, самого большого из отданных немцам. О древности его он вычитал из армейской газетки, где бывший историк, а ныне военный корреспондент, рассказывал, приводя цитаты из летописи — и, поди, наизусть шпарил, не таскал же он эту летопись в полевой сумке! — что город основали трое братьев — Кий, Хорив и Щек — и сестра их Предслава; в честь неё и назвали братья маленькое поселение, ещё не ведая — или всё-таки предчувствуя? — что же из этого поселения вырастет. Было нечто трогательное и волнующее в том, что великий город сберёг имя женщины, от которой не то что костей, а пыли, наверное, не осталось; слышалось в её древнеславянском имени предвестие, предчувствие славы, и невольно думалось, что и его имя как-нибудь свяжется с этим городом; где-нибудь там, под завалами, лежит *его* улица или даже площадь *его* — и тем оправдано будет, искуплено всё горестное, унизительное, страшное, что было в его жизни. Он чувствовал жар в лице, дрожь вспотевших ладоней, сжимавших бинокль, и страшился что-то спугнуть; казалось ему, кто-то уже подслушивает его мысль, угадывает его вожделение, родственное охотничьему азарту при виде добычи, слишком большой для одного, слишком соблазнительной, чтобы другие на неё не позарились. Или это было сродни жаркому томлению любовника, слышащего в темноте шелест сбрасываемых одежд.

— Это я возьму, — сказал он вслух. — Моя будешь, овладею!.. — И, спохватясь, что сглазит удачу, добавил: — А как бы, однако, не увели девушку.

Рядом засопел подползший Шестериков, чем-то недовольный. И генерал, отдавая ему на минутку бинокль, сказал — то ли ему, то ли самому себе:

— Теперь, Шестериков, мы себя вести должны, как вкусная дичь. Которая знает, что она — вкусная. Видал, как она ходит? Ножку переставит — и оглянётся. Ещё шажок сделает — и оглянётся.

— Всё правильно говорите, — отвечал Шестериков, припадая к биноклю. — А делаете всё наоборот. Зачем для

9 --- 3572

вас окопчик вырыли? Чтоб вы голову выставляли – прямо под снайпера?

– Брось, ни одна птица не долетит до середины Днепра!

– Насчёт птицы спорить не буду, а пуля – очень даже перелетит.

– Ты смотришь или не смотришь?

– Смотрю. И хоть бы плащ-палатку подстелили. Застудите грудь, кашлять будете.

– Пошёл назад, – сказал генерал, отнимая бинокль. – Карту сюда тащи, быстро! И карандаш с циркулем. И этот... как его?..

– Знаю, – сказал Шестериков, отползая ногами вперёд. – Курвиметор.

Генерал, снова и снова впиваясь взглядом в ангела с крестом, в золотящийся под облаками купол, в предмостные укрепления, спрашивал себя, повезло ли ему, что вышел со своей армией напрямую к Предславлю. Кто не мечтал, кто не просил командование фронтом, не писал прошений в Ставку, чтоб разрешили взять Предславль? Чем ближе к нему придвигался фронт, тем больше ощущал генерал Кобрисов как бы давление на фланги своей армии – так в тройке пристяжные жмут на коренника, заставляя его сместиться, и только оттого он не смещается, что каждая из них уравновешивает другую. Выпало ему оказаться этим коренником – и лишь затем выйти к великому Предславлю, чтоб любоваться им через реку и не мочь ничего. Форсировать реку на виду у города, да даже и на десять километров выше или ниже по течению – мысль эта, хоть и казавшаяся безумной, а всё же мелькавшая, сменилась при близком рассмотрении досадой на глупые свои мечтания. Здесь он положит половину армии – и не захватит ни метра земли на том берегу, даже и на малом островке. Свой «Восточный вал» немцы готовили долго и тщательно, здесь каждая руина стала дотом, орудийной позицией, пулемётным гнездом, не говоря о плавучих минах, выставленных на якорях под самой поверхностью реки. Высаженный батальон – если чудо ему поможет высадиться, – любой «юнкерс» погребёт одной бомбой, не чересчур тяжёлой, и для метания он зайдёт так низко над улицей, что его не упредишь. Если б хоть он располагался в низине, трижды желанный и треклятый этот Предславль, но он стоял на господствующих высотах,

как и подобало стоять великому русскому городу, и в том были и вся красота его, и неприступность!

Так вывела генерала Кобрисова его судьба, или его кривая, к самому Предславлю, чтоб стоять перед ним в готовности — на тот невероятный случай, если б фельдмаршалу Эриху фон Штайнеру, командующему группой армий «Украина», вздумалось переправиться обратно и запереть с востока взятый уже плацдарм у села Сибеж. Вся задача Кобрисова и была — пусть Ставка это вспомнит, учтёт! — лишь подстраховывать левого своего соседа, 40-ю армию Терещенко, вышедшего не напрямую, а на восемьдесят километров ниже по течению. Там посчастливилось найти излучину Днепра, капризно вильнувшего к востоку лет с полмильона тому назад, чтобы теперь подарить Терещенке неоценимую возможность — заявить свои права и на первый плацдарм, и на самый Предславль тоже. Щедрость подарка была ещё и в том, что на всём протяжении правый берег Днепра выше левого и открытый, а в излучине он такой же низкий, овражистый и лесистый, не надо карабкаться на кручи, ни ломать голову, как укрыть высаживающиеся войска. Она так соблазнительно выглядела, эта излучина, для присутствовавших на совещании у командующего фронтом Ватутина, в Доме культуры села Ольховатка, на неё безотрывно, как завороженные, смотрели и сам Ватутин, и представитель Ставки маршал Жуков, и командующие четырёх вышедших на Предславль армий — трёх общевойсковых и 1-й танковой Рыбко. Тыча без конца в эту излучину палкой вместо указки, Терещенко страстно доказывал, что она подарена нам как бы самим Богом, — аргумент, иной раз действующий на грамотное начальство неотразимо, если высказывать его напористо и с восторгом, как умел Терещенко. К главному аргументу удачно пристраивались и дополнительные — вроде того, что этот участок берега, благодаря той же излучине, обстреливается нами с трёх сторон. Куда ни кинь, а другого варианта и быть не могло, как захватывать плацдарм у Сибежа и Предславль штурмовать — с юга.

Один изъян этого варианта виделся сразу: всё то, что пришло в головы наступавшим, могло же прийти и немцам, именно генерал-фельдмаршалу Эриху фон Штайнеру. На это возражение, высказанное правым соседом Кобрисова, генерал-лейтенантом Чарновским, ответ у Терещенко был готов: «Что ж, если мы сами предвидим то,

что противник может предвидеть, значит, кой-чему научились». — «Денис Трофимович, это не ответ! — кричал запальчиво Чарновский. — Одного предвидения мало, не худо бы и новинку применить, если фон Штайнер о тебе заранее побеспокоился...» Но с быстрой, хищной улыбкой Терещенко парировал: «Василь Данилыч, чего ему, фон Штайнеру, меня-то пугаться? Скорее он про Чарновского думает, больше наслышан...» И все присутствовавшие, тоже с улыбками, поглядели на Чарновского, молодого, красивого, удачливого, самолюбивого Чарновского, о котором не столько фон Штайнер, сколько весь фронт был наслышан, что он прямо-таки засыпал письмами Ставку: «Никогда ни о чём не просил, об одном прошу — разрешить мне взять Предславль». Обосновывал он свою просьбу тем, что родился близ этого города, здесь учился, вступил в комсомол, здесь женился, и первые годы его службы здесь прошли, за этот город он жизнь готов положить, и т. п. Он-то и давил на Кобрисова, как пристяжная на коренника, иной раз смещая его боевые порядки, заходя «по ошибке» на его полосу наступления. Напомнив о зависти оппонента и тем смутив его, Терещенко добавил уже серьёзно: «Хочу заверить — вполне отдаём себе отчёт, кто такой фон Штайнер. Не раз встречались. В общем-то недурной вояка». Так сказано было о генерале, которого его немецкие коллеги называли «лучшим оперативным умом Германии» и который, будь у него не столько сил, как у Терещенко, а вполовину меньше, изметелил бы его за несколько часов. Впрочем, то был стиль не одного Терещенко, но установившийся уже во всей армии — говорить о противниках этак по-солдатски насмешливо, и были они — недурной вояка фон Штайнер, что-то кумекающий Паулюс, не совсем идиот Мантейфель. Хорошим тоном сделалось «презрение к врагу» — за то, что у него меньше танков, меньше орудий, что он в невыгодном положении, а у нас, почитай, шести-, семикратный перевес — и он ещё «рыпается». Когда же этот ослабший недотёпа вдруг резал по морде или уходил изящно от окружения, тогда он был «гад ползучий» и «сволочь редкая».

Однако же доводы Терещенко возымели действие, а возражения Чарновского, а за ним и Кобрисова едва ли приняты во внимание. Между тем Кобрисов высказал то, что не оставило бы камня на камне от этих доводов.

Каким огнём обстреливался с трёх сторон предполагаемый плацдарм? Если ружейно-пулемётным, тогда, разумеется, три стороны предпочтительнее; для дальнобойной же артиллерии это безразлично – и стало быть, сибежская излучина не представляла особенного удобства в сравнении с любым другим участком реки, хоть прямым, хоть выгнутым наоборот, к западу. Далее, в местности лесистой и овражистой легче укрыться, но куда труднее передвигаться; чем окажутся там, как не обузой бесполезной, танки и бронетранспортёры, самоходные и возимые орудия? В полную силу можно задействовать лишь пехоту, но и ту – не в наступлении. Казалось, и Жуков, и Ватутин к этому прислушались, и однако ж Терещенко поглядывал на всех с победной ухмылкой, словно наперёд зная, какое будет решение. Да и все знали самый главный его аргумент, невысказанный: этот кусок Правобережья можно быстрей захватить – и значит, много раньше доложить Верховному о форсировании Днепра. Этого жаждали с такой силой, что никакие возражения не могли перевесить, а могли быть объяснены – и не без оснований – завистью к Терещенко, завоевавшему уже летучее прозвище – «командарм наступления».

«Сколько же нужно положить за такое прозвище? Тысяч сорок, не меньше?» – спрашивал себя Кобрисов, вглядываясь в худенькое, востроносое, всегда обиженное лицо Терещенко, в худенькую быструю фигурку, стянутую, точно спеленатую, узким кителем. Из всех генеральских доблестей славился он, несомненно, одной – неукротимой энергией, то есть умением бестрепетно гнать в бой мужчин помоложе себя и держать армию в руках, без промаха и с одного удара острым своим кулачком разбивая носы и губы подчинённым или колотя их по головам суковатой палкой. На укоры Ватутина он отвечал: «Я себя не щажу и других право имею не щадить». О том, как не щадит он других, свидетельствовали потери его армии, самые большие во всём Первом Украинском фронте; о том, как не щадит себя командующий, говорила повсюду разносимая легенда, что спит он четыре часа, печась об армии и «всесторонне пополняя своё образование», которое он считал недостаточным, а потому заваливал политуправление фронта приглашениями московским ансамблям и списками заказанных лично для него книг. Были тут Клаузевиц и Шекспир, фон Шлиффен и Тургенев, оба Мольтке и

Горький; славные эти имена, однако ж, не расходились с палкой и кулачком, ни с плевками в лицо. И летучее прозвище «командарм наступления» — кажется, им же и придуманное — тоже помогало делу: кто б ещё мог так смело запросить по пятнадцать, по двадцать тысяч пополнения — и кому б ещё их дали так безотказно? И, наконец, кому б ещё так легко простилось, когда Сибежский плацдарм оказался-таки ловушкой, старательно уготованной фон Штайнером, когда вся техника и впрямь увязла в лесах и оврагах, которые всё наполнялись гниющими телами, а наступление никак не могло начаться? Ловушкою оказалось и всё совещание в Ольховатке, где все коллеги Терещенко, не воспротивясь ему, взяли и на себя ответственность. Ловушкой оказался и доклад Верховному, тут же переменившему сроки взятия Предславля: не «до зимы», а теперь уже точно к празднику 7 ноября. Сам же Терещенко не проиграл нисколько: не хватило сил заглотать, но уже за то, что укусил, он сделался генерал-полковником, и, провозись он теперь в Сибеже хоть полгода, в генерал-лейтенанты его уже не вернут. И странное дело, чем полней выявлялись все предвиденные опасности Сибежского плацдарма, тем горячее отстаивали этот вариант и тем больше посылалось туда, в ненасытную эту прорву, людей и техники. Почему-то так складывалось, что уже весь фронт обязан был работать на одного Терещенко, и когда очевидно стало всем и сам он перестал сомневаться, что одной его армии в Сибеже не управиться, её не вытянули оттуда, но бросили ей в подмогу ещё соседнюю 27-ю генерала Омельченко, а следом и почти всю танковую Рыбко. А Терещенко и здесь не сник, но с той же энергией выторговывал загодя, чтоб считалось, что главный удар по Предславлю наносит его армия, а обе другие будут вспомогательные. И похоже, вводилась единственно теперь спасительная тактика, которую Кобрисов про себя называл «русской четырёхслойной»: три слоя ложатся и заполняют неровности земной коры, четвёртый — ползёт по ним к победе. Вступало и обычное соображение, что раз уже столько потрачено сил, то отступить никак невозможно, и может случиться, «вырвет победу последний брошенный батальон», — то самое соображение, которое погубило немцев в Сталинграде.

Что же до армии Кобрисова, пока не задействованной, он всё чаще подумывал с беспокойством, что и от неё рано

или поздно станут отрывать куски для той же ненасытной прорвы. И ту мысль, которая пришла ему в голову, когда он смотрел на чёрного ангела с крестом и на купол собора, сиявший чуть потускневшей или просто закопчённой позолотой, следовало продумать и провести в дело как можно скорее. Эта мысль пришла к нему не сразу. Как ни странно, мысли предельно простые приходят к нам позднее, нежели сложные и громоздкие. Он объезжал накануне свои войска севернее Предславля – так назывался предлог поохотиться в днепровских плавнях, отдохнуть от суеты, остаться на несколько часов наедине с собою. Был канун сентября, и сентябрь чувствовал он в душе, которой уже год как минуло полвека, близился конец полноценной мужской поре, тот переклон холма, за которым уже только спуск. Он так остро ощущал подкравшуюся осень, с такой грустью различал её начало в зелёной ещё листве, в ярко синеющем небе, что даже подумалось: может быть, эта охота в его жизни – последняя? Лучше не ждать, когда ослабнет зрение и уйдёт твёрдость руки, а бросить сразу, чтоб не причинять божьей твари лишнего страдания. Охота вышла неудачная – он подстрелил утку, но она, уже с зарядом дроби в теле, крича жалобно и печально, сделала ещё несколько взмахов пробитыми крыльями и приводнилась далеко от берега. К ней не подобраться было и в болотных сапогах, и не было собаки сплавать за нею, да он бы, пожалуй, и не пустил собаку под пулю немецкого снайпера. Расстроившись, он уже больше не стрелял, но может быть, тогда и пришла к нему эта мысль, когда, осторожно раздвинув камыши и глядя с досадой на умирающую утку, относимую течением, он взглянул поверх неё. Далёкий и зловещий в своей тишине, тот берег нависал над узкой песчаной полосою, как геологический разрез, и был усеян чёрными оспинами стрижиных гнёзд. На этих кручах не то что зацепиться, не на чем было и задержаться глазу, одни лысые холмы, тянувшиеся, быть может, на сотни вёрст, лишь кое-где изморщиненные расселинами, – из них в любую минуту могли ударить пулемёты. Они, однако, не ударили. Осмелев, он стоял совсем на виду, по колено в воде, и вдруг понял, что не так расселины придают тому берегу вид неприступности, как его нагота.

Нет, эта мысль ещё не тогда зародилась в нём, он ещё не почувствовал гулкие удары сердца, как в те минуты, когда увидел тот берег действительно неприступным, още-

тинившимся тысячами дул предмостных укреплений. Понадобилось сначала увидеть его пустым, а затем укреплённым и мысленно убрать эти укрепления, чтоб сердце вдруг застучало гулко и часто. Может быть, та напрасная утка, медленно уплывавшая, маячила в его памяти, когда он сказал себе: «Это я возьму!» – а Шестерикову сказал: «Мы должны себя вести, как вкусная дичь...»

Шестериков снова приполз – с картой и принадлежностями, но прежде заставил его перевалиться на расстеленную плащ-палатку. Всему, что ни делал с ним настырный Шестериков, генерал уже подчинялся безропотно, зная, что это будет разумно и правильно, а главное – что от него всё равно не отделаешься, покуда он своего не добьётся. Вот и под карту он догадался подложить твёрдое – крышку от ящика батарейного питания рации. Предславль на этой карте был обозначен, как и любой крупнейший населённый пункт, – четырьмя неровными заштрихованными четвероугольниками, как бы «кварталами», разделёнными белым крестом «проспектов», Сибеж – обозначался кружком с точкой. Генерал Кобрисов, с явственной дрожью в пальцах, вонзил иголку циркуля в белое перекрестье и стал раздвигать лапки, покуда вторая, с грифелем, не попала в точку кружка, обозначавшего Сибеж, а затем, сделавши полуоборот, тем же раздвигом циркуля перелетел над синей извивающейся ниткой водной преграды «р. Днепр», в северной её части. И грифельная лапка попала в такой же точно кружок, в центральную его точку. Убрав руку, он прочитал название – «Мырятин».

Оно ничего не говорило ему, кроме того, что называвшийся так населённый пункт находился на таком же расстоянии к северу от Предславля, что и Сибеж – к югу. Пройдясь по извивам «р. Днепра» колёсиком курвиметра, он получил результат почти такой же. Те же восемьдесят километров. Но то, что лапка воткнулась в самый центр кружка, показалось знаменательным. Сама судьба или Бог, как ни назови, подтвердили его решение. Но ведь и фаталист, бросающийся навстречу предзнаменованию, не только удачу предчувствует, но ощущает и холод в груди, страх неизвестности. Что-то в эту минуту сказало Кобрисову, что с этим безвестным Мырятином свяжется, быть может, и самое славное в его жизни, и самое страшное, не исключая и смерти. Он даже подумал, не свою ли могилу мы

намечаем, когда кажется, что нашли искомую цель. Это двойственное ощущение — и захватывающее, и пугающее — продлилось недолго и вскоре погасло, почти забылось. И он прогудел дурашливым голосом:

Ты подружка моя, Тося,
Я тебе советую:
Никому ты не давай,
А заткни газетою...

Шестериков, оторвавшись от бинокля, поглядел на него подозрительно.

— Ты всё понял, Шестериков? — спросил генерал, проделывая снова операцию с циркулем.

— Ну, может, всё-таки в окопчик сползём? — сказал Шестериков. — А то весёлых-то чаще всего подстреливают.

— Какой окопчик! — вскричал генерал. — Нам только сейчас рассиживать! Дуем к машине скорей. Танки надо спасать, таночки! Пока этот злыдень, Терещенко, из-под носа не увёл.

Как поздно он пришёл к своему решению! Если б тогда он его высказал, в Ольховатке, — может быть, те, полёгшие гнить по оврагам, остались бы живы? Нет, едва ли, они обречены были — своей гибелью доказать всю бесплодность затеи с Сибежским плацдармом. И они же, парадоксальным образом, укрепили «командарма наступления» — все только и заняты были, как ему помочь выбраться из авантюры, куда он и других втянул. Он и до этого, непонятно чем расположив к себе Ватутина, а через него и Жукова, брал от соседей что хотел, — артиллерийские и миномётные полки, танковые дивизионы и бригады — и возвращал потрёпанные, поредевшие, до того измотанные, что их прежде всего следовало отправить в тыл на отдых и пополнить. Терещенко же, отдавая, и не думал их пополнять, все полагающиеся им пополнения он оставлял себе. В той же Ольховатке, когда уже всё решилось с плацдармом и рассаживались по машинам, он громко, при всех, спросил Кобрисова — может быть, и в шутку, но шутку малоприятную:

— Ты бы мне, Фотий Иваныч, не одолжил дивизиюшку? Всё равно они у тебя не задействованы.

— А какую б ты, Денис Трофимыч, дивизиюшку хотел? — спросил Кобрисов, под общий добродушный смех. — Небось приглядел уже?

— Шестая гвардейская у тебя хороша.

— Что ж мелочиться? — сказал Кобрисов, отъезжая. — Ты бы уж всю армию у меня прихватил. Я с одним обозом повоюю.

А между тем перспектива с одним обозом и остаться не так уж далека была. Спешить надо было, спешить, ничего не отдать сейчас. И в особенности — танки.

К вечеру сложился в голове предстоявший разговор с Ватутиным, но лишь глубоко за полночь адъютанту Донскому удалось соединиться с командующим фронтом, когда тот вернулся к себе в Ольховатку с Сибежского плацдарма. Звонить же Ватутину на плацдарм, где он мог быть с Жуковым и Терещенко, разумеется, не следовало.

— Николай Фёдорович, — спросил Кобрисов тотчас после приветствия, — карта перед вами?

— Ну, слушаю тебя, — Ватутин отвечал уставшим голосом и слегка недовольно. Карты перед ним, по-видимому, не было, но старый штабист, конечно, держал её в памяти, со всеми населёнными пунктами и расстояниями между ними.

— Там этот Мырятин видите? В семидесяти километрах севернее...

— В восьмидесяти, — сказал Ватутин. — Ну? Там же как будто Чарновский стоит.

Карты, значит, перед ним не было. Конфигурацию фронта он помнил, но не со всеми же стыками флангов.

— Ещё не Чарновский. Ещё я стою. Самым краешком правого фланга. Так вот, напротив этого Мырятина... Он там от берега километрах в десяти, что ли...

Кобрисов сделал паузу, чтоб вынудить Ватутина самому произнести:

— Хочешь взять плацдарм?

— Просил бы вашего разрешения. — Кобрисов почти видел, как его собеседник, озадаченный вопросом, расстёгивает воротник, всегда теснивший ему короткую шею. — Николай Фёдорович, я же фактически бездельничаю. Зачем я против Предславля стою, как жених перед невестой? Да ещё в присутствии родителей. Да ещё — перед чужой.

Это, он знал, заставит Ватутина возразить, ещё не закончив обдумывания.

— Как это — «перед чужой»? Невеста у нас — общая.

— А так бывает? — спросил Кобрисов улыбчивым голосом, но Ватутин шутку не подхватил.

— Ты не бездействуешь, Фотий Иваныч. Ты знаешь, зачем ты там стоишь. Если фон Штайнер затеет обратно Днепр пересечь да зайдёт с востока на Сибеж...

— Не пересечёт он. Такие фортеля Гудериан проделывал в сорок первом, а нынче бы и он не решился. Силы не те. Ведь он, фон Штайнер то есть, считайте, половину своих войск перед Сибежем держит.

Это был подготовленный реверанс Ватутину — что излюбленный им Сибежский плацдарм столько на себя отвлекает. На самом же деле фон Штайнер бросил туда одну дивизию — правда, не обычную полевую, а дивизию СС «Райх», численностью в сорок тысяч и усиленную шестью сотнями танков, которую можно было считать маленькой армией, — и всё же только она одна противостояла трём армиям советским. Но Ватутин не стал возражать, что не половину, а самое большее треть сил фон Штайнера связал Сибеж. Кобрисов ему загородил все возражения стеною лести, оставив в ней одну открытую дверцу — Мырятин.

— Что ж, Фотий Иваныч, оно не худо этот Мырятин иметь. Как дополнительный плацдарм, с угрозой Предславлю. Отнюдь не помешает. Но там же пустыня, берег лысый. Ты это учёл? Ты же там как слеза на реснице Аллаха, стряхнуть тебя с кручи — плёвое дело.

— А вдруг не стряхнут? Вот вы же не ожидали, что я этот плацдарм попрошу. *Тем более*, может, и фон Штайнер не ожидает?

— Льстишь, — сказал Ватутин насмешливо. Но против ещё одного реверанса тоже не возразил. — Ну, что ж, дерзай... А почему против Мырятина? Какой ни есть городишко, а подступы укреплены. Почему не севернее? Не южнее?

— А чтобы он думал, что я у него этот Мырятин хочу оттяпать.

Кобрисов держал в голове: «Чтобы вы все думали...»

— Резонно, — сказал Ватутин. — А ты его брать не намерен?

Кобрисов отвечал уклончиво:

— Я б не отказался. Да кто ж мне его задаром отдаст? — И, выдержав паузу, добавил: — Николай Фёдорович, я не брал городов, которые потом отдавать приходилось.

— Я это помню, — сказал Ватутин. — И ценю.

«Если бы так!» — подумал Кобрисов. Потому что больше ценили Терещенко, который всегда «замахивался покрупному», как говорилось всем в назидание, который поспешил взять Харьков, чтобы вскоре же его отдать — не возвратив, разумеется, награды, полученной за взятие. Кобрисову же доставалось брать Обоянь или Сумы, те малые городки, которые никого особенно не обрадуют, не слишком прогремят в приказе Верховного, но о которых никто не услышит, что пришлось их оставить. Он был из «негромких командармов», кого мог отметить лишь проницательный глаз, умеющий читать скупые строчки: войскам генерала N «удалось продвинуться на 12 км... Удалось закрепиться...»

— При случае — возьму, — сказал Кобрисов, никак не намереваясь этого делать.

— Хорошо, Фотий Иваныч. Думай сам, по обстоятельствам. Я почему спросил — как бы не пришлось тебе слишком потратиться на этот Мырятин. Мы же главным делом о Предславле думаем — ну, и на твои силы тоже рассчитываем.

— Останется моих сил достаточно. Да я вот свою артиллерию — тяжёлую, гаубичную — на этом берегу оставляю. Будет из-за Днепра дуэль вести через наши головы.

— Ты уже себя за Днепром чувствуешь? — усмехнулся Ватутин.

— Честно скажу вам, Николай Фёдорович, — как бы приоткрыл свои карты Кобрисов, — я на ваше разрешение уже так настроился, что мой седьмой кавкорпус уже на подходе к переправе. И сам я одной ногой там, хоть через час отбуду...

— А если б я не разрешил?

— А почему б вы не разрешили?

Ватутин помолчал и спросил:

— Ладно. А как насчёт танков?

Вот для этого-то вопроса — о танках, о шестидесяти четырёх возлюбленных его «коробочках», «примусах», «керосинках», «тарахтелках», — и готовился весь разговор, и ответ на него был приготовлен — с долгим тягостным вздохом:

— Эхе-хе, танки... Я так думаю, они вам на Сибеже больше понадобятся.

— Что-то слишком ты добрый. Неужели от души оторвёшь для Терещенки?

— Да ведь всё равно отберёте, — сказал Кобрисов безнадёжно.

— Пока не отбираем...

— Отберёте, наперёд знаю. Я ведь для некоторых — копилка резервов. Как что, так: «Дай, Кобрисов, твоих таночков на недельку. Что там у тебя ещё хорошенького есть?..»

— Возможно, что так оно и будет, — перебил Ватутин. — Но пока, я считаю, танков у Терещенко достаточно.

— Живут же люди! Танков у них достаточно! Николай Фёдорович, чего и когда на войне хватает? Только того, что применить нельзя.

На этот выпад — против Терещенко и всех, кто его поддерживал, — Ватутин отвечать не стал. Вместе с тем Кобрисов так настойчиво и с такой безнадёжной печалью прямо-таки навязывал свои танки, которые на Сибеже *применить нельзя*, что уже невозможно было не отказаться от них наотрез:

— Я сказал: пока что они твои.

— Посоветуете их тоже переправить? — спросил Кобрисов с невинной ноткой готовности.

— Фотий Иваныч, ты мне только что про этот Мырятин сказал, и уже тебе советы подавай. Завтра обратись. Я подумаю. Может, ещё какие соображения появятся. Желаю тебе успеха.

Лёгким раздражением в голосе он давал понять, что испрашивать советов — это уже лишнее. Не надо переигрывать. И не надо забывать: от подчинённого всегда предпочитают услышать готовое решение. Стало быть, главное указание, которого и добивался Кобрисов, он получил: не надоедать начальству. А что станет говорить начальство на следующий день, когда всё произойдёт по его раскладке, это он мог легко себе представить. И, зная хоть в малой степени участников разговора, был он не так уж далёк от истины...

...В глубоком, под семью накатами брёвен, штабном блиндаже на Сибежском плацдарме прогудел зуммер, и оперативный дежурный по штабу фронта доложил, что подвижные соединения 38-й армии генерал-лейтенанта Кобрисова производят скрытую рокировку в направлении — Мырятин. Сам командующий также отбыл к месту

будущей дислокации. Три славнейших полководца – маршал Жуков, генерал армии Ватутин, генерал-полковник Терещенко – при этом известии подняли головы от карты.

– Чего это он? – спросил Терещенко. – Неужто плацдарм задумал взять?

– Просил разрешения, – сказал Ватутин. – Обосновал убедительно, я отказать не счёл нужным.

– Но это же несерьёзно, Николай Фёдорович! Да его же там за тридцать вёрст видно как на ладони. Его же оттуда веником сметут. Обычная Фотиева дурь!

Однако Жуков, поглаживавший в раздумье свой массивный подбородок, вдруг быстро притянул карту за угол к себе и впился в неё цепким, всеобнимающим взглядом.

– Не скажи, Денис Трофимыч, – возразил он, усмехаясь. – На войне многие большие дела начинаются несерьёзно.

– А танки? – спохватился Терещенко. – Тоже он их на плацдарм перетащит? Зачем они ему – на голых-то кручах? Они нам тут нужнее.

И Ватутин не мог не вспомнить с досадой, как ему Кобрисов сам же предлагал свои танки для Сибежа, буквально их навязывал, а он – отказался. Но признать себя так легко обведенным вокруг пальца – при том, что он же сказал: «ещё подумаю»! – Ватутин тоже не мог. И он приказал оперативному дежурному выяснить немедленно, где в настоящий момент находится танковый полк 38-й армии. Не более чем через десять минут оперативный дежурный позвонил снова и сообщил, что танковая походная колонна находится где-то в пути, движется предположительно в направлении – Мырятин.

– Что значит «где-то»? Что значит «предположительно»? – вскричал Терещенко обиженным петушиным тенорком, еле не выхватывая у Ватутина трубку. – Пусть запросит командира полка, где он находится!

Оказалось, командира уже пытались запросить, но, видимо, ему запрещено откликаться на запросы некодированные. Как, впрочем, и всегда это полагается на походе.

– Но сам-то генерал Кобрисов, – спросил Ватутин, – может связаться с полком? Какой-то же шифр у них установлен?

Оперативный дежурный позвонил ещё через десять минут и сообщил сведения ещё более удивительные. Генерал Кобрисов связаться со своими танками не может и даже не знает, каким путём они идут к Мырятину. Выбор пути предоставлен на усмотрение командира полка. Танковые рации опечатаны и не работают даже на приём — во избежание провокационных приказов со стороны противника.

— Ну, Фотий!.. — вскричал Терещенко с некоторым даже восхищением. — Ну, артист! Сам у себя танки украл — только б соседям не отдать. Видали жмота, бандюгу?

Ватутин только вздохнул безнадёжно. А Жуков, всё так же усмехаясь, подмигнул Терещенко:

— А что делать, если соседи — такие же?

И всё же, если исключить вопрос о танках, сообщение оперативного дежурного по штабу фронта не произвело на всех троих полководцев слишком сильного впечатления. Это был второй захват земли на Правобережье, который, конечно, должен был отвлечь на себя какие-то силы фон Штайнера, однако не столь значительные, чтоб сибежская излучина утратила своё значение главного исходного пункта для броска на Предславль.

В планы генерала Кобрисова это именно и входило.

2

Навстречу шли «студебеккеры», крытые брезентом, и на буксире тащили пушки с зачехлёнными дулами. На крутом закруглении шоссе водители весело орали «виллису»: «От ствола!» — и поспешно козыряли, разглядев генеральский погон. Под брезентом сидели солдаты в касках, держа оружие между колен. Они смотрели назад — и видели край неподвижного серого неба и землю, стремительно убегавшую от них.

Это были ещё не обстрелянные солдаты и новенькие машины и 122-миллиметровые пушки, и генерал не мог не думать, что станется с ними там, на Мырятинском плацдарме. В его представлении всё, что ни двигалось навстречу, направлялось, конечно же, на *его плацдарм.* Уже две понтонные переправы были наведены через Днепр, севернее и южнее Мырятина, и к двум этим ниточкам

стекалась река людей и техники. Подняться б ему на самолёте, он бы увидел эту реку — шириною километров в тридцать: по дорогам и без дорог, полями и лесными просеками двигались колонны танков, самоходок, грузовики с пехотой, тянулись конные обозы с дымящими кухнями, санитарные автобусы и легковушки с той публикой, которая так охотно заполняет зону второго эшелона, когда передний край отодвинулся достаточно и не грозит подвинуться вспять.

Глупее и обиднее было не придумать: генерал Кобрисов оставил свою армию, он с каждой минутой всё больше от неё отдалялся, с каждым оборотом колеса, и ни один человек в этой лавине войск, стронувшейся с мест и потёкшей к Мырятину именно по его замыслу и воле, не мог бы о том догадаться, а мог лишь подивиться, отчего одинокий «виллис» так упрямо пробивается на восток, когда всё движется, валит, течёт — на запад. Он с этим ещё не смирился и мысленно, не имея сил на что-то другое переключиться, продолжал командовать своей армией и втекающими в неё пополнениями, распределял войска, указывал им колонные пути движения, перемещал с пассивных участков на участки угрожаемые, намечал для артиллерии секторы обстрела и режимы огня — словом, проделывал ту работу, которую армия, с её большими и малыми начальниками, могла бы, казалось, совершать и без него, а на самом деле, он твёрдо верил, никогда не совершает, как бы ни была сильна и опытна, но всегда питается от аккумулятора, который зовётся командующим, движется его энергией, его нервами и бессонницей, его способностью вникнуть во всякую мелочь.

...После звонка Ватутину и его разрешения занять плацдарм началось сколачивание переправочного парка, и прихлынули сведения, что вот у станции Торопиловка имеются у местных жителей полсотни деревянных лодок и штук тридцать резиновых «надувнушек», и ещё партизаны обещали пригнать двести рыбачьих баркасов, а некий старик-рыболов принёс удивительную весть, что на дне, близ берега, покоятся несколько танковых паромов, затопленных ещё в сентябре сорок первого, которые можно поднять, залатать, оживить движки. И вот сапёры, заголясь до кальсон, ныряют и привязывают к ним тросы, а потом их выволакивают машинами — полуторками и трёхтонками, от которых шума поменьше, чем от гусеничных тягачей, —

вот и об этом надо же напомнить, распорядиться, и чтоб сварщики латали их днём, упаси бог ночью, когда за три версты видно прерывистое зарево дуги. Это потом прибудут понтонные полки, и понтонёры наведут свою переправу — не прежде, чем хотя бы трём батальонам удастся закрепиться, переправившись на лодках, на плотах, на брёвнах, на бочках, обвязанных верёвками, на пляжных лежаках и садовых скамейках.

А ещё до тех батальонов малой группке — двадцати одному человеку в четырёх лодках — предстояло скрытно, во тьме, высадиться на узкой полоске берега под кручей и, разведав, где находятся (и находятся ли?) немецкие позиции, подать сигнал. В эту группку — «штурмовую», или «группу захвата» — подбирались люди, умеющие грести без плеска, способные не закричать от боли ранения, а коли тонуть придётся — не звать на помощь; её, если можно было, оказывали только безгласному, закричавший мог схлопотать удар веслом по голове. Этих «штурмовиков» или «захватчиков» напутствовал по традиции сам командующий, и составился уже обряд такого напутствия: их выстраивали перед шлагбаумом штабной деревни, он к ним выходил с начальником политотдела, с ними вместе выслушивал его призывы любить родину беззаветно, не щадя своей крови и самой жизни, затем обходил строй, самолично проверяя снаряжение, каждому пожимая руку, и предлагал напоследок: если кто в себе не уверен, пусть сделает два шага вперёд. Это говорилось для украшения обряда; никто, разумеется, из строя не выходил: одни — потому что вошли уже во вкус и жаждали новых наград или десятидневного отпуска, другие — были штрафники «до первой крови», а в таких случаях кровь им засчитывалась и когда не бывала пролита, третьи — этих «шагов позора» страшились больше самого задания.

В этот раз генерал Кобрисов от традиции уклонился — процедура вдруг показалась ему фальшивой и ненужной, только напрасно взвинчивающей людям и без того напряжённые нервы, и он это испытывал на себе, чувствуя невнятный страх перед чем-то, связанным с этим Мырятином, — вместо построений и напутствий он позволил людям поспать лишний час после ужина или написать прощальные письма, в которых они всегда писали о себе в прошедшем времени: «Дорогие мои, помните, я был весёлый, любил друзей и жизнь...» Поговорить он пожелал

лишь с командиром группы, лейтенантом Нефёдовым, и пригласил его к себе. Шестериков подал ужин на двоих, выставил фляжку водки и удалился в другую комнату, к телефонам. Ещё четыре фляжки были положены Нефёдову в мешок для всей группы.

— Нефёдов, — сказал генерал, когда выпили по первой стопке, — ты сейчас главный человек в армии. Не я, а ты. Вся армия на тебя смотрит.

Нефёдов, опустив глаза, сказал смущённо:

— Постараюсь оправдать...

— Повтори мне, пожалуйста, что ты должен сделать. Только ты — ешь. Ешь и рассказывай.

Он внимательно смотрел, как девятнадцатилетний мужчина, с худым, большеротым лицом, с пробором в светлых волосах, непослушными от смущения руками режет мясо на фаянсовой тарелке, скрежеща по ней ножом.

Нефёдов, как об уже состоявшемся, рассказал, что он бесшумно преодолеет водную преграду (он так и назвал Днепр «водной преградой»), — затем, высадясь на плёсе, пошлёт троих в разные стороны на кручу — разведать, на каком расстоянии от уреза воды (он так и сказал: «от уреза воды») находятся немецкие окопы или иной опорный пункт; по возвращении всех троих подаст сигнал фонарём: если всё спокойно — длинными проблесками три раза, при опасности — серией коротких. Рацию — применит в случае окружения. Тогда, по-видимому, скорректирует огонь на себя.

— С лодками как поступишь? — спросил генерал. — Притопишь? Или песком засыплешь?

Нефёдов быстро, по-птичьи, повернул к нему голову и ответил, глядя в глаза:

— Отошлю назад. Хотя мне каждый человек там нужен.

Это означало — он себе отрежет пути бегства. И предчувствие, что с этим юношей что-то плохое должно произойти, — предчувствие, впрочем, обычное для таких случаев, — пронзило генерала щемящей жалостью. Он подумал, что стареет и что нельзя ему поддаваться чувству, неуместному и не ко времени.

— Минус четверо, — сказал генерал. — Останется вас семнадцать.

— Девятнадцать, товарищ командующий. Лодки свяжем все вместе, хватит и двоих гребцов.

— А выгребут поперёк течения?

— Назад — выгребут. Я бы и одного послал, но вдруг с ним что случится — и пропали лодки.

— Что ты о лодках беспокоишься! Мы без них обойдёмся.

Нефёдов опять поглядел ему в глаза.

— Не в этом дело, товарищ командующий. Нам эти лодки там — не нужны.

Да, он так и хотел — отрезать себе пути бегства.

— Заместителя себе назначил? — спросил генерал, наливая по второй.

— Так точно... Конечно, товарищ командующий. Старший сержант Князев меня заменит. Я его проинструктировал.

— Ну... Дай Бог, чтоб не пришлось ему... тебя заменить. Давай за это.

Нефёдов молча с ним чокнулся и подождал, покуда генерал пригубит первым.

— Лейтенант Нефёдов, — сказал генерал, чувствуя прихлынувшую расслабленность, доброту, — возьми мне этот плацдарм. Очень тебя прошу. Ты, брат, не знаешь, что это для меня значит. И не надо тебе это знать. Думай обо всей армии. Как зацепишься, проси любой поддержки — артиллерией, авиацией. Найдёшь нужным — батальон тебе в подмогу пошлю. Считай, что ты уже представлен на Героя Советского Союза. И ещё четверо, кого ты сам назовёшь. Остальные — все — к «Красному Знамени». Только постарайся, милый. В случае чего — ты знаешь, как меня вызвать по рации. Обращайся только к Кирееву. Это я буду Киреев. Так и требуй: «Киреева мне!»

Было что-то и впрямь неуместное, фальшивое в том, чего и как он просил у юноши, которому предстояло проплыть тысячу двести метров холодной быстрой реки, рискуя вызвать при всплеске сумасшедший сноп немецких осветительных ракет, и потом, на полоске берега, умирать от страха перед засадой, перед автоматной очередью, от которой не спрячешься под кручей, — тогда как он сам останется в чистой, покойной избе, где свет и тепло, и на столе ужин с водкой, и куда вскоре придёт к нему та, которую он так напряжённо ждёт и о ком Нефёдов наверняка знает, наслышан. Словно бы тоже чувствуя фальшь и его неловкость от сказанного, Нефёдов ответил смущённо, не поднимая взгляда:

– Товарищ командующий, я всё сделаю для Киреева...

Казалось, ему теперь хотелось бы уйти, побыть одному, только он не решается отпроситься. И генерал раздумывал, сказать ли ему про то, что оправдывало бы его самого, посылающего людей на гибель. Сказать или не сказать, что он сам переправится если не с первой ротой, так с первым батальоном? Он не помнил, когда пришло решение, – может быть, когда разглядывал в окуляры стереотрубы чёрного ангела с крестом и вдруг почувствовал, что перед ним, возможно, осуществление самой большой из его надежд? Или когда лапка циркуля ткнулась в сердцевину кружка, и он сам ощутил еле слышный укол в сердце, как будто кто-то свыше дал ему знать, что с этим Мырятином свяжется для него, может быть, самое страшное? И может быть, наперекор этому страху он и решил включить в план операции свою гибель – как возможный или даже неизбежный её эпизод. Скорее всего, им двигало суеверие, которое, он знал, противоположно вере, но голос, явственно прозвучавший в нём, обращался к Тому, о Ком до этого он не так часто задумывался всерьёз: «Возьми тогда и меня, если не дашь мне удачи. Я сделаю так, я под такой огонь себя подставлю, что Ты не сможешь меня не взять. Дай мне только доплыть. А живым меня с этого плацдарма не сбросит никакая сила!»

Вот что пришлось бы тогда рассказать юноше, который, наверное, счёл бы это бреднями опьянённого мозга. Поэтому генерал сказал лишь:

– Чего мы ещё с тобой не учли, Нефёдов?

И тот откликнулся словно бы с облегчением:

– Товарищ командующий, в двух лодках мы кабель должны тащить для артиллерии. Но что это за кабель, вы бы видели! На нём живого места нет, сплошные обрывы. Кое-как они срощены, но не опаяны, изоляция прогнила. Ребята его обматывали газетами, промасленными тряпками, потом изоленты намотали, но мы ж его не посуху разматывать будем, а по дну. Суток трое он прослужит, а потом замкнёт.

Генерал почувствовал, как его лицо и шея наливаются кровью стыда и гнева – на лоботряса, ледащую сволочь, которая так распорядилась, чтоб эти парни, которых завтра, может быть, на свете не станет, ещё бы и мучились сегодня, латая и укладывая заведомо негодный кабель.

— Шестериков! — позвал он, не поворачиваясь и закрыв глаза, чтоб успокоиться. Шестериков явился молча и быстро, точно сидел у двери и подслушивал в замочную скважину. — Свяжешься с начснабом по связи, скажешь от моего имени: если через час не отгрузит им полтора километра кабеля — целёхонького, трофейного, в гуттаперчевой оболочке, есть у него... Какой тебе нужен, Нефёдов? Четырёхжильный или шести?

— Лучше бы шести. Будет потяжелее, но хоть не зря трудиться, второй, может, и не придётся укладывать.

— Вот так, шестижильного, — сказал генерал. — Если не притащит в зубах и сам в лодки не уложит, со своими снабженцами толстожопыми, я из них жилы вытяну. А его — расстреляю завтра. Своей железной рукой. Перед строем. Понятно?

Шестериков, что-то не помнивший, чтобы генерал кого-то расстреливал своей рукой перед строем, тем не менее важно кивнул и удалился. Стало слышно, как он неистово крутит рукоятку зуммера.

— Что ещё? — спросил генерал Нефёдова.

— Всё, как будто...

— Совсем никакого желания?

Нефёдов повёл худым плечом и, вертя в пальцах пустую стопку, сказал смущённо:

— Ну, если вы спрашиваете, товарищ командующий... Я бы не хотел, чтобы из-за меня кого-то расстреляли. Я же понимаю, кабель у него на вес золота, и все требуют: «Дай километр! Дай полтора!» Хотел сэкономить человек. А этот, может, и не замкнёт сразу, две недели послужит, а там переправа будет, по ней проложат...

— Ладно, — перебил генерал, насупясь. И было не понять, возражает он или обещает никого не наказывать.

Явился Шестериков, и генерал, поворотясь, уставился на него вопросительно.

— Погрузили кабель, — сказал Шестериков. — Давно, оказывается, погрузили.

— Когда «давно»?

— Два часа, говорят, как отправили. Ну, может, машина застряла...

— И что же он, не знает, что делать? — спросил генерал, опять впадая в сильнейшее раздражение. — Пусть на другой машине протрясётся и эту вытаскивает, если вправду она застряла. Или перегружает.

— Так и обещал, — сказал Шестериков, отчего-то вздыхая. — Через два часа будет сделано.

Оба понимали, что кабелем этим только и занялись после особого приказания, и эти два часа начальник снабжения связи взял себе авансом. Чёрт, подумал генерал, всё какое-нибудь враньё. Не получается без вранья воевать.

— Ты сам-то откуда, Нефёдов? — спросил он, берясь опять за фляжку.

— Ленинградец.

— В институте там учился?

— В университете. На филологическом. Со второго курса ушёл.

Он не добавил — «добровольцем», и это генералу понравилось.

— Филологический — знаю, — объявил генерал. — Это где стихи учат писать. Счастливый ты человек, лейтенант!

— Почему счастливый?

— Ну... Есть у тебя профессия послевоенная. А у меня — нету.

— Но вы же... генерал.

— И что из этого? Генерал воевать должен. А что я после войны делать буду — не представляю... Я — человек поля. Поля боя. Научил бы ты меня стишки кропать. Тоже небось писал?

— Немножко...

— «Жди меня, и я вернусь, — продекламировал генерал. — Только очень жди...» Как там дальше? «Жди меня, и я вернусь — всем чертям назло!»

— «Смертям», — поправил Нефёдов.

— Любишь эти стихи?

— Нравятся, — сказал Нефёдов, слегка заалев.

— И мне тоже. Хотя «смертям» — это хуже. С чертями-то шутить можно, а вот со смертями — лучше не надо. Он потому такой уверенный, Симонов этот, что не побывал у нас на плацдарме. Которого ещё нет, но будет. Вот ты — можешь так уверенно сказать: вернусь непременно, ждите?

Помня о своём решении, генерал чувствовал себя вправе так спрашивать, и спрашивал он себя самого. Нефёдов, не отвечая ему, заметил:

— Нет, он много по фронтам ездит, в отличие от других.

— По фронтам ездить — ещё не воевать... А в отличие — от кого?

— Ну, вот... Луговского хотя бы...

— Володьку — знаю, — объявил генерал, мотнув головою. — Он у меня в гарнизоне выступал в тридцать девятом. И потом мы с ним пили. Вдвоём, представь себе. Ну, ещё адъютант мой был, но быстро под стол уполз. А Володька — молодец. Всю ночь мне стихи читал. Одному.

И прочёл, дирижируя фляжкой в одной руке и стопкой — в другой:

Так начинается Песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, бредущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны...

Звенит эта Песня, ногам помогая
Идти по степи по следам Улагая...

Он умолк, опустив голову, и было похоже, что сейчас заплачет.

— А дальше забыл... Пили же всю ночь. Как собаки.

— Что же с ним случилось? — спросил Нефёдов. — Я слышал, его к нам не вытянуть, чтоб стихи почитал. На сто километров к фронту не приближается...

— На пятьсот — не хочешь? В Ташкенте окопался. Или — в Алма-Ате. — Генерал и сам точно бы впервые задумался, что случилось с поэтом, таким мужественно-красивым и так звонко воспевшим мужество, доблесть, воинскую честь. Такой неодолимый ужас вселили в него первые московские бомбёжки? Или война оказалась совсем не такой, как он её представлял себе, вдохновляясь собственными стихами? Всё же юноша задал вопрос и ждал на него ответа, и генерал ответил: — Знаешь, Нефёдов, нам его не надо судить. Вот я — куда только не совался. А что хорошего? Перед дождём все болячки ноют. И главное, всё — по глупости. А если разобраться, так тоже со страху. Сам себе боялся признаться, что страшно мне. Мы же с тобой оба этого боимся, верно? А он — не побоялся. Так и заявил: «Страшно мне. Я наперёд знаю: меня там обязательно убьют...» Ну, и бог с ним, незачем ему сюда ехать, пусть лучше сидит и пишет. — И, спохватившись, вспомнив, что произносит за другого то, чего тот, возможно, и не говорил, он разлил по стопкам и переменил тему: — Кто же у тебя там остался, в Ленинграде?

— Никого. Мать успела с заводом эвакуироваться — ещё до блокады, а отец тоже воюет. На Втором Белорусском.

— А девушка?

Нефёдов стал медленно и красиво розоветь.

— Что девушка, товарищ командующий?

— Она успела?

— Да, только в другой город. За Волгой.

— Адрес её — тоже оставил?

По заведенному порядку люди из группы захвата не брали с собою никаких документов, ни даже «смертных медальонов», всё сдавалось отряжавшему их офицеру.

Нефёдов молча кивнул, ещё гуще краснея.

— Как зовут её? — спросил генерал легко, не слишком интересуясь ответом.

Нефёдов, опустив глаза, сказал с усилием:

— Разрешите, товарищ командующий, на этот вопрос не отвечать.

— Пожалуйста, — сказал генерал удивлённо. — Хороший ты парень, Нефёдов.

Ему почудилась там какая-то сложная драма, с размолвками, примирениями и кратким прощанием, которое, наверно, не обещало обязательной встречи, если останутся живы. У таких, как этот Нефёдов, чистых, слишком густо краснеющих, слишком много души уделяющих своим девушкам, которые наверняка того не стоят, всегда с ними нелады. И никакая война, наверно, таких не переделает.

— Если с тобой там что случится, не дай Бог, — спросил генерал, — награды кому переслать — ей или матери?

Нефёдов опять быстро, по-птичьи, повернул голову и посмотрел в глаза.

— Я всё написал, товарищ командующий. Награды — матери. А ей — пусть просто напишут.

— Ей напишут, — пообещал генерал, испытывая глухое мстительное чувство к той, неназванной. — Я сам напишу.

Нефёдов от этого ещё сильнее смутился и ответил, кашлянув:

— Спасибо...

— На здоровье, — генерал поднял стопку. — И чего это мы с тобой раскаркались? Верней — я. Ничего не должно случиться. Давай — на посошок, тебе тоже отдохнуть не мешает. Ты из счастливых, Нефёдов, так что всё обойдётся. Ещё Золотую Звезду нацепишь, девушка за тобой убегается.

Нефёдов, со стопкой в руке, почтительно кивнул.

В посошке принял участие и Шестериков, но отчего-то

избегая глядеть на юношу. И каким-то сверхчутьём, пробившимся даже в захмелевшем мозгу, генерал понял, отчего он не смотрит. Он тоже знал, что таким, как этот Нефёдов, честнягам и романтикам, войны не пережить, и вот пришло время этому подтвердиться. «Может, отставить его? Другого кого назначить, постарше?» — подумалось на миг, но он воспротивился этой мысли. Войну и вытягивали эти девятнадцатилетние, эта прекрасная молодость, так внезапно для него вставшая на ноги и так охотно подставившая хрупкие свои плечи, и никем, никем этих мальчишек было не заменить. Лучше всего это солдаты понимали: сорокалетние отцы семейств, относясь к ним по-отечески добродушно, даже порой и насмешливо, слушались, однако, беспрекословно. Когда-нибудь скажут, напишут: эту войну не генералы выиграли, а мальчишка-лейтенант, Ванька-взводный. Вся иерархия страха, составлявшая суть управления войсками, опиралась в конце концов на него, единственного командира, который мог бояться противника больше, нежели начальства. Верховный давил на командующего фронтом, тот — на командарма, командарм — на комдива, далее устрашали нижестоящего командиры полка, батальона, роты, а на нижней ступеньке этой лестницы стоял тот, кому устрашать уже было некого, кроме своих пятнадцати-двадцати солдат, и кто ничем не мог заслужить привилегии — не идти в бой вместе с ними. «Так что же, — спросил себя генерал, — одного Ванькувзводного отставить и такого же послать? Нет, войну не обманешь, что одному суждено, то и другому...»

Он быстро взглянул на часы и, как ни старался, неуловимое это движение не укрылось от юноши. Тот быстро встал и, надев пилотку, откозырял. Генерал, грузно поднявшись, притянул его к себе, обнял худое тело и похлопал по спине. И ему — да, верно, и юноше — это показалось ненужным, лишним.

Потом, еле дождавшись, когда затихнут шаги Нефёдова и закроется наружная дверь, он себе налил ещё две стопки и выпил их быстро, одну за другой, тупо уставясь в угол и чувствуя, как нарастает в нём напряжение ожидания.

Она не запоздала ни на минуту. Эта её всегдашняя точность и нравилась ему, и претила: он не мог понять, дорожит ли она каждым мигом свидания или только спешит на вызов начальства. Но торопливый перестук её каблуч-

ков по глиняному полу, когда она пересекала комнату с телефонами, отзывался в нём радостным гулом и, казалось, совпадал с ударами сердца. В такие мгновения он думал о том, что ещё не стар и до старости далеко.

Шестериков, пропустив её, затворил за нею дверь. Както негласно было заведено, что, когда она приходила, скосясь набок от тяжёлой брезентовой сумки с красным крестом, телефонисты сразу же удалялись и возле аппаратов оставался один Шестериков. Считалось, что командующего *во время осмотра* никакие звонки не должны были потревожить, разве что от Верховного. Ничто ни для кого давно не было тайной, но генералу Кобрисову хотелось думать, что некая тайна всё-таки сохраняется, и люди из его окружения настолько преданы ему, что берегут эту тайну, а не только соблюдают все внешние признаки её сохранения.

Свалив сумку на табурет, она взяла его за руку у запястья и задержала на полминуты, вглядываясь в свои наручные командирские часы с чёрным циферблатом, светящимися стрелками, красным секундником, — его подарок ей из американской посылки для старших офицеров.

— Что вы чувствуете? — спрашивала она озабоченно.

— Тебя чувствую, дочка.

— Я же серьёзно.

— И я не шутя.

— Ну, давайте хоть помолчим, а то я собьюсь. Ну, вот... сбилась!

Глядя снизу на её лицо, сосредоточенное, с закушенной нижней губой, он думал о том, что такие лица, пожалуй, не могут быть у девиц, переживающих своё девичество между войнами; лишь время войны накладывает эту печать мужественности и простоты, придаёт взгляду бесхитростный и гордый вызов. Но что станется с её лицом лет через десять-двенадцать, — если, конечно, она до того лица доживёт! — как будет оно проигрывать в сравнении с лицами невоенной поры, ухоженными, натренированными утаивать любые чувства! Ему вспоминались лица бывших девушек гражданской войны, без конца выступавших с воспоминаниями, лица огрубелые и жалкие — оттого, что жизнь заполнялась лишь памятью о прошлом. Бывшее тогда кровавым, грязным и страшным, оно, отойдя, сделалось прекрасным, лучшим в судьбе. А настоящего, о котором тогда так мечталось,

не досталось им, чтобы создать новое лицо, с чертами по-иному прекрасными.

Сейчас её лицо, не столь и красивое, было прекрасно своим выражением непритворной заботы – о нём, о нём! Совсем иное, чем у жены, оно и волновало его особенно этой непохожестью; эта темно-русая, темноглазая девушка, *юница*, с большим и по-детски припухлым ртом, была *из другой жизни*, и погружение в эту жизнь, в пугающую сладость измены, ему кружило голову. Не сдержавшись, он её привлёк, посадил на колени себе, обхватив тонкую талию, перетянутую широким жёстким ремнём, с подвешенным к нему пистолетом, – этот маленький испанский браунинг «Лама» тоже он ей подарил. Всегда он ей дарил что-нибудь из военного снаряжения. С большей охотой он бы ей подарил парфюмерный набор («Красная Москва», других он не знал) или кружевную сорочку, но было невозможно кого-либо попросить, чтоб привезли из Москвы, а заказать снабженцам что-нибудь сверх того скудного, жалкого «ассортимента», что имелся на армейском складе для военнослужащих женщин, было ему ещё недоступнее, чем ей; он не мог и поручить это Шестерикову: стало бы слишком ясно, для кого старается ординарец, который сам вполне *устраивался* без этого, и тогда уже, как считал Кобрисов, даже видимость тайны перестала бы сохраняться во всей армии.

– Что вы делаете? – мягко укорила она. – Я же должна вас прослушать, мне ваш пульс не нравится совершенно, опять перебои. И что с вами делать, просто ума не приложу. Просили, чтоб я вам что-нибудь принесла, чтоб не спать, или укол сделала, но вы же выпили...

– Так вот же и принесла. Нешто с тобой заснёшь?

– Ну, вот... Что с вами поделаешь?

Сидя у него на коленях, она расстёгивала китель на его груди, прикладывалась ухом к сердцу; в её движениях, во всём милом, девически незавершённом лице не видно было никакого лукавства, игры – это и трогало его, и обижало.

– Да ты любишь ли меня?

– Но вы же знаете...

Как было понять её покорность? Вы же знаете, что да? Или – что я это обязана сносить, потому что вы генерал, вы командующий, а я – лейтенант, медичка? И однако, при всей покорности, сколько ни возражал он, она упрямо

звала его на «вы». Покуда одетые, никогда по имени, а только — «вы». Другое дело — в постели.

— Я шприц приготовила для укола, — сказала она грустно. — Ну, есть же какой-то порядок, режим, зачем же вы раньше времени выпили?

— Раньше какого времени?

Она лишь потупилась, повела плечом.

— Ну, выпей и ты. Для порядка...

Он ей налил с размаху, с переливом, в свою стопку и поднёс к её губам. Она от запаха сморщилась, но слегка запрокинула голову, чтобы он мог влить всю стопку разом. Это он приучил её так пить; в первые их свидания она непременно перехватывала стопку пальцами обеих рук и выпивала маленькими судорожными глотками. Выпив, она опять припадала щекою к его груди, и это служило как бы условным сигналом, частью прелюдии, после которой с нею всё можно.

Господи, как будто ему с нею хоть что-то было нельзя! Как будто он это всё не проделывал тотчас же, как она к нему входила, не дав ей хоть юбку стащить, не заботясь о том, как же она выйдет потом в измятой, — как и вообще не заботило его, скольких усилий стоило ей, при всех передвижениях армии, являться к нему всегда чисто вымытой и опрятно одетой, наглаженной; её испуганные взгляды на дверь не понуждали его хотя бы накинуть крючок, а лишь задёрнуть полог в углу, где помещалась его походная койка, — хотя и этого можно было не делать, ничья нога не ступила бы сюда, миновав Шестерикова. Как много было потеряно — и её движений при раздевании, трогательно готовных, и своего же горячего томления, всего прелестного, таинственного, о чём только и помнится потом, тогда как то, что он называл «делом», забывается напрочь. Сейчас ему горько было представить себе, как, наверное, безобразен был он с нею, и оттого особенно горько, что таким она и запомнит его. И может быть, в час другой, в другой постели, с кем-то другим, она, вспоминая его, вздрогнет с отвращением.

А впрочем, стыд за себя недавнего был недолог. Он и сейчас думал, что его решение, в которое он не находил нужным её посвятить, освобождает его совесть от всех укоров. «Меня, может, завтра и не будет, — говорил он себе с почти детской обидой. — И это, может, в последний раз... Неужели же мне всё не простится?» И раз-

девал её торопливо и неумолимо, разгорячаясь всё более от её податливости, любуясь откровенно при свете керосиновой лампы каждой открывшейся пядью девического тела, а затем, не сводя глаз с неё, раздевался сам, гордясь, что и она тоже любуется им, робко притрагиваясь к его шрамам. Вскинув её на руки, он не ощутил совсем тяжести, напротив – прилив сил от ожидания большей близости, и, задув лампу, понёс свою ношу в угол, в темноту, поспешно, как если б кто хотел и мог её отнять у него.

Потом, и впрямь, ничего запомниться не могло – от первых её судорожно-робких объятий до последнего задыхания, до того, как она, выгнувшись с неожиданной силой, не опала наконец, сразу сделавшись расслабленным, потерявшим упругость пластом. Однако сознание его не затмилось ни на миг, в нём явственно промелькнуло сказанное кем-то: «Самая лучшая не может дать больше, чем имеет», – и он подивился очевидной ошибке или нарочитой лжи: так сказано теми, кто не знает, что взять, или взять не может. Невесть отчего довольный своим открытием, он, отвалясь, изредка и как-то машинально приникал губами и лбом к её виску с пушистым завитком, как бы прощения испрашивая за извечную мужскую вину, и нехотя, хриплым голосом, говорил о чём-то, совсем не главном: кровать узка, звёзды в окне какие высыпали, кто-то в углу скребётся – не мышь?..

– Что же с нами будет? – вдруг спросила она, глубоко вздохнув.

Она смотрела в тёмный потолок хаты, и он скорее угадал, чем увидел на её глазах слёзы – от унижения и опустошения? от счастливой усталости? или от любви, которой не суждено продолжиться нигде, никогда? Он провёл по её щеке ладонью, хотел привычное пробормотать: «Ну, что, глупенькая? Ну, перестань...» – но она быстро перехватила его руку своими обеими и приникла к ней щекой, потом губами, быстро целуя и всхлипывая.

– Что-то с тобой должно случиться... Я так боюсь за тебя, ты же безрассудный! Я просто вижу, как ты лежишь – на том берегу, сразу же за переправой, совсем без движения...

– На том – это ещё ничего, – сказал он тем беззаботно-усмешливым тоном, каким всегда так приятно мужчине говорить с женщиной, беспокоящейся о нём.

— На том, — повторила она, как эхо. — Нет, переправиться ты успеешь. Но далеко не уйдёшь.

— Да что со мной случиться может?

— Не знаю. Разве бы я тебя не предупредила, если б знала?.. А только ты со мною уже не будешь. Не дождусь я этого. Никогда.

Он хотел расспросить её об этом предчувствии, — не потому, что слишком оно его пугало сверх предчувствий своих, но просто он знал, что звук собственного голоса успокаивает многих женщин, — как в комнату вдруг ворвался рёв телефонного зуммера, и клацнула за дверью быстро схваченная трубка.

— Алё, — сказал глухо Шестериков, должно быть, прикрыв рот ладонью. — Нет, не товарищ командующий. Отдыхают они... Отдыхают, говорю. Устали очень.

— Прохиндей, — сказал генерал, усмехаясь.

Она усмехнулась тоже.

— Мне скажите, если что важное, — говорил приглушённо Шестериков. — Это поглядим, надо ли ещё будить. Доплыли, говорите?.. Фонарём посветили?.. Ладно, доложу. — И громко, явно для сведения того, кого просили разбудить: — Значит, доплыли, дали сигнал... Сколько проблесков?.. Два проблеска. Значит, ещё не разведали, а только преодолели. Как разведают, три раза должны посветить... Шестериков принял, дежурный у аппарата. Будьте спокойны, мне ж трибунал, если не доложу... И вам всего наилучшего. Счастливо оставаться.

Он прокрутил отбой и чем-то громко зашелестел — должно быть, газетой.

Время, вспугнутое звонком и подхлёстнутое вскачь этим первым сообщением, опять замедлилось, потекло в бесконечной, безысходно-мучительной благодарности ей, которая была так чутка и покорна, так хотела всю себя отдать. И хотя усталость ещё не прошла и силы не вернулись, он не мог не потянуться к ней снова, прижавшись губами и горячим повлажневшим лбом. Она отстранилась, насколько можно было, чтобы не прикасаться, пока не пришло время.

— Всё-таки жалко, что я тебя не полечила, — так она объяснила своё движение. — Ты плохо к себе относишься, совершенно наплевательски к своему здоровью. А ведь уже возраст, никуда не денешься. И выпил зря так много... Много ведь выпил, да? Ну, согласись со мной.

— Угу, — сказал он. — Соглашаюсь.

Она вздохнула удовлетворённо и, помолчав мгновение, вдруг сказала с неожиданной страстью и сквозь слёзы в голосе:

— Счастливая твоя жена!

— Чем счастливая? — он удивился. — Что я ей тут с тобой изменяю?

Он тотчас пожалел о сказанном, но она его слов как бы не услышала, простила.

— Как же не счастливая — с таким, как ты!

— С каким таким особенным?

— Нет, вовсе не в том дело, что генерал... Не в этом совсем...

— А в чём же?

Впервые она ему отвечала на вопрос, которого он не решался задать, и он боялся спугнуть её, ждал продолжения. Но продолжения не было.

— Так в чём же?

— Разве я тебе не всё сказала? — ответила она удивлённо и печально. — И ты сам не видишь, какая я с тобой? Когда только вхожу к тебе, у меня праздник, рук и ног не чувствую. А когда одна остаюсь и о тебе думаю, ну такая печаль, такая тревога за тебя, ведь ты же... совсем один! Такой одинокий, так тебя жалко. А тебе для меня и полчаса было много. Не потому, что заботы кругом и вздохнуть некогда, а просто я на полчаса и нужна. — И, смутясь, что укоряет его, чего раньше себе не позволяла, добавила мягче: — Мне не за себя обидно, мне и так счастье. Обидно, что ты себя обкрадывал. С другой так не делай никогда. Обещаешь мне?..

...Всё же он заснул ненадолго — может быть, на несколько минут, — как провалился в чёрную яму, без какого б то ни было сновидения, и проснулся от того, что всегда тревожит и будит человека воюющего — тишины. Она спросонья была пугающей, в ней таилось что-то зловещее. Но у лежавшей рядом юной женщины глаза были открыты, она стерегла его сон, и значит, ничего особенно страшного случиться не могло, по крайней мере за то время, что он отсутствовал. Он к ней прильнул с ощущением своей неясной ему вины и благодарности за снисхождение, но резкий зуммер опять прорвался сквозь дверь, клацнула трубка, Шестериков приглушённо сказал своё «Алё!». И громче, нежели нужно было собеседнику на том конце, стал переспрашивать:

— Три раза посветили?.. Ну, значит, разведали... Ты, это, и думать брось, что я не докладываю, мне жить ещё не надоело. Только зачем будить, если порядок во всём? Благодарю от лица службы... Кто принял? Шестериков принял. Есть такой... Вот, теперича будешь знать... Постой, куда уходишь? Кабель они размотали? В воду не упустили? Надо ж прозвонить его, вдруг не действует, где-нито обрыв... Вот и займись... Ладненько, служим дальше. Как родина велит.

Трубка упала на рычаг, и время опять потекло медленно, можно было вновь жарко приникать друг к другу, переплетаясь, как стебли, но равенства и согласия в их любви, только что как будто достигнутых, уже не было, что-то иное вторглось и требовало своего места в его сознании, и она это чувствовала и с этим соглашалась, жалея его и только робко прося побыть с нею, не уходить так далеко. Однако далёкий и как будто совсем посторонний образ маячил в его мозгу, образ тех, прячущихся на узкой полоске под обрывом, снедаемых страхом и всё же делающих дело, для кого-нибудь последнее в жизни. И ему не давало покоя, что он что-то упустил и не может вспомнить, что ещё следовало приказать, но вдруг опять властно заговорил Шестериков:

— Алё, прошу назваться... Ну, считайте, Киреев говорит. Что там шестая рота поделывает?.. Готова? Пускайте роту. С Богом. Людям объявили насчёт наград? Пять званиев Героя на роту дадено, кто первым уцепится... Ну, лады.

— Что он делает? — спросила она испуганным шёпотом.

— Ничего особенного. Командует армией. Ты мне его не сбивай.

— Что же одна рота сможет?

— Всё правильно. Он дело знает. Сейчас батальон поднимет.

И, точно Шестериков мог это услышать, он уже опять кому-то звонил:

— Как там люди?.. Сладко ночевали, глазки слипаются? Кончай ночевать!.. Командующий, значит, так велели: людей накормить, а водки им не давать... «Почему», «почему»! Ну, сам же знаешь, река пьяных не любит. На том берегу по двойной примут...

Она вздохнула протяжно, как ребёнок, спросила печально:

— Пора нам прощаться? — И, не дождавшись ответа, сказала решительно: — Я с этим батальоном пойду.

Она не просила разрешения, это было её дело, её боевая обязанность, в которую он никогда не вмешивался. Он лишь подивился нежданному совпадению. Словно бы она обо всём догадалась.

Всё же он ещё раз хотел того, что могло быть последним. Он поймал себя на том, что не думает о ней, для которой это, быть может, уже не так желанно. Но и укорив себя, всё же глухо повторил:

— Еще не пора. — Он вложил в эти слова двойной смысл, она поняла и головой коснулась его плеча. Он добавил: — Ещё колонна должна объявиться.

— Какая колонна?

— Какая надо. Не забивай себе голову...

Было договорено, что танковая походная колонна, идущая к траверзу Мырятина по плавной дуге, объявится в эфире с половины пути. Для этого оставят там радиста, который выйдет на связь лишь через полчаса после её ухода. Если его и засекут пеленгаторы, огонь обрушится на него одного. И возможный смертник, наверное, медлил надеть наушники, вытянуть антенну, дать свои позывные. Генерал его понимал, а всё же изнывал от нетерпения, подступающего гнева.

Он поднёс к глазам руку с светящимися часами, которые не снял. Ночь ещё чернела в распахнутом окне, ещё мерцали звёзды, а время летело неумолимо. И вот взревел, наконец, зуммер, и Шестериков громче обычного заговорил в трубку:

— Объявился радист? Порядок, благодарю! — И, как бы предупреждая вопрос генерала, сам спросил: — А не засекли его?.. Гляди-ко, фриц тоже не спит, службу несёт... Да уж, пора будить. Щас доложу.

Но, положив трубку, продолжал сидеть, громко, как жестью, шелестя бумагой. А ночь в окне уже не была так непроницаема, как несколько минут назад, к её черноте примешивалась робкая просинь. В том последнем, от чего невозможно было отказаться, он прощался с женщиной, как прощаются с жизнью, с самым дорогим в ней, искупающим все страдания, обиды, предательства судьбы. И она отвечала ему так же прощально, пусть без горячности, без стенаний, которые и хотелось бы ему услышать, но с таким глубоким, страстным, упрямым молчанием, как

если б уже принесла последнюю жертву любимому и больше отдать было нечего.

И когда разомкнулись, долго не произносили ни слова, лежали в оцепенении, далёкие друг от друга. Так же, в молчании, поднялись, и она смотрела на него, запрокинув голову, опустив руки. Он успел подумать, что от этой ночи, которая была уже на исходе, может быть, что-то останется – новая жизнь, и она её понесёт так же покорно, какой всегда была с ним. Но эту мысль, и пугающую, и внушившую гордость, перебил зуммер.

– На подходе уже? – кричал Шестериков. – Говорите, Торопиловку проследовали?.. Быстрые! И чего наблюдатели докладывают?.. Ни одной не потеряли?.. Значится, могу доложить – все целы коробочки, примуса, тарахтелки? Благодарность от лица службы!

Наклоняясь, опуская книзу чуть продолговатые колокольчатые чашки девических грудей, ещё не утративших для него своей неповторимости и тайны, и значит, ещё любимых, она подбирала с полу свою одежду, которой теперь больше стеснялась, чем наготы, грубую одежду не девушки, а солдата. Он порывисто к ней шагнул, вспомнив, что и ей сегодня то же предстоит, что и ему. Но больше думал уже о другом, о себе, об армии, изготовившейся к переправе, когда привлёк к себе тонкое тёплое тело, стиснул, поцеловал её в лоб. И сказал, глядя уже куда-то сквозь стены, поверх её темени:

– Береги себя, дочка.

3

Танки...
Танки...
Танки...
Здравствуй, наша сталь!

С.Кирсанов

Как всё удавалось ему поначалу, как ложилось в намеченные сроки!

Танковый полк прибыл ещё до света и втянулся в длинный неглубокий овраг, выходивший косо, под острым углом, к Днепру. Устьем оврага была уютная бухточка, тихая заводь, куда могли войти мелкосидящие танковые паромы и опустить на песок свои ржавые ис-

кромсанные аппарели*. И они уже с ночи сгрудились там, причаленные бортами друг к другу, легонько покачиваясь и поскрипывая. Приняв на себя всё руководство переправой, он сам и присмотрел эту бухточку, и распорядился, чтоб просчитали течение и снос, да погнали бы в воду сапёров с шестами — промерить глубины, и чтоб было с запасом, чтоб под тяжестью танков паромы бы не просели до дна.

Между тем правый берег молчал, и не было сигнала, что переправившаяся рота закрепилась, очистила хоть двести метров будущего плацдарма. Молчание это вселяло, как водится, тревогу, но могло быть и добрым знаком, что всё идёт по плану, и вот-вот прохрипит в наушниках весёлый, блудливый голос: «Киреев! Ты, говорят, женишься? Когда ж на свадьбу пригласишь?» И с той же котиной ухмылкой ответят ему: «Женюсь, да невеста задерживается, долго марафет наводит...» Эту немудрящую конспирацию немцы, конечно же, сразу рассекретят, поднимется суматошный лай крупнокалиберных пулемётов, тяжкое уханье гаубиц, и покажутся недооценённой отрадой едва поредевшая ночная мгла, шелест осоки и камыша, обиженный вскрик чем-то потревоженной птицы.

Он ехал ухабистой дорогой, стелющейся по дну оврага, вздрагивая под своей кожанкой от предутреннего холодка, но больше от возбуждения и нетерпения, и одна за другой выплывали из сумрака тёмные громады — его «коробочки», его «керосинки», «примуса», «тарахтелки». Побитые, изгрызенные осколками, многажды латанные, покрытые копотью, они спрятали свои раны и шрамы под ветвями, ещё не сброшенными с башен, привязанными шпагатом к стволам пушек. Вот что он упустил, пожалуй, — распорядиться, чтоб натянули над оврагом маскировочные сети. Но может быть, и не понадобятся они — если всё сложится по его плану, танки уйдут к переправе ещё в темноте.

Он обогнал две полковые кухни на конной тяге, передвигавшиеся неспешно от танка к танку; экипажи, не сходя с брони, а кто и прямо из люка, тянулись вниз с котелками, куда им щедро сыпали черпаком комковатое варево. Туман, застлавший дно оврага, смешивался с дымом кухонь, с дизельным выхлопом, ещё не успевшим рассеяться,

---

* Аппарель (от *фр.* appareil — въезд) — наклонная плита для погрузки автомашин или танков на переправочное средство — ж.-д. платформу, баржу, понтонный мост, а также и лошадей в вагоны или на суда.

пахло соляркой, мясной едой, лошадьми, — он втягивал эти запахи раздувающимися ноздрями и взбадривался, одолевая свой страх — перед тем, что затеял он и что должно было вот сейчас начаться.

Появление командующего было до того неожиданным, что на него поначалу не обращали внимания, но всё же срабатывал таинственный, ему не видимый телеграф, и где-то в середине колонны уже выходил ему навстречу командир полка — с чумазым лицом и, верно, красными от недосыпа глазами. Под шлемофоном различалась в полумраке тёмная чёлка, а по верхней губе продёргивалась ниточка усов. Такого образца усики генерал Кобрисов привык видеть по утрам в зеркале, бреясь; у командира полка, при худобе лица и чёрных запавших глазах, они выглядели иначе и делали его похожим на грузина. Мода в 38-й армии, как уже не раз отмечал генерал, исходила от него; те, кто не мог его видеть, перенимали её от вышестоящих, — и значит, он, а не какой-нибудь легендарный разведчик или иной герой, был самым популярным в армии человеком; это и приятно было сознавать, и отчасти раздражало: если каждый захочет походить на Кобрисова, мудрено отличиться самому Кобрисову.

Рапорт командира он выслушивал сидя, но не утерпел, выбрался из «виллиса», разрешающим жестом опустил его руку, вскинутую к шлемофону, затем поймал её и крепко, порывисто стиснул, горячую и грязную.

— Ладно, с прибытием тебя, майор. Всех привёл? Никого не потерял?

— С чем вышли, товарищ командующий, с тем и прибыли, — ответил командир уклончиво, смущаясь ли этого неуставного тисканья или оттого, что не всё у него вышло без неполадок.

— Хорошо говоришь, только непонятно. Что значит «с чем вышли»?

Право, генерал не нашёл бы, в чём его упрекнуть. Ночной рейд был проделан без опоздания, и это при том, что двигались без фар и габаритных огней; водители, выдерживая дистанции, ориентировались лишь на белый круг в корме впереди идущего, и это восемь часов без единого привала; чудо, что не заснул никто, не столкнулись, не повредили ни пушек, ни радиаторов.

— Товарищ командующий, — сказал майор, замина-

ясь, — я, помните, докладывал... Две машины у меня не вышли из ремонта.

— Ну? А что с ними?

— Я докладывал — башни не вращаются. Если помните.

— Как это не вращаются? Почему?

И, ещё задавая свой вопрос, генерал вспомнил отчётливо, как в ответ на его приказ о передислокации этот командир ему пожаловался, что в мастерской всё тянут с ремонтом двух машин. И вспомнил даже, в чём было дело. Снаряды, угодившие в стыки между башнями и корпусами, выбили зубья больших поворотных шестерён; этими зубьями, отскочившими внутрь, ранены были в одном танке башенный стрелок, в другом — командир; они, впрочем, успели уже вернуться из медсанбата, с зубьями же оказалось хуже, нежели с человеческой плотью. Приваривая их, не избегли коробления; малые шестерёнки, набегая на сварной шов, застопоривались, и электромоторы поворота гудели и дымились. Замену снабженцы не подвезли, и башни просто опустили в гнёзда и закрепили по курсу — отчего пушки, естественно, лишились горизонтальной наводки. Наводить их можно было лишь поворотом всего танка, что требовало немыслимой в бою согласованности между водителем и стрелком. Генерал, выслушав доклад, вскипел тогда: «Бардак у тебя вечный!» — и швырнул трубку. И казалось, его гнева достаточно, чтоб всё наладилось срочно и с этими заклиненными башнями ему более не досаждали, но вот они выплыли снова — как первая и непредвиденная помеха.

— И ты их оставил? — вскричал генерал, отшвыривая руку, только что пожимаемую крепко и порывисто. — Два танка оставил! Ну, майор, удружил! Низко тебе кланяюсь...

Свою руку он вдруг ощутил чем-то запачканной, какой-то маслянистой дрянью, и брезгливо ею потряс. Донской, оказавшийся рядом, с невозмутимым лицом подал ему чистый платок. Генерал отёр свою руку платком и швырнул его наземь.

— Век буду благодарить! — вскричал он едва не жалобно.

Донской молча кивнул, как будто это к нему относилось, и от этой нелепости генерал ещё сильнее обиделся. В ослепляющем гневе он не находил, какие ещё слова бросить в умученное лицо, ставшее ему ненавистным, да с трижды теперь ненавистными усиками. И ещё больше

гневило его, что лицо это было сама виноватость, даже как будто искривилось от сдерживаемых слёз.

— Что кривишься! Плакать он мне тут собрался!

— Товарищ командующий, — робко воспротивился майор. — Да разрешите же объяснить... Я ведь как подумал...

— Чем ты «подумал»?

— ...зачем нам на тот берег инвалидов тащить?

— Умник ты! «Инвалидов»! И хрен с ним, что башня не крутится. Он — танк. У него ещё мотор есть. И броня. Мне на том берегу любая колымага сгодится, только бы двигалась.

Ничего, разумеется, не решали эти два танка, но они грозили стать началом в цепи непредвиденных осложнений, а цепь эта всегда начинается с дурацких мелочей. Всегда раздолбай найдётся — испортить праздник. И хотя генерал понимал хорошо, что до праздника ещё очень далеко и что командир этот вовсе не раздолбай и заслуживает не нагоняя, а благодарности, и даже есть резон в его оправдании — хотя бы суеверное нежелание начинать ответственную операцию с «инвалидами», — но не мог примириться, что уже какая-то мелочь вторглась в его план, а пуще не мог примириться, что у кого-то могли быть свои суеверия, кроме его собственных. Недопустимой роскошью казалось ему сейчас, чтобы у каждого в армии были суеверия.

— Товарищ командующий, — сказал майор, вытягиваясь и бледнея, что стало различимо даже в полумраке, — можете меня отстранить, если не справился. Но разрешите...

— Что-о?! — перебил генерал и в изумлении даже отступил на шаг, разглядывая его как будто впервые. И кажется, в эту минуту оба они поняли каждый своё. Майор — что можно было и взять этих «инвалидов», вреда бы они не принесли, а польза была бы, да хоть лязгу побольше и рёву, а генерал — что можно было их и не брать, пользы только и есть, что рёву и лязгу. — Нет уж, иди воюй. С чем есть. И задачу мне выполни. А не выполнишь — под трибунал пойдёшь...

Он кинул взгляд на платок на земле, которым только что отирал руку, и осознал, что притихшие экипажи наблюдают эту сцену — в сущности, безобразную, поскольку он распекал командира при подчинённых, — и наблюдают не столько с любопытством, сколько с угрюмым осуждением.

Огромный детина, и мускулистый, и полный, сидевший на броне с котелком между колен, звякнул ложкой, сам от этого звука вздрогнул и поспешил сказать:

— А может, и не придётся, товарищ командующий, под трибунал? Выполним мы задачу. Неуж не выполним?

Генерал бросил взгляд на его добродушное, лунообразное лицо — и ещё раздражился: зачем такого верзилу в танке держат, где и щуплому тесно, ему бы милое дело в пехоте, в рукопашной поработать. И тут же вспомнил, что, бывает, приходится соединять разорванную гусеницу, и вот где пригождаются эти медведи. Вот этот луноликий, голыми руками взявши концы, багровея, стянет их и будет держать, покуда не вставят запасной трак, не просунут и не забьют кувалдою шплинты. Генерал живо себе представил верзилу за этой работой — и смягчился.

— А ты сиди там! — рявкнул он на луноликого, отчего тот ещё сильнее вздрогнул и с грохотом уронил котелок.

Вылившееся варево — то ли жидкая каша, то ли густой суп — поползло по броневой плите. И вдруг генералу стало жалко этих людей, в сущности прекрасно выполнивших первую задачу, и подумалось, что ведь это удовольствие — хоть поесть вволю за час до переправы — может быть, последнее в жизни луноликого.

— Котелок подбери, — сказал генерал, уходя к «виллису». И жестом остановил спешившего сесть Донского. — На кухне сказать, чтоб ему три порции наложили. Вишь, он какой у нас... дробненький. Расти ему надо. А до обеда ещё ждать...

С внезапной грустью он почувствовал себя лишним среди людей, меньше всего нуждавшихся в его распеканиях и понуканиях. Усевшись и избегая смотреть на майора, стоявшего с видом виноватости и огорчения, он сказал примирительно:

— Ладно... С прибытием тебя. Там разберёмся.

«Там» означало — на правом берегу.

«Виллис» понёс его к кавалеристам, расположившимся на широком лугу, за рощей, которая их укрывала от наблюдателей с того берега. Разумеется, он не ждал увидеть эскадрон в строю, со знаменем и вздетыми «подвысь» клинками, но всё же подивился открывшейся ему картине. Конников ещё не начали кормить, и они, времени не теряя, кормили своих коней, то есть попросту их пасли на лугу. Разнузданные и не стреноженные, их кони разбре-

лись по всему лугу, ещё серому в полумраке, тогда как хозяева покуривали, рассевшись группками на траве. От одной такой группки отделился и направился к «виллису», не чересчур спеша, командир эскадрона. Генерал, с заранее добрым чувством к нему, отметил кавалерийскую походку, слегка заплетающуюся, при которой особенно мелодично позвякивали шпоры, нарочито неуклюжее ступание чуть раскоряченных ног в лёгких, собранных гармошкою сапогах и не бренчащую, легонько рукой придерживаемую шашку. Остальные поднялись с земли, но цигарок и самокруток не притушили. В ожидании боя старые вояки не так уж внимательны к начальству, уже что-то иное над ними властвует, и генерала нисколько это не кололо, никакая объяснимая вольность; он с удовольствием оглядывал импозантную фигуру комэска, широкую в плечах, узкую в чреслах, чеканное загорелое лицо, чуть тронутое улыбкой, с удовольствием втягивая при этом всегда его волновавшие запахи конницы, без примеси солярки и выхлопа, запахи засохшего конского «мыла», навоза и мочи, перепревшей ременной сбруи.

Комэск, подойдя, изящно подкинул к фуражке руку с висящей на запястье плетью, другой рукой обхватив чёрные облупившиеся ножны. Фуражка была у него набекрень, пышный чуб выпущен, ремешок огибал самый кончик подбородка. На верхней его губе генерал обнаружил свои усики.

— Ну, как, отживающая боевая сила? — спросил генерал, опережая его доклад. — Ясен тебе твой крестный путь? Переправочных средств на тебя не хватило, самим придётся плыть.

— Плыть так плыть, товарищ командующий, — отвечал комэск с шутливой покорностью судьбе. — Дело привычное.

— Жаль мне тебя, — сказал генерал, — уж больно ты красив. Что от твоей красоты останется?

— Обсохнем, — заверил комэск. — Ещё красивше станем. Да не впервой же!

Генерал, проникаясь к нему любовью, несколько успокоился. И впрямь, не впервой ему, сукину сыну, и мокнуть, и обсыхать.

Увидя, что рапорт перетекает в беседу, подходили ближе другие конники. Кто-то, засмотревшись, налетел на шедшего впереди, кто-то споткнулся, зацепясь за свою же

шпору. И по тому, как они смотрели на генерала, он безошибочно различал ветеранов и новичков из пополнения. Не то чтобы новички робче перед начальством, но в его словах, в его улыбке или хмурости ищут с тревогою ответа на предстоящее им, тогда как ветераны, познавшие настоящий страх, ответа ищут в себе и ни в ком другом; подчиняясь лишь своему предбоевому настрою, они точно бы выходят из всякого другого подчинения. Он понимал их неизбежную сейчас отрешённость, углубление в себя, но с безотчётной ревностью хотел бы напомнить им, что и от него они зависят не меньше, чем от своей планиды.

— Есть такие умники, — сказал он, возвышая голос, чтоб слышали и дальние, — в сёдлах норовят плыть. Как, понимаешь, подпаски деревенские, когда они коней купают в речке. Такого увижу — из маузера ссажу. Рядышком надо плыть. Как с братом родным или же с любимой девушкой в пруду. И за седло не держаться, а только под уздцы. Главное — не давать ему голову задирать. А то он волны пугается и кверху тянется, даже, бывает, «свечку» делает в воде. А из-за этого, бывает, захлёбывается, тонет. Следить, чтоб у него только храп был бы над водой...

Он вдруг увидел, что пасшийся невдалеке жеребчик поднял голову и, вздев уши, внимает ему с интересом. В повороте красивой сухой головы, в косящих обиженных глазах ясно читалось: «И что ты мелешь? И вовсе я не задираю голову. И всё-то я знаю, что со мной будет...» Право, казалось, он в самом деле знал, что с ним случится сегодня, бедный конёк, неповинный ни в чём, вынужденный делить с человеком все его дела и глупости. Генерал даже осёкся и с явным ощущением своей вины перед ним смотрел в укоряющие глаза коня, покуда тот, мотнув головою, не опустил её низко к траве.

Этот перегляд, кажется, все уловили и разулыбались.

— Да не впервой, товарищ командующий, — сказал комэск. — Давно, что ли, Десну форсировали?

— То Десна, — возразил генерал. — Триста метров каких-нибудь. А тут, считай, километр двести...

— Ну, значит, четыре Десны, — подхватил с ухмылкою комэск и совсем уже нагло подмигнул. — Раз так, то, может, нам четверной положен боезапас?

— Я те дам «боезапас»! — закричал генерал. — Четверной ему! На том берегу — пожалста. Только доплыви сперва. До него, знаешь...

Но что сам он знал про тот берег, заслонённый тёмной иззубренной стеною рощи? По-прежнему оттуда не было ни звука. И казалось странным, что где-то за рекой, в пяти километрах отсюда, стоит тишина, хутора живут своей неспешной жизнью и только-только просыпаются, пастух собирает от дворов скот, женщина в платке, надвинутом на глаза, перебирая руками шток «журавля», тянет ведро из колодца. Он посмотрел в ту сторону, и следом посмотрели все. Чёрные лохмотья туч уже понемногу стали сереть, и можно было догадаться, что это не тучи, но облака. Пока не занялся рассвет, спешить нужно было, спешить...

Он чувствовал себя лишним и здесь. На самом деле это было не так, он всюду был нужен, только не затем, чтоб сообщать людям то, что они знали и без него, а чтоб войти в их настроение и передать им своё. И это-то значило много больше, чем его распекания и советы.

Он приказал везти себя к бухточке. Паромы уже покряхтывали движками, и как раз головной танк, задрав пушку, взрёвывая, круто вскарабкивался на аппарель. Гусеницы скрежетали по приваренным планкам, аппарель под страшной тяжестью вминалась в песок и взвизгивала истерично, едва выдерживая и яростные удары траков, и затем переваливание на палубу. Весь хлипкий паромчик ходуном ходил, покуда танк поворачивался на нём и устраивался поудобнее, раздирая дощатый настил. За ним, не давая барже успокоиться, выровняться в воде, уже наползал второй танк, изготавливался в очереди третий.

Генерал, даже привстав на сиденье, напряжённо следил, не просядет ли паром до дна бухточки, но всё обошлось, бодро и нетерпеливо всхрапнул движок, скрежетнул на прощанье песок плёса, и паром, покачиваясь, медленно тронулся в путь, как оторвавшаяся от берега льдина. Генерал беззвучно прошептал ему вслед: «Ну, с Богом!» — и поймал себя на том, как сильно ему хочется перекрестить эти три танка, уже понемногу сносимые течением влево. Через миг они исчезли из виду, заслонённые высоким камышом. В ту же неизвестность отправлялся второй паром, и генерал его проводил с тем же сложным чувством тревоги и сумасшедшей радости, и одновременно с сознанием какого-то, ему самому непонятного, своего греха, а на третий он дал погрузиться одному танку.

— Въезжай давай ты теперь, — приказал он Сиротину. — Пошёл!

Сейчас, сидя вот так же, справа от Сиротина, он вновь увидел, как тот оглянулся на него с удивлением и внезапным отчаянием, с лицом, на котором ясно написано было: «Что же вы с нами-то делаете?» Офицер, дежурный по переправе, со скрученным в трубку флажком, кинулся остановить непредусмотренный «виллис», но Донской так спокойно взглянул на дежурного, так красноречиво-убедительно выставил перед ним растопыренную ладонь, что тот сразу всё понял: они переправляются тоже, и бронетранспортёр охраны с ними, это оговорено заранее, странно, что дежурному это неизвестно. Не сильно удивился и Шестериков, только упрекнул со вздохом:

— И что было раньше не сказать? Чем я вас там кормить буду в обед?

Ни погрузку, ни миг отплытия память не удержала, а лишь то, как он уже стоял на палубе, уже плыл в неизвестность, расставив по-моряцки ноги и сунув кулаки в карманы чёрной своей кожанки, рядом с «виллисом», принайтовленным цепями к рымам на палубе, и в лицо, взбадривая и тревожа, ударял влажный и холодный речной ветер.

Понимал ли он вполне, что делает и зачем? Понимали ли это рулевой в рубке и старик-шкипер? Шестериков, скорчившийся на сиденье и там же развалившийся Донской, вываливший через борт «виллиса» журавлиные свои ноги? Радист, выглядывавший из приоткрытого кормового люка бронетранспортёра? Они посматривали на него украдкой, и он обострившимся боковым зрением улавливал их удивление, досаду, отчасти и злость. И если б кто спросил его тогда, зачем он здесь, он бы затруднился ответить. Сейчас, на пути в Ставку, он смутно сознавал, что совершалось тогда нечто значительное и оправданное, даже необходимое.

Генерал Кобрисов решил, что его гибель на Мырятинском плацдарме не только возможна, но даже, наверное, неотвратима; и он согласился с тем, что его косточки будут лежать где-нибудь на мырятинском кладбище или в центральном парке этого городка, никогда им не виденного, но никакая сила не сбросит его живым с правого берега Днепра, если он только ступит на этот берег, уже получивший название «плацдарм». А когда человек так ставит крест на собственной жизни — спокойно и просто, никого

не оповещая, когда он не из слепого отчаяния и не для театрального эффекта вставляет в свои расчёты собственную возможную гибель, тогда зачастую случается, что ему удаются предприятия, казавшиеся безумными, в которые не смеет верить надежда и не надеется вера, тогда воды реки перед ним становятся твердью, и покоряются ему неприступные крепости и плацдармы.

Но как ещё было до этого далеко! Два парома, отчаливших раньше, были опять на виду, и первый из них уже, наверное, пересекал ту невидимую вожделенную линию, которая зовётся стрежнем и на прямом участке реки должна была находиться близ середины; в тишине натужливо стрекотали их состарившиеся движки, не заглушая при этом дремотно-ласкового подхлюпывания под бортом, — и в одно мгновение эта тишина оборвалась рёвом и воем. То, что казалось уже преодолённым, встало перед ним новой преградой, и он сам едва не взвыл от обиды, от беспомощного гнева, когда увидел эскадрилью «юнкерсов», три тройки, стоявшие над его головою — так спокойно, точно у них была тут назначена встреча с ним. Они не летели, не плыли в небе, они именно стояли на месте, дожидаясь, когда он задерёт голову и посмотрит на них, и затем тотчас же плавно сошли со своих мест, набирая скорость.

Первая тройка пикирующих штурмовиков «Юнкерс-87», у немцев именуемых «штука»*, а у нас получивших прозвище «лапотник», в аккуратном симметричном строю — один впереди, двое чуть приотстав — прошла над паромом и вернулась, сделав красивый полукруг. За спиною, на своём берегу, торопливо затявкали скорострельные зенитки, роскошной басистой трелью разразился крупнокалиберный пулемёт, но вспышки и облачка разрывов не помешали «юнкерсам» ещё раз плавно уйти в боевой разворот для прицельного бомбометания или обстрела. Слишком рано он позволил себе только подумать: «Переживём...»

— ...товарищ командующий! — уже давно кричал ему радист из чрева бронетранспортёра, протягивая трубку. — Вас просят.

— Слушаю! — прижав к уху тёплую трубку, он расслышал прерывистое дыхание и далёкий лязг танковых гусениц. Что-то случилось и там, на правом берегу, куда он

* От *нем.* «STUrm-KÄmpfer» — штурмовик-бомбардировщик.

так спешил и где, казалось ему, группа Нефёдова уже исчерпала свою задачу. — Слушаю!.. У аппарата!

— Кто? — спросила трубка. — Кто меня слушает?

— Я, — сказал генерал, не переставая смотреть в небо. — Кобрисов слушает.

— Как? — переспросила трубка хриплым и точно бы пересыхающим от жажды голосом. — Кобрисов? Я такого не знаю... Не вызывал. Не слышал такого — Кобрисова.

Бог ты мой, он совсем забыл, кто он сегодня, забыл своё условное имя, и это ему показалось ещё одним неучтённым препятствием. В придачу ко всем неожиданностям, он себя уже раскрыл — и немецкими слухачами засечён, у них это быстро делается, а связь с правым берегом вот сейчас оборвётся, бессмысленно настаивать и глупо надеяться, что полуоглохший Нефёдов узнает его по голосу.

— Нефёдов! — закричал он, обрадованный, что нашёл выход. — Мы же вчера с тобой гудели. Вспомни, родной, водку пили, стихи я тебе читал... Ну? Вспомнил?

Трубка ещё секунды три помолчала и ответила слабым голосом:

— Плохо дело, Киреев.

Вот кто он был сегодня — и вылетело из головы. Всё эти «юнкерсы» вышибли.

— Плохо дело, — повторила трубка. — «Фердинанды» тут у меня... Не предвидел, что объявятся. На хуторе скрывались, замаскированные... Восемь штук. А средства отражения какие? Гранаты, слава Богу, взяли противотанковые... Немного, правда. Бутылки с каэсом*, штук десять, но это же близко надо подпускать... А с ними автоматчиков — до взвода. Если даже прибавил со страху — всё равно у меня людей меньше...

Нефёдов так себя раскрывал, поскольку и немцам было известно, какие у него «средства отражения». Самое страшное, что могло случиться, вот и случилось. Даже не так страшны были эти «юнкерсы», как упущенные воздушной разведкой «фердинанды». Маскируемые, верно, копнами сена, выползли эти самоходки-страшилища и поставили заслон его танкам. От удара их снаряда башню «тридцатьчетвёрки» вышибает из гнезда и отбрасывает чуть не на сто метров. А корпус... Какой там корпус! Погибли, погибли,

* КС — самовозгорающаяся жидкость, названная так по инициалам изобретателей — Качугина и Солодовникова. На Западе её называют «коктейлем Молотова» (никакого отношения он к ней не имел).

ещё не коснувшись берега, его «тарахтелки», «примуса», «керосинки». Против толстой брони «фердинанда» что стоили их пушки! Зато его длиннющая пушка сделает из них обгорелые коробки. И он представил себе тупые рыла этих чудищ, уродливую заднюю посадку башни на корпусе, длиннейший хобот ствола с набалдашником дульного тормоза. И стало понятно, почему немецкая артиллерия не обрушилась тотчас на группу Нефёдова, едва он себя раскрыл, не разворотила весь берег, который был же пристрелян заранее. Свои «фердинанды» там, вот и весь секрет молчания. Нет, это невозможно было снести! Это было несправедливо! Ведь хорошо же всё начиналось!..

— Нефёдов! — закричал он в трубку молящим голосом, даже привзвизгнув. — Задержи мне их! Любыми силами задержи!

— Какие у меня силы? — тем же усталым голосом сказал Нефёдов. — Ну, постараемся, товарищ Киреев...

— А рота где же? Роту я тебе послал, под твоё начало. У них и ружья противотанковые есть... Ну, и вообще — рота всё-таки...

— Роту ещё собирать и собирать. Где-то она пониже высадилась, течением снесло. Слышу, бой ведут... Слышу, но не вижу. И кажется мне... может, ошибаюсь, — загибается рота...

— Понятно, — сказал генерал упавшим голосом. — Понятно, милый... Ну, сейчас я тебе огонька подброшу, гаубичного. Свяжу тебя с ними, ты скорректируй...

— Слишком близко я их подпустил... Теперь только себе на голову корректировать.

— Что же ты так, Нефёдов? Почему ж не разведал?

— Сам себя грызу... Но уж так.

В трубке послышался нарастающий лязг, в ухо ударило из неё грохотом, и генерал трубку выронил — в руки Донского.

— Любого огня требуй, — сказал генерал. Донской молча кивнул, ничуть не изменясь в лице. — Только скажи, чтоб поаккуратней работали пушкари. Никому в смертники неохота.

Но сам он понимал, что и Нефёдов, и двадцать его людей, так благополучно одолевших водную преграду и укрепившихся на пятачке, уже вдвойне смертники. Если не «фердинанды» их втопчут в землю, так свои щедрым огоньком — как его ни корректируй. Это же надо Нефёдову

выйти из боя и всю группу отвести... Возможно ли это? Или уже так втянулись, что не выйти? Так что же, соображал он лихорадочно, вернуть танки назад, пока не поздно? Скомандовать, чтоб задержали погрузку — тех, что ещё не погрузились? Нельзя, невозможно, дело начато, и он должен был предвидеть продолжение. Да ведь и предвидел же, знал хорошо: весь ужас переправы — что она неотменима.

Сошедший на воду — должен её переплыть. Или на дно пойти. Только одно было позволено ему, генералу, — самому вернуться. Не упрекнёт никто. Ни своя свита, ни все те, кто расценивали как дурь его желание переправиться вместе с ними. Но себе он простит когда-нибудь — так много надежд связавший с этим плацдармом, жизнью поклявшийся?

Впрочем, ни одну свою мысль он не мог до конца додумать. Только что он всё видел и слышал, как потревоженный зверь, ещё минуту назад, ещё несколько секунд назад, и вот уже всё переменилось, и он, оглохший, с поплывшими в глазах радужными кругами, не мог понять, что за всплески запрыгали вдруг по воде, по лоснящимся волнам, приближаясь к борту парома, зачем это его подхватили под руки и куда-то волокут Шестериков с Донским, и отчего вдруг, побелев лицом, отпрянул радист в открытом люке бронетранспортёра, и как странно, съёжась, скорчась на сиденье, прикрывает голову руками — руками! — Сиротин.

Подняв лицо навстречу рёву, он увидел, как один из «юнкерсов», утративший свою длину, своё крестообразное очертание, вырастает в своей ширине, в размахе крыльев, он пикирует, показывая подробности окрашенного лягушечьими разводами фюзеляжа, остекления кабины, обтекателей неубирающегося шасси — а вот его почему «лапотником» зовут, подумалось спокойно, даже слишком спокойно, — и стало различимо, как эксцентрично вращается широкий и тупой обтекатель втулки винта — почему-то красный, что же это за маскировка? И такие же красные украшения на крыльях... Какие там украшения! Вспышки из крыльевых пулемётов...

Пули цокали по броне танка и рикошетом, с протяжным пением, уходили куда-то. Вокруг парома на лоснящихся волнах вскипала дождевая пузырчатая сыпь.

Его силком тащили, пригибали ему голову, чтоб втолкнуть в люк. Он в этом увидел непереносимое унижение

для себя и, мгновенно рассвирепев, рванулся из этих рук, ставших ему ненавистными.

— Сколько у меня истребителей? — закричал он, трясясь от гнева, который даже пересиливал страх. Лицо Донского, бледное, но внимательное, вбирающее неслышные слова, приблизилось к нему, к его лицу. — Я спрашиваю, сколько у меня истребителей!..

В эту минуту «юнкерс», достигнув опасной для него высоты, стал выходить из пике, снова показывая свою бесконечную длину и крестообразность, своё голубое брюхо, расчленённое стыками, пластинчатое брюхо громадного ящера, которое ещё приближалось от «проседания», перекрывая небо. И вот, наконец, пронеслось оно — с ужасающим рёвом. Под крыльями висели на кронштейнах две пузатые бомбочки. Почему не сбросил? Оставил для второго захода? Но этот-то — кончился?

Он упустил, что «штука» уходящая всё ещё страшна. Ибо, взмывая, она открывает обзор и обстрел воздушному стрелку, сидящему сзади. Но, к счастью, плывшие на паромах об этом не забыли. И задравши стволы, встречно его огню били по его фонарю из автоматов, винтовок, башенных пулемётов.

— Извини, Фотий Иваныч, — вдруг точно с неба послышалось, сквозь рев и треск перестрелки. — Ну, призадержались маленько, надо ж чайку попить перед вылетом... Сейчас я его уберу...

Радист из люка, откуда и исходил этот голос, протягивал генералу трубку радиотелефона. Генерал её принял, не поняв толком, зачем она, если собеседник его и так услышал.

— Ты, Галаган? — спросил генерал, хотя ни треск в самой трубке, ни рёв «юнкерса» уже далеко за спиною не смогли этот знакомый голос исказить. — Куда ж твои соколы подевались?

— У меня не соколы, — сказал Галаган с неба. — У меня — орлы. Ты их не порочь, они у меня обидчивые. Хлопцы, расходимся! Каждый себе дружка выбирает по личной склонности...

Краснозвёздная шестёрка — четверо «МИГов» и две «аэрокобры», — заканчивая взмыв в вышину, перевалив невидимый хребет, плавно и красиво расходясь веером, опускалась на «юнкерсов». Одна «кобра» была самого Галагана, другая — его ведомого. Ни больше, ни меньше, как сам командующий воздушной армией вылетел на охоту.

— Хлопцы, прошу внимания! — командовал Галаган, живя полной жизнью. — Вот этого, сто сорок шестого, который чуть Фотия Иваныча не обидел, не трогать, это мой... Надо его наказать примерно... Сейчас я морду ему набью...

«Славные же мы конспираторы, — подивился генерал. — Он меня Фотий Иванычем, я его — Галаганом. Уж будто не знают немцы, кто такой Фотий Иваныч. А про него — уже, поди, во всех наушниках вой стоит: “Ахтунг! В небе — Галаган!”»

Вся шестёрка наших пронеслась над Днепром и вскоре вернулась, освещённая где-то уже всходившим солнцем, которого ещё не было на земле и воде. «Юнкерсы» расходились в разные стороны; тот, что нападал, теперь, сильно накренясь, входил в разворот, чтобы уйти.

— По-английски уходишь, не попрощавшись? — возмутился Галаган. — Куда ж это годится? Не-ет, не уйдёшь.

Немец, зная отлично, что в прямом полетё «кобра» его настигнет легко и всё спасение лишь в одном его преимуществе — маневренности, пролетел с километр и повернул обратно. Галаган со своим ведомым, пролетев много дальше, пропали из виду и показались не скоро. Пожалуй, теперь уже немцу было не до паромов с танками, обе свои подвесные бомбочки он сбросил как попало, совсем в стороне, только бы облегчиться; и не так страшны ему были все те, что плыли под ним по всей ширине реки, ничем не защищённые, такие удобные, ну разве что излишне разбросанные мишени; из этой игры он выключился вовсе, включился в другую игру, *на другом этаже*, в не лишенную увлекательности воздушную дуэль с русским асом, где ставкой была уже только собственная жизнь, а выигрышем — уйти от смерти. Но на что надеялся немец? Что вот так и будет он уворачиваться от сверхскоростной, но неповоротливой «кобры», пока у неё не опустеют баки? Опять с рёвом, буравящим уши и мозг, промчался «юнкерс» над паромом — так низко, что показалось, он ногою шасси сшибёт с генерала фуражку. Верно, был у немца расчёт, что преследователь остережётся расстреливать его над головами своих. Он имел радио, но не знал русского — и не знал Галагана. Вот уж чего мог немец не опасаться, так это генеральских пулемётов. Расстрелять в воздухе — это не удовольствие было для Галагана, удовольствие было — *набить морду...*

Разогнавшаяся «кобра» настигла «сто сорок шестого» с таким избытком скорости, что можно было подумать, она либо опять проскочит мимо и придётся возвращаться, либо врежется ему в хвост. Но, не долетев метров с полсотни, она вдруг взмыла круто, почти вертикально, и оттуда, с далёкой высоты, переворотом через крыло повернула обратно, западала вниз, вниз, уже сомнений не оставляя, что вот сейчас расплющится об воду. Генерал Кобрисов, глядя завороженно, с колотящимся сердцем, всё же упустил непонятным образом, когда же прекратилось падение и как оказался Галаган ровнёхонько у «юнкерса» за хвостом. Воздушный стрелок «юнкерса» уже, видно, был ему не опасен – то ли убит, то ли кончились у него патроны; чёрный ребристый ствол пулемёта задрался кверху и болтался из стороны в сторону.

Погасив свою сумасшедшую скорость, Галаган оставшийся излишек её убрал взъерошенными тормозными щитками – и летел уже почти вровень с немцем, пристроясь чуть выше, метра на три, медленно опускаясь на него своим серебристым брюхом. Всё же для рубки пропеллером ещё оставался некоторый излишек, и должно быть, не одному видевшему всё это хотелось крикнуть в азарте: «Проскочишь!» – но замедленно, как в полусне, откинулись створки под крыльями, и вышли ноги шасси – так выпускает когти ястреб-тетеревятник над своей неминуемой добычей. Притиснутый к воде, немец лишился единственного манёвра, который может совершить преследуемый, – резкого клевка, ухода вниз. Перед «коброй» он был беззащитен совершенно. Плавное проваливание, удар ногою по фонарю кабины, и засверкали, крутясь, брызнувшие осколки плексигласа. «Кобра», приподнявшись, ещё продвинулась вперёд, опять провалилась и новым касанием снесла немцу лобовое остекление. Затем, приотстав, остекление заднее. Теперь над стёсанным фюзеляжем торчала лишь одна чёрная голова пилота, вертясь и уклоняясь от новых ударов резиновой кувалды.

Когда простым и нежным взором
Ласкаешь ты меня, мой друг, –

мурлыкал Галаган в своей кабине; голос он имел среднего достоинства, но был, однако ж, большой любитель попеть «на охоте»,–

Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг!

— Галаган, — уже взмолился Кобрисов, — и что ты там кувыркаешься, делать тебе не хрена. Уведи ты его, да и прикончи разом!

Галаган услышал, сдвинул назад фортку своего фонаря, помахал рукою в перчатке.

— Грубый ты, Фотий Иваныч, — отвечал Галаган. — Зачем же «разом»? Надо — нежно. И постепенно. Следующим номером нашей программы будем скальп снимать...

Оба исчезли из виду, и когда появились вновь, на немце уже не было его чёрного шлема — должно быть, сорвал его вместе с наушниками и очками, из страха не всё увидеть и услышать. Встречный поток лохматил светлые, соломенного цвета волосы, голова пригибалась к приборной панели, и черная шина совершала над нею округлые пассы...

Во всём этом хватало безумия. Галаган не в пустом воздухе кувыркался, и не в пустом вели свой многоэтажный хоровод пятёрка «МИГов» с восьмёркой «юнкерсов», а в прошитом, прожигаемом снарядами зениток с левого берега, очередями крупнокалиберных пулемётов; эти невидимые трассы вдруг становились видны, когда срабатывали дистанционные взрыватели и вокруг «юнкерсов» вспыхивали молочно-розовые облачка, — оставалось изумляться меткости зенитчиков, ухитрявшихся пусть не попасть в немца, но и своего не задеть. Но вот одному из «юнкерсов» всё же досталось — снаряд ему попал в корень крыла, и, отделясь от фюзеляжа, оно устремилось вверх, вращаясь в размашистой спирали, сам же «юнкерс» — тоже в спирали, только обратного вращения — устремился к воде. При такой малой высоте пилоту и стрелку было не выброситься с парашютами; впрочем, и неизвестно было, что сделалось с ними при таком сотрясении, они свои фонари не открыли, падая, не открыли при ударе об воду, погрузились в прозрачной своей коробке и так и не вынырнули, покуда ещё маячило над местом падения, как плавник гигантской акулы, другое крыло с чёрным крестом.

Пришедшая от утопленника волна так накренила паром, что танк со скрежетом пополз боком к фальшборту, едва не обрывая слабые цепи. С грохотом откинулась крышка башенного люка, показалось искажённое ужасом лицо. Молоденький танкист не вынес этого особенного страха, и впрямь непереносимого в тесном пространстве и

темноте, вылезти под пули ему было не страшнее, чем пойти на дно в муках удушья.

— Закройсь! — рявкнул на него генерал. — Ты мне тут не нужен пейзажем любоваться, ты мне там нужен целенький. Чего напугался — не выберешься? Жить захочешь — выберешься.

Лейтенант смотрел тупо, но понемногу приходил в себя, видя, как паром качнуло обратно, и цепи, ослабнув, легли на палубу. Донской спокойно, ладошкой, ему напомнил закрыть за собою люк. И лейтенант, подчиняясь, уже улыбался трясущимися губами, смутясь своего греха. Выбраться при утоплении смог бы он один, башенному стрелку, сидевшему ниже, и тем паче механику-водителю судьба была захлебнуться.

Всё, что происходило вокруг генерала, было как в полусне. Он кричал на танкиста, но как будто он только слушал и наблюдал, как кто-то другой кричит. И кому-то другому опять подали трубку из люка бронетранспортёра, и он за этого другого должен был спешно решать, что делать. Нефёдов ему докладывал, что «фердинанды» уже занимают огневую позицию, уже вышли на прямую наводку, ожидают, когда подплывут поближе танки.

— Уходи! — кричал генерал. — Уходи с людьми подальше и корректируй. Больше ты же не сможешь, Нефёдов! Ну, не совсем же у нас пушкари криворукие, авось что-нибудь смайстрячат...

Трубка не отвечала. Должно быть, полуоглохший Нефёдов там соображал, что бы такое могли «смайстрячить» артиллеристы. А может быть, уже просто не слышал ничего...

— Что молчишь? — спросил генерал.

— Да вот думаю... Лучше ли оно будет — всю работу пушкарям передоверить?.. Не знаю.

И трубка замолчала надолго. Уже насовсем.

...А всё же кто-то из них вынырнул, из экипажа утонувшего «юнкерса». Неожиданно среди зыбей показалась его одинокая голова в шлеме и выпуклых очках, как будто поднялся из глубины обитатель дна, и первое, что он сделал, хлебнув воздуха распяленным ртом, — что было сил закричал. В его крике был пережитый ужас, неодолимая жалость к себе, обида на весь треклятый мир. Он кричал и плыл — торопясь, загребая широкими взмахами, выскакивая из воды чуть не до пояса, тратя много яростной

энергии, да только не туда плыл, куда ему следовало, плыл к левому берегу, до которого его не могло хватить, плыл навстречу тем, кто не должны были его пощадить, а должны были забить насмерть чем попало — прикладом, веслом, сапёрной лопаткой. Что-то случилось с его головой — он потерял всякие ориентиры, или потерял зрение, или, проще того, не соображал протереть запотевшие, забрызганные очки, да просто сорвать их к чертям — и увидеть, что ещё не потеряно спастись... А над ним, над всею переправой, преследуемый неистовым Галаганом, всё носился затравленный «сто сорок шестой», уже, наверное, на исходе горючего, и может быть, завидуя участи товарища по эскадрилье, мечтая хотя бы приводниться, как он, или напротив, страшась такого приводнения, в котором так же мало было спасения, как и в воздухе, перенасыщённом ненавистью...

...Палуба вдруг пошла из-под ног. Это паром с разбегу уткнулся в песок плёса. Лишь тогда генерал, повернув голову, увидел нависавшую над ним, уходящую в небо кручу берега. Потревоженные стрижи выпархивали из своих нор и кружились стаями, не желая разлетаться далеко. Упали на плёс аппарели, и выпрыгнувший всё же из танка лейтенант, давеча испугавшийся, вместе с Шестериковым освобождали танк от его цепных пут. Механик-водитель из своего люка выглядывал — не пора ли ему рвануть.

И рванул-таки, не дожидаясь команды, еле не выдернув из палубы последний удерживавший его рым; гусеницы яростно отшвырнули назад визжащую аппарель, и паром, всплывая, отвалил от берега и закачался на волне, не давая сползти «виллису» и бронетранспортёру.

Латаная чумазая «тридцатьчетвёрка» шла уже по Правобережью, она шла под обрывом, узкой полоской, где было бы не разойтись двоим, она тыкалась в расселины, ища, где положе, где бы ей взобраться на кручу, а где-то высоко над её башней ещё, наверно, шёл бой за её спасение, горстка людей пыталась отвратить от неё бронебойные жерла «фердинандов». Под кручей она ещё была в безопасности, но что ждало её наверху? Что там вообще происходило?

Генерал, не дожидаясь «виллиса», сейчас и не нужного ему, спрыгнул в воду, ему оказалось по пояс, и побрёл к берегу, помогая себе взмахами рук, точно при косьбе. Пехота, попрыгавшая с плотов, его обгоняла, один кто-то

его узнал, сообщил дальше: «Командующий на плацдарме!» — и другим тоже захотелось посмотреть на командующего, в кои-то веки достаётся такое увидеть солдату. А может статься, поглядывали, как бы не допустить погибели этого чудака, зная по извечному русскому опыту, что новое начальство всегда хуже прежнего. Во всём, что он делал, тоже хватало безумия — куда теперь так спешил он? Донской и Шестериков разыскали для него тропку, взбегающую серпантином, пошли впереди него, они заранее его заслоняли от пуль, могших полоснуть с обрыва. По этой тропке, протоптанной, должно быть, жителями хутора, которые приходили сюда купаться или скотину пригоняли на водопой, он поднимался бесконечно долго, тяжело отдуваясь, обрывая сердце, от высоты уже начинало дух занимать, а в ноздри ударяли запахи гари, и едкий дым щипал горло; мучительно, тошнотворно пахло горящей резиной...

...Это догорали обрезиненные катки «фердинандов», стоявших вразброс посреди клеверного поля, дальше пустого — вплоть до огородных плетней хутора. Там уже хозяйничали свои — наклоняли «журавль», с бодрыми возгласами доставали воду из колодца. «Правильное место я выбрал, — похвалил себя генерал. — Но что же они тут защищали? И как почувствовали, что я именно здесь высажусь с танками?» На некоторые вопросы никогда не находилось ответа, и он отвечал на них одинаково просто: «Война». Шесть обгорелых, подорванных чудищ с открытыми люками, покинутые своими экипажами «фердинанды» выглядели по-прежнему грозно, но сталь их была мертва — это сразу чувствовалось. Всю жизнь имевший дела со смертоносной, поражающей или, напротив, защитной сталью, он каким-то чутьём, неясным ему, но безошибочным, определял сталь неживую, уже не способную двигаться, работать, исполнить своё назначение; даже казалось ему, она пахнет мертвечиной и вскорости станет разлагаться, как умершая плоть людская. Этой плоти, упакованной в чёрные комбинезоны, тоже довольно здесь было; ища спасения от невыносимого жара, от страха сгореть заживо, они нашли всего лишь более лёгкую и быструю смерть неподалёку от своих машин. Светлые волосы выбивались из-под шлемофонов, ветер их шевелил и овевал изжелта-чёрным дымом. Этот же волнуемый ветром кле-

вер упокоил и свою «серую скотинку», тоже разбросанную прихотливо – кто к небу лицом, а чаще затылком, стриженным «под ноль», – зрелище, столько раз виденное и к которому не мог он никогда привыкнуть. Между своими и немцами не было никакой нейтральной полосы; так близко сошлись в бою, что теперь иные лежали вперемешку. Один свой как будто пошевелился слабо, но может быть, это лишь показалось генералу.

Живых осталось четверо. Трое из них успели уже после боя крепко хватить из фляжек, а может быть, и повредились в уме, говорить с ними было непросто. Лейтенанта Нефёдова нашли в мелком, наспех отрытом окопчике, где он едва помещался сидя, опираясь затылком на бруствер. Руки он прижимал к животу; под задранной гимнастёркой, измазанной в липкой земле, белели намотанные щедро и беспорядочно бинты. Глаза его были закрыты, бледные губы обкусаны, лицо осунулось и стало почти неузнаваемым.

Донской наклонился над ним.

– Жив, – сказал он уверенно. И спросил раненого: – Можешь поговорить с командующим?

Нефёдов, с видимым усилием, приподнял веки. Глаза его где-то блуждали, смотрели как бы сквозь людей. При виде генерала едва обозначилось в них удивление.

– Так это вы с парома со мной говорили? – спросил он каким-то бесцветным голосом. – А я думал, с берега. И чего, думаю, шум у него такой? Ну, значит, лично будете принимать?..

Он опять закрыл глаза.

– Что он сказал? – спросил генерал. И тоже наклонился к раненому. – Что принимать, Нефёдов?

– Плацдарм, товарищ Киреев, – ответил раненый. – Плацдарм... Или вы уже не Киреев?.. Там, на хуторе, ещё два «федьки» прячутся. Ушли. Вы уж как-нибудь их сами...

– Ты не беспокойся, – сказал генерал. И спохватясь, что ещё что-то должен сказать, добавил: – Спасибо тебе, дорогой. Считай, ты уже на Героя представлен.

– Вам спасибо, – ответил Нефёдов не скоро, и было не понять, улыбается он или кривится от боли. – Но мне уже не нужно ничего... Видите, схлопотал очередь... Теперь мне бы только покоя...

– Кого б ты ещё назвал, четверых? – спросил Донской, раскрывая планшетку. – Кто, по-твоему, особо отличился?

— Никто. Мы не отличались... Мы все старались... Как я могу кого-то обидеть?

— Всем ордена будут. Но кто-то же больше всех сделал, — говорил Донской ласково-терпеливо, но и настойчиво. — Князев, заместитель твой? Ещё кто?

— Старший сержант Князев погиб самым первым. У него бутылка разбилась в руке. При замахе. Может, пуля попала... Не знаю, не видел. Видел, как он горит факелом. И нельзя было потушить никак... Там он лежит, узнать его можно. Вы только осторожно тут ходите, вдруг кто стрелять начнёт... в полусознании.

— Князеву посмертно, — сказал Донской, взглянув вопросительно на генерала. — Кого ещё назовёшь?

— Никого. Никому ничего не нужно посмертно. Я это хорошо знаю. И мне тоже не нужно, когда умру. И если выживу — не нужно. Я слишком многое понял... Только говорить трудно... А помните, — он снова открыл глаза и тотчас закрыл, — вы написать обещали?..

— Что ты! — сказал генерал. — Жить будешь, Нефёдов. Сейчас помогут тебе.

— Ох, ничем вы мне не поможете... Никто. И не спрашивайте меня... Можно я просто так полежу?..

Все трое стоявших над ним распрямились. И генерал не знал, что ещё сказать умирающему, чем ободрить. Вся его чудовищная власть — одного над сотнею тысяч — сейчас была бессильна не то что помочь этому парню выжить, но хоть уменьшить страдания. Даже такого простого он сейчас не мог — обратной переправой, этой наперекор, чтоб его доставили и сразу положили на стол и, может быть, что-то сделали.

— Шестериков, — сказал генерал, отведя его подальше. — Санитары должны бы прибыть, но что они знают? Сходи сестру разыщи, она с батальоном должна была переправиться. Его перевязать надо, бинты протекли, но мы же тут напортачим без неё. Может, его обмыть надо, а может, водой мочить — только загубим. Она — знает.

Шестериков молча кивнул и, закинув автомат за плечо, пошёл к обрыву.

Генерал, расстегнув кожанку и сняв фуражку, медленно бродил по этому маленькому лагерю бессловесных. Никто уже не шевелился, и некого было спросить, как же здесь всё происходило. Бой был коротким, скоротечным, и

часа не прошло, как Нефёдов сказал, что ещё подумает, передоверить ли эту работу артиллеристам или же исполнить её самим, обойдясь гранатами и бутылками. Как из восьми «фердинандов» шесть были уничтожены, это на них читалось ясно, а двое ушли потому, наверное, что совсем лишились прикрытия пехоты. Вот все они лежат — семнадцать своих и, наверно, столько же немцев; судить по петличкам, это техническая обслуга была, механики, слесари-оружейники, они и не обязаны были идти в бой, у немцев это чётко расписано, однако в тяжкую для их товарищей минуту похватали автоматы и попытались защитить свои «коробочки», свои «керосинки». Они тоже не отличались, они старались. Что ж, и они свой долг исполнили, ответили по-солдатски на вызов судьбы, но самим-то себе ответили они, зачем оказались здесь? Зачем пришли на чужую землю — и погибли, спасая железные коробки? Вот так, буквально, случилось казавшееся даже пошлым: «Люди гибнут за металл». Хватило ума хотя бы двоим экипажам уйти от безумия.

— Вернулся, — сказал Донской совсем рядом. Он, оказывается, всё это время бродил следом, как тень. — За смертью тебя посылать, Шестериков!

Шестериков, взобравшись на кручу, шёл и оглядывался куда-то назад, на Днепр. Он не спешил ни отозваться, ни подойти. И генерал никак не мог понять, почему так долго идёт к нему Шестериков. Вдруг он сел на землю, стащил сапог, стал перематывать портянку. Наверное, что-то попало туда, камешек или песку насыпалось, но почему-то, покончив с одним сапогом, он принялся за другой. В оба сразу, что ли, попало ему по камешку? И ещё долго, прыгая на одной ноге, он свой сапог натягивал. Сердце у генерала билось всё тревожнее, а Шестериков всё шёл и шёл к нему и никак не мог приблизиться.

Наконец он подошёл и, не подняв глаза на генерала, сплюнул в сторону.

— Что скажешь? — спросил генерал. — Высаживается батальон?

Шестериков кивнул молча.

— Где ж сестра? Она с ними должна быть.

— Должна, да не обязана, — сказал Шестериков и опять сплюнул. Он ещё никогда не позволял себе таких вольностей. Затем посмотрел наконец в глаза генералу. — Пото-

нула сестричка, Фотий Иванович. И главное дело, никто не видал как. Смотрят, а уже и нету её в лодке. Наверно, в голову попало. А то бы закричала.

— Как же это? — спросил генерал. — Как допустили?

— Переправа, — объяснил Шестериков.

Он сказал вещь бессмысленную, но всё объясняющую. Генерал смотрел на него и ждал, что он ещё что-нибудь скажет. Может быть, скажет, что это ещё недостоверно, что вот сейчас всё выяснят и доложат — и окажется, что ошиблись, она в другой лодке была...

— Всё точно, — сказал Шестериков. — Ну, хотя бы не мучилась...

— Да откуда ты знаешь?

Шестериков лишь вздохнул покорно.

Генерал, оставив его, пошёл к обрыву. То самое чувство влекло его, которое тянет нас посмотреть на чью-нибудь недавнюю могилу. А ведь всё так недавно и было, ещё звучал для него не искажённый временем, печальный ночной шёпот: «...вижу, как ты лежишь — сразу же за переправой, совсем без движения... далеко не уйдёшь...» Но вот он стоял высоко над бездной, куда её утянула тяжёлая сумка, с которой она не могла расстаться, и он был невредим и мог идти дальше. Только одно сбылось: «...ты со мною уже не будешь».

Хриплые вскрики ворвались в его сознание: «Взяли!.. Ещё разок... Взяли!» Внизу, как раз под ним, артиллеристы поднимали «сорокапятку». Пехота им помогала. Два десятка людей, отягчённых своей амуницией и оружием, голыми руками упираясь в ступицы колес, в станины лафета, в щит, а кто ухватясь за рёбра дульного тормоза, хрипя от натуги, втаскивали пушку на крутизну плацдарма. Одолев метр-полтора, подкладывали под колёса камни и отдыхали, отирали пот из-под касок, поправляли шинельные скатки, держась за свою «прощай-родину» и отчего-то улыбаясь друг другу. Спохватясь через полминуты, наваливались снова. Было в этой картине что-то уже забытое человеком, из времён пещерных. «Это ещё что, пушинка, — подумал генерал, — а вот как танки будем подымать тридцатитонные?.. А так же и будем». И надо было спешить, покуда не прочухали немцы, что «фердинандов» больше нет, и не обрушили свой огонь на пристрелянный берег. Это чудо какое-то, что ещё не спохватились! Найдя,

наконец, чем себя занять, он скинул свою кожанку — прямо наземь, зная, что подберёт Шестериков, — и стал закатывать рукава рубашки. Покуда не взойдут на плацдарм танки, не скажешь себе: «Дело сделано», переправа ещё не состоялась.

Там, на востоке, куда обращал он взгляд, день уже занялся, но солнцу никак было не пробиться сквозь плотные мглистые облака. Лишь круглое скользящее посветление указывало, где оно сейчас находится. Он смотрел долго, не в состоянии вместить в себя всё, что уже случилось в это утро и ещё должно было случиться начинающимся днём, и глаза у него слезились. Он их потёр руками и когда глянул снова, то увидел в облаках просвет, крохотное озерцо синевы, куда солнце проникло краешком и тотчас брызнуло золотым лучом. Он был устремлён вверх, к небесному хмурому своду, но ветер гнал облака, и луч повернулся в разрыве между ними, в проталине синевы, как огромная стрелка часов. Он сначала расширялся веером, но вскоре стал сужаться, с каждой секундой меняя цвет, покуда не сделался медно-красным.

Узким разящим мечом он опустился на воду, разрубив Днепр надвое, и светлая бликующая дорожка, пересекавшая реку, запламенела, окрасилась в красно-малиновый. По обеим сторонам дорожки река была ещё тёмной, но казалось, и там, под тёмным покровом, она тоже красна, и вся она исходила паром, как дымится свежая, обильная тёплой кровью, рана.

Река крови текла между берегов, и всё, что плыть могло, плыло в этой крови. Плыли конники, держа под уздцы коней, возложив на сёдла узлы с одеждой и оружием. Плыли артиллеристы на плотах, везли свои «сорокапятки» и тяжёлые миномёты, упираясь ногами в мокрый настил, а руками крепко держась за своё добро, чтоб не утопить при накренении. Плыла пехота в лодках и на плотах, на связанных гроздьями бочках, на пляжных лежаках, на брёвнах, на кипах досок, сколоченных костылями или обмотанных верёвками, на сорванных с петель дверных полотнах и просто вплавь, толкая перед собою суковатое полено или надутую автомобильную камеру.

И плыли густо — наперерез им — убитые, по большей части — вниз лицом, а затылком к небу, и на спине у многих под гимнастёркой вздувался воздушный пузырь.

Живые их отталкивали, отводили от себя вёслами и баграми, стволом автомата и плыть продолжали.

Всё живое — пёстрое, шумное, нескончаемое — достигало плёса, цеплялось за кромку берега сапогами, копытами, колёсами, траками гусениц и ползло, ползло по крутостям склона сюда, к нему, так вожделенно стремясь к унылому клеверному полю, с его мертвецами и сгоревшими «фердинандами», — зловещая, отвратительная, но и прекрасная картина, от которой он не мог оторвать глаз.

Глава четвёртая

ДАЁШЬ ПРЕДСЛАВЛЬ!

1

Женщина переходила дорогу и остановилась, услышав недальний, из глубины лесной просеки, шум мотора. Приближался крытый брезентом «виллис», без номера и с маскировочными синими фарами, с белой левой частью бампера, а женщина знала по опыту, что фронтовые шофёры правилами не утруждают себя и очень не любят тормозить; особенно же не любят они, когда неизвестные перебегают им дорогу, да притом в лесу, и самое разумное — застыть на месте и переждать. Женщина так и поступила, опустив на асфальт вёдра, полные грибов. «Виллис» налетел и промчался, обдав её влажным ветром и бензинной гарью. На миг показалось полутёмное его нутро, и сквозь забрызганное слякотью лобовое стекло она успела разглядеть сидевшего спереди крупного человека — нахмуренное его лицо, примятую полевую фуражку, две большие звёзды на погоне.

В деревне, где жила женщина, увидеть генерала считалось к добру, хотя едва ли бы кто взялся объяснить, в чём бы это добро состояло. Однако ж, промелькнувшее видение прибавило ей настроения и чем-то отличило этот день из тысячи других. И так как «виллис» промчался в сторону Москвы, то она решила, что генерал, верно, туда едет за орденом, и пожелала ему самого главного из всех орденов, а по привычке подумала о нём как о возможном муже, с которым бы она жила в той далёкой Москве, если б выпало ей там родиться и если б какие-нибудь счастливые обстоятельства их свели. Но, поскольку она Москвы не видела и не надеялась в ней когда бы то ни было побывать, то и представление о муже-генерале не удержалось в её сознании, его заполнили другие соображения, главным образом о грибах, которые ей сейчас предстояло

перебрать, почистить, отделить, какие для сегодняшней варки, а какие для засолки – горячей или холодной.

В свой черёд, и генерал не миновал своим вниманием женщины под серым платком, в безразмерном ватнике и резиновых сапогах, стоявшей на обочине шоссе с полными вёдрами, – это показалось ему доброй приметой, хотя он и не знал в точности, что она означала. И мысль его об этой женщине была заурядной мыслью проезжего человека: что вот и здесь живут люди своей муравьиной жизнью, в которой нашлось бы место и ему – быть хотя бы мужем этой женщины, не старой и не молодой, а как раз ему по возрасту; здесь бы он затерялся, как песчинка в прибрежной отмели, укрылся от всех огорчений и забот, исполнил самое, может быть, естественное для человека – уйти от суеты мира, от слишком пристального внимания ближних. А может быть, и не было бы у него вовсе этих тревог, когда бы выпало ему родиться здесь, в нетронутой лесной глуши. А впрочем, война, которая и сюда докатилась и схлынула, всё равно бы его достигла и отсюда вытянула, да и не его удел – укрыться от чего бы то ни было...

...Как ему и предсказывала та, о ком он напрасно старался не думать, он далеко не ушёл от переправы. Его временное житьё на отшибе, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, в двух километрах от Днепра, кончилось неожиданно и сразу, когда он услышал железное урчание и в проломе стены проплыл дульный срез танковой пушки, а следом вплыла и замерла высокая башня «КВ». Кажется, Хрущёв завёл моду высоким чинам разъезжать повсюду в танках – признаться, не лишённую смысла: она и проходимость повышала, и сокращала нужду в большой охране. В этом танке наехал к нему Ватутин – как и он сам любил наезжать нежданно к своим подчинённым, чтобы *застать всё как есть*. Напрасно ему казалось, что если не тревожить начальство новыми предприятиями, то всё обойдётся. Он забыл своё же мудрое изречение насчёт вкусной дичи: она вызывает интерес не тем, что кого-то беспокоит, а тем, что вкусная.

Кобрисов, спешно застёгиваясь, вышел встречать. С видимым трудом, при своей коренастости и тучности, командующий фронтом протиснулся из люка, но спрыгнуть молодо не решился. Кобрисов ему помог сойти – за что получил добрый совет:

— И ты бы вот так ездил, очень даже удобно. Хотя — ты моими советами пренебрегаешь.

Это он напомнил, что Кобрисов к нему не обратился в канун переправы, а поспешил свои танки угнать. Кобрисов склонил голову, что могло значить и признание своего проступка, и что победителей не судят.

— Духоты не люблю, — сказал он примирительно. — Люблю чистым ветерком дышать. — И добавил некстати: — Тоже и армия хочет видеть своего генерала.

— А я хочу видеть тебя, — возразил Ватутин слегка запальчиво. — Живого и не раненого.

Убежище Кобрисова — наспех отрытую щель под окнами — он осмотрел критически, заметил, что слишком близко к стене и при бомбёжке завалить может, не удержался и от других замечаний:

— Что у вас делается, генерал Кобрисов? Охранения — никакого. От самой переправы еду, и никто мой танк не задержал.

— Стало быть, знали, кто в танке едет.

— Ах, так...

— Да уж, догадались. А что вы моего охранения не заметили, за это я им, с вашего разрешения, благодарность объявлю. Умеют маскироваться и начальство зря не беспокоят.

Ватутин посмотрел на него с лёгкой усмешкой, едва скрывавшей раздражение.

— Занятный ты мужичок, Кобрисов. Ладно, веди в свои покои, посмотрю, как ты живёшь.

Кобрисов его повёл на второй этаж, в дальнюю угловую комнатку с табличкой на двери «Комната матери и ребёнка»; там Шестериков поставил койку, письменный стол и табурет. Другая мебель здесь бы не поместилась, поэтому хозяин уселся на койку, гость же оседлал табурет, — не сняв кожанки и отклонив предложенный чай, тем подчёркнув спешность и кратковременность своего пребывания.

Не сказать, чтоб жилище Кобрисова ему больше понравилось.

— Что-то ты... слишком уж скромненько. Прямо как студент живёшь. При штабе оно бы веселее...

— Да штаб мой ещё не весь переправился. Как только окопается — тут неподалёку, в селе, — так и я переселюсь.

— Ага... А то уже слухи ходят, ты с людьми не уживаешься.

— Слухи, — сказал Кобрисов.

Ватутин долго смотрел на него синими глазами, слегка досадливо покусывая губы. Он в этот приезд заметно внимательней всматривался в лицо Кобрисова, желая, верно, прочесть в нём что-то новое и ещё не открывшееся либо то, чего раньше не замечал.

— Хочешь моё мнение знать? — спросил он.

— Весь внимание, Николай Фёдорович.

— С переправой тебе, в общем, повезло. Почти не встретил сопротивления. Противник здесь не имел резервов. Что, между прочим, соответствовало нашим предварительным оценкам. Это не значит, что нет твоей заслуги — хотя бы в выборе места. А всё же ещё две причины сработали: одна — что фон Штайнера всё ж таки Сибежский плацдарм, который ты критикуешь, сильней занимает. А вторая — может быть, тут сыграло роль, что не сразу ты эту переправу затеял. Он уже, поди, считал, что мы тут не рискнём. А мы вот рискнули — разрешили тебе взять плацдарм. Ну, и твоя заслуга тут тоже есть — напомнил, настоял...

Кобрисов дважды покорно склонил голову, не соглашаясь ни с первой причиной, ни со второй.

— Подозрительно мне, — сказал Ватутин, — когда ты соглашаешься. Всё же загадочный ты мужик, Фотий... Но... Бог с тобой. Я не затем к тебе на пароме переправлялся, чтоб твоё согласие испрашивать...

«А зачем ты переправлялся?» — подумал Кобрисов.

— А затем, — продолжал Ватутин, — чтоб сказать тебе: определись, Кобрисов. Определи свои отношения с соседями. Вот ты переправился — и глазом уже на Предславль косишь. Уже твоя армия правым плечиком вперёд стоит и команды «Марш!» ожидает. Ну, так мы все и подумали сразу. Не буду тебя экзаменовать, как мальчишку, какой у тебя дальнейший план. А только о Мырятине ты всерьёз не думаешь — как оно, между прочим, было бы по правилам. Это для тебя мизер. А напрасно, противник ещё далеко не выдохся, он может вот именно тут подтянуть резервы. Я ни на чём не настаиваю, генерал Кобрисов. То есть я *пока* не настаиваю. Но грянет час, тебе этим городишкой станут глаза колоть.

— Что ж вы думаете, вдруг я Предславль возьму? С моими-то силёнками?

— Прибедняешься, — сказал Ватутин. — Я тебя ценю... ценил до сих пор, по крайней мере, что ты всё же не чис-

лом пытаешься воевать, а каким-никаким умением. Но «вдруг» у тебя уже точно не получится. Покуда стоял ты себе спокойно, где судьба определила, никого это не волновало. А ты — плацдарм берёшь... Так что «вдруг» тебе одному не обломится. Но на свою долю... значительную долю в общей победе — ты теперь можешь претендовать. За успешную переправу. За дерзость. И вообще — пора тебе как-то приобщиться побольше к людям, в круг войти. Ты же любимцем фронта мог бы стать, не хуже Черновского. Подумай об этом. И не уставай благодарить соседей. За вклад. За чувство локтя... или как там? В общем, солидарность прояви. Мой тебе совет. Не начальственный — дружеский.

— Спасибо...

— На здоровье. Это уж как водится...

Большей откровенности они бы достигли, прибегнув к водочке, но это для данных русских особей исключалось, поскольку один из двух, Ватутин, был непьющий. Среди генералов, каких только знал Кобрисов, этот выделялся не столько редкой работоспособностью, как этим дивным свойством. За что и считался «интеллигентом». Не так чтобы истый был трезвенник, мог при случае и пригубить, но к откровенности это не больше располагало, чем «напиток полководцев» — чай.

И всё же Кобрисов смог оценить расположение к нему начальства, когда оно, понизив голос, произнесло с грустью:

— Ты же знаешь, Фотий, мы со своими больше воюем, чем с немцами. Если б мы со своими не воевали, уже б давно были в Берлине...

Этими словами, подчеркнув интонацией и скорбной игрой лица, что они — предел доверительности, он её и закрыл. Откликнуться на них нельзя было иначе, как долгим вздохом и невнятными междометиями. А сколько ещё хотелось спросить Кобрисову, как жгло ему язык: «Упрекали меня, что не замахиваюсь по-крупному. Ну вот, ещё не замахнулся, даже и намерения не проявил — и что же? Нет у меня права на такой замах, все права — у Терещенки?» Но он предпочёл — благодарить. И кажется, его благодарность не показалась Ватутину подозрительной. Значит, повёл себя, как вкусная дичь.

Тотчас по отбытии командующего фронтом генерал Кобрисов достал свою карту с первоначальным эскизом,

который он набросал сразу после переправы. Эскиз успел постареть: уже не один, а два плацдарма имела его армия на Правобережье, соединённых узкой, в полкилометра, полоскою берега. Между ними вклинивался «свиньёй» передний край немецкой обороны; почти в центре этого треугольного выступа и находился Мырятин. И первой же мыслью Кобрисова было — ударить с двух сторон под основание выступа. Два глубоких охватывающих вклинения, так повёрнутых остриями друг к другу, чтобы где-то за Мырятином угадывалось пересеченье осей, создавали бы предпосылку окружения. Мысль была проста до примитива, но тем и нравилась Кобрисову. Она вполне удовлетворяла известному требованию Гинденбурга: «Наибольший успех нам обеспечивает простота замысла». Было здесь, правда, и осложнение, связанное с передачей оперативной инициативы противнику; пришлось бы ждать его ответных шагов, но на сей счёт генерал Кобрисов беспокоился не слишком и говорил, сам себе подмигивая: «И подождём, куда тут торопиться...» Его замысел, помимо достоинств простоты, ещё и успокоил бы тех, для кого надо было *изобразить операцию.* Эти клинья, вонзившиеся в оборону противника, хотя бы на том и застывшие, выглядели куда динамичнее линейного фронта; немцам они грозили «котлом», соседи — могли убедиться: человек поглощён операцией с решительной целью и большим размахом, о каком Предславле ему ещё думать...

Вычертив эти две стрелы, он принялся *раскладывать пасьянс.* Всегдашнее горестное занятие генерала — что-то выкраивать из дорогих ему, таких необходимых сил и средств, которых всегда не хватает! Не хватает людей, орудий, танков, самолётов, снарядов, горючего, водки, жратвы, чёрта, дьявола. (И, конечно, всегда баб не хватает!..) Счёт шёл уже не на дивизии — на полки; разведанные силы противника большего и не требовали, но жаль было и полков! С болью в душе он выделил на каждое вклинение по три отдельных стрелковых полка, усиленных противотанковыми артдивизионами. Ещё покряхтев, вспомнив, что скупой платит дважды, добавил по пулемётному батальону. Записал себе — попросить у Галагана хоть по две эскадрильи штурмовиков. Танков — рука не поднялась хоть один отдать из шестидесяти двух. «Выкуси! — сказал он тому неведомому, кто на них рот разевал, всё требовал и требовал. — И на том спасибо скажи!»

Особенной скрытности он не добивался, напротив — командирам полков велено было не таить приготовлений. Он даже прибавил к своему замыслу пошуметь танковыми моторами, полязгать, пострелять, а затем незаметно их вывести и уже бесповоротно обратить на Предславль! Была надежда, что окружения и не понадобится, слишком очевидна его неотвратимая угроза, и всяк здравомыслящий должен бы загодя унести ноги из «мешка».

Но, когда обрели его изогнутые стрелы материальное воплощение, когда шесть полков, с боями не чрезмерно кровавыми, — а местами, в лесах, и вовсе без боёв, — углубились под основание мырятинского выступа, вдруг выявилась эта странность в поведении противника: он не выказал жгучего желания унести ноги из «мешка». Он как будто вообще не принял всерьёз угрозу окружения. Воздушная разведка не отмечала признаков эвакуации, ни приготовлений к ней. Командиры полков докладывали об ожесточении обороны, каждый километр забирал всё больше усилий и жертв. Такой прыти — и такой неосторожности! — не ожидалось от немцев после Курской дуги. Всякий час тревожился Кобрисов, что клинья увязнут совсем и повторится ситуация на Сибеже. И речи уже не будет о том, чтобы и Мырятин тебе, и Предславль, но либо то, либо другое. А скорее — *то*. От него станут требовать и ждать, чтобы он как-то вышел достойно из авантюры, в которую влип, или бы уже продолжил свою операцию до победного исхода, и он будет бросать и бросать войска, не видя конца этому, ни дна ненасытной прорве, и вся надежда будет, что вырвет победу последний брошенный батальон...

Он ломал голову: с чего вдруг так вцепились немцы в заштатный городишко? Что прикрывает собою этот, с позволения сказать, опорный пункт? Какой оперативный замысел на него опирается? А не могла ли то быть ещё одна ловушка фон Штайнера, чтоб тут увязли русские — и не помышляли о броске на Предславль? Красную тряпку бросили быку — топтать её в ярости. Задним числом казалось Кобрисову, что и тогда было что-то пугающее в подозрительной простоте замысла. Некое коварство таилось в ней — как в вечном двигателе, который оборачивается инженерным абсурдом: не только не работает, но даже с трудом выводится из инерции покоя. Он клал перед собою снимок фельдмаршала, едущего по приволж-

ской степи на танке, высунясь из люка по грудь, вглядывался в полное холёное лицо под чёрной пилоткой, с надменною складкой рта, усиками лопаточкой, посверкивающим в глазу моноклем. Эти усики *под фюрера* и монокль в сочетании с башнею танка не говорили о слишком оригинальной личности, но был же он и впрямь *недурной вояка.* «Что же это ты мне уготовил, братец Эрих?» — спрашивал Кобрисов, и тут же закрадывалось подозрение: да может статься, ни черта не уготовил братец Эрих, не мог же он предвидеть, что возникнет плацдарм раздвоенный, что приедет Ватутин со своими советами, что Кобрисов и сам, ещё до этого, на всякий случай, станет набрасывать свой эскиз. Просто сложилось так. Но — откуда же такое ожесточение? Что их там держит, не помышляющих ни о каком отступлении?

В конце концов он понял, что его пугало. Он знал о численности войск противника, но не знал их состава. А могли же быть в Мырятине части СС, которым отступить не позволяют соображения престижа. И перебежчиков от них не дождёшься — ввиду причастности к операциям карательным. Так пришла мысль, что позарез нужен пленный. И коли дело касалось, скорее всего, *духа армии*, то безразлично было, какого чина ему добудут. Право, какой-нибудь обозник свидетельствует об этом духе даже выразительней.

И буквально через час, как адъютант Донской заказал «языка» развѐдотделу штаба, сообщили, что вот есть свеженький, взят неподалёку от наших позиций, утверждает, что шёл сдаваться. Впрочем, к допросу ещё не приступали.

— И хорошо, что он у вас недопрошенный, мне такого и надо, — сказал генерал. Уже допрошенный «язык», он знал, только и думать будет, как бы не разойтись с первоначальной версией. — Гоните его сразу ко мне, с переводчиком.

Начальник разведотдела возразил, странно помявшись, что переводчик не потребуется.

— Он что, — спросил генерал, — и по-русски лопочет?

— Только по-русски и лопочет, ни на каком другом. Так он утверждает.

— Не понимаю... Он из местных, что ли? Или же дезертир какой?

— Не из местных, товарищ командующий. И не дезертир. С его слов — наш будто бы. Ручаться не могу.

Ничто не предвещало особенной неожиданности, когда пленного доставили, и генерал направился к нему в другое крыло вокзальчика, в комнату, очищенную от обломков и даже со вставленными стёклами, где он принимал подчинённых. При виде него вскочил коренастый, невысокий ростом, круглоголовый парень в пятнистом комбинезоне, назвался то ли Лобановым, то ли Барановым, генерал не разобрал. Пленный был очень напряжён и, наверное, оттого взрывчато заикался.

Встал от окна ещё кто-то, освещённый сзади, сказал несколько игриво:

— Всё тот же вездесущий майор Светлооков. Разрешите поприсутствовать, не помешаю. — И прежде чем генерал мог бы ответить, пояснил, усаживаясь: — Пленный как-никак за мной числится, за нашим отделом.

Генерал возразил было, что у него и у «Смерша» интерес к пленному разный, и может быть, лучше бы допрашивать раздельно, но затруднился, говорить ли со Светлооковым на «ты» или на «вы». Так повелось в армии, что сверху нисходило отеческое «ты», а встречно восходило сыновнее «вы» — в зависимости от чина-звания, не от разницы в летах. Так разговаривал он с Ватутиным, годами намного младшим. С майором Светлооковым тоже сложилось на «вы», но при тоне игривом, когда это и выглядело как шутка. Серьёзного же разговора у них покуда не было, к тому же генерал не знал толком, в какой мере подчиняется ему этот майор. Говорилось о двойном подчинении «Смерша», о «тесном контакте» с госбезопасностью, но, похоже, истинно и признавали они только её министра Абакумова.

— Не возражаю, — сказал генерал угрюмо и на себя же рассердился — за то, что Светлооков и дожидаться не стал его разрешения. Побарабанив пальцами по столику, за которым сел напротив пленного, генерал успокоился и задал вопрос неожиданный, но очень естественный в армии: — Кормили тебя?

Пленный опять вскочил, оглядываясь в растерянности на Светлоокова. И обещавший не вмешиваться Светлооков ответил за него:

— Не извольте беспокоиться, товарищ командующий. Они там отобедамши.

— Где «там»?

— Там, откуда прибыли. У противника. И двух часов не прошло.

Пленный было рот раскрыл что-то сказать, но лишь кивнул согласно.

— Поведай, — сказал генерал, — как попал в плен. Как из него бежал.

На Светлоокова он не смотрел, и пленный, который был весь внимание и звериная напряжённость, это заметил, стал говорить уже не так заикаясь, а главное, с видимой жаждой выговориться.

Поведал он про то, чего всё же не ждал генерал от своих не щепетильных соседей, что переполнило уже налитую до краёв кровавую чашу Сибежского плацдарма. В довершение всей авантюры попытались её исправить новой авантюрой — воздушным десантом, и столь массированным, какого ещё не видывала история войн. Общего числа пленный, естественно, не знал, но свою воздушно-десантную бригаду назвал пятой, из чего генерал мог заключить без большой ошибки, что пять их, поди, и было задействовано — число, предпочитаемое дураками... К могучему замаху ещё добавилась тонкая идея десанта ночного, «под покровом темноты» — будто немцам составило бы тяжкий труд рассеять этот покров прожекторами, осветительными ракетами, висячими бомбами-лампионами! И отсюда пошли все беды. Выбросить пять бригад решено было за одну ночь, в крайнем случае за две, не имея аэродромов ближе чем за двести километров от Днепра, не имея и самолётов в достатке. Это какой-нибудь сорокаместный ЛИ-2 или же буксировщик планёров должен был за ночь несколько рейсов совершить, несколько взлётов, посадок... Так спешили, что задачу десантникам ставили за час до взлёта, а обдумывали её на лету. Так спешили, что в экипажи набрали пилотов, не имевших опыта ночных вылетов; выдержать нужную малую высоту они и не старались, от огня зениток и ночных истребителей уходили повыше и увеличивали скорость, и людей разбрасывали по огромной и неизведанной площади. Падали в воды Днепра — и тонули многие, не сумев ещё в воздухе освободиться от стропов. Падали, ослеплённые прожекторами, на немецкие боевые порядки, падали навстречу трассам зенитного огня, на многажды пробитых, на сгорающих куполах парашютов. Самых удачливых относило благодетельным ветром к своему левому берегу, и ужо свои наверняка заподозривали дезертирство из боя, которое и впрямь не так сложно для десантника, наученного управ-

лять падением и сносом. Те же, кто приземлялись всё-таки в заданном месте, должны были его обозначить кострами и ракетами, но вскоре и немцы из противодесантных отрядов стали разжигать костры и пускать свои ракеты. Иной же связи не было: из опасения, как бы радисты не попали в лапы врага с секретными *радиоданными*, решили их не сообщать до приземления, и эти коды и позывные летели отдельно, в других самолётах, и на земле не суждено им было воссоединиться с бесполезными рациями, которые оставалось только разбить да выбросить.

Это и рассказывал десантник-радист, ещё не вполне исчерпавший умом всю меру изумления головотяпством.

— У нас же вся кодировка была под ключ, а голосом — так у меня микрофона нету, не велели с собой брать, — говорил он с непрошедшим, неизжитым отчаянием. — Ну, что... ну, я могу открытым текстом: сюда, мол, не сбрасывайте людей, тут засады кругом... Но кто ж мне поверит, когда я радиоданных не имею, кодов не знаю, своих позывных? У комбата всё, а где он, комбат?

— Действительно, — подхватил майор Светлооков, — кто ж тебе поверит. Ты же всего наблюдать не мог. Или кто-нибудь потом рассказал тебе?

Десантник от этих слов осёкся и вновь замкнулся. Между тем, виделся человек очень не робкого десятка, кто побывал в передрягах и находил в них прелесть и смысл жизни, из тех, кто воевать умеет и любит. Было что-то звериное в его мощной тренированной фигуре, взрывчатая кошачья сила и ловкость, которые у генерала вызывали симпатию и молодецкое желание побороться с ним, и, наверно, была прежде горделивая осанка человека, ценимого командирами и знающего себе цену, привыкшего изъясняться, не утруждаясь выбором слов. Но, видимо, в этот раз испытал он то, что уже превысило меру его храбрости и сломило её; может быть, на всю жизнь оставило неизгладимый устрашающий след.

— Так, — сказал генерал, — рацию ты разбил. Дальше что?

Неожиданно для него десантник не ответил сразу, а потупился в пол и, вцепясь обеими руками в края стула, выговорил с усилием:

— Не разбил, товарищ командующий. Тут ведь как вышло? Покуда падал, страху натерпелся — как вспомнишь, так вздрогнешь. А приземлился — хорошо, на поля-

ну, не на деревья. Руки-ноги целы, не ободрало нигде. И тащило меня недолго, купол погасил быстро. И вроде никого кругом, можно и расслабиться. Ну, развернул рацию — хоть что-нибудь услышать, наушники надел, работаю. И не услышал, как они сзади подкрались, человек пять. Вдруг наушники с головы срывают и в рожу — стволы: «Хенде хох!» Я и ножичек не успел вынуть.

— И автомат пришлось отдать, — сказал майор Светлооков.

— Взяли автомат, — сказал десантник. — Я только потянулся — сапогом дали под челюсть...

Он показал рукою, куда ему дали, там лиловел кровоподтёк. А лёгкая его усмешка показывала, что схлопотать по морде, хоть и сапогом, не такая уж для него трагедия. Майор Светлооков заглянул сбоку и покачал головой.

В какую из минут, не уловленных генералом, парень стал губить себя? Когда, поддавшись его доверительному тону или просто не смея лгать командующему, решил говорить правду — что не разбил рацию, как предписывалось, не отстреливался до последнего патрона, не резал врага финкой, не рвал зубами? Да, это всё поводы для смершевца сделать стойку. Но только он её раньше сделал — когда рассказывалось о десантировании, о котором рассказать солдатской массе невозможно, немыслимо, выглядело бы клеветой на командование, *злобной антисоветчиной*. Как часто людям приходится отвечать за то, что они не могут не рассказывать о грехах других людей, и как охотно эти другие перекладывают на них свои вины! Только формулировку подобрать. В сущности, за любым обвинением политического свойства всегда стоял чей-нибудь личный интерес — и непременно шкурный. И уж эти мастера себя выгородят перед Верховным и награды себе отхлопочут — можно ведь из любого головотяпства выйти с достоинством: «В ходе операции советские воины проявили массовый героизм, мужество и стойкость». И всё ведь чистая правда, кто-то же проявил, сплотился в группу, в отряд, оказал сопротивление. А все другие будут уже к ним подстраивать свои легенды. Только вот этот парень не озаботился запастись легендой. И значит, был обречён, ещё когда прыгнул в ночную темень, если не раньше — когда всходил по трапу в самолёт.

— Что с теми было, кто отстреливался? — спросил генерал. — Удалось им оборону какую-то организовать?

— Я, когда повезли меня, видел — вешали на стропах. На ихних же стропах. Ну, забавлялись. Несколько тяжелораненых или кто ноги поломал — свалили в кучу, забросали хворостом и зажгли. Крик стоял жуткий. На весь лес. И мясом пахло горелым.

— А тебя, значит, везли, — сказал Светлооков.

— А меня везли, — повторил десантник. И вдруг взорвался. — Что же я, п-просил их меня в-везти, ш-што ли? Я им п-продался, да? С-служить п-пооб-бещал? Лучше бы меня т-тоже п-повесили? Или — с-сожгли? С-скажите уж п-прямо!

— Это скажут тебе, — ответил майор Светлооков. — А что лучше, что хуже для тебя — это сам решишь. — И, как бы спохватясь, добавил: — Виноват, товарищ командующий. Я, наверно, мешаю?

«Не “наверно”, а мешаешь!» — хотелось генералу рявкнуть. Но, допустив первые вопросы и реплики Светлоокова, почему было вдруг упереться на этой? Противника останавливают на дальних подступах, на ближних — ещё удастся ли?

С той же доверительностью в тоне и как бы не слыша Светлоокова — что казалось ему сейчас лучшей тактикой, — генерал опять обратился к десантнику:

— И куда же они тебя повезли?

— В город повезли.

— В какой город?

Десантник потёр лоб тылом ладони, словно бы мучительно вспоминая.

— В этот... В Мырятин.

...Как помнилось генералу, некую обожжённость лица и всего тела испытал он сразу при этом имени — от предчувствия, что вот сейчас откроется тайна, которую он был обязан узнать, перед тем как вычерчивать свои вклинения и раскладывать пасьянсы. И кто виноват, как не он один, что разведка ему этой тайны не раскрыла? Он ведь не ставил разведке вопроса, что за люди обороняют этот городишко, — хоть и блуждала мысль о *духе армии.*

— Почему в Мырятин? — спросил он. — Зачем?

Десантник исподлобья взглянул на него с удивлением.

— Так там же русские, — сказал он. — Русские там.

И генерал явственно ощутил на своём вспыхнувшем лице давящие взгляды десантника и Светлоокова.

— Что, пленных туда согнали? Концлагерь? — спросил он оторопело, где-то на краешке сознания зная ответ, но

стараясь его отогнать, заклясть, чтоб именно то оказалось, о чём он спрашивал.

Десантник помотал головой.

— Я что-то не видел, чтоб под конвоем держали. Вполне даже свободные они. Сами батальоны сформировали, сами и на фронт выступили, никто не гнал. И меня тоже не шибко принуждали. Сказали: «Ну, раз ты русский, то вот пусть русские с тобой и разбираются. И спасибо скажи, что не к хохлам тебя везём, к самостийникам, они б тебе дружбу народов вырезали на пузе. Или где пониже...»

— Ты говоришь — формирование у них батальонное. И сколько же батальонов, хоть приблизительно?

— Вроде бы, говорили, десять или одиннадцать воюют уже. А тот, что в городе формировался, куда меня воткнуть хотели, тоже почти укомплектован был, и оружие им раздали, только форму ещё не подвезли. Были — кто в чём перебежал. Некоторые в штатском — кто из местных влился.

— Форму какую? Немецкую?

Вопрос так поразил десантника, что он даже не ответил. И это и было ответом.

— Я не надел, — сказал он, помолчав. — Не надену, говорю, хоть к стенке ставьте. Ну, тоже не настаивали: «Поживи с нами, приглядись. Может, надумаешь...»

— Кто командует ими, не слыхал? — спросил генерал. Он ждал услышать о Власове.

— Как кто? — сказал десантник. — Немцы. Командирами батальонов — немцы поголовно. И заместители ихние — тоже.

— Они что, по-русски говорят?

Десантник пожал плечами.

— Ну, может, десяток знают команд. Много, что ли, надо Ивану?

— А над этими немцами — кто?

— Другие немцы.

— А ещё выше? Какой-нибудь генерал?

— Генерала я не видел, но, в общем, тоже фриц какой-то. Один раз, когда уже мы на позициях были, оберст приезжал инспектировать. По-нашему, полковник. Чего-то гавкал, но непонятно было, ругался он или, наоборот, хвалил.

— Значит, воюют, говоришь, — сказал генерал. — А обстановку знают они? Что окружение им готовится?

— Знают. Говорят об этом.

— Почему ж не уходят?

Десантник снова пожал плечами. Они как бы вспрыгивали у него — должно быть, сильно гуляли нервы.

— Так приказа же не было... Как отходить? Обязались приказы исполнять, если форму надели, иначе — «эршиссен», расстрел. Как немцам. Назад — ни пяди!

Генерал хотел спросить про заградительные отряды, о которых говорилось на политбеседах, но спохватился, что такой вопрос опасен для десантника, точнее — ответ на него, если окажется отрицательным.

— Значит, ждут приказа, а его всё нет?

— Когда я уходил, всё ждали — вот-вот. Но похоже, забыли про них — где-то там, на самом верху...

Вот это и была — и как проста! — вся «ловушка», уготованная братцем Эрихом. И это в голову не могло прийти, хотя о скольких «забытых» приходилось слышать. Забывали роты и батальоны, забывали дивизии и корпуса, целую армию забыли в «мешке» у села Мясной Бор близ реки Волхов — ту самую, 2-ю Ударную, которую досталось вытягивать Власову. В панике от грозящего окружения, улепётывая на штабных «виллисах», забывали приказать батальону прикрытия, чтобы и он отступил. Зато не забывали кинуть в бой хоть знамённую группу, где всего-то три человека — знаменосец и ассистенты. Не забыли в одной из его дивизий погнать в огонь ходячих раненых из медсанбата — в халатах и кальсонах, не позаботясь раздать хоть какое оружие, только б заткнули прорыв... И случилось чудо: эти безоружные остановили немцев. Настреляв с четверть сотни тел, немцы вдруг покинули захваченные высоты, а там подоспели конники и оттеснили их совсем. Взяли их командира, как раз тоже оберста, и генерал Кобрисов потребовал его к себе. «Почему вы отступили? — спросил он строго. — У вас такие были позиции, вы же с этих высот одними пулемётами тут дивизию могли разогнать к чертям собачьим!» Оберст посмотрел на него печально и даже с какой-то жалостью и ответил кротко: «Господин генерал, мои пулемётчики — истинные солдаты, у меня к ним никаких претензий. Но расстреливать безоружную толпу в больничных халатах — этому их не обучили. У них просто нервы не выдержали — может быть, впервые за эту войну». Много дней спустя генерал ещё продолжал размышлять, как бы он поступил с теми, кто

заслонился телами раненых. Прошло первое желание, от которого горела и сжималась ладонь: расстрелять своей рукой перед строем, и в конце концов он нашёл возмездие другое: выстроить в две шеренги друг против друга, срывать награды с опозоренных кителей и тут же их прикалывать к госпитальным коричневым халатам. Он даже поделился этим желанием с начальником штаба — и был тотчас возвращён с небес на землю: да эти бесстыжие в Президиум Верховного Совета пожалуются, который их награждал, и всё им вернут, а ему, Кобрисову, укажут строжайше на самоуправство. Да уж, чего не случалось в эту войну, но чтоб забыли своих бережливые немцы, не бывало на его памяти. А вот забыли и они. Впрочем, не своих — русских. Точнее — «русских предателей».

— Могу, если надо, — сказал десантник, — насчёт вооружения рассказать...

Генерал встал и заходил по комнате.

— Про это не надо мне. Ты лучше расскажи: как тебе удалось бежать?

Подспудная мысль была — дать парню шанс выставить и себя в хорошем свете. И смутно чувствовалось, что тем самым он участвует в игре, навязанной присутствием Светлоокова. А всякую игру *они* выигрывают заранее.

— Да ничего особенного, — сказал десантник, — не держали. Десять дней я у них пробыл, «карантин» прошёл, как они говорят, ну, спросили: «Не надумал с нами остаться?» А когда сказал, что нет, братцы, не надумаю никогда, не спрашивали больше. Попросил автомат вернуть — вернули, только диск дали пустой: «Вдруг ты ещё по нам пальнёшь». И на прощанье сказали: «Встретимся в бою — не жалуйся». — Он помолчал, вспоминая что-то, и добавил: — У меня впечатление, товарищ командующий, что драться они будут как звери, а на свою судьбу — рукой махнули... Никакого просвета впереди, и ни к чему душа не лежит, кроме водки. И — крови. Песня у них есть боевая, вроде гимна: «За землю, за волю, за лучшую долю берёт винтовку народ трудовой...» А поют печально, чуть не со слезами...

— За сердце берёт, правда? — вставил Светлооков. — Я вижу, грустное было расставание.

Десантник посмотрел на него долгим взглядом и сказал, с горечью и обидой:

— Точно, товарищ майор, грустное. Потому что ещё сказали они мне: «Зря возвращаешься, тебе дорога назад заказана. Раз ты с нами какое-то время побыл и вообще в плену, веры тебе не будет. И ещё радуйся, если проверку пройдёшь и дальше воевать пустят». Вот не знаю, правду сказали или нет...

— Я тоже не знаю, — сказал Светлооков. — Не бог я, не царь и не герой. Другие будут решать...

Повисло молчание, которое генерал не знал как прервать. И даже почувствовал облегчение, когда Светлооков спросил:

— Нужен вам ещё пленный, товарищ командующий?

Генерал, отвернувшись и заложив руки за спину, ответил:

— Мне всё ясно.

Ему самому было ясно, что никакой иной разговор при третьем невозможен.

Светлооков, не вставая, сказал десантнику:

— Ступай к машине. Скажешь конвойным, я задержусь на пару минут. Видишь, я тебе доверяю, что всё будет без эксцессов...

Десантник, поднявшись, вытянул руки по швам и обратился к генералу:

— Разрешите идти, товарищ командующий?

В его голосе ясно звучало: «И вы меня отдадите, не заступитесь?» Генерал, повернувшись, увидел взгляд, устремлённый к нему с отчаянием, мольбой, надеждой. Он хотел подойти и пожать руку десантнику и вдруг почувствовал, что не сможет этого сделать при Светлоокове, неведомое что-то сковывает ему руки, точно смирительная рубашка.

— Счастливо тебе всё пройти, — сказал генерал. — И доказать... что потребуют.

Десантник молча вышел, и было слышно, как он медленно, точно бы сослепу нащупывая ступеньки, спускается по лестнице. В разбитом вокзальчике насчитывалось, наверное, пять-шесть обширных пробоин — и по меньшей мере столько же возможностей не выйти к подъезду, где дожидался восьмиместный «додж» с конвоирами «Смерша», а тем не менее майор Светлооков уверенно знал, что всё обойдётся *без эксцессов,* этот десантник, могший бы справиться со всем конвоем, покорно сядет в «додж» и поедет навстречу выматывающим допросам, фильтрационному

лагерю и всей, уже сложившейся, судьбе. В который раз показалось генералу диковинным, как велика, необъятна Россия и как ничтожна возможность укрыться в ней бесследно. Да если и выпадает она, человек всего чаще от неё отказывается как от выбора самого страшного.

— Парню отдохнуть бы, — сказал генерал, не глядя на Светлоокова. — Нервы подлечить — и в строй. Я б таких в своей армии оставлял. Какой комбат от него откажется?

— И какой чекист не проверит? — прибавил Светлооков.

— Да уж, это как водится у вашего брата... И долго его... щупать будут?

— От него зависит. Насколько откровенен будет. Мы же с вами не знаем, товарищ командующий, почему так легко отпустили его. Главного-то он не сказал — почему это его одного в Мырятин повезли, к землякам? А он — руки поднял.

Генерал, выбирая фразу без личных местоимений, спросил раздражённо:

— Откуда это известно?

— Ну, это ж элементарно, — сказал Светлооков. — Кто не поднял, тех ликвиднули.

— Что же, если его с ними не вздёрнули, не сожгли, так он уже виноват? Ему, значит, задание дали шпионить? Или пропаганду вести? Чепуха собачья...

Светлооков поднялся на ноги и, наматывая на руку ремешок своей планшетки, посмотрел на генерала простодушными голубыми глазами.

— Вот интересно, товарищ командующий. Возмущаемся, что кого-то виновным назвали: это, мол, должен трибунал решать. А невиновного — это мы сами определим, тут ни контрразведка, ни трибунал нам не указ. Нелогично, правда же? Не осмелюсь я ни обвинять кого, ни оправдывать; пусть уже, кому там виднее, головы ломают... А разговор тут интересный был, я лично много полезного извлёк. Вот насчёт Мырятина и этих... перебежчиков, перевёртышей, в общем — власовцев. Как я заметил, и вас это интересует. И, насколько судить могу некомпетентно, операция у вас получается красивая.

Похвала эта была генералу как режущий звук по стеклу, и операция тотчас показалась ему уродливой, бездарной.

— И вот подумалось, — продолжал Светлооков, — хорошо бы, если б командование, планируя ту или иную опе-

рацию, учитывало бы наши интересы, я о «Смерше» говорю. Как-то бы согласовывало с нами... Мы, например, очень были бы заинтересованы в окружении.

Генерал, чувствуя подступающий непереносимый гнев, сказал медленно:

— А в том, какие потери будут при окружении, тоже вы заинтересованы? Не дождётесь вы, чтоб я с вами согласовывал свои операции.

— Жалко... — Светлооков вздохнул смиренно и, вытянувшись, прищёлкнул каблуками. — Виноват, не подумал. Разрешите идти?

После его ухода чувство обожжённости ещё усилилось. С некоторых пор труднее было генералу остаться наедине с собою, чем вынести самых назойливых. Своя вина жгла сильнее, чем мог бы кто другой его упрекнуть: сегодня открылось ему то, с чем он так не желал встречи, надеялся, что его-то обойдёт стороной. Как же он проглядел, не предчувствовал? И ведь это не были те малые группки, те как бы и случайные вкрапления среди немецких частей, о которых приходилось слышать ещё до Курской дуги, ещё при первых движениях армии от Воронежа, — нет, перед ним предстала организованная сила, составившая, может быть, костяк обороны.

Никак не предвиделось это более года назад, когда впервые услышалось: «Генералы Понеделин и Власов — предатели», когда прозвучали страшные слова: «Русская Освободительная Армия», страшные таившейся в них обречённостью, гибельным упрямством смертников — и, вместе, слабым упрёком тому, кто, всё понимая, в этом гибельном предприятии не участвует. Вскоре посыпались с самолётов аляповатые листовки — одновременно и пропуск в плен, и «художественная агитация»: Верховный с гармошкой приплясывал в тесно очерченном кругу, где помещался один его сапог, изо рта летели веером слова попевочки:

Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья...

Был приказ офицерам и солдатам эти листовки сдавать политработникам, за хранение и передачу грозила высшая мера. Никто их особенно и не подбирал, ещё меньше хотелось хранить их. Но вскоре посыпались другие листовки, где был посерьёзнее текст и на которых предстало сумрачное, очкастое, закрытое лицо Власова.

Оно было скуластое, с широким носом, простоватое, но и чем-то аристократичное. Из роговой оправы очков смотрели пронзительные, внимательно изучающие глаза, большой рот — не куриное, обиженно поджатое гузно — говорил о силе, об умении повелевать. Из такого можно было сделать народного вождя.

Понеделина генерал Кобрисов не знал, а с Власовым, своим подмосковным спасителем (от чего было не откреститься), он встречался в Москве, на слёте дивизионных командиров, где была всем в пример поставлена власовская 99-я стрелковая дивизия, занявшая первое место по Союзу. Дивизия Кобрисова, входившая в Дальневосточную армию, тоже оказалась среди лучших, так что сидели рядом в президиуме, и Власов его отчасти удивил, слушая произносимые речи с блокнотиком, вылавливая бог весть какие жемчужины, когда все другие позёвывали. Потом оказались — не случайно — рядом на банкете. Называлось это, правда, не «банкетом», а «командирской вечеринкой»; была она как сомкнувшиеся волны над ушедшими ко дну; имена тех, кто не выплыл, и тех, кто ещё барахтался на плаву, не произносились, тосты поднимались за Красную Армию, за её «славное прошлое и победоносное будущее»; настоящее — пропускалось, но похоже, был здесь молчаливый реквием по отсутствующим, и каждый, поднимая бокал, заклинал судьбу, чтоб его миновала чаша сия. Ждали на слёт Сталина с речью, он не явился. «Не почтил, — сказал Власов. — Занят. Ну, ему сейчас работы для ума хватает». Сам он выглядел счастливцем, который своим отличием избег общего жребия, и дал понять, что и Кобрисову так же повезло.

Пивал Андрей Андреевич крепко, а нить разговора не терял и мог вполне здраво продолжить, о чём говорилось стрезва. Виден был ум, оснащённый эрудицией, отточенный чтением; свою речь он пересыпал цитатами из Суворова и других полководцев российских, нерасхожими пословицами, из них теперь чаще вспоминалось: «Каждый баран за свою ногу висит». Он уже давно не сомневался, что воевать предстоит с Германией и война эта будет самым тяжким испытанием для советской России. Похоже, что и пакт с Риббентропом его в том не поколебал. «Удобнее, чем сейчас, момента у них не будет, — сказал он, имея в виду всё то, о чём не говорилось. — А у нас — неудобнее». И не только не ошибся Власов в своём предвидении, но и более дру-

гих оказался к испытанию готов. В те месяцы 1941 года, когда всё попятилось на восток и было лишь два исключения из всеобщего панического бегства — либо в плен попасть, либо в окружение, — на 37-й армии Власова держалась вся оборона Киева, и свою армию он не потерял, вывел её и остатки других из грандиозного Киевского «котла», где сгинуло более 600 тысяч. Так отдавать города, как Власов отдал Киев, так ускользнуть из мёртвой хватки Гудериана и фон Клейста — значило дать понять и своим, и немцам, что не все лучшие выбиты предвоенными «чистками», осталось ещё, на кого возложить надежды. Второй раз прогремел он под Москвой — и Кобрисов не мог не оценить всей дерзновенной красоты его авантюрного решения, безумного самонадеянного рывка — без разведданных, в метель, наугад, с прихватом чужой бригады, за что при неуспехе он бы ещё неумолимее был поставлен к стенке. И скорее этот рывок спас Москву, чем те сибирские дивизии, сбережённые Верховным, которые пороху не нюхали, но почему-то должны были оказаться боеспособнее отступавших фронтовиков. В третий раз уже ждали от Власова чуда — когда Верховный, по совету Жукова, послал его спасти 2-ю Ударную, которую так бесполезно, бездарно сгубили на Волховском плацдарме, рассчитывая ценой её гибели сорвать блокаду Ленинграда. В третий раз чудо не удалось ему. Знал ли он, летя сквозь плотный зенитный огонь в полуокружённую армию, что ничем ей не поможет? Здесь при оценке Власова руководствовался Кобрисов не точными данными — их не было, — а той сочувственной легендой, какие складывались вокруг удивительного генерала. Говорили, что на Волховскую операцию смотрел он обречённо, как на заведомое поражение, и лишь надеялся, что Верховный позволит ему армию распустить и прорываться на восток малыми группами. Верховный таких полномочий не дал, Власов их взял сам — и в предатели попал уже с этого шага, а не тогда, когда то ли священник, то ли церковный сторож навёл немцев на его убежище. Пожалуй, на церковников, подозревал Кобрисов, возвели напраслину, скорее всего выдали советского генерала советские крестьяне, которым было за что возлюбить Красную Армию и её славных полководцев — начиная с Тухачевского, а пожалуй, и пораньше, с Троцкого. И должно быть, не испытали эти крепостные большего злорадства, чем когда прогудело басисто из глубины храма: «Не стреляйте, я — Власов».

Ещё в июле, из Винницы, едва разменяв второй месяц пленения, призвал он русский народ к борьбе со Сталиным. А в январе заявил в Смоленском манифесте: свергнуть большевизм, к сожалению, можно лишь с помощью немцев. «К сожалению» было при немцах и сказано, с этим он в Смоленске выступал в театре, о русской победе с немецкой помощью отслужен был молебен в соборе, вновь открытом, бывшем при большевиках складом зерна. В апреле – была поездка в Ригу, во Псков, посещение Печерского монастыря, игумен ему кланялся до земли, в театре две тысячи устроили овацию. В штабе немецкой 18-й армии сказал, что надеется уже в недалёком будущем принимать немцев как гостей в Москве. Советские газеты называли его троцкистом, сотрудником Тухачевского, шпионом, который и до войны работал на немцев, на японцев. Кобрисов, которому случалось быть «лакеем Блюхера» и продавать родину японцам, всерьёз этого не принимал. И от него не укрылось, что Власов не называет немцев хозяевами, но лишь помощниками, гостями в России, пытается дистанцироваться от них, даже как будто добивается впечатления, что свои манифесты пишет едва не под пистолетом.

Вот что смущало: свои отважные антибольшевистские речи, свои эскапады против Верховного стал говорить Власов, когда попал в плен. А если бы не попал? Так бы и восходил по лестнице чинов и наград со своими потаёнными обидами? Да, кажется, и не много их было, он даже фразу особо выделил в первом своём открытом письме: «Меня ничем не обидела советская власть». По способностям своим дослужился бы до генерала армии, до командующего фронтом, а то и до маршала, заместителя Верховного, вровень с Жуковым. Вот разве очки помешали бы, выдавали, что много читает. И ростом не вышел – именно своими чуть не двумя метрами. Для малорослых недокормышей, из кого и вербуются советские вожди, был бы всегда чужой. Кобрисов, и сам-то высокий, в этом ему сочувствовал. Ну, ничего, очки объяснились бы наследственной близорукостью, а при хорошем росте так выразительны поклоны. Но вот попал в плен – и принял иную роль так, будто всю жизнь к ней и готовился, выдал всю правду-матку. Право, больше бы в неё верилось, если бы сам перешёл. Нешто так трудно перейти, имея верного человека в свите? Никогда не подвергая такому испытанию,

Кобрисов тем не менее отчего-то уверен был, что, позови он с собою Шестерикова, тот пойдёт, не спрашивая ни о чём, ну разве что — взять ли диск запасной к автомату. Вот что, наверно, следовало сделать Власову — уйти с десятком людей и обрасти армией. При его имени, славе, облике военного вождя, могло бы это удаться — объединить разрозненные, но уже сложившиеся части: казачьи, украинские, белорусские, грузинские, калмыцкие легионы. Не «жалкая кучка иуд, продавшихся за тридцать сребреников», вдруг «захотела возврата к прошлому»; измена была столь массовой, что уже теряла своё название, впору стало говорить о второй гражданской войне в России. Ну, так и вести её надобно — под своим знаменем, не выбирая между Сталиным и Гитлером. Власов же решил сыграть *прозревшего* в плену, под влиянием нового (старого, эмигрантского) окружения — и было впрямь что-то наигранное в его бурных откровениях. Позволил себе стать, каким его хотели видеть, — вот что политика делает с людьми, даже сильными и талантливыми. Был игрок, а стал — игрушкой.

Генералу Кобрисову, по его должности, полагалось знакомиться с документами, недоступными даже и высокому офицерству, чаще всего — их выслушивать в чьём-нибудь чтении, сделав при этом брезгливое лицо, насупясь, ни с кем не встречаясь взглядом. Читали обычно начальник политотдела либо Первый член Военного совета, по-старому — комиссар, в одинаковой предустановленной манере, что даже делало их похожими. В своё чтение они вкладывали толику актёрства, какие-то места выпячивая карикатурно, где-то и похохатывая — и как бы приглашая к своему хохоту слушателей, а где-то возвысясь до пафоса грозного возмущения. И заползала Кобрисову лукавая мысль, что такое чтение, может статься, производит обратное действие и кое-кто в прочитанном кое с чем согласен, кое-что разделяет. Чтобы в том убедиться, надо было поднять глаза и всех слушающих оглядеть, но этого он не делал ни разу. Ведь та же лукавая мысль могла посетить не одну лишь его голову, и кто-то же мог его в ней заподозрить, как он других.

Уже за то, что Кобрисов измену Власова считал роковой ошибкой — скажи он кому об этом, — он был бы тотчас отставлен от армии, лишён звания и наград и в лучшем случае послан камень дробить в Казахстане, а то и

в шахты Воркуты. Ошибка же, по его мнению, была в том, что нельзя было оказаться с немцами — и не потому, что те не дали — и не дадут — сплотиться в решающую силу. Ошибка была — что хотя б на время стали рядом с теми, кого уже увидел народ палачами и мучителями. Если сумели им всё простить и быть заодно, значит — такие же! И эту свою ошибку не понимал Власов, как и того, что уже опоздал он со своей РОА. После Сталинграда, после Курской дуги, не видя, не чувствуя, что Верховный уже эту войну выиграл и вся масса народа на фронтах и в тылу принимает его сторону, Власов, сам руку приложивший к его выигрышу, пообещал, что закончит войну по телефону! То есть он позвонит Жукову, Рокоссовскому, друзьям по академии, с которыми *так откровенно говорили*, — и они ему сдадут фронты! Здесь уже стало видно, в каком состоянии находится Власов — боевой генерал, разучившийся понимать, что такое война, русский, разучившийся понимать Россию!

По-человечески это понятно было Кобрисову, который умел поставить себя в положение другого — с тем, разумеется, непременным чувством превосходства, с каким оставшийся верным долгу смотрит на переступившего долговую черту. Не раз он примерялся к положению Власова и даже находил иным его действиям оправдание. Но зачем, спрашивается, позвал за собою этих курносых, пухлогубых, лопоухих, сбитых с толку, раздавленных немецким пленом — после всего, что изведали от власти родной, рабоче-крестьянской, — если ничего дать им не мог, кроме громкого своего имени? Идея была так заманчива, кто не мечтал вернуться в Россию во главе армии! Но вот прошло более года войны — и говорит десантник, что русскими батальонами командуют немцы, и не он один это говорит, — что же, через немцев ниспосылает приказы своим войскам пленный генерал? Стало быть, нет у Власова армии в России, и все эти русские, объединяемые огульно под его именем, на самом деле — никакие не «власовцы».

С Власовым всё было ясно, его ждёт петля. Батька его достанет. Не ему, а себе не простит Верховный, что полтора или два миллиона неразумных детей замахнулись оружием на Отца народов, и поймёт он это так, что был ещё слишком мягок с ними. Об их участи не мог не задумываться Кобрисов, и сам-то перед ними виновный. Они «продали родину»... А — за что продали? За такой же обрушенный

окоп, за атаку по грязевому чавкающему месиву, за спаньё в снегу или в болотной жиже, за виселицу при поимке (ведь в плен не берут!) или скитания по чужим землям — когда придётся из России уходить? Тех, кто хотел остаток жизни прожить хорошо, комфортно, кто покинул родину в тяжкий для неё час, — тех не было перед Кобрисовым, не было в секретных документах «Смерша», ни в донесениях политотделов. Были те, кто не покинул. Вот эти, в Мырятине, отказавшиеся уйти от окружения, не покинули её! И при этом — разве не знали они, что имя «предатель» — издревле позорно в русском народе и никогда не будет им прощена измена? Какой же долг обязаны были они исполнить, или — какая боль их вела, если не остановило, что в веках будут прокляты и никогда не дождутся благодарности? Ведь если б чудо случилось и они победили — какая была бы обида народу, что сам он не справился, помогли иноземцы, притом — враги, оккупанты!

К людям, ставшим за черту, его влекла тайная тяга, сильнейшее любопытство, как влечёт посмотреть на лицо осуждённого, которому вот через час класть голову под топор. И как хотелось хоть одного из них посадить против себя и расспросить, разговорить наедине, благо тут не требовался переводчик. Но слишком хорошо он знал, что это несбыточно. Не дадут ему этого. Не он будет расспрашивать этих людей, а майор Светлооков. И не затем нужен он и его армия, чтоб тешить своё любопытство, выясняя мотивы их греха.

А зачем он нужен? Чтоб их изловить, скрутить, поставить на колени, пригнуть их повинные головы к земле, которую «продали»? Сказал же осторожный Ватутин: «Мы со своими больше воюем, чем с немцами». Что это было? Невольно вырвалось, что сидело в уме? Ведь он был начальником штаба Киевского округа, служил вместе с Власовым, не мог о нём не задумываться. Впрочем, не он один сейчас задумывался, что страшнее войны гражданской быть не может, потому что — свои. Древнейшее почитание иноземца — в русских особенно сильное, до раболепного преклонения, — не всякому позволит сделать с ним то, что со своим можно. Как, в сущности, скоро остывает злость к пленному немцу и как ожесточается к «своему». Зелёным огнём загорелись глаза у Светлоокова в предвкушении «священной расплаты». Право, нет на Руси занятия упоительнее!

Горячим летом 1942-го, после сдачи Ростова и Новочеркасска и приказа 227, «Ни шагу назад», как соловьисто защёлкали выстрелы трибунальских исполнителей! Страх изгонялся страхом, и изгоняли его люди, сами в неодолимом страхе – не выполнить план, провалить кампанию – и самим отправиться туда, где отступил казнимый. Так обычен стал вопрос: «У вас уже много расстреляно?» Похоже, в придачу к свирепому приказу спущена была разнарядка, сколько в каждой части выявить паникёров и трусов. И настреливали до нормы, не упуская случая. Могли расстрелять командира, потерявшего всех солдат, отступившего с пустой обоймой в пистолете. Могли – солдата, который взялся отвести дружка тяжело раненного в тыл: «На то санитарки есть». А могли и санитарку, совсем молоденькую, которая не вынесла вида ужасного ранения, ничего сделать не смогла, сбежала из ада. Ставили перед строем валившихся с ног от усталости, случалось – от кровопотери, зачитывали приговоры оглохшим, едва ли вменяемым. И убивали с торжеством, с таким удовлетворением, точно бы этим приблизили Победу.

...И вот однажды пришёл из боя лейтенант с одиннадцатью солдатами, остатком его роты, и сказал, что есть же предел идиотизму, что с такой горсткой людей ему не отбить высоту 119 и он их губить не станет, пусть его одного расстреляют. Лейтенант Галишников – так звали обречённого, генерал его имя запомнил. Он сам наблюдал этот бой из амбразуры дивизионного НП и видел, что не выиграть его, по крайней мере до темноты; можно лишь всем полечь у подошвы той высоты, чтоб исполнился приказ 227. Но наблюдал не он один, с ним вместе находился в блиндаже уполномоченный представитель Ставки, генерал Дробнис, с многолюдной свитой. Эта свита вполне бы составила доброе пополнение тем одиннадцати измученным солдатам. Но известно же: в атаку идти – людей всегда не хватает, а зато их в избытке, где опасность поменьше. И чем дальше от «передка», тем народу погуще, тем он смелее и языкастей. Вот и свита Дробниса, наблюдая в хорошие немецкие цейсовские бинокли, критиковала неумелые действия ротного: всё-то он толчётся у подошвы, которая немцами хорошо пристреляна, велит людям залечь, тогда как надо броском преодолеть зону обстрела. И они прямо-таки вскипели негодованием, когда стало видно, что он отступает.

Генерал Дробнис распорядился позвать его в блиндаж. И лейтенанта Галишникова привели – чёрного и потного, едва шевелившего языком. Он опирался на автомат, как на посох, и всё порывался то ли присесть, то ли прилечь и уснуть.

Генерал Дробнис был грозою генералов и умел нагонять на них страх, не будучи ни полководцем, ни корифеем-штабистом, ни сколько-нибудь сильной личностью; он был цепной пёс Верховного и выказывал ему собачью преданность такого накала страсти, что Верховный устоять не мог, он тоже имел слабости – и прощал Дробнису, за что другой бы угодил под высшую меру, как несчастный Павлов. Расстрелять Дробниса могли за один только Крым, куда он был послан спасти положение и для этого наделён полномочиями, которые его ставили вровень с командующим Крымским фронтом; разумеется, Дробнис его подмял, воителя способного, но мягкотелого, и раскомандовался сам, чем сильно помог Манштейну справиться одной своей 11-й армией с четырьмя советскими. Сказывали, прощение у Верховного Дробнис выслужил, став на колени, плача и клянясь, что жизнь у него отнять могут, но не отнимут его преданности любимому вождю, и не так смерть ему страшна, как расстаться с предметом его любви *преждевременно*. Будто бы нагадали Дробнису, что умрёт он за три недели до Верховного – и, значит, будет избавлен от горя пережить его, и не так много потеряет счастья жить в одно время с ним. Это поразило Верховного до глубины души. Командующего фронтом он отстранил, а Дробниса, всё по той же слабости, крепко пожурив, пообещав ему в следующий раз ближе познакомить с товарищем Берия, назначил представителем Ставки. Суждено ему будет за войну побывать в членах Военных советов семи фронтов – и нигде не прижиться, всех командующих отвратить интригами и наушничеством Верховному, доведя до слёзных молений: «Уберите его!» И Верховный, вздыхая, куда-нибудь его переместит, другому командующему в острастку, чтобы не зазнавался. В то лето Дробнис, кочуя по всем фронтам, появлялся неожиданно с командой старших офицеров разного рода войск и *проводил волю Верховного*. Битьё командиров по мордасам, не принося ощутимого успеха, из моды уже как будто выходило, да впрочем, генерал Дробнис этим и не пользовался, уважая свой статус комиссара; он другое делал, для кого-то даже и худшее: командира, по

его мнению, не справлявшегося, тотчас отставлял и временно, до приказа Ставки, назначал кого-нибудь из своих. Этими полномочиями он пользовался размашисто, и простирались они вплоть до комдивов.

Боевые генералы признавались, как страшит их лицо его, с заросшими густо углами лба, красными сверлящими глазками, крючковатым носом, патрициански надменной отвислой губою — таким, верно, было лицо Нерона, лицо Калигулы. Страх наводила его речь, всегда таившая угрозу, раздражённо вскипающая при малейшем ему возражении, мгновенно переходя в злобное, и непременно капитальное, обвинение. Ввиду малого роста носил он сапоги на высоком каблуке и не снимал пошитую на заказ фуражку, с высоким околышем и приподнятой тульей. Такие обычно ещё и ненавидят «длинных».

И вот перед ним предстал высокий нескладный юноша, с измождённым лицом, без конца моргая запорошенными землёй глазами, в порванной, без пуговиц на груди, гимнастёрке, со сбившимся набок ремнём. Всем в блиндаже, щеголеватым, отглаженным, он был такой чужой, а более всех Дробнису — и кажется, не испытывал перед ним страха, по крайней мере большего, чем только что испытал на высоте 119, после которого уже ничем его нельзя было напугать.

Дробнис это учуял, однако ж он был психолог и знаток человеков, то есть знал, что напугать всегда можно, и знал, чем напугать.

— Ну, что, вояка? — сказал он со смешливым презрением. — И сам высшую меру заработал, умник, и бойцов своих под монастырь подвёл.

— Чем? — точно бы очнулся лейтенант Галишников. — Чем я их подвёл?

— Ну, как же! Верховный, кажется, предельно ясно выразился: «Ни шагу назад без приказа высшего командования». А люди по чьему приказу отступили? Ты для них — высшее командование? Всем — штрафная рота, вот что ты им сделал.

Лейтенант Галишников медленно разомкнул запёкшиеся губы:

— Всё же не смерть...

Генерала Дробниса это позабавило:

— Я же говорю — умник. Он думает, что там санаторий! Курорт!

Вся свита взвеселилась тоже. Лейтенант Галишников угрюмо склонил голову, так постоял секунды две и вдруг вскинул автомат. Показалось, он сейчас всех посечёт, кто был в блиндаже. Свита похваталась за свои кобуры.

— Нате, — он на обеих ладонях, как на подносе, протянул автомат Дробнису. — Берите ваших людей, вон у вас их сколько. Атакуйте! Может, у вас получится.

Генерал Кобрисов успел подумать — его пристрелят сейчас же, в блиндаже, не дожидаясь трибунала. Однако ж Дробнис сказал спокойно и не повысив голоса:

— Это ты неплохо придумал. Только я, видишь ли, не в твоём возрасте — в атаки бегать. Мне уже, слава богу, пятьдесят четыре. И мои люди другие обязанности исполняют, которые на них родина возложила. Поэтому вот что мы сделаем: сейчас мой человек возьмёт твоих людей и покажет, как это делается. Как высоты берут, когда хотят их взять. А потом, с чистой совестью, мы тебя расстреляем. И напишем родным твоим: «Лейтенант Галишников расстрелян за трусость». Идёт? Или, может быть, передумаешь, сам пойдёшь?

Лейтенант Галишников молча помотал головой. Взгляд Дробниса обшарил всю свиту, задержался на самом молодом и младшем по званию. Был он полнотел и статен, с округлым ясным лицом, со смешливыми ямочками на щеках, в движениях нетороплив и слегка небрежен, но точен.

— Майор Красовский, — сказал Дробнис, — примите у него оружие.

Улыбчивоглазый майор, хоть и привыкший к причудам хозяина, всё же взял автомат с некоторой оторопью, вмиг переменившись лицом. Он улыбался, но какой-то натужной улыбкой, явно предчувствуя нехорошее. С таким лицом, подумал Кобрисов, не идут отбивать высоты. Даже когда очень хотят их взять.

И, конечно же, он её не взял, бедный майор. Он под огнём залёг ещё поспешнее Галишникова и сразу потерял нескольких, остальные уползли под прикрытие сгоревшего «тигра». Видимо, утратив над ними власть, уполз и он. Больше они оттуда не высовывались. В блиндаж он вернулся весь потухший, зябко вздрагивая и избегая взгляд поднять на Дробниса. Тот и сам не спешил посмотреть на него. Настал черёд рассмеяться лейтенанту Галишникову. Это было похоже на рыдание, в его смехе звенели слёзы,

и слёзы текли из глаз, оставляя на щеках борозды. Не забыть Кобрисову, как страшно, с пеной на губах, ругался лейтенант Галишников.

— Ну, что, папаша? — выкрикивал он, перемежая матерщиной, срываясь в хриплый фальцет, и на его лбу и на шее вздувались жилы. — Не вышло у твоего холуя? Ага, то-то, папаша! Спасибо, хоть посмеяться дал перед смертью. Теперь можно и к стеночке. Со спокойной душой. Ну, где тут меня в расход выведут? Ведь, кажется, ясно Верховный выразился: расстрел на месте!..

Генерал Дробнис, багровый лицом и затылком, выслушивал это, отвернувшись от зрелища, для него неприличного, — от впавшего в истерику, плачущего мужчины. Чтобы не уронить себя навсегда, он должен был найтись и что-то совершить невероятное. И он таки нашёлся и совершил.

— Лейтенант Галишников, — сказал он спокойно и тихо, — вы свободны.

Кажется, это всех поразило. Лейтенант Галишников, взглянув удивлённо, помотал головою и вышел, тяжело ступая. Майор Красовский, пылая, прильнул к биноклю, весь ушёл в наблюдение за оставленной им позицией. А у Кобрисова от сердца отлегло: хоть один своим страхом не навлёк на себя смерть, но отдалил её. Между тем, была исполнена та часть уговора, которая молчаливо подразумевалась. В том поднебесном кругу, где *вращался* Дробнис, были же какие-то блатные правила, был свой разбойничий этикет, ему не чуждый. Поистине, Бог эту страну оставил, вся надежда на дьявола.

Поздним вечером, возвращаясь к себе в штабную деревню, проезжая овражистым редколесьем, он увидел в стороне от дороги странное свечение неба. Рассеянный свет из оврага или иной какой низинки озарял стволы сосен и плывущие над самой головою лохмы облаков; при этом слышались слабые хлопки пистолетных выстрелов. На бой это не походило, да и быть его не могло вдали от уснувшего «передка», откуда и возвращался Кобрисов. Он велел подъехать осторожно — и с откоса увидел картину, в которой сразу не смог разобраться. Несколько «виллисов», расставленных полукругом на дне заброшенного глиняного карьера, светили полными фарами, и на границе мрака слабо маячили застывшие фигуры людей.

Всё непонятное мгновенно раздражало Кобрисова. К тому же здесь, очевидно, не думали о близ расположенных закрытых позициях артиллерии, с запасами снарядов. Не ровён час, подкравшийся «юнкерс» шмальнёт сюда бомбочку, всё вокруг взлетит от детонации.

— Почему свет? — спросил он гневно.

На него оглянулись, кто-то посветил в лицо фонарём, ответа он не дождался. Но скоро и сам разглядел того, кто стоял в центре этого полукруга — в гимнастёрке без петлиц, без ремня, с непокрытой головою и босого. Он, впрочем, не стоял, он извивался и подпрыгивал, вскрикивая визгливо при каждом хлопке, как избиваемый плетью. Хоть он и был залит светом, трудно в нём было распознать майора Красовского, ещё утром холёного и небрежно-самоуверенного.

— За что? — спрашивал он жалобным голосом, в котором не так боль слышалась, как ошеломление и жгучая обида. — Леонид Захарович, за что?

Генерал Дробнис, в своей знаменитой фуражке, сидел бочком на переднем сиденье «виллиса», вывалив ноги за борт, и постреливал неторопливо. По звуку различался пистолетик Коровина, калибра 6,35, генеральская игрушка, терявшаяся в доброй мужской ладони, последнее утешение незадавшихся полководцев — тремя пальцами поднести к виску. Сразить из него человека одной пулей с десяти шагов было изрядной задачей, но тут, похоже, задача была другая — покарать непременно *своей рукой.* Дробнис прицеливался тщательно, подолгу ведя стволом сверху вниз, и сажал пулю за пулей в своего плотного майора, — и попадал, в лучшем случае, в края мишени, в мягкие его части. На гимнастёрке и галифе у Красовского, на рукавах и на ляжках, проступала кровь. При этом подвергаемому экзекуции не отказывали в ответах на его «за что?».

— Красовский, — говорил Дробнис в перерывах, монотонно и скрипуче, но всё больше вскипая злостью, — вам же прочли выписку из трибунала, что вам ещё неясно? Вы нарушили священный приказ Верховного главнокомандующего «Ни шагу назад».

— Для меня ваше мнение дорого, Леонид Захарович, а не трибунала, — спешил, захлёбываясь, выговорить Красовский. — Неужели я вам совсем уже не нужен?

— Мне лично не нужен человек, который меня подводит, марает мою репутацию, предаёт меня в ответствен-

ную минуту... Вы опозорили мои, уже довольно-таки седые, волосы.

— Ну, проверьте меня ещё раз! Дайте мне другое задание... смертельно опасное. Вы увидите... Я вас не подведу.

— Вы такое задание имели, Красовский, и преступно его сорвали. И сейчас вы тоже имеете — принять наказание, как подобает советскому воину, тем более командиру. И не надо меня отделять от Верховного. Я не за себя вас наказываю, я бы вас простил, а за преступление против его приказа.

Обойма у Дробниса кончилась, он её выщелкнул, швырнул в кусты и протянул руку, не глядя. Кто-то из свиты готовно вложил в неё новую обойму.

— У вас ещё есть вопросы, Красовский? По-моему, всё ясно. Вы должны были сегодня умереть с честью, а вместо этого умираете с позором.

Мягких частей у майора Красовского было достаточно, и продолжаться это могло ещё долго.

— Что вы мучаетесь? — сказал Кобрисов. — Взяли бы автоматчика и парочку выводных, они всё сделают грамотно. А так — во что наказание превращается? Ну да, ведь работа ж для вас — непривычная...

Он вложил в свои слова сколько мог язвительного презрения, которое, впрочем, ни на кого здесь не подействовало. Дробнис коротко на него оглянулся, в свете фар сверкнул красным огнём его глаз, и снова прицелился. Но вот кто ответил ему — Красовский. Подняв взгляд на Кобрисова, запрокидывая голову, он закричал — с явственно слышимым возмущением:

— А вам не кажется, товарищ генерал, что вы не в своё дело вмешиваетесь? Леониду Захаровичу лучше знать, какое ко мне применить наказание. И во что оно должно превращаться... Так что не суйтесь, понятно? Если я виноват, я умру от руки Леонида Захаровича, но ваших сентенций, извините, слушать не желаю!..

Жалок маленький человек, вверяющий свою жизнь другому, признающий его право отнять её или оставить. Жалок, но и страшен: если не спасается бегством, не бросается зверем на своего палача, во что же оценит он чужую жизнь? Кобрисов, лишь рукой махнув, побрёл прочь.

Никогда потом он не мог себе простить своих слов насчёт автоматчика и выводных. Он их сказал вовсе не

затем, чтоб доставить жертве ещё мучений и страха, а вышло, что как бы поучаствовал в казни. Когда же не станет у него этой неволи — участвовать во всех делах этих людей, которые ему чужды, ненавистны — и так же враждебны к нему?

Может быть, с того дня стало происходить с генералом Кобрисовым нечто опасное и гибельное, запретное человеку, назначенному распоряжаться чужими жизнями числом в десятки тысяч, — если не хочет он превратиться в ту сороконожку, которая некстати задумалась, в каком положении её семнадцатая лапка, тогда как она передвигает тридцать вторую. Он ступил на трясинный затягивающий путь, с которого почти никому не выбраться на прежнюю торную тропу, почти никакому сердцу не очерстветь заново. Всё чаще он стал ощущать отчаянное сопротивление души, измученной неправедным и недобровольным участием. Он и раньше думал постоянно о потерях и старался относиться к людям, как рачительный хозяин к неизбежно расходуемому материалу, который следует всячески экономить, — чтобы тот, кому суждено погибнуть, по крайней мере продал свою жизнь дороже, пал бы хоть на сто километров подальше к западу. Теперь же он стал задумываться о том, что роты и батальоны состоят из людей с именами и отчествами, памятными датами, днями рождения, сердечными тайнами, житейскими историями, что они, помимо того, что рядовые, или ефрейторы, или сержанты, ещё чьи-то дети, чьи-то мужья и отцы, и где-то ждут их, сильно надеясь, что какой-нибудь генерал Кобрисов отпустит их с войны живыми и, крайне желательно, целыми. И стало частым непривычное ему, раньше и не сознаваемое как необходимость, обращение к Тому, о Ком он не задумывался путём, лишь тогда вспоминал, когда смерть грозила, или мучило ранение, или нападала болезнь.

То, что принёс десантник, застало его врасплох, и он вновь ощутил сопротивление души и обиду: почему это выпало именно ему? Почему не другому, для кого, может быть, вовсе безразлично, кто они там, защитники Мырятина? Могло же и повезти ему, как везло хотя бы Чарновскому: у него целый фланг держали румыны, о которых сам фюрер высказался: «Чтоб заставить воевать одну румынскую дивизию, надо, чтоб за нею стояло восемь немецких».

И как же выскользнуть из этой ловушки? Может быть, только одним путём: завлечь в неё другого, для кого она и не ловушка, а самый обычный городок, опорный пункт Правобережья, за который тоже награды...

...В этот вечер генерал Кобрисов сказал адъютанту Донскому:

— А соедини-ка меня, братец, с нашим соседушкой.

— С которым? — спросил Донской. — Справа? Слева?

— Ну, что ты, братец! Который слева, до него не дозвонишься, он важным делом занят, Предславль берёт. С Чарновским хочу поговорить. Если его нет на месте, пусть позвонит, когда сможет. Есть у меня для него сюрприз.

— Так и сказать: «сюрприз»?

— Так и скажи.

2

И вот он подходил к черте решающей, к Рубикону. В тот солнечный, даже слишком щедрый для середины октября день они стояли у окна, генерал Кобрисов с генералом Чарновским, на втором этаже вокзальчика в Спасо-Песковцах, бдительно поглядывая на площадь внизу и на устье впадающей в неё аллеи.

Маленькая площадь, усыпанная облетевшими зелёными листьями тополей, была пуста, стоял на ней только «виллис» Чарновского. Из-под «виллиса» торчали ноги водителя Сиротина — он, как всегда, с охотой чинил чужое. Шофёр Чарновского, присев на корточки, подавал советы.

Центром площади был круглый насыпной цветник, на нём сохранился изгрызенный пулями и осколками серый пьедестал «под мрамор», из которого росли ноги с ботинками и штанинами. Сам гипсовый вождь, крашенный в серебрянку, лежал ничком в высоком бурьяне, откинув сломанную указующую руку. Свергли его, должно быть, не снарядом, а поворотом танковой пушки — о том говорили изогнутые, вытянутые из пьедестала прутья арматуры.

— Что ж, Василий Данилыч, считаем — договорились? — сказал Кобрисов, чувствуя нетерпение и даже отчего-то страх.

Чарновский, держа руку на его плече и слегка обвиснув, приклонил к нему голову и легонько боднул в висок.

Лицо Чарновского светилось улыбкой, классическое лицо украинского песенного «лыцаря», гоголевского Андрия, чернобровое и белозубое.

— Будь спокоен, Фотий Иваныч, не дрожи. А всё же скребёт маленько, сознайся? Кошки не скребут?

— С чего бы?

— А может, прогадываешь ты? — Чарновский большим пальцем пырнул его в широкий бок, чуть повыше ремня, от чего Фотий Иванович и не пошевелился. — Участок твой, что ты мне отрезать готов, вдруг — золотая жила? А я её разработаю. Честно сказать, с этим твоим Мырятином мне возни дня на три, не больше. Да к нему — две задействованные переправы. Которые я, между прочим, себе запишу в актив.

— Правильно сделаешь.

— Итак, положен салют Чарновскому — из ста двадцати четырёх орудий. А ты с Предславлем, глядишь, и не управишься один. Не будешь тогда жалеть?

— Очень даже буду, — сказал Кобрисов искренне. — Зато ж какой замах!

— За замах дорого не платят. Платят, когда он удался. Или — если и не удался, но причины были объективные. А тут этого не скажут. Скажут, сам напросился, и положение было на редкость выгодное. Не представляешь ты, как тебе сейчас все завидуют!

— Представляю, — сказал Кобрисов. И тревога в нём ещё усилилась. — Но, может, и я тебе кота в мешке продаю?

— Не сомневаюсь, Фотий Иваныч. От тебя разве чего хорошего дождёшься?

Лицо Чарновского легко, по-мальчишьи, вспыхивало улыбкой. Шутил он или впрямь догадывался, какого кота скрывал мешок? То, что уступал Кобрисов правому своему соседу Чарновскому — кусок плацдарма с наведенными к нему переправами, но и с не взятым ещё городишком Мырятином, — выглядело не более подвохом, чем любая другая изюминка, орешек, бастион «Восточного вала», как немцы назвали свою оборону по Правобережью Днепра. Возни там, конечно, не на три дня, это так говорится для украшения солдатской речи и чтобы сбить цену подарку. Но то главное, что сильнее всего страшило Кобрисова, от чего он всеми хитростями хотел уклониться, могло быть и вовсе безразличным этому счастливцу,

«любимцу фронта». Русские батальоны, брошенные в оборону Мырятина, составлявшие костяк её, явились бы для него, вполне возможно, только противником, как немцы или румыны, разве что более яростным и особенно опасным — в окружении. А судьбы этих защитников, трибунальские страсти, вакханалия «священной расплаты» — почему в голову это брать солдату, выполнившему долг и приказ? Впрочем, он, может быть, даже приятно удивится, когда узнает...

— Едут, — сказал Чарновский.

Тотчас и Кобрисов услышал завывание моторов и дробный рокот шин по укатанным, вдавленным в почву обломкам кирпича. Из аллеи выкатился бронетранспортёр головного охранения с задранным к небу сдвоенным пулемётом; над скошенным его бортом, в маскировочных лягушечьих разводах, торчали головы в касках. Следом появилась машина Ватутина, сделала плавный полукруг и стала рядом с тем «виллисом». Охрана командующего фронтом ринулась рассыпаться по кустам, беря вокзальчик в кольцо. Шофёр Чарновского вскочил, напялил пилотку и выпятил грудь. Ноги Сиротина по-прежнему торчали из-под машины — впрочем, невидимо для вновьприбывших.

— Пойти встретить, — сказал Кобрисов.

Но рука Чарновского ещё сильнее надавила ему на плечо.

— Не торопись. Ты хозяин, должен на пороге встречать. К тому же ты сегодня именинник. А я пойду встречу — на правах гостя.

— Боюсь я, — Кобрисов озабоченно вглядывался в пустынное светло-голубое небо, — не приведи бог, супостат налетит...

— Так ты что, начальство грудью прикроешь? Не хватит, Фотий Иваныч, твоей груди. Ты ещё не знаешь, сколько к тебе начальства пожалует. Да ничего, не налетит супостат, уж так ты его прижал — можно сказать, всей тушей!..

Чарновский легко сбежал вниз и, покуда Ватутин всё выбирался из своего «виллиса», успел обогнуть клумбу. Шаг его казался побежкой, так был стремителен и упруг. Руки при этом ловко оправляли гимнастёрку под ремнём. Китель он не носил никогда, предпочитал гимнастёрку — в ней он выглядел стройнее, плечистее, а главное — моложе.

Последние три шага он отпечатал, подбросив руку к виску. Ватутин невольно улыбнулся ему, сказал несколько слов — должно быть, своё обычное: «Ты у нас не генерал-лейтенант, а лейтенант-генерал», — и, глядя на Чарновского почти влюблённо, рукою опёрся на капот «виллиса», тем позволяя подчинённому стоять вольно.

При каких-то словах Чарновского он слабо поморщился, отмахнулся, как от ерунды, принялся разубеждать и тут поднял нечаянно взгляд к окну. Тяжёлое, набрякшее лицо Ватутина отразило миг смущения, точно бы Кобрисов мог его услышать, и тотчас они оба повернулись к аллее, встречая следующую машину.

Следующим прибыл Хрущёв. Этого никакая форма, ни награды во всю грудь не делали генералом-строевиком или пусть комиссаром, каковым он и состоял при Ватутине, что-то оставалось неискоренимо тыловое, интендантское. Приплюснутая, с длинным козырьком, фуражка сидела на нём, как сидел бы соломенный брыль. На заднем сиденье адъютант с ординарцем держали на коленях огромный картонный короб, перевязанный красной лентой с бантом, — похоже было на именинный подарок с куклой, говорящей «мама» и противно закатывающей глаза. Выбравшись, Хрущёв потоптался на месте — не так чтобы ноги разминая, а как бы утверждая себя на земле. Покончив с этим, он перешёл к другому делу — стал распоряжаться, чтоб выгрузили короб и несли бы осторожно. Из жестов его всё было понятно без слов.

Третья машина была сюрпризом для Кобрисова. В ней прибыл Терещенко. Что здесь понадобилось командарму, воевавшему бог весть как далеко, за сто шестьдесят километров ниже по течению, этого Кобрисов не мог себе объяснить. Но ещё большим сюрпризом было увидеть, кто поспешил приветствовать гостя — майор Светлооков! И откуда только взялся он, не в кустах ли дожидался встречи? И кажется, они даже знакомы были, да точно, Терещенко ему улыбнулся милостиво, протянул руку, и тот, улыбаясь, склонился в почтительной стойке, как не склонялся никогда перед Кобрисовым. О чём-то они перекинулись несколькими словами, и Светлооков вдруг исчез бесследно, точно кусты раздвинулись, втянули его и опять сошлись. Видно, Терещенке стало неудобно с ним говорить, подходило высокое начальство, Ватутин с Хрущёвым, — и в тысячный раз Кобрисов подивился, как можно

искусством вести себя восполнить, и с преизбытком, отнятое природой. Терещенко, худенькая обезьянка с обиженно-недовольным личиком, должен бы, казалось, ловко выпрыгнуть и подскочить к встречавшим его Ватутину и Хрущёву, ан нет, он продолжал сидеть, утвердив между коленей палку, и ровно столько сидеть, чтоб к нему подошли и начали разговор над ним, ещё сидящим. Грузные люди, начальники ему, они с ним шутили — он выговаривал, не торопясь, что-то обиженное, недовольное.

Из опасений налёта кавалькада машин сильно растянулась, гости прибывали с интервалом в три, в четыре минуты. И каждого встречали весело, шумно, будто расстались не час назад, а месяц. Прибыл цыганистый Галаган, командующий воздушной армией, поддерживающей армию Кобрисова, — как всегда, без свиты, «виллисом» он правил сам и так гонял, что с ним не всякий отваживался сесть. Ему всегда выговаривали за лихачество — и в воздухе, и на земле, — выговаривали, уж точно, и сейчас; он только сплёвывал и поглядывал с тоскою в голубое небо, летать ему хотелось без конца, в любой час. Прибыл командующий 1-й танковой армией Рыбко — «танковый батько», как его называли, — человек уже сильно пожилой и на вид сугубо штатский, похожий на директора совхоза или завуча сельской школы. Снявши фуражку, положив её на толстый портфель перед толстым животом, он отирал платком блестящий череп, наполовину лысый, наполовину бритый, и что-то рассказывал, смакуя, — верно, о том, как его повар выучился готовить гуся с яблоками.

Площадь заполнялась, на ней становилось тесно от машин, однако прибывшие ещё кого-то ждали, до его прибытия не смея уйти в помещение. И, верно, прибыть он должен был последним, а после него уже никто не смел прибыть.

Приехал и он, наконец, в сопровождении замыкающего бронетранспортёра, — высокий, массивный человек, с крупным суровым лицом, в чёрной кожанке без погон, в полевой фуражке, надетой низко и прямо, ничуть не набекрень, но никакая одежда, ни манера её носить не скрыли бы в нём военного, рождённого повелевать. Вставши, он оказался далеко не высоким, но при нём все тянулись, как могли, и закидывали головы, что как раз не доставляло ему приятного. Вскочил тотчас и Терещенко, не посмев и мига просидеть, коли тот встал. Узнав его, почувствовал и

Кобрисов холодок под сердцем и понял, что не одни легенды, бежавшие впереди этого человека, навеивали страх перед ним, но от него и впрямь исходило что-то пугающее.

Маршал Жуков, заместитель Верховного, едва ли и не сам Верховный, не отвечая на приветствия, лишь коротко всех оглядев, направился к дверям вокзальчика. За ним потянулись почти бесшумно, слышались одни его твёрдые шаги. И Кобрисова сами ноги понесли вниз по лестнице — успеть распахнуть двери и вытянуться.

Здесь некоторую помощь генералу Кобрисову оказала пружина двери, которую он должен был придержать рукою, отчего его стойка вышла не вовсе истуканной, чуть повольнее. Жёсткий взгляд маршала — снизу вверх — ударил ему в лицо, внимательный, вбирающий, точно бы пережёвывающий стоящего перед ним, выказывая одно раздумье — съесть его или выплюнуть? Чудовищный подбородок, занимавший мало не треть лица, двинулся в речи, твёрдые губы обронили слово, до Кобрисова дошедшее чуть запоздало. Слово это было:

— Здрась...

Кобрисов что-то пролепетал, неслышное ему самому. Маршал, плечом вперёд, миновал его, перестав интересоваться, но вдруг обернулся.

— Ты кто — швейцар или командующий? Я двери и сам умею открывать. Если командующий, то и командуй, куда идти.

— В зал ожидания, пожалуйста.

Маршал не удивился, но махнул рукой, как машут на дурачка.

Вокзальчик имел один большой зал, высотою в два этажа, с выходами на площадь и на перрон, и несколько служебных клетушек в крыльях. С купольного потолка смотрели на публику закопчённые лики: шахтёр с отбойным молотком на плече, грудастая колхозница у комбайна, обнявшая сноп какого-то злака, пограничник с собакой, похожей более на отощавшего дикого кабана, лётчик и пионеры под самолётным рылом с пропеллером. В сорок первом году вокзальчику шибко досталось — и от чужих, и от своих, — в нём гулял ветер и свивали гнёзда птицы, углы густо заросли паутиной. Сапёры наспех расчистили завалы щебня, залатали пробоины в куполе фанерой и брезентом, составили рядами уцелевшие скамьи, из каби-

15*

нета начальника станции принесли стол. Проломы в стене оставили как есть — и сквозь них пламенела прощальной красой листва клёнов и дубняка.

Маршал, всё оглядев коротко и более ни на что не глядя, сел за стол и развернулся боком к карте, которую развесили на стенке билетной кассы, прежде остеклённой, теперь просто решётке. Кобрисов стал около неё с указкой, ожидая, когда рассядутся. Выглядело — как в школьном классе: учитель за столом, ученики за партами, вызванный — у доски. Урок, однако, начался не сразу — следом за Хрущёвым внесли тот короб с красным бантом.

— Гёр Константиныч, — обратился Хрущёв к Жукову, с чего-то заговорщицки улыбаясь во всё широкое круглое лицо с двумя разновеликими и прихотливо расположенными бородавками. — Разрешите, прежде чем начать, вот, значит, вручить скромные подарки всем, это вот, присутствующим от лица, вот, значит, Военного совета фронта. Да, Первого Украинского. Дни у нас, можно сказать, особенные, предстоит, значит, освобождение священного города Предславля, жемчужины, можно сказать, Украины. И я хочу отметить, что вот и солнышко всем нам по этому, значит, случаю как-то так светит, празднует как бы вместе с нами, вот, значит, наше торжество...

Жуков, с каменным лицом, кивнул.

— Хорошо сказал, Никита Сергеич. Главное — коротко.

Короб взгромоздили на стол. Никита Сергеич, ещё много чего имевший сказать, потоптался в огорчении, напруживая круглый затылок, и подал знак рукою, как ко взрыву моста. Длинный и от волнения ещё удлинившийся адъютант развязал бант, вскрыл короб и отступил. Хрущёв, запуская туда обе руки, доставал и каждому подносил, согласно привязанной бирочке, что кому причиталось, в целлофановом пакете: курящим — томпаковые портсигары с выдавленной на крышке Спасской башней Кремля и по блоку американских сигарет, некурящим — шоколадные наборы, тем и другим — по бутылке армянского марочного коньяка, по календарю с картинками и именные часы, тоже американские, с вошедшими только что в моду чёрным циферблатом и светящимися стрелками. Непременной же и главной в составе подарка была рубашка без ворота, вышитая украинским орнаментом, со шнуровкой вместо пуговиц, с красными пушистыми кистями.

Гости хрустели пакетами, прикладывали рубахи к груди, Жуков тоже приложил и спросил:

— Это когда ж её надевать?

— Всегда! — отвечал Хрущёв с восторгом. — Я вот повседневно такую под кителем ношу. — И, расстегнув китель, всем показал вышитую грудь. — Хотя не видно сверху, а мою хохлацкую душу греет. Думаю, что и с командармами в точку мы попали, кто тут не хохол щирый? Терещенко — хохол, Чарновский — оттуда же, Рыбко — и говорить нечего, Омельченко со Жмаченкой — в обоих аж с носа капает. Ты, Галаган, вообще-то у нас белорус... А Белоруссия — она кто? Родная сестра Украины, их даже слить можно в одну. Вот я только про Кобрисова не знаю — тэж, як я розумию, хохол?

— Никак нет. С Дону казак.

— С Дону?.. Ну, в душе-то — хохол?

— И в душе казак.

— Та нэ брэши, — Хрущёв на него замахал руками. — Почему ж я тебя за хохла считал? У нас это, помню, в Донбассе жили такие, Кобрисовы, шахтёрская семья, дружная такая, передовая, так ни слова кацапского, всё украинскою мовою.

— Бывает, — сказал Кобрисов. Против дури, знал он, лучшее средство — дурь. — А в моей станице Романовской три куреня были — Хрущёвы, так по-хохлацки и не заикались, всё по-русски.

— Притворялись они! — всё не унимался Хрущёв. — А может, матка от тебя утаила, шо вы хохлы?

— Матка-то вроде говорила, да батько разубедил. А я его больше боялся. Так уж... Ну, а за подарок — спасибо.

— Это женщин наших, славных тружениц, благодарите, — объяснил Хрущёв. — Лучшие, значит, стахановки с харьковской фабрики «Червонна робитныця» наш заказ выполняли. В неурочное время, в счёт сверхплановой, понимаете, экономии. Специально для командармов-украинцев.

— Выходит, не для меня, — сказал Кобрисов. И, чувствуя на себе всеобщие взгляды — настороженные, любопытствующие, — он прошёл к пустой скамье и положил свёрток.

— Нет, ты носи, — сказал Хрущёв. Он имел счастливое свойство не замечать производимых им неловкостей. — Носи, Кобрисов, рано или поздно, а мы тебя в хохлацкую веру обратим.

Жуков, прогнав жёсткую, волчью свою ухмылку, отодвинул свёрток на край стола, расчистив место для рук, сцепил их в один кулак, поиграл большими пальцами.

— Так, полководцы. Оперативную паузу заполнили. Командующий, слушаю ваш доклад.

Кобрисов, оборачиваясь к карте через плечо, взмахивая указкой, казавшейся в его руке дирижёрской палочкой, доложил:

— Двадцать четвёртого августа, с разрешения командующего войсками фронта, захватил плацдарм против города Мырятин. Через неделю, именно второго сентября, ещё один плацдарм — южнее, восемь километров ниже по Днепру. Впоследствии эти два плацдарма удалось соединить. Одновременно, силами шести стрелковых полков, двух дивизионов самоходных орудий, при поддержке авиации фронта выдвинулся клиньями севернее и южнее Мырятина, создавая угрозу окружения. Основные же силы армии... — Он замолчал на миг и услышал повисшую тишину, даже различил в ней шелест листвы. — ...можно считать, всю армию повернул правым плечом на юг, в направлении — Предславль.

Никто не перебил его, и он коротко указал теперешнее расположение своих девяти дивизий, объяснил значение вычерченных стрел, обрисовал разведанные силы противника, напоследок назвал населённые пункты, где сейчас завязывались бои.

— Ближе всего к Предславлю, — сказал он, — нахожусь у села Горлица. Это двенадцать километров от черты города. По докладам командиров, некоторые здания — на возвышенных, конечно, местах — просматриваются в бинокль хорошо.

— Горлица! — не выдержал Чарновский. — Это же дачное место уже! Там у нас комсоставские курсы были, лагерный сбор. Знаю Горлицу... Там я, между прочим, с будущей супругой познакомился.

Собрание загудело, заскрипело скамьями.

— Лирические воспоминания потом, — сказал Жуков. — Горлица эта — вся у нас в руках?

— Со вчерашнего вечера вся, товарищ маршал.

Кобрисов едва удержал лицо, чтоб не расплылось глупой, довольной улыбкой. Жуков, цепким, хищным глазоохватом как бы вбирая в себя карту, поигрывал большими пальцами.

— Всё у вас, командующий?

— Пока... всё.

— Суждения будут? Высказываются командармы. Начиная с младшего.

Командармов ниже генерал-лейтенанта не было, среди них Чарновский был младше по возрасту.

— Что тут судить? — сказал Чарновский, вставая и осаживая книзу гимнастёрку, отчего рельефнее выделялись плечи и грудь. — К генералу Кобрисову у меня претензий нету, кроме... Кроме лютой чёрной зависти! Доведись мне, я бы всё сделал не лучше.

— Но и не хуже, наверно? — хриплым своим фальцетом ввернул Терещенко.

Чарновский ответил угрюмо, не повернув к нему головы:

— Считаешь, Денис Трофимыч, просто повезло Кобрисову? Да, повезло несказанно. Но надо ещё своё везение — угадать! Надо ещё уметь свою удачу за крылья схватить. И не упускать!

«Танковый батько» Рыбко, доселе как будто мирно дремавший, положа руки на толстый портфель, приоткрыл один глаз.

— Лучше всего — за гузку её.

Чарновский, махнув рукою, сел.

— Генерал Галаган, — объявил Жуков. — Ваше мнение?

Воздушный лихач Галаган, смотревший уныло в пролом стены, на краешек неба, высказался не вставая:

— Моё мнение — лихо! Так это Кобрисов провернул, что дай бог. Рисковый человек, я таких люблю. Я всю операцию наблюдал — и аж сердце подскакивало. Действуй в том же духе, Фотий Иваныч, и мы за тобой, авиаторы, в любой огонь полетим.

И он сделал движение рукою, как будто покачал штурвальную ручку истребителя.

— Откуда ж ты наблюдал, — спросил Терещенко, — что сердце подскакивало? С какой высоты, Иона Аполлинарьич?

Батько Рыбко приоткрыл второй глаз.

— Из стратосфэры.

Сильнее нельзя было задеть Галагана. Смуглое его лицо сделалось ещё темнее.

— Ты, Денис Трофимыч, напрасно язвишь. Я в стратосферу не ухожу, я, когда надо, и брюхом по земле ползаю. Во всяком случае, когда Кобрисов на пароме Днепр

переплывал, я его чёрную кожанку видел. И видел, как он от страха бледный стал, когда на него «юнкерс» спикировал, а с палубы всё-таки не уходил. Насилу я этого «юнкерса» увёл, так ему генерала хотелось подстрелить.

— Хорошего мало, — заметил Терещенко, — жизнью своей, командующего армией, без нужды рисковать.

Галаган, не отвечая, перевёл на Кобрисова тоскующий взгляд ярко-синих (особо ценимых в авиации!) глаз, опушённых густыми чёрными ресницами. В этом взгляде можно было прочесть: «Чёрта ли ты, Кобрисов, не летаешь? Милое дело — небо! Туда б за тобой никто из них не полез...»

— Я беру слово, — сказал Жуков.

В зале мгновенно стихло. Маршал, прежде чем что-то сказать, несколько раз повёл короткой шеей в теснившем его воротнике, откидывая голову к плечу и закрыв глаза. Углы его рта загибались книзу.

— От вас, Галаган, я ждал именно взгляда с высоты. Орлиного взгляда, как говорит Верховный. Не дождался. Сплошные эмоции. — Он посмотрел пристально на Кобрисова — тем взглядом, от которого, говорили, иные чуть не падали замертво. — Командующий, вы стоите слишком близко к карте. Я вам советую рассматривать её метров с полутора. А то вы упёрлись в свой замысел и не видите всей картины. Такого авантюрного варианта, какой вы избрали, ещё свет не видывал. Вы наступаете в узком коридоре шириной километров... в восемь, что ли?

— Местами и шесть.

— Ещё не легче! Слева — река, противник — справа. Движение — с оголённым правым флангом, с растянутыми коммуникациями. По сути, незамкнутое окружение. В которое вы сами втянулись. Противник вас может прошить насквозь. Прямой наводкой. Из вшивенькой 57-миллиметровой пушчонки. В любой час, когда ему заблагорассудится, он вашу армию разрежет на куски. Как колбасу. Ему и прижимать вас не нужно к берегу, вы и так прижаты. Ему только выбрать, с какого куска лучше начать, какой на потом оставить. Вы ослепли? Или думаете, противник ваш — слепой?

— Да ведь пока, товарищ маршал... — начал было Кобрисов.

— «Пока» — это не гарантия, — перебил Жуков. — Это случится завтра. Сегодня. Через час.

— Разрешите малость мне защитить свой замысел?

— Только и жду.

— Вот вы, товарищ маршал, рискнули ко мне приехать, — начал Кобрисов издалека. — По рокаде ехали — и не думали, что каждый час могут её перерезать. Почему же было и мне не рискнуть? Тем более, я свой риск подстраховал, считаю, неплохо. Всю тяжёлую артиллерию я на плацдарм не тащил, оставил на том берегу. С тем, чтоб она вдоль всего берега вела бы дуэль через наши головы, создавала бы защитный огневой вал. И в этом случае, товарищ маршал, узкий коридор — может быть, преимущество наше? Артиллерия, даже гаубичная, работает не на пределе прицела, имеет манёвр огнём. Каждый метр, буквально, у неё пристрелян. Скажу, что да, были попытки прорыва и разрезать нас... как колбасу. Были — и сразу нами пресечены. Учтём тем более господство нашей авиации.

Жуков помолчал и спросил:

— Связь с артиллерией — по радио?

— Проводная, товарищ маршал. У меня первая же лодочная группа и кабель разматывала по дну. Трофейный, ёмкостью в шесть проводов. Потом и второй мы проложили. Предусмотрена, конечно, кодированная радиосвязь, но пока не пришлось использовать.

— Убедительно, — сказал Жуков. — Убедительно защищаетесь, командующий. А выглядит, прямо скажу, несерьёзно.

Он снова вглядывался в карту. Углы его рта при этом выпрямились. Может быть, вспомнил он, как сам же сказал, узнав о захвате плацдарма на голых мырятинских кручах: «Что ж, на войне многие большие дела начинаются несерьёзно». Может быть, со своим звериным «чувством противника», он понимал, что защитники «Восточного вала» не так уж горят желанием воевать, если русская армия проходит мимо, не причиняя им особенного вреда, направляясь к Предславлю, за который в конце концов не они отвечают.

— Если честно, — спросил он, — противник здесь оказался пассивнее, чем вы ожидали?

Кобрисов, помявшись, ответил:

— Я, товарищ маршал, на эту пассивность его и рассчитывал.

И немедленно, только того и дождавшись, попросил слова Терещенко.

— Фотий Иваныч, — заговорил он, не вставая, опершись обеими руками на палку, с обидой в голосе. От обиды на голове у него вздуло хохолок. — Мне странно слышать, как ты говоришь: «Рассчитывал». Всё только себе в плюс. А почему рассчитывал — не говоришь. Что ж такая неблагодарность к соседям своим, командармам? А может, тебе потому и легко, что другим трудно? Потому что они на себя главную тяжесть приняли на Сибеже? Ты по ровному идёшь, а кто-то в оврагах, в болотах лесных барахтается, глину месит, костьми ложится, чтоб тебе в руки Предславль положить...

— Согласен, — сказал Кобрисов, чувствуя, как вскипает в нём раздражение, как затмевает ему голову, и боясь этого, и не в силах будучи удержаться. — Но неужели ж не видно было, что этот ваш Сибежский плацдарм хорошей жизни не обещает? Устроили себе тритатуси, теперь вот мудохаетесь там...

— Попрошу командующего, — сказал Жуков бесстрастно, — придерживаться военной терминологии.

— Виноват, товарищ маршал. Но хотел бы спросить соседей-командармов: чёрт их там вырыл, эти овраги, пока вы переправлялись?!

Он задал тот вопрос, на который и двадцать, и тридцать лет спустя будут искать ответа и не находить его: что же, заранее не было ясно, что южный плацдарм у села Сибеж — ошибка, западня? Что овраги, леса и болота не преимущества этого выбора, но тяжкое его осложнение? Отчего так невнятны, уклончивы объяснения историков: «К сожалению, Сибежский плацдарм оказался сильно пересечённой местностью, изобилующей...» Когда «оказался»? До или после переправы?

— Что же ты считаешь, — спросил Терещенко, голос был тонкий, ломкий, еле не плачущий, — наши усилия, наши потери общие, жертвы наши — всё зря? Почему ж раньше молчал? А сам тихой сапой, понимаешь...

— Он не молчал, — сказал Жуков, нахмурясь.

Да, цепкая его память удержала то совещание в Ольховатке, где и Кобрисов, и Чарновский высказывались против варианта с Сибежским плацдармом, которому сам-то он был защитник.

Терещенко примолк, съёжился, только смотрел исподлобья на Кобрисова — с обидой, укоризной, побелевшими от злости глазами.

Жуков, прикусив нижнюю губу, сдвинув брови, мрачно уставился в карту. О чём теперь задумался маршал? Не о том ли, что сам поддался эмоциям, позволил себя втянуть в афёру, доверился очевидному, которое вовсе не было очевидным? Закрыл себе глаза на все иные возможности, которые вот же углядел этот увалень, преподавший всем урок гениальности? Да, принимая тогда своё «несерьёзное» решение, он был хоть на минуту гением. Взгляд посредственности цепляется за овраги, излучины, петляет в лесных зарослях, а взгляд гения упирается в пустынный берег и в голых кручах находит решение загадки.

А отгадка так проста была — танки! Нужно было их любить, как этот Кобрисов, чтоб знать, что любят они — ровную, слегка всхолмлённую местность, где можно укрыться как раз по башню, а то вдруг вылететь на бугор, отстреляться, вновь затеряться в низинах, в реденьких перелесках и рощицах, искажающих рёв и лязг, главное — не теряя темпа...

— Вы генерал с танковым качеством, — сказал Жуков. — Я это ценю. Как же вы их на кручи-то волокли?

— По-всякому. Бывало, и слегами подпирали под гусеницы. Одного вытащим — другого он тащит тросами.

— Небось и сами плечо подставляли?

Кобрисов только повёл могучим плечом, и зал заскрипел скамьями, дробно рассмеялся.

— Фотий Иванычу нашему, — сказал Терещенко, — такому лбу, хоть на спину взвали...

— Сколько было машин? — спросил Жуков.

Вместо Кобрисова, встрепенувшись от дрёмы, ответил Рыбко:

— Шестьдесят четыре. Минус две.

«Батько» всегда знал, разбуди его среди ночи, сколько у кого танков.

— Две ещё на том берегу потеряли, — уточнил Кобрисов, неожиданно для себя тоном оправдания. — Теперь-то мы с них пылинки сдуваем...

Снова повисло молчание. Жуков, поворотясь к залу, смотрел на всех недобрым взглядом. Под этим взглядом все казались — или хотели казаться — на голову ниже, опускали глаза. Хрущёв ёрзал по скамье, точно она была утыкана шильями. Ватутин смотрел прямо, но какими-то отсутствующими глазами.

— Так, полководцы... — начал Жуков зловеще. Но не продолжал. И показалось Кобрисову, что не только он над ними имеет власть, но какую-то и они над ним. Может быть, не меньшую.

Терещенко быстро переглянулся с левым своим соседом по фронту, Омельченко, тот согласно моргнул и поднял руку для слова. Тучный, круглоголовый, луноликий Омельченко, с пробором в рыжеватых волосах, уложенных плойками, настроил себя на тон проникновенный, был сама скорбь и душевная боль.

— Мы тут услышали грубые слова от товарища нашего, Кобрисова...

— Не для нежных ушей? — сказал Жуков.

— Не в том печаль, товарищ маршал, что грубые, мы в своём коллективе по-солдатски привыкли, а — обидные. Упирается человек в своё лишь корыто, а того не видит, что, может, всё по плану делается. Что командование фронтом свою задумку имело. Одним такая доля выпала, чтоб, значит, фон Штайнера этого на себя отвлекать, нервировать его, а другим — знамя над горсоветом водрузить. Необязательно всех было посвящать, но теперь-то можно же догадаться, что был заранее спланированный манёвр. И как у поэта сказано, у Маяковского, не грех напомнить: «Сочтёмся, понимаешь, славою, ведь мы ж свои же люди...»

Вот как всё было, оказывается! Вот как было, когда он, Кобрисов, смотрел в стереотрубу на чёрного ангела с тяжёлым крестом на плече, высоко вознёсшегося над кущами парка, на ослепительный купол собора, с пробоиной от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри, на дымящиеся руины проспекта, наклонно и косо сходящего к Днепру, и думал о том, какая обидная доля выпала ему: стоять против великого города и только страховать Терещенко — на тот невероятный случай, если б фон Штайнеру вздумалось переправиться на левый берег и запереть Сибежский плацдарм с востока. Вот как было, когда трясущимися руками, подстелив плащ-палатку, он разворачивал карту и колёсиком курвиметра вёл по извивам водной преграды «р. Днепр», когда раздвигом циркуля отмерял расстояние от Предславля до Сибежа и то же расстояние отложил к северу, и грифельная лапка уткнулась в сердцевину кружка, и прочиталось: «Мырятин». И было, оказывается, предвидено, спланировано заранее, как он, по колено в воде,

ища свою подстреленную утку, раздвинет камыши в плавнях, и посмотрит на тот берег, и поразится его зловещему безмолвию, и услышит толчки сердца в висках...

— Должен я отвечать на упрёк, товарищ маршал? — спросил Кобрисов.

— Необязательно, — сказал Жуков.

Он снизу послал многозначительный взгляд, которого Кобрисов, однако, не видел, смотрел в глаза Ватутину.

— Николай Фёдорович, предвидели вы, что я сам попрошу разрешения?

— Почему ж не предвидел? — раздражаясь, спросил Ватутин. — Когда позвонил ты мне в Ольховатку, я же не удивился, тут же согласие дал. А если б не попросил — тебе бы рано или поздно приказали...

— И когда я свои танки быстренько на правый фланг уводил, сам от себя прятал, чтоб другие не увели...

— Ну, всего не предусмотришь. И танки я от тебя не требовал кому-то передать.

Два человека кричали в Кобрисове, и один твердил упрямо: «Не было этого, не было!», а другой: «Остановись же! Вот здесь остановись!» Но, понимая отчётливо, что каждым словом обрубает ниточку, которую протянули ему, он всё же не мог не бросить им свой горький, злой упрёк:

— Пускай бы вы просто на берегу стояли против Сибежа — и то бы фон Штайнера отвлекали. Нервировали по крайней мере. А так — слишком дорогая получается мясорубка. — Он увидел грустный предостерегающий взгляд Галагана и всё же продолжал. — Он ждал вас на юге — и дождался. А если б сразу начали, где я, да всем гуртом навалились, он бы рокироваться не успел.

— Не доказано, — сказал Жуков. — Не кормите нас гипотезами. Кое-что справедливо говорите, но — не всё. С кем согласовывали наступление на Предславль?

Кобрисов отвечал уклончиво:

— Товарищ маршал, а для чего ж тогда плацдармы берутся?.. И что ж меня судить, когда мои части в двенадцати километрах?..

Он удержал на языке, не прибавил того, что кричало в нём: «Да что происходит здесь? Что происходит? Вы там, на Сибеже, навалили горы битого мяса, и всё топчетесь, топчетесь который месяц, а я, с потерями вдесятеро меньшими, уже вплотную к Предславлю подошёл, но не я сужу

вас, а вы приехали меня судить, и никому из вас это не удивительно!.. Ехали сюда – не удивлялись, зачем едете?»

– Никто вас не судит, – сказал Жуков.

– Победитель ты, Фотий Иваныч, – начал было Галаган, но Жуков его остановил, выставив ладонь.

– Не судим, а разобраться хотим. Как дальше быть.

– Вот я тоже разобраться, – поднял руку Хрущёв. – Почему это так, что и судить нельзя? У нас таких нет, чтоб судить нельзя было. Я не в смысле, значит, трибунала, а в смысле суждений, значит. Партия такое право всегда имеет, и нам тоже предоставлено. И победителей тоже, значит, иногда, если они...

– Никита Сергеич, много у тебя? – спросил Жуков.

– Ну... Я по оперативному скажу вопросу. Вот вы наступаете, Кобрисов, да? Наступаете пока, можно сказать, успешно. А поглядите вы через плечо. Через правое. И что у вас за спиной делается? А там, понимаешь, целый город у вас в тылу остаётся. Мырятин этот, значит. Намерены вы с ним что-то делать или как?

– А на кой он ему? – спросил Галаган.

– Как «на кой»? – удивился Хрущёв. – Хорошее дело – «на кой»! Город советский. Занятый, понимаешь, врагом.

На этот вопрос, которого более всего опасался Кобрисов, и должен был ответить Чарновский: «Отрежьте мне этот кусок плацдарма, вместе с Мырятином. У меня перед фронтом более или менее крупных городов нет, я бы и этому рад был». Так должен был сказать Чарновский, но почему-то молчал. Отсев подальше от Кобрисова, смотрел сосредоточенно в пол.

– Командующий, – спросил Жуков, – как у вас складываются отношения с противником в районе Мырятина?

– Нейтралитет у меня с ним, товарищ маршал. Друг друга не тревожим.

– Но он угрожает вашим переправам.

– Угрожал. В основном авиацией. Бывало, по сорок самолётов налетало, а то раз и семьдесят мы насчитали. Но потом генерал Галаган обеспечил здесь наше господство, так что – тихо сидит.

– Но вы же клинья зачем-то выдвинули. Планировали окружение?

– Не было такого плана. Только угроза окружения. Где мне, с моими силами, ещё окружать!

— И не надо, если не хотите. Двиньте вы ваши клинья километров на пять. Да он оттуда раком уползёт!

Так оно, верно, и будет, подумал Кобрисов. Уползут. А только в последнюю очередь те, кому больше угроз от пленения. Когда паника начнётся, не достанется русским ни машин, ни повозок, ни сёдел, ни танковой брони. Им — прикладами по пальцам, чтоб не цеплялись. Здесь конец боевому содружеству, каждый за себя. Умрите вы, падаль, а нам прикройте отход. И вы же в своей России остаётесь, чего вам бояться — встречи с земляками?..

Заговорил между тем Терещенко:

— Разрешите, товарищ маршал, и с вами немножко поспорить... Как понимать это — «пусть уползёт»? Это же предоставление инициативы противнику. Это мы ещё ждать должны, как он решит: захочет — уползёт, захочет — клинья обрежет. Много чести, мне кажется. Не сорок первый год, теперь мы ему должны навязывать нашу идею, а он — пусть принимает. И тут я у командующего чёткой идеи не вижу пока. Я б такую занозу, Мырятин, у себя на фланге не оставлял бы.

Жуков, не отвечая ему, обратился к Кобрисову:

— Сколько бы вам понадобилось ещё машин? Если б была у фронта возможность.

Кобрисов задумался, набрал в грудь воздуху, выдохнул шумно.

— Сто бы мне. «Тридцатьчетвёрочек».

— Почему сто? С потолка берёте?

— Так двести же не дадут.

— Генерал Рыбко, могла бы ваша армия сколько-то выделить ему?

«Батько», очнувшись, поближе к животу прибрал свой портфель, точно там они и были, танки.

— Цэ трэба розжуваты, товарищу маршал. Да он же у нас такой озорник, Кобрисов этот. Ему дай сто, хоть и двести дай, он же их все на Предславль угонит...

— Ну, это уж как он распорядится.

— ...а то ещё куда-нибудь. А сам и знать не будет, где они у него.

— Ничего, найдутся. Он их теряет, он же их и находит.

— Давай, батько, раскошеливайся, — сказал Галаган.

Кобрисов тоже смотрел на «батьку» выжидающе. Кто-кто, а танковый генерал наибольшую нёс ответственность за авантюру с Сибежем, должен был предвидеть лучше других,

что его «керосинкам» там уготовано сделаться свалкой металлолома, и воспротивиться этому, а сейчас — мог лишь приветствовать возможность перебросить их на Мырятин.

Мучительная дума пересекла «батькин» лоб горизонтальной морщиной. И вдруг он блаженно разулыбался.

— Анекдот вспомнил. Разрешите, товарищу маршал?

— Оперативная пауза, — сказал Жуков.

— Приходят это чекисты с ГеПеУ к еврею: «Рабинович, сдай деньги в госбюджет!» Ну, жмётся Рабинович: «Та откуда ж у меня деньги?» — «У тебя-то, может, и нету, а у твоей Сарочки, ГеПеУ знает, припрятано. Давай, выкладай». — «А зачем вам деньги?» — Рабинович спрашивает. «Как это “зачем”! Социализм строить». — «А у вас их нету, денег?» — «То-то и дело, что нету!» — «Так я вам так скажу: когда нету денег — не строят социализм».

На анекдот генералы отвлеклись охотно, у Жукова края рта завернулись кверху.

— А мы его вроде построили, социализм? — спросил он, улыбаясь как-то неуверенно, как бы прося снисхождения. Что-то в его улыбке напоминало беззубого ребёнка.

— Как же, Гёр Константинович! — укорил Хрущёв. — Верховный ещё когда говорил: «Завоевания социализьма».

— А, так его ещё завоёвывать нужно...

— Да нет же, Гёр Константинович, это он завоёвывает, социализьм!

— За всем не уследишь, — сказал Жуков виновато. — Ну, на то у нас комиссары есть. Ладно, полководцы, оперативную паузу заполнили. Вернулись к Предславлю.

— К Мырятину, — напомнил Терещенко.

— Да, к Мырятину.

К танкам, однако, не вернулись.

Маршал помолчал, умыл толстой ладонью свой чудо-подбородок с «полководческой ямочкой». Наверно, ни при какой погоде сам бы он не стал возиться с городишком районного масштаба, имея впереди «жемчужину Украины», и понимал, наверно, Кобрисова, и потому опять смотрел на всех недобрым взглядом.

— Какая всё-таки причина, — спросил он, — что командующий не хочет брать Мырятин? Он же у вас на ладони лежит.

Ещё в эту минуту можно было выиграть затянувшийся бой, перетащить Жукова на свою сторону, только высказать самый веский довод.

— Товарищ маршал, — сказал Кобрисов. — Это так кажется, что на ладони.

— Мне кажется?

— Вам не всё доложили. Операция эта — очень дорогая, тысяч десять она мне будет стоить.

— Что ж, попросите пополнения. После Мырятина выделим.

— Мне вот этих десять... жалко. Ненужная это сейчас жертва. И одно дело — люди настроились Предславль освобождать, за это и помереть не обидно, а другое дело — я их сорву да переброшу на какой-то Мырятин. Жалко мне их. И ради чего я ими пожертвую, когда мне каждый сейчас, в наступлении, втрое дороже! Есть у меня мысль, что противник как раз и ожидает, чтоб мы здесь потратились материально...

— А мне, — спросил Терещенко, — думаешь, так хочется за Сибеж ничтожный тратиться? А приходится.

Жуков его остановил.

— Уважайте соседа, полководцы. Он не всегда глупости говорит. Что ж, командующий, к вашему доводу следует прислушаться.

Но по голосу чувствовалось: не прислушался нисколько. Любой другой аргумент он бы рассмотрел внимательно и во всех подробностях, этого — он как бы и не слышал. Тем и велик он был, полководец, который бы не удержался ни в какой другой армии, а для этой-то и был рождён. Всё было у него — и подбородок крутой с ямочкой, и рост достаточно невысокий, и укажут остряки на первый слог в его фамилии со звуком «у», столь частый у полководцев — Суворов, Кутузов, Румянцев, Брусилов, Куропаткин, два Блюхера и Мюрат, Фрунзе, Тухачевский, Клюге, Гудериан, да хоть и Будённый, и даже Фабий, своей медлительностью заслуживший прозвище «Кунктатор», — но главное для полководца пролетарской школы было то, что для слова «жалко» не имел он органа восприятия. Не ведал, что это такое. И, если бы ведал, не одерживал бы своих побед. Если бы учился в академии, где всё же приучали экономно планировать потери, тоже бы не одерживал. Назовут его величайшим из маршалов — и правильно назовут, другие в его ситуациях, имея подчас шести-, семикратный перевес, проигрывали бездарно. Он — выигрывал. И потому выигрывал, что не позволял себе слова «жалко». Не то что не позволял — не слышал.

— Стоит прислушаться, — повторил он. — Но вы мой довод не опрокинули. Вот что делает ваш противник. Удар во фронт. По ослабленному плацдарму. С выходом к Днепру.

— Это был бы акт отчаяния, — сказал Кобрисов. — Зачем ему между клиньями лезть?

— Согласен. Но акт возможный. Приказ есть приказ, и солдат его выполнит. И это было бы для нас очень болезненно. Переправы сейчас — самое для нас ценное. Так что подумайте. Подумайте о Мырятине.

Кобрисов запнулся на секунду, было у него, чем этот довод оспорить, но тотчас ворвался в разговор Хрущёв:

— Вот я, Гёр Константинович, ну кто о чём, а вшивый, значит, о бане. То есть я, значит, как политработник волнуюсь. Насчёт, значит, укрепления морально-политического духа в войсках. Тем более «жемчужина Украины» и всё такое. Вот были мы с Николай Фёдорычем в Восемнадцатой армии, там такой, значит, начальник политотдела, заботливый такой полковник. Как его, Николай Фёдорович? Гарнэсенький такий парубок, с Днепропетровска, бровки таки густы. Когда мужик из себя видный, тоже ж играет значение! Душевно так, заботливо с солдатами перед боем поговорит, освещение подвигов подаёт, наладил, значить, вручение партбилетов прямо на передовой. «Бой, говорит, лучшая рекомендация». Его, кстати, идея была — символические подарки украинцам-командармам. Хорошо б его сюда для обмена, значит, опытом как-то прикомандировать. Как же его? От же, склероз, вылетело...

— Никита Сергеич, — поморщась, сказал Жуков, — вспомнишь — вернёмся к вопросу.

Он уже вставал, заставляя и всех вскочить. Низко напяливая фуражку, подошёл к Кобрисову. Выпрямясь и сделавшись на голову выше маршала, Кобрисов увидел мгновенную вспышку раздражения в его глазах, извечного раздражения низкорослого против верзилы. Впрочем, маршал её погасил тотчас и осведомился благосклонно:

— Командующий, откуда я вас ещё до этой войны помню? Не были на Халхин-Голе?

— Был, товарищ маршал.

— А по какому поводу встречались?

Кобрисов, помявшись, сказал:

— А вы меня к расстрелу приговорили. В числе семнадцати командиров.

— А... — Маршал улыбнулся той же улыбкой беззубого ребёнка. — Ну, ясно, что к расстрелу, я к другому не приговариваю. Не я, конечно, а трибунал. А за что, напомните?

— За потерю связи с войсками.

— Как же случилось, что живы?

— А нас тогда московская комиссия выручила, из Генштаба, во главе с полковником Григоренко. Они ваш приказ обжаловали и, наоборот, кое-кого к «Красному Знамени» представили. В том числе и меня. Вы же потом и подписали.

Брови маршала сдвинулись на миг и снова разгладились.

— Припоминаю. Ну, видите, как хорошо обошлось. И вы теперь связи уделяете должное внимание. — Он протянул руку. — Поработайте ещё, командующий. Желаю успеха.

Генералы, шелестя целлофановыми пакетами, подходили к Кобрисову попрощаться.

— Ты, часом, не в обиде на меня? — спросил Терещенко. — Пощипали тебя, так и ты ж нас тоже. Первый притом. Поверишь ли, больные струны задел!

— И с чего, спрашивается, гавкаемся? — сказал огорчённый Омельченко. — Общее ж дело делаем, мирно бы надо.

— Ладком? — сказал Кобрисов.

— Именно. Сошлись бы как-нибудь втихаря, ну там бутылочку уговорили. Почему нет?

— Слушай их, Фотий Иваныч, — сказал Галаган, — а делай всё наоборот. Три к носу, держи хвост трубой.

Подошёл и Чарновский. Постоял, покачиваясь с пяток на каблуки, поднял хмурое лицо, с еле не сросшимися густыми бровями.

— Извини, что не поддержал тебя. Но и ты себя с людьми не так повёл. Мы не об этом договаривались.

— Никаких претензий, Василий Данилович. Поступил ты по совести, тактично.

Чарновский, ярко вспыхнув, что-то хотел сказать, но круто повернулся и вышел.

Остался Ватутин. Он долго стоял у пролома в стене, смотрел, как рассаживаются по машинам, кому-то крикнул, что поедет последним, наконец повернулся к Кобрисову.

— Как самочувствие?

— Душновато, — сказал Кобрисов. — Дышать тяжело. Расстегнуть бы две пуговички. Ежели позволите.

— Давай.

Они расстегнули по две верхние пуговки на вороте и перешли на язык, невозможный у начальника с подчинённым.

— Операция эта всё-таки дорогая, — сказал Кобрисов. — Я подумал: а сколько же в Мырятине этом жило до войны? Баб, стариков, детишек ты не считай, одних призывных мужиков сколько было? Да те же, наверно, десять тысяч. Которых я положить должен. Что же мы, за Россию будем платить Россией?

— Да только и делаем, что платим, Фотя. Когда оно иначе было? И будем платить, мы ж её пока что не выкупили...

— Я старше тебя на девять лет, Николай. Послушай мудрого. Не всегда это доблесть — бой навязывать противнику, иногда умней уклониться, больше потом возьмёшь. Ты вот о «котлах» думаешь, об окружениях, да кто об них не мечтает. А знаешь, чем ты прославился уже, чем, может, в истории останешься? Двумя отступлениями. Под Харьковом и на Курской дуге. Это изучать будут, как ты сумел людей сохранить, технику всю вытащить, противника измотать и сразу, без паузы, способен был контрудар нанести.

— Любо тебя послушать, Фотя, — сказал Ватутин, усмехаясь. — Лестно.

— Ты знаешь, что я не только льстить могу.

— Знаю. Не знаю вот, принять ли за комплимент, что одними отступлениями... Ладно, не в этом дело. Отвечу тебе комплиментом — всех ты нас удивил. Переиграл. Да ведь я давно считаю, что тебе по годам, по знаниям пора бы уже и фронтом покомандовать. Ты прав оказался, а мы — не правы. Ну да, не всё мы продумали с этим Сибежем. На поводу пошли у Терещенки...

— А что же Константиныч его поддерживает?

— Так кто же и докладывал Верховному про сибежский вариант? Константиныч и докладывал. Его тоже понять можно... Теперь подумаем вместе — что скажет солдат? Что командование фронтом, представитель Ставки — чурки с глазами? Один генерал Кобрисов в ногу шагал? А солдату вера нужна в своё командование, иначе — как дальше ему воевать?

— А так же, как и воевал. Думаешь, вера в начальство сильно его греет?

— Ты не пререкайся со мной, Фотя. Тебе же так откровенно, как я, никто карты не выложит.

— Знаю, — сказал Кобрисов. — Ладно, помолчу.

Ватутин прохаживался по залу между скамьями — грузной поступью, заложив короткие руки за спину, склонив круглую лобастую голову римского центуриона; из-за обвисших щёк и резких складок у рта казался он много старше своих сорока трёх.

— Терещенко тоже незачем топить. Ну, ошибся. Увлёкся. Все тогда увлеклись.

— Его утопишь! — вскинулся Кобрисов. — Поди, считает «командарм наступления», что я сейчас его место занимаю!..

По тому, как быстро, удивлённо взглянул Ватутин, видно было, что это для него не ново.

— Ещё раз скажу тебе, Фотя: армией ты командовал безукоризненно. И я за то, чтоб ты и дальше Тридцать восьмой командовал. Хотя замечу — Терещенко бы не пришлось уговаривать этот городишко прихватить.

— Как будто не понимаете вы: с потерей Предславля не будет фон Штайнер за этот городишко держаться, сам оттуда уйдёт. Если прежде Гитлер его не снимет.

— И опять же — ты прав. И в то же время — не прав. Есть тут один тонкий политес, который соблюдать приходится. Сибежский вариант согласован с Верховным. И так он ему на душу лёг, как будто он сам его и придумал. Теперь что же, должны мы от Сибежа отказаться? «Почему? — спросит. — Не по зубам оказалось?»

— И про все потери спросит...

— Да уж, непременно. В первую очередь — про потери. И в будущем сто раз он нам этот Сибеж припомнит. Значит, как-то надо Верховного подготовить. И не так, что северный вариант лучше, а южный хуже, а подать это как единый план. И надо ему всё дело так представить, чтоб он сам к этой идее пришёл. Вот для чего и нужен твой Мырятин. Услышит он — трубочку раскурит, на карту поглядит и сам себе скажет: «Они там, дураки, не видят, что у них под носом делается, а я из Москвы не выезжаю — и всё мне как на ладони видно!» Тогда с Верховным любо-дорого дело иметь, что хочешь у него проси. Понял ты наконец?

— Всё финтим, — сказал Кобрисов печально. — И со мною ты финтишь: уже обсуждалось, как меня от армии отставить. Мне эти финты уже вот так настряли. Как ты-то от них не устал? Вроде не в тех ты уже летах, не в тех чинах...

Ватутин, потемнев лицом, потянулся к воротнику и застегнул пуговки. Сделал то же и Кобрисов.

— Ожидаю доклада о взятии Мырятина, — сказал Ватутин. — План прошу мне представить самое позднее через сорок восемь часов.

— А если не представлю, то...

— Генерал Кобрисов, я не слышал этого!

Всё же Ватутин казался подавленным. Молча он прошёл к машине, молча кивнул шофёру ехать, ссутуленные его плечи и затылок под фуражкой имели вид какой-то убитый, пришибленный. «Лучше других ты, Николай Фёдорович, — думал Кобрисов, глядя ему вслед, — стало быть, тоже не свой. Рано или поздно, а и тебя укатают...»

Первым побуждением было этот план всё-таки подготовить, то есть ещё раз обдумать тот прежний, что он составил сразу после переправы. Несколько часов просидел он в тесной своей клетушке, раскладывая «пасьянс», — какие части отвести безболезненно из района Горлицы, с участков, казавшихся пассивными, какие перебросить к Мырятину из того резерва, что приберегался для уличных боёв в Предславле. Не выходило безболезненно, выходило больно, вынужденно и всюду опасно. Единственное, на что была надежда — когда план будет представлен, ему кое-что подкинут, хотя бы полсотни машин от «батьки».

А вечером, подавая ему ужин, ординарец Шестериков вдруг сказал, тяжко вздыхая:

— Не знаю — говорить вам, не знаю — нет...

— В чём дело?

— Да плохо дело. Для нас плохо. Сиротин наш кое-чего услышал тут, под машиной когда лежал. Да лучше я его позову самого.

И вот что поведал смущённый, тоже сильно расстроенный Сиротин:

— Значит, когда это, командующие армии Чарновский до командующего фронта подошли поприветствоваться, то те им говорят: «Ну, как, мол, лейтенант-генерал, настроение?» — «Да что говорить, — командующие армии сказали, — завидую Кобрисову». — «И зря, Кобрисову не зави-

дуйте, ещё, мол, вопрос о командарме, который в Предславль войдёт, будет решаться. Есть, мол, такая идея, чтоб это украинец был. У нас же в частях фронта семьдесят процентов украинцы и город великий украинский, так что логично, чтобы и командарм был украинец». — «Так я же, — командующие армии сказали, — тоже ведь хохол, здесь родился, здесь женился, в комсомол, в партию вступил, почему ж, мол, не я?» — «А кто говорит, что не ты? Может, и ты. Вопрос ещё решается...»

— Всё? — спросил Кобрисов, не поднимая головы, разглаживая карту ладонью.

Было жарко лицу — от унижения ему, генералу, выслушивать шофёра, подслушавшего речи начальства.

— Дальше не слышно было, тут Первый член Военсовета подъехали, генерал Хрущёв, и разговор перебили...

— Ладно, ступай.

Сильно хотелось напиться и было впервые неловко позвать Шестерикова, чтоб принёс фляжку. Он бы настроился выпить, как всегда, вместе, говорил бы утешительные слова, и некрасиво было бы его отослать, да и пить в одиночку считал Кобрисов самоубийственным. Самое обидное, но отчасти и верное было в рассказе Сиротина слово «логично». Да, логично она должна была родиться, эта «идея», кому бы ни пришла в голову, как бы ни была омерзительна, гнусна. Ничем другим, видно, не свалить его, Кобрисова, не подкрепить пооблетевшие шансы Терещенко. Логично было и Чарновскому промолчать, не выступить, как договорились. «Хотя напрасно ты, напрасно, Василий Данилыч, — думал Кобрисов. — Не про тебя эта идея». Вот бы над чем задуматься Чарновскому, над какой логикой: почему же одних командармов эта идея касалась? Пойдите же до конца — русских десантников, заодно казахов, грузин — снимите с танковой брони. Лётчика-эстонца — верните на аэродром. И пусть танкист-белорус вылезет из душной своей коробки, пусть покинет свою «сорокапятку» наводчик-татарин. Вот ещё тех евреев отставьте, у которых целые семьи в этом Предславле, во Вдовьем Яру, лежат расстрелянные. Всех непричастных отведите в тыл, пусть отдыхают, пьют, гуляют с бабами, сегодня одни лишь украинцы будут умирать за свою «жемчужину».

И апатия, тяжёлая, неодолимая, овладела генералом Кобрисовым. Как будто опустошили сердце, вынули то, что стало в последние месяцы главным в жизни, что при-

вязывало к ней; куда-то уплывал и самый облик никогда не виденного им, кроме как в бинокль, великого Предславля, покрывались туманной мглой чёрный ангел с крестом и ослепительный купол собора; ему, «негромкому командарму», отводилось его всегдашнее место, его роль — быть «на подхвате» и довольствоваться «разновесами», как Фатеж, или Сумы, или станция Лихая. Он проник в замысел своих коллег и понимал, что с этим Мырятином его заставят потерять время, напор, да и сил его ни на что другое не хватит, и покуда он тут провозится, они проделают какую-нибудь рокировку, перебросят войска с Сибежского плацдарма сюда к нему и главную роль отведут, ясное дело, Терещенко — нельзя же его топить, он им свой...

А что обещал Мырятин? Выдвинутые клинья уже не втянуть назад — этого ни перед командованием не оправдаешь, ни перед солдатами, потерявшими в боях товарищей. Значит, окружение? Как он и намечал? А если не уползут из мешка защитники Мырятина, если обречены или сами себя обрекли участи смертников, наподобие финских снайперов-«кукушек», привязывавших себя к верхушкам сосен?

И отсюда вспоминалась ему ранняя весна, когда входили в обычай «ответные» казни на площадях, и именно первая им увиденная, которой не могли же себя не обпачкать вчерашние освободители. Поехали после совещания всем гуртом, было не отговориться, сказали, что *политически важно для населения*, чтоб самые крупные звёзды присутствовали. Вот уж не думалось, что когда-нибудь, да на переломе войны, введут эту казнь — отвратительную, в которой есть что-то идиотски-остроумное: убить человека его собственным весом, притяжением к земле! Мы только надеваем несложное приспособление, а затягивает его сам казнимый... Было их четверо — сельский староста, хлипкий, сильно пожилой мужичишка, двое молодых, лет по девятнадцати, полицаев и немец из комендатуры. Их вели под моросящим дождиком без шапок, со скрученными за спиною руками, было тяжко смотреть, как у них побелели омертвевшие пальцы; у старосты на голове шевелились от ветра реденькие седые клочья, он был как в полусне, голосила и рвалась к нему его, должно быть, жена, вот уже скоро вдова, её удерживали двое подростков, тоже почему-то без шапок, с белыми лицами; политически неразвитое население всё воспринимало как-то растерянно, ошара-

шенно — может быть, чувствуя себя вторично оккупированными; один из парней-полицаев всё оборачивался и спрашивал: «А чо я такого сделал? Чо сделал?» — и никто не отвечал ему. Да кто ж бы из них осмелился пикнуть, хоть в оправдание ему, хоть в осуждение, — из второсортных, нечистых, кто и сами себя чувствовали виноватыми, что остались под немцами? Немец, слегка горбоносый, голубоглазый и белокурый, крепкий, лет тридцати, шёл в расстёгнутом мундире, с голой розовой грудью, и усмехался, сверкая ровными белыми зубами. Казнимых взвели на грузовик, поставили у кабины лицами к толпе, желтоволосые мордастые выводные сноровисто накидывали петли, вполголоса командовали: «Подбородочек повыше!», затем лично проверил исходную затяжку длинный кадыкастый лейтенант в очках, с сурово сжатым ртом (и с бугристым чирьем на шее, который был заклеен грязным пластырем); он же зачитал выписку из приговора, по его мановению грузовик стал медленно отъезжать. И вот тут немец, что-то прокричав — насмешливое, злорадное, — побежал, крепко топая сапогами по днищу кузова, добежал до края и ринулся, рухнул сам, не дожидаясь неизбежного. И пока те трое ещё переступали, ещё шаг делали, ещё полшага, тянулись на цыпочках к последнему глотку дыхания, он уже висел, выгибаясь и крутясь, поворачиваясь из стороны в сторону сине-багровым, надувшимся, залитым слезами лицом. Было похоже, он убил себя сам, но ушёл от казни, кто-то из выводных даже крякнул с досады.

Не было ощущения расплаты, а теперь генерал Кобрисов понял, что и не могло его быть. И не потому, что он толком не знал, что такого ужасного натворили эти четверо, чтоб полагалось прервать им и ту крохотную частичку вечности, которая нам отпущена так неумолимо скупо. Нет, изучи он весь свиток их злодеяний и не найди он никакого оправдания, он бы и тогда испытал другое ощущение, неотвязное и унизительное, как если бы всё совершалось применительно к нему самому, к его рукам, вот так же бы скрученным сзади и омертвевшим, к его шее, на которую так же сноровисто надевали бы размокшую, смазанную тавотом петлю, проверяли бы, хорошо ли затянется, — и при этом не проявляли бы не только сострадания, но просто любопытства, что же чувствует, о чём думает человек, глядя в лица сородичам своим по человечеству, остающимся в этом мире и собравшимся смотреть, как он будет этот

мир покидать. Должно быть, какой-то высший судия насылает на нас это ощущение, наказывая за соучастие, а зритель ведь тоже – соучастник. И, верно, не один Кобрисов чувствовал так: ехали обратно, в штабном автобусе, как-то разрозненно, стыдясь друг друга, и рады были разъехаться каждый в своём «виллисе», никого не позвав, как всегда бывало, к себе в гости, – люди войны, наученные мастерству убивать, причастные к десяткам тысяч смертей. Всё-таки это разные вещи: почему-то же для войны годится почти любой здоровый мужчина, но для этого ремесла подбираются люди особые, чего-то лишённые или, напротив, наделённые чем-то, чего все другие лишены. Генерал, при своих звёздах и орденах, чувствовал даже некое превосходство над ним этих расторопных сержантов, которым, видимо, нравилась их работа – и не только тем, что спасала их от передовой, – этого долговязого сурового лейтенанта в очках, который, проверяя затяжку, просовывал скрюченный голый палец между верёвкой и тёплой шеей казнимого. Больше того, чувствовал перед ними необъяснимый страх, чувствовал и тогда, на площади перед сельмагом, и даже теперь, лёжа во тьме на узкой койке, посреди плацдарма, где они уж никак не могли появиться.

Он не знал, смог ли бы скорее отдать свою жизнь, чем отнимать её у другого, безоружного, судьба ни разу не предъявила ему такого выбора, но и теперешний его выбор был чем-то сходен и нелёгок по-своему. И на тяжесть его он пожаловался самому себе, но скорее – тому судии, который должен был услышать его и избавить от страхов и разрешить сомнения:

– Я не палач! Моё дело такое, что у меня должны умирать люди, но я – не палач!

Несколько раз он повторил это, что-то утверждая в себе. Он себя укорил, что был нечестен, когда пытался тайком навязать другому, чего сам страшился. И почувствовал даже облегчение, решив бесповоротно – не прикладывать рук к делу, которому противилась душа.

Командующий, не представивший требуемого плана, подписывает себе отставку. Но за весь следующий день ничего не было предпринято в отношении Мырятина; все распоряжения делались, как будто и не было совещания, ни ультиматума Ватутина, а в те промежутки времени, когда генерала не тревожили, он читал Вольтера. У него была причина читать этого автора, и по его просьбе жена

ему прислала первое попавшееся ей — «Кандида». Приопустив очки на нос, он читал неторопливо, вдумчиво и всё же не понял, почему из многочисленных злоключений героя следует вывод, что «всё к лучшему в этом лучшем из миров». Но венчающая фраза — «Нужно возделывать свой сад» — ему понравилась, он даже подумал, что неплохо бы её ввернуть на каком-нибудь совещании, когда зайдёт речь о восстановлении народного хозяйства: «Как говорил Мари Франсуа Аруэ, он же Вольтер, нужно возделывать свой сад». И, закрыв книгу, вздохнул — какие там совещания, это всё грезился ему день вчерашний.

Поздним вечером, уже в темноте, подкатил к вокзальчику одиночный «виллис». Адъютант Донской с Шестериковым встретили гостя, но подняться он не спешил. Кобрисов, накинув на плечи кожанку, спустился в зал. Почему-то не через двери, а через пролом в стене вошёл кто-то невысокий и тучный, с портфелем. Это был начальник штаба армии, генерал-майор Пуртов, живший неподалёку, в селе Спасо-Песковцы, где и расположился весь штаб. Здесь он почти не появлялся, Кобрисов сам туда ездил работать с ним, и это появление было как проблеск новой надежды.

Они стояли друг против друга в тёмном зале, где едва брезжило рассеянным призрачным светом луны, оба величественные по-своему, не любящие лишних движений, а всё вокруг чем-то напоминало не убранную после спектакля сцену, при опущенном занавесе.

— Стряслось чего-то? — спросил Кобрисов.

— Фотий Иваныч, осталось двенадцать часов. Думаешь ты что-то предпринять?

— А что б ты мне посоветовал?

— Давай так рассудим. Противник не делал попыток уйти от окружения...

— Правильно. Потому что понимает: у нас на это сил нет.

— Неточно. Потому что он считает, мы по науке должны окружать. Создадим внутреннее кольцо и внешнее. На это действительно сил не хватит. А если нам одним внутренним обойтись? Кто его пойдёт выручать в Мырятине? Скажи только «гоп», я до утра успею разработать.

— Ты уже разработал, — сказал Кобрисов. — Вон, я вижу, в портфеле принёс. А «гоп» я тебе не скажу. Я, Василь Васильич, с тобой полтора года работаю, и что мне

нравилось в тебе – ты на авантюры не шёл никогда. Это я, командующий, могу и с дурью быть, мне она положена по чину-званию, а ты мою дурь обязан скорректировать, в рамочки ввести. Понимаю, ты обо мне печёшься, хочешь меня выручить, но из-за этого людей губить...

Он не договорил. Эти два человека в равной мере знали, какую новинку таил Мырятин, и не могли об этом сказать друг другу.

– Другой вариант, – сказал Пуртов. – Назовём его: «Имени Терещенко». В принципе – лобовой удар. С юга. Отбросим его хоть на три километра от переправ.

Кобрисов спросил, не скрыв усмешки:

– И долго ты его... готовил?

– Видишь ли, вариант Терещенко тем и прекрасен, что его и готовить особенно не надо. Наступает каждый оттуда, где стоит. Одним словом – «Вперёд!» Нам бы только начать, а там попросим пополнения.

– И дадут?

– Не могут не дать, – сказал Пуртов не очень уверенно.

– Привык я, Василь Васильич, деньги считать, когда они в своём кармане. Вроде бы оно надёжнее. И печальных неожиданностей не будет, а только приятные для сердца сюрпризы. В любом варианте должны мы от Предславля что-то оторвать. Я под расстрел пойду, но этого не сделаю.

Пуртов снял фуражку и держал её у груди.

– Фотий Иваныч, мы ведь с тобой хорошо работали, правда?

– Душа в душу, Василь Васильич.

– Это лучшее, что было у меня за всю войну. Я это на любой случай тебе говорю. А за эти... варианты – извини. Я тоже на некоторую дурь имею право.

– Что-то мы разнервничались с тобой. Поднимемся ко мне, чайку попьём? Из фляжки, что нам Шестериков выставит.

– Ты ж знаешь – язва. Не хочу лишним быть за столом. И настроился я поработать. Может, что и придумаю. Тогда позвоню. А лучше – заеду.

Кобрисов, провожая его, знал, что не позвонит он и не заедет. Потому что придумать тут нечего. Но был он благодарен Пуртову за визит, за добрые слова, хотя никто третий их не слышал...

...Ватутин дал ему лишних два часа. Позвонив из Ольховатки, он ни о чём не спросил, он сказал:

– Поговорил я тут со Ставкой. Они согласились с моей оценкой, что поработал ты хорошо и сделал много, но – перенапрягся, нуждаешься отдохнуть в санатории, побыть с семьёй. Так, недельки три. В общем, особенно мучить тебя не будут, только доложишься по приезде.

«Значит, и расспрашивать не будут», – подумал Кобрисов.

– Спасибо за вашу заботу, Николай Фёдорович.

– Да уж как водится...

– А не может того быть, что вдруг меня Верховный вызвать захочет?

Ватутин подумал секунду.

– Не исключается.

– Да нет, это я на всякий случай. Чтоб знать, что говорить.

– Скажешь, как есть.

«Провентилировали они свою "логичную" идею», – подумал Кобрисов. И спросил, что оставалось ему спросить:

– Кому передать армию?

Не унять было дрожи в руке, державшей трубку, и казалось, Ватутин это слышит.

– Твой начальник штаба за тебя остаётся пока. Вопрос о командующем ещё не поднимался официально.

– Ну, что ж... Я главное дело сделал. В двенадцати километрах нахожусь...

– Их ещё пройти надо, Фотий Иваныч.

– Ну, это уж совсем кретином надо быть – не пройти. Главное всё-таки сделано. А там – кто бы ни был. Хоть бы и Терещенко. Для хорошего человека не жалко.

Ватутин промолчал.

– А знаете, Николай Фёдорович, – сказал Кобрисов, – всё равно я буду считать – я взял Предславль!

– Я тоже так буду считать, – сказал Ватутин. – Да если б всё от меня зависело... Но это, наверно, не мужской разговор.

– Пожалуй.

– Когда намерен отбыть?

Для генерала не существует «через неделю», не существует и «завтра».

– Сегодня, – ответил Кобрисов.

– Мой «дуглас» могу предложить, Галаган тебя свезёт.

– Спасибо ещё раз, но боюсь я.

— Чего боишься?

— Высоты боюсь. А ещё больше — Галагана. Он меня как-то по-дружески на бомбовозе прокатил, так руки тряслись неделю. Я уж как-нибудь на своём Сером.

— Во всём ты упрямый, не переделаешь тебя. Попрощаться заедешь?

— Ну, если прикажете...

— Какой тут приказ?

— Тогда не заеду. Крюк большой...

— Как знаешь. До свиданья, что ж...

— Счастливо оставаться.

В четыре часа пополудни тяжко нагруженный «виллис» достиг Днепра и стал спускаться к переправе. Так вышло, что генерал Кобрисов только сейчас впервые увидел её — изогнувшуюся дугою, громыхающую на зыбях цепь ржавых понтонов, с дощатым настилом и леерами на стойках. С обеих сторон её стояли по две зенитки, с ухоженными орудийными двориками; вдоль и поперёк медленно бороздили реку бронекатера с задранными к небу орудиями и счетверёнными пулемётами; в рваных тёмных клочьях облаков барражировали* истребители Галагана. Переправа выглядела прочно обжитой, а ему-то, Кобрисову, всякий прибывавший к нему на плацдарм казался героем! С сильно бьющимся сердцем смотрел он, хотел узнать — не здесь он сам переплывал полтора месяца назад, стоя на палубе танкового парома, так громко называвшейся дырявой самоходной баржи с помятыми бортами и деревянной, в щепу искрошенной рубкой, среди всплесков пуль, воя налетевших «юнкерсов», ржанья коней, стонов раненых. Не тот был теперь Днепр, подругому оживлённый, по-другому шумный. Истинно, не войдёшь в одну реку дважды.

Регулировщик — с полосатым жезлом, с белыми ремнём и портупеей — чётко поприветствовал генерала, затем подошёл к фанерной будке без двери, где стоял на полочке телефон с зуммером.

— Шура! — кричал он в трубку. — Задержи там, пока генерал проедет!

— Всё чином, — сказал восхищённый Сиротин и мягко вкатил машину на податливую шаткую аппарель.

* Барражирование — дежурство самолёта в воздухе. При этом он летает над охраняемым объектом по замкнутому маршруту — кругу, квадрату и т. п.

Они проехали середину реки, когда к левому берегу подошла колонна танков, автоцистерн и конных повозок. Тамошний регулировщик её задержал жезлом – на узком понтоне «виллису» с танком было б не разминуться. Сколько было танков, генерал отсюда не мог определить, хвоста колонны не было видно. Может быть, это и были те сто машин из «батькиной» заначки, которых не хватило генералу Кобрисову, чтоб ехать ему сейчас триумфатором по главному проспекту Предславля. Имя это – «Предславль» – опять зазвенело в нём, но как надтреснутая труба, слышались предчувствие, предвестие славы, но и предсмертный крик воина, падающего с городской стены вместе со штурмовой лестницей. Кобрисов не знал, что то было начало грандиозной операции под кодовым названием «Туман» – отчасти предвиденной им рокировки войск с южного плацдарма на северный. Им предстояло втайне покинуть рубежи на Правобережье и переправиться обратно на берег левый, затем передвинуться на сто шестьдесят километров к северу, минуя траверз Предславля, и вновь переправиться и тогда уже двинуться на юг – тем коридором, который пробила армия Кобрисова.

Множество хитростей содержала эта затея, не зря названная «Туманом». Не говоря о том, что само передвижение должно было совершаться ночью или в тумане, разрозненными рокадными дорогами, заглушаемое барражирующей авиацией, но для сохранения секретности оставлялись на Сибежском плацдарме ложные батареи, то есть вышедшие из строя или сколоченные из брёвен орудия, такого же происхождения макеты самоходок и танков, ящики от боеприпасов, оставлялись и ложные радиостанции, продолжавшие переговариваться и переписываться замысловатыми шифрами, управляясь автоматически. Военные историки уверят нас, что люди при этом не оставлялись, что раненые были все вывезены, а убитые преданы земле. Уверят и в том, что хитроумный Эрих фон Штайнер так-таки ни о чём не догадался и немецкие наблюдатели не заметили, что макеты всё-таки неподвижны, рации твердят одно и то же, а чучела в касках и шинелях лишь слегка колеблются от ветра. И вот этой громоздкой, мучительной и не столь уж бескровной, вынужденной операцией будем мы гордиться, называть гениальной новинкою, более напирая на победное её завершение и заминая бесславное начало, когда можно ещё было обойтись и без неё...

– Что я вижу! – вдруг сказал адъютант Донской, разглядывавший тот берег в бинокль. – Регулировщик-то и вправду – Шура. То есть Шурочка. Во всяком случае – в юбке. И кажется, сапожки на каблучках. И сама – ничего, ничего!..

Он передал бинокль генералу. Воспользовавшись минуткой, регулировщица, позволив жезлу висеть на запястье, вынула из нагрудного кармашка зеркальце, критически осмотрела потресканные губы, облупившийся носик, заправила под пилотку выбившийся белокурый локон.

– Товарищ командующий, – спросил Сиротин, – это если девку справную, на каблучках, поставили регулировать, то значит, дело уже назад не повернётся?

– Куда ему повернуться, – сказал генерал. – Теперь уже – до Берлина.

Сиротин, воодушевясь, было прибавил скорости, но генерал его усмирил взглядом. Танковая колонна могла и подождать генерала, полагалась ему такая почесть.

И покуда командарм-38, генерал-лейтенант Кобрисов Фотий Иванович, едет по переправе, есть время и у нас хоть коротко рассказать, как сложатся военные судьбы участников того совещания в Спасо-Песковцах. Троим из них не пережить войну. Так радевший и считавший логичным, чтоб «жемчужина Украины» была бы и взята украинцем, генерал армии Ватутин полгода спустя на просёлочной дороге получит в бедро пулю украинца-самостийника – возможно, отравленную, – и разгорится гангрена, усилия лучших врачей не спасут ни ногу, ни жизнь. Как и предсказывал Кобрисов, два знаменитых ватутинских отступления будут изучать в академиях и штабах многих армий мира; что же до его последней операции, Корсунь-Шевченковского «котла», она осуществлялась силами не одного, а двух фронтов, но и ватутинскую половину славы сильно пощиплет нахрапистый Конев, поставив на рубеже встречи свой танк и выбив на пьедестале надпись, лично им сочинённую. Не будучи филологом – и против истины не греша, – он проявит, однако, немалую тонкость в понимании русской фразеологии, где подлежащее и сказуемое имеют решающее преимущество перед вялым дополнением: «Здесь танкисты 2-го Украинского фронта под командованием генерала армии И. С. Конева пожали руки танкистам 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина, тем самым

завершив окружение вражеской группировки немецко-фашистских войск...»

Несколько позже в Восточной Пруссии, генералом армии и самым молодым из командующих фронтами, погибнет Чарновский — от осколка, попавшего ему в спину, под левую лопатку. Наверно, вторую бы жизнь отдал Чарновский, чтоб рана была — в грудь... Лихой Галаган, поднявшись в свой 251-й боевой вылет в небо над Балатоном, встретит противника, который покажется ему достойным, чтобы, не прибегая к тривиальной перестрелке, затеять с ним рыцарскую игру «кто кого пересмотрит». Считается, что ни один немецкий ас не принял русского лобового тарана, но, может быть, этот попросту растерялся, не справился с управлением, а только не отвернул он — и долго они не расставались, падая одним сверкающим факелом, покуда их не приняла остужающая озёрная гладь... Генералы Омельченко и Жмаченко довоюют достойно, не чересчур выделяясь, но и других не хуже, за что и получат по генерал-полковнику и по Кутузову 1-й степени — кажется, оба в один день. «Танковый батько» Рыбко, носивший в своём толстом портфеле бесконечные разработки и выкладки, соображения и дополнения, сделает карьеру не только военную, но и учёную, как раз к исходу войны разбивши в пух и прах «пресловутую доктрину хвалёного Гудериана», после чего уйдёт в академию преподавать доктрину свою. Особенно же повезёт Терещенко: вступив в командование 38-й армией, он, разумеется, одолеет те двенадцать километров и возьмёт Предславль ровно к празднику 7 ноября. Пройдя по Карпатам, он сильно пошерстит армейский состав, так что по пальцам можно будет пересчитать солдат-ветеранов, начинавших от Воронежа, а напоследок, для вящей иронии судьбы, достанется ему освобождать Прагу — уже почти освобождённую Первой дивизией РОА. Победы маршала Жукова, покрывшие грудь ему и живот панцирем орденов, не для наших слабых перьев, скажем только, что против «русской четырёхслойной тактики» не погрешит он до конца, до коронной своей Берлинской операции, положа триста тысяч на Зееловских высотах и в самом Берлине, чтоб взять его к празднику 1 Мая (опоздал на день!) и чтоб не поспел на подмогу боевой друг Дуайт Эйзенхауэр. Треть миллиона похоронок получит Россия в первую послевоенную неделю — и за то навсегда поселит Железного маршала в своём любящем

сердце! Военная стезя генерал-лейтенанта Хрущёва проляжет не так звёздно, и звук «у» в первом слоге тут не поможет, однако ж война сохранит его для дела не менее славного — низвергнуть Верховного. Оценим же юмор и художественный дар, с какими запечатлит он Верховного в нашей памяти, вложив ему в руки, как зеркало Афродите, глобус, по которому тот будто бы и провоевал всю войну. Оценим неистовую энергию, с которой ещё и ещё потопчет он бывшего кумира и хозяина, плиты его пьедесталов употребит на щиты электростанций, бронзу памятников перельёт на подшипники, самый его прах вышвырнет из Мавзолея догнивать в простой могиле, но и оттуда, из нового захоронения, достанет-таки его Верховный, достанет не своею набальзамированной рукою, а руками того заботливого полковника, безвестного во всю войну, а зато красавца, любимца и любителя женщин, дружеского застолья и задушевных песен, руками того «гарнэсенького парубка», имени которого так и не вспомнил Хрущёв на совещании.

Среди таких биографий — как не затеряться «негромкому командарму» Кобрисову? Кто вспомнит, как он стоял на пароме посередине Днепра, умирая от страха перед «юнкерсом», пикирующим прямо на него, плюясь огнём из обоих крыльевых пулемётов? А между тем в эти минуты в историю Предславской операции, в историю всей войны вписывалась страница, удивительная по дерзости и красоте исполнения, которой суждено будет войти в учебники оперативного искусства и опрокинуть многие устоявшиеся представления, но и страница загадочная, как бы недосказанная, не сохранившая имени автора.

Страницу эту назовут — Мырятинский плацдарм. Её, как водится в стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющей надежд на будущее, приспособят к истории, как ей надлежало выглядеть, но не как выглядела она на самом деле, и понаторевшие в этом лекторы из ветеранов, прихрамывая вдоль карты с указкой, убедительно докажут, что Мырятин с самого начала считался плацдармом основным, а не отвлекающим, — эту роль отведут Сибежу, — и было это, конечно же, заранее спланированным манёвром, а не так, что случайно ткнулась лапка циркуля. Вот разве что сыщется всё-таки дотошный историк, который не пощадит штанов в усидчивом рвении и докопается до истины? Или найдётся щелкопёр, бумагома-

рака, душа Тряпичкин, разроет, вытащит, вставит в свою литературу — и тем спасёт генеральскую честь?

Впрочем, и этого не надо. Противник, судящий нас порою справедливее, чем мы друг друга, именно генерал-фельдмаршал Эрих фон Штайнер, в своих послевоенных мемуарах «До победы — один шаг» вот что скажет об этой загадочной странице: «Здесь, на Правобережье, мы дважды наблюдали всплеск русского оперативного гения. В первый раз — когда наступавший против моего левого фланга генерал Кобрисов отважился захватить пустынное, насквозь простреливаемое плато перед Мырятином. Второй его шаг, не менее элегантный, — личное появление на плацдарме в первые же часы высадки. Я понимал его чувства: подобно всаднику, посылающему лошадь на препятствие, он должен был прежде перенести через него своё сердце!.. Но уже на третий ход — русских не хватило. Я так и предвидел, что вместо немедленного, всеми наличными силами, броска на Предславль они предпочтут штурмовать этот городишко Мырятин, который мы сами не считали столь важным опорным пунктом. Это им стоило трёх недель промедления и нескольких тысяч убитыми, которых могло не быть. Русские повели себя, как нищие: перед ними лежал алмаз, а они предпочли выторговывать — грошик...»

Но — кончается переправа, блондинка-регулировщица высоко подняла жезл, сама вытягиваясь в струнку, и танковая колонна взревела дизелями, окуталась чёрным дымом, готовая вступить на измочаленный настил.

У самого съезда возились двое сапёров, привязывали к леерной стойке шест с фанерным щитом. По белому полю бежала размашистая чёрная надпись: «Даёшь Предславль!»

— Даю, — сказал генерал. — На серебряном подносе даю. Только руку протянуть.

Так пересёк он Днепр в обратном направлении, расставшись с вожделенным, никогда не виденным Предславлем, оставив свою армию, — он, поклявшийся, что никакая сила не сбросит его живым с плацдарма.

Глава пятая

КТО БЕЗ ГРЕХА?

1

Обиды, обиды... Они жалят сердце! Они душат горло и заставляют ворочаться и скрипеть зубами в неизбывной злости. И выпивка помогает ненадолго, просыпаешься среди ночи, и нет бодрости встать, чем-то занять себя — тут они и впиваются, как ночные зверьки, которые днём прячутся в глубоких норах, а с темнотою выползают и набрасываются скопом. Одно спасение — не противиться, какой-нибудь из них дать себя погрызть; тогда другие, заждавшись своей очереди, уползут до следующей ночи.

Среди всех обид, какие нанесли генералу жизнь и люди, особенно мучили те, которые сам же помог нанести по глупости. Их не на кого было свалить, некому бросить в лицо злой упрёк. И к ним теперь прибавилась та последняя, которую нанёс он себе при отъезде. Он всё-таки сделал эту глупость, поехал через Ольховатку, мимо штаба фронта, с надеждою, что Ватутин, увидев воочию его отъезд, не утерпит, велит задержать, пригласит ещё подумать вместе. И может быть, нашлось бы приемлемое для обоих решение. Не мог же Ватутин так равнодушно с ним расстаться — ведь, кажется, ценил его, и столько провоевали вместе! И ведь предлагал же заехать...

Возле Дома культуры, с античными его колоннами и портиком, сгрудились штабные «виллисы», «доджи», верховые кони, шмыгали разных чинов офицеры. И чувствовалось по их суете, что командующий фронтом у себя, не отъехал обедать, ни на плацдарм. Кто-то из них должен же был Ватутина оповестить, да и пост охранения ещё при въезде в село небось передал, и сам он вполне мог увидеть из окна, что бывший командарм-38 едет мимо — не спеша, в машине с откинутым тентом. Кобрисова узнали — кто-то вытянулся, откозырял, другие лишь повернулись к

нему, и ни один не расшевелился сбегать доложить. И теперь казалось ему и особенно язвило, что Ватутин всё видел из окна, шепнули ему, обратили его внимание — и он не приказал остановить, не пожелал на прощанье хоть десять минут посидеть вдвоём — без адъютантов, без соглядатаев. И наверняка те офицеры сообразили, что Ватутину видеть бывшего командарма незачем. Эта штабная мелюзга собачьим верхним чутьём унюхивает кровоточащую рану, а подошвами ощущает дрожь, какую распространяет по земле агония умирающего тела. А ведь сначала верное было решение — не ехать через Ольховатку! Что за дурак! Никак не научится доверять первому движению души, — как, впрочем, и первому впечатлению от человека, — а они-то, звериные, не обманывают!

За этой обидой дождалась своей очереди самая большая — весенняя 1941 года, которая всю его жизнь перевернула, сделала его другим. И не сказать, чтобы она совсем была неожиданна. Перевод в столицу, пусть в том же звании и должности, воспринялся как повышение и скорее льстил ему и окрылял, хоть и печалил тоже — расставанием с людьми, с налаженным укладом жизни, роскошными охотами в тайге. Но были и опасения — смутные, в которых и разбираться казалось трусостью. Кобрисова отзывали в Московский военный округ формировать дивизию, намекалось — противодесантную, для охраны столицы; здесь как будто не ожидалось подвоха, а тем не менее сказала жена:

— Смотри, Фотя... Вот так и Василия Константиновича выманили. Уж будто в Москве своего не нашлось формировать, тебя приглашают.

Это правда, взяли Блюхера не прежде, чем отделили обманно от Дальневосточной армии, где никакие чекисты, хоть и сам Ежов, его взять не могли бы. С ним, Кобрисовым, едва ли бы стали так церемониться. А что формировать московскую дивизию призывали дальневосточника, так то был всегдашний государственный принцип — разбивать солидарность, земляческую или национальную, это ещё от царей пришло — чтобы в охране служили инородцы. Для Москвы и был Кобрисов инородцем.

Однако ж дивизия оказалась не выдумкой чекистов, уже почти составился её штаб в Филях, укомплектованы хозяйственные тылы, прибыли с завода первые танки, восемь машин, и даже назначены участвовать в первомай-

ском параде. И он написал жене, чтоб собралась и приехала выбирать квартиру, ему некогда ездить по четырём ордерам. Самого его пока поселили в гостинице «Москва».

Та весна 1941-го была долгая и холодная, обложные изматывающие дожди не переставали до середины июня, а сама Москва поражала и разлитым в воздухе ожиданием иной грозы, военной, и жадным стремлением не видеть, откуда надвигались тучи, надышаться покоем. В кино показывали «Если завтра война», зрелище вполне успокоительное, там наши боевые самолёты выпархивали прямо из подземных ангаров, а танки спускались на тросах с кручи и так же форсировали реку, не касаясь воды, — об амфибиях, поди, и не слыхивали киношники, — и условный враг в условной униформе погибал несметными полчищами, не вынеся своей глупости. Закрывались посольства Бельгии и Греции, оккупированных германскими войсками, но для лекторов «главными нашими врагами» оставались «Англия на западе, Япония на востоке». Рудольф Гесс, второе лицо в Германии, заместитель Гитлера по партии, перелетел на самолёте в Англию — и наверное, не войну ей объявить, а совсем наоборот, и газеты заикнулись было об «англо-германской сделке», но тут же примолкли, когда англичане миссию Гесса отвергли, а самого его посадили в тюрьму. К туманному Альбиону это симпатий не вызвало, он в любом случае был плохой. В саду «Эрмитаж» конферансье рассказывали анекдоты «с международным уклоном»: Гитлер жалуется товарищу Молотову: «Вот уже полтора года бомбим Лондон, а всё не можем его разрушить». — «А мы вам, — ответил Вячеслав Михайлович, — пришлём десяток московских управдомов, они любой город разрушат в три месяца». Смеялись и хлопали, но человеку военному, который знавал бомбёжки, слушать это было и тогда стыдно, и ещё стыднее потом, когда бомбы упали на Киев и Минск и эта бомбимая неподдававшаяся Англия первая себя объявила союзницей России.

И был холодным и пасмурным, хоть и не дождливым Первомай, когда впервые Кобрисов, стоя на трибуне для гостей, увидел Вождя. Увидел издали, снизу, и то и дело его заслонял рослый Тимошенко. А впрочем, и времени высматривать было у Кобрисова мало, в общем строю сводного полка Московского гарнизона должны были пройти его танки. Свои БТ-7 он узнавал уже среди всех других, даже не по номерам, а как укротитель в цирке не спутает своих

тигров ни с чьими другими, как будто такими же полосатыми, и их самих различает по именам. Он их узнал сразу — и смотрел напряжённо, как они пройдут. Он сам тренировал водителей держать равнение, чтоб ни на сантиметр никто бы не выдвинулся и не приотстал, и уже мог быть уверенным, а всё же волновался изрядно. И вот через несколько секунд они должны были пройти траверз его трибуны, и он бы увидел равнение их пушек и корпусов. Но прежде они должны были миновать траверз Мавзолея.

Среди гостей того последнего довоенного парада мало кто услышал, за маршами и ликующими выкриками из динамиков, перемену звука моторов, мало кто обратил внимание, что два танка в шеренге вдруг замедлили ход, и торчавшие из башенных люков головы и плечи командиров сразу же исчезли, и захлопнулись крышки люков. Полной остановки не было, но так как всё двигалось и обгоняло их, как стоячих, то и показалось, что они стоят. Это длилось не более четверти минуты; танки, шедшие следом, плавно их обогнули, а там и те два тоже двинулись и ещё до подхода к Василию Блаженному выровняли строй. И, может быть, у кого-то из зрителей крохотная эта заминка оставила впечатление изящного, заранее отработанного манёвра, — но, верно, не у военных. А у Кобрисова ёкнуло и заныло сердце.

После парада он вызвал к себе командиров, выслушал их объяснения о том, что вдруг начались перебои в двигателях и они приопустились узнать, в чём дело, и может быть, помочь водителям восстановить ход. Всё было просто, ясно, понятно, а тем не менее оставило в Кобрисове неприятный осадок, и он не рассеивался от новых забот, но оставался где-то глубоко, в виде покалывания или ноющей боли. Было особенно неприятно, что тем и начнётся его служба в Москве.

На двенадцатый день пришли за ним в номер. Постучались сразу после восьми утра, когда он, выбритый и освежённый одеколоном, надевал фуражку ехать в свой штаб, и, когда открыл — стояли двое в коридоре, вежливо взяли под козырёк, сказали, что машина ждёт, но шофёр заболел, и повезёт другой, один из них. А почему двое их, новый шофёр просил извинить, что подкинет дружка в одно место неподалёку. Долго потом терзало генерала, что он мог бы и догадаться, да ведь и догадался, почувствовал же первоначальным звериным чутьём какую-то игру, но

вместе и странное оцепенение – от слишком обидной мысли, что с ним могут обойтись так немудряще, так унизительно просто. Впрочем, уже в машине играть перестали, сказали, что место, куда *подкинут* генерала, такое, что вся Москва перед ним трепещет и каждый старается побыстрее пройти мимо, даже не посмотреть на эти ворота, к которым вот как раз и подъехали. И, словно бы эти слова были паролем, глухие безглазые ворота раскрылись, пропустили машину и тут же захлопнулись. Генералу ещё услужили – «дружок», выскочив первым, раскрыл ему дверцу.

Через каких-нибудь полчаса он был обыскан, лишён ремня и кобуры, бумажника с документами и фотографиями жены и дочек, часов, ключей и даже алюминиевой расчёски, и обмокнутые в чёрную краску пальцы ему прокатывали по бумаге. А следом подвергся и «физиологическому обыску», то бишь предстал голый перед громадной бабой в белом халате, с белым пустым лицом, на котором глаза располагались выше, чем следовало, а рот – малость ниже. Величиною она была с памятник Екатерине в Питере, купно с его пьедесталом.

– Ко мне спиной – командовала она хоть и грубым, но всё же бабьим голосом. – Нагнитесь. Раздвиньте ягодицы.

– Да что я там могу спрятать? – вскричал генерал.

– Ко мне лицом, – говорила женщина-памятник. – Поднимите половые органы.

– Батюшки, неужто и тут прячут?

Он ещё пытался корявыми шутками побороть стыд, довольно неожиданный в человеке военном, ежегодно проходившем медкомиссию, в составе которой были и женщины, подчас хорошенькие. Как ни странно, а перед ними предстоять в чём мать родила он стыдился куда меньше, там всё смягчалось лёгкой игрой, с ними и пошутить было приятно, и на темы пикантные, этими шуточками перекликалось божье братство полов, так пленительно меж собою враждующих. Вот чего не было там – брезгливого равнодушия к твоему стеснению. И тело твоё не рассматривалось с той точки зрения, что и куда можно в нём спрятать. Интересно, когда бы он успел, арестованный внезапно и всё время бывший под присмотром?

– Одевайтесь, – сказала пустолицая.

В обыскном боксе ему выбросили его гимнастёрку с отпоротыми петлицами и срезанными пуговицами, и тоже без пуговиц галифе, которые он должен был придерживать руками. Впрочем, надзиратель дал ему с полметра шпагатика и показал, как одним концом обвязать верхний угол ширинки, а другой конец продеть в пуговичную петельку. Он же, сердобольный, объяснил, почему нельзя пуговицы – чтоб не заточил о каменный пол и не взрезал себе вены. Сапог ему тоже не вернули, а дали шлёпанцы без задников, они постоянно спадали с ног, так что ходить нужно было в них, не отрывая от пола, со стариковским шарканьем. И такого, потерявшего вместе с формой нечто весьма важное для человека военного, который себя и в штатском костюме чувствует не совсем ловко, ввергли в одиночную камеру и с грохотом заперли.

В отличие от многих и многих, генерал Кобрисов не счёл свой арест ошибкой, тогда как все другие арестованы правильно; их уже слишком было много, правильно арестованных, чтобы не понять, что всё отличие его состояло в том, чем всегда отличается твоя боль от боли чужой, – твоя больнее. Но в эти часы ареста у него возникло ощущение какого-то огромного разветвлённого заговора, охватившего всю страну; некие силы, дотоле скрытые, вышли из своих укрытий и одержали верх и вот скоро повергнут наземь и придавят сапогом всю могучую структуру государства, все его службы и ведомства, вплоть до Политбюро и самого Вождя. И не нашлось во всём народе силы противостоять повальному изничтожению, потому что заговорщики действовали умно: они начали с главного звена, захватили службу безопасности и сделали её своей отмычкой ко многим дверям, душам и умам, а затем они обезглавили и обескровили армию. А она единственная и могла спасти страну от этого внутреннего – а может статься, и внешнего? – нашествия. Знал ли про всё это Вождь? Вполне возможно, что и не знал, они достаточно были хитры. А могло и так быть, что знал, но оказался беспомощной жертвой их, игрушкой, которой они вертели, как им было угодно.

И в первый же вечер началось ужасное. За стеной послышался бычий рёв мучимого человека, с которым непонятно что делали, при этом терпеливо, почти ласково в чём-то убеждая. Не скоро, из многих бессвязных криков, генерал постиг, что его соседу уже пятые сутки не давали

спать. После ночных допросов он валился на пол, но тут же гремело веко глазка, и врывались надзиратели его поднимать. Чувствовался человек большой телесной силы, которая его и обрекала на беспомощность, не давала впасть в спасительное беспамятство, чтобы не слышать пинков и шлепков по лицу; и та же могучая плоть требовала могуче хоть получаса, хоть пяти минут сна. «Вот это, — сказал себе Кобрисов, — и с тобой проделают». А с ним *это* уже и проделывали. Не по случайной ошибке поместили его в таком соседстве, и не затем только, чтоб этими рёвами и ласковыми пришепетываниями ему самому расстроить сон. С ним ещё ничего не сделали наружно, не тронули пальцем, но внутри него точно бы происходила химическая реакция, в которой одни компоненты соединялись, а другие распадались на составные частицы, и всё приходило к тому, что вещества конечные были уже с другими свойствами, чем изначальные.

На четвёртый день сочли, что он вполне созрел для встречи со следователем. И верно, созрел — поднявшегося ему навстречу старшего лейтенанта, с тонким лицом, с аккуратным пробором в светлых волосах, который с достоинством его поприветствовал глубоким кивком и чётко представился: «Опрядкин Лев Федосеевич», — он принял едва не за избавителя и обратился к нему с жалобой, что не может нормально спать. Так сделал он крупную ошибку — и выказал свою слабость, и пожаловался неправильно: надо было начальнику тюрьмы и непременно письменно. Не должно быть сговора со следователем, а должна быть — жалоба на нарушение режима.

Следователь, разумеется, принял сообщение близко к сердцу.

— Это меня огорчает, — сказал Опрядкин, указывая место арестанту за столом напротив себя. — И вообще, это не дело — держать вас в одиночке. Сегодня же вас переведут в общую камеру. Там довольно тихо и не тесно: человек пять-шесть. Если, конечно, желаете.

Генерал согласно кивнул.

— Ну, вот и решили проблему. Я думаю, мы прекрасно поладим. Я помогу вам, а вы мне. Должен вас уведомить, Фотий Иванович, что дело ваше мне представляется чрезвычайно простым. Особенных усилий оно от нас не потребует. Мы за вами наблюдали очень давно и только ждали — на чём вы сорвётесь.

— Я сорвусь? — спросил генерал. — Это как же понимать?

— Но вас же всё время преследуют неудачи. Сначала — не вышло с японцами. Теперь вы решили сорвать злость на самом для нас дорогом.

— Что вы такое порете? И на чём это я «сорвался»?

— Я думал, вы уже всё про себя поняли, — сказал, улыбаясь, Опрядкин. — Как вы себе объясняете, за что вас арестовали?

— А это вы мне сказать должны. Я и гадать не стану.

— Не станете? — сказал Опрядкин и поглядел на него пристально и с лёгкой усмешкой. — Ну-ка, покажите мне ваши руки. Положите на стол. Я вам сам погадаю.

Ничего не подозревая, генерал их положил. И Опрядкин, схватив со стола линейку, быстро шлёпнул его сначала по одной руке, затем по другой. Шлёпнул не больно, однако именно это оказалось всего обиднее и вызвало непереносимый гнев.

— Ты что делаешь, мразь? — вскричал генерал. — Ты с кем это так?

Опрядкин, откинувшись на стуле, вздохнул почти горестно.

— И не хочется, а придётся вас наказать. — Он показал линейкою в угол комнаты. — Вон туда, арестованный. На колени в угол. И чтоб я больше не слышал в моём кабинете этого тыканья и грубых слов. Ну-с, я жду.

Кобрисов сидел недвижно, как бы в оцепенении. Гнев ещё затмевал ему голову, и он, понимая, что говорит лишнее, всё же сказал:

— Может оказаться, что я ни в чём не виноват. Вы к этому придёте. А дело сделаете — непоправимое. Я же этого не забуду.

— Интересно, на кого же вы обидитесь? — спросил Опрядкин. — На родную нашу власть? — И, так как генерал молчал, он напомнил: — А ведь я, кажется, что-то приказал вам? Фотий Иванович, я ведь для родины на преступление пойду. Возьму грех на душу, вызову трёх надзирателей, ну четырёх, они вас разденут догола и всё равно поставят, как я сказал. Только сначала они вас потреплют немножко. Руками и ногами. В кровавый ком превратят, в кричащее мясо. Но, Фотий мой Иванович, зачем? Лучше же без этого. Ведь это уже не вы будете, а, извините, зарезанный кабан. А мне нужно, чтоб вы остались самим

собою — и чтоб вся правда сама выплыла, как на духу. Поэтому — лучше вы это сами сделаете, правда?

Как теперь вспоминалось, когда генерал сделал это, когда прошёл туда и опустился, то прежде всего удивлён был, как просто это вышло. И было успокоительное ощущение, что ни пяди своей позиции не оставлено, как если бы он уступил машине.

Опрядкин, стоя над ним, сказал с сожалением:

— Я понимаю, с вами ещё так не обращались. Я не хотел никакого насилия, это не в моих правилах. Вы меня вынудили к этому. Ну, а теперь вы расскажете мне, и подробно, как вы готовили ваше покушение.

— Какое покушение?! О чём это вы?

— Не поворачиваться. Лицом в угол, пожалуйста. Как вышло, что ваши танки вдруг затормозили напротив Мавзолея? И что дальше помешало вашим танкистам? Не решились? В последний момент всё же отказались от задуманного? Это же очень важно, это меняет квалификацию.

— Что за чушь вы плетёте?

— Вы опять грубите, — сказал, вздыхая, Опрядкин и взялся за свою линейку. — Руки назад, ладонями вниз. В следующий раз, если будете грубить, я вам горошку подсыплю. Вы на горохе ещё не стояли ни разу? Так, на первый раз довольно. Сейчас вас отведут в камеру, а там вы подумаете хорошенько. Я дал вам намёк, бросил, так сказать, ниточку путеводную, а вы уж размотайте весь клубочек.

— Да что я разматывать-то должен? Не понимаю я!..

— А вот и неправдычка, Фотий Иванович. Вы же не маленький, вы всё понимаете прекрасно. Если ваши танки во время парада вдруг тормозят напротив Мавзолея — напротив Мав-зо-лея! — то как это называется? По-ку-шение, Фотий Иванович, покушение. На жизнь кого? Не смейте произносить, а только представьте мысленно.

— Да у них моторы глохнуть стали, какое там покушение!

— Сразу у двух машин? Ну, допустим. Но зачем ваши командиры покинули башни?

— Надо ж узнать, в чём дело. Водители — молодые, могли растеряться, не справились с управлением.

— Допустим. Всё как будто тасуется. Есть только одна ма-аленькая деталь — зачем они люки за собой закрыли? Закрытый башенный люк означает — что? Боевое положение танка. Бо-е-во-е!

Генерал молчал, не смея повторить: «Чушь!» и не желая всё валить на своих лейтенантов.

— Я вижу, вы устали, — сказал Опрядкин. — Лучше вам поразмыслить наедине со своей душой. Можете встать. — И нажал кнопку вызова конвоя. — Отведите в общую.

Тем же вечером генерала перевели в другую камеру, не перенаселённую, где было восемь коек, и одна из них ему предназначалась заранее — не у двери и не у параши, как полагалось бы новичку, а чуть не рядом с окном, где воздух посвежее. Сосед его справа был полный и седой, барского вида, с розовым одутловатым лицом, слева — аскетичный брюнет, долговязый и с впалыми щеками, у кого всё лицо, казалось, и состояло из больших очков с чёрной массивной оправой. Оба лежали поверх одеял и смотрели на него — как, впрочем, и вся камера.

— А у вас тут недурно, — сказал генерал, чтобы что-то сказать будущим соседям.

— Грех жаловаться, — ответил розоволицый барин. — В других камерах, насколько известно, много хуже.

— Это потому, — мрачно сказал очкастый, — что у нас к небесам поближе.

Розоволицый сразу посерел и, замкнувшись, отвернулся.

Несколько дней генерала на допросы не вызывали, и понемногу, когда прошло первое потрясение, он мог оглядеться и прислушаться к тем, кто волею судеб оказался рядом, прежде всего к ближайшим двум соседям. Ему хотелось сравнить, насколько хуже было их положение, чем его, и хоть в этом найти зыбкое утешение.

Оба они ничего хорошего для себя не ждали. Очкастый, как составилось из его реплик, преподавал логику в школе, а до этого, бывши студентом-заочником, зарабатывал себе пролетарский стаж в литейном цехе завода, а совсем до этого был он белым воином, офицером под знамёнами Корнилова, и вместе с ним проделывал знаменитый Ледовый поход. В том походе он простудился, схватил крупозное воспаление лёгких и чудом был спасён влюбившейся в него медсестрою, которая увезла его из армии и спрятала на хуторе у своих родичей. С нею прожили они более двадцати лет, не позволяя себе детей, чтобы случайно перед ними не проговориться и чтоб они не проговорились или не донесли о родителях-белогвардейцах. Но всё тайное когда-нибудь становится явным. Был в его кор-

ниловском прошлом крохотный эпизод, когда он доставил пакет самому Лавру Георгиевичу, и надо же было случиться, чтоб как раз этот момент был схвачен кинокамерою приезжего оператора. Молодой поручик лихо подлетал на коне к стоявшему на пригорке генералу, лихо осаживал, соскакивал, вытягивался в струнку. И генерал, достав руки из-за спины, принимал пакет, а затем, ласково улыбаясь, пожимал руку посланца. По этому пятисекундному кадру, включённому в какой-то документальный фильм о гражданской войне, бывшего поручика, теперь и очкастого, и усатого, опознали сослуживцы и сосед по коммуналке. К тому же бывший корниловец не удосужился фамилию сменить, а она была нацарапана гвоздём на коробке с плёнкой. И вот гуманная рабоче-крестьянская власть донимала его вопросом, на который при всём желании он не мог ответить: почему из тысяч пакетов именно этот необходимо было запечатлеть для истории? Небось такое в нём содержалось, что стоило многих смертей и крови бойцам Красной Армии.

Случай розоволицего барина — или, как он говорил, «казус» — был совсем особый. Барин, в звании профессора, читал в университете лекции по уголовному праву и как-то не обратил должного внимания, когда один его студент избрал темой дипломной работы правовую деятельность Временного правительства в период между двумя революциями. Профессор вяло возражал, что это неинтересно, недиссертабельно, что там «тёмный лес» и «чёрт ногу сломит», но тем, кажется, ещё сильнее распалил любопытство настырного студента; он засел в архивах и выудил нечто сверхдиссертабельное. Это был ордер на арест гражданина Ульянова («он же Ленин»), подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, подписанный в отсутствие прокурора Временного правительства одним из его заместителей — или, как тогда говорилось, товарищем прокурора. Имя этого «товарища» и его подпись удивительно совпадали с именем и подписью руководителя дипломной работы... И что особенно отяжеляло вину розоволицему соседу, так именно его бывшее звание. Прокурор бы этот ордер выписал по служебному долгу, товарищ — не иначе как по велению души.

Поначалу «казусы» его соседей казались генералу таким же бредом, как и его собственное дело, однако своих вин они не отрицали, даже охотно их разбирали вдвоём.

— Да не за это вы сюда попали, — досадливо отмахивался корниловец, — а за лень. За преступное, я бы сказал, бездействие. Ордер-то выписали, а за исполнением не проследили. Вот и выпустили подранка. А это, всякий охотник скажет вам, самый опасный зверь.

— А вам не следовало лезть под объектив, — огрызался товарищ прокурора, и склеротические жилки на его щеках проступали краснее. — Тщеславие вас обуяло, милостивый государь! Хотелось в истории след оставить, вот и *дали след.*

— Ну, это уж не от меня зависело. Это, если хотите, господин Неуправляемый Случай. А у вас — все вожжи были в руках. И подумать только — скольких людей вы могли осчастливить!

От их бесед генерал поначалу старался быть подальше. Могло же быть, что Опрядкин его подселил нарочно к *явным врагам*, чтоб подследственный ужаснулся, до чего докатился он, в какой компании оказался. Или же это были «наседки», назначенные спровоцировать его, чтобы потом навесить ему «недонесение». Многое было тут подозрительно: в камеру приводили с допросов — а чаще приволакивали — избитых, окровавленных, языком не ворочавших от смертной усталости, эти же двое приходили целёхонькие, их вроде бы пальцем не трогали. Но понемногу, к его удивлению, проходила изначальная неприязнь к *явным врагам*, а с нею вместе рассеивались и подозрения. Выпал случай заметить, что свои прения они вели и без него. А не трогали их потому, что они в своих винах не запирались, а бывший корниловец так даже своею гордился. И разве его, Кобрисова, если не считать линейки, так уж тронул Опрядкин?

И пора же было открыться им, никуда не денешься. Как-то они втянули и его в откровенность, он им поведал о танках и Мавзолее — с опережающей усмешкой, как о несусветной чуши. Оба выслушали внимательно и задумались.

— А боекомплект был? — первым спросил корниловец.

— Боекомплект? — это генералу как-то не приходило в голову.

— Ну да, снаряды, патронные ленты к пулемётам. Не собирались же вы, товарищ красный генерал, драгоценную усыпальницу гусеницами давить.

— Это же самое важное, — сказал товарищ прокурора. — Это меняет всё дело.

— Мог и быть, — отвечал генерал. — В часть пригнали укомплектованными. А в парадах с танками никогда не участвовал.

— Говорите, что не было, — сказал корниловец. — Кто станет проверять? Они тоже лени подвержены, как и все мы.

— Ошибаетесь, дорогой, — возразил товарищ прокурора. — Им ничего не лень! Они и подложить могут задним числом.

— Вот так и говорите, если на то пойдёт, — сказал корниловец. — «Вы же сами и подложили». Главное, чтобы вы первый заявили, что не было боекомплекта. И добейтесь, чтоб это в протокол вошло.

Получилось, однако, не так, как советовали генералу соседи. Опрядкин его возражение выслушал, наливаясь лицом, и при этом он медленно, один за другим вытягивал ящики письменного стола, а затем разом их задвинул дверцей — с грохотом, от которого генерал даже вздрогнул.

— Фотий Иванович, — заговорил Опрядкин, вышагивая по кабинету, животом вперёд, разбрасывая ноги в стороны и рубя воздух ладонью, — да если б был он, боекомплект, если бы были снаряды, я бы с вами не разговаривал. Я бы вас вот этими руками растерзал, удушил бы. А вот потому, что не было, я и говорю: «покушение». Ну, чёрт с вами, оформлю через статью девятнадцатую — как «намерение». От которого по какой-то причине отказались. Но не потому, что вдруг обнаружилось отсутствие боекомплекта. Придумайте что-нибудь убедительней. Я от вас высшую меру хочу отвести, а вы мне помочь не желаете. Я вам хочу десятку оформить, так давайте же вместе, вдвоём, поборемся за эту десятку!

Генерал уже и не знал, что отвечать на это.

— Но снарядов же не было! — твердил он упрямо. — Патронов к пулемётам — не было!

Опять он вздыхал, Опрядкин, и брался за свою линейку.

К некоторому даже удивлению генерала, в камере предложение Опрядкина было воспринято и рассмотрено вполне серьёзно.

— Это не так кровожадно, как на первый взгляд кажется, — сказал товарищ прокурора. — Он предлагает компромисс — и взаимовыгодный. Ведь ему тоже надо что-то представить начальству, а вы без десятки всё равно отсюда не выйдете. Можно построить очень даже трогательную

версию на том, что отказались от покушения. Увидели обаятельные лица вождей, поразились обликом товарища Сталина... что-нибудь в этом роде. И устыдились. Точнее — ужаснулись. Так правдоподобней. Совсем отрицать хуже. Нужно же и следователю дать кусочек хлебца с маслицем.

Угрюмый корниловец этот вариант забраковал напрочь.

— Не стоят они вашего «правдоподобия». Нашли компромиссы — между кошкой и мышкой! Глухая несознанка — вот лучшая защита. Или он должен признать, что взяли боекомплект на парад? Да за это одно — к стенке. Даже если правду можно сказать, всё равно врите. Спросят, кто написал «Мёртвые души», — говорите: «Не знаю». Гоголя не выдавайте. Зачем-то же им это нужно, если спрашивают. А впрочем, — прибавил он, оглядев генерала взглядом отчуждённым, едва не презрительным, — я ведь исхожу из своего опыта. У вас опыт — другой. Вся ваша жизнь, товарищ красный генерал, доселе была, в сущности, компромиссом. Так что, может статься, вы со своим следователем и поладите.

Стена отчуждения всё время стояла меж Кобрисовым и обоими его соседями, и за надёжных советчиков он их всё-таки не держал. В глубине души — в такой глубине, что он постыдился бы себе признаться, — он не стремился эту стену разрушить, он её даже укреплял, внушая себе, что у соседей всё-таки были, не в пример ему, основания находиться здесь и ждать расстрела. Они, как уже, верно, сформулировано было в их обвинительных заключениях, активно боролись против советской власти, он — активно её защищал. И то, что годилось для них, не могло относиться к нему. Не вполне исключалось, что он бы мог со *своим* следователем и поладить.

Ещё и то способствовало разобщению, что им, москвичам, регулярно доставлялись передачи, а ему, иногороднему, оставалось довольствоваться кашей на хлопковом или конопляном масле, которую приносили в ведре и вышвыривали ему половником в подставленную миску, фунтом липкого хлеба, двумя кусочками сахару и чаем из сушёной моркови и яблочной кожуры; этого было мало ему, и это огорчало едва не до слёз; он съедал свой обед, так пристроясь, чтоб не видели его лица. Он себя стыдился, он стыдился унижений, каким подвергали его, и не понимал, что

тем он себя унижает ещё сильнее. Но вот как-то увидел он, что его соседям передачи от жён или детей, которые не отказались от них, доставляют не столько радости, как можно было бы ожидать; корниловец, съедая домашние пирожки с мясом, разломанные надзирательскими пальцами, ещё больше мрачнел, а розовый барин, разложив снедь на койке, долго смотрел на неё и проникался к себе такой жалостью, что на глаза у него навёртывались слёзы. Однажды генерал засмотрелся на него слишком открыто и продолжительно, и товарищ прокурора, заметив его взгляд, расценил это по-своему. Он густо намазал большой кусок хлеба маслом, а сверху нагрузил толстым пластом колбасы и всё это протянул генералу:

— Позвольте угостить, не побрезгуйте.

Генерал, спохватясь, отпрянул и помотал головою.

— Они не возьмут у вас, — сказал корниловец, глядя на него почти брезгливо. — Коммунисты же против частной благотворительности.

— Генерал, это прежде всего некрасиво, — сказал товарищ прокурора, держа бутерброд терпеливо в протянутой руке. — Делиться едой — святая тюремная традиция.

— Да я что же... Только чем отдавать буду? Мне-то передачки носить — некому.

— Но если бы передачки носили каждому, тогда бы и традиции не возникло. Примите, прошу вас.

И генерал принял тюремный дар и отведал его. Корниловец протянул ему пирожок, генерал принял и его.

Понемногу становился он другим, чем был до этого. Он, как бы даже отстранясь, постигал тюрьму. Ему уже не нужно было объяснять, почему ложку ему дали деревянную, а миску — железную, с толсто закруглёнными краями. А отчего суп из трески отдавал содой, это он мог сам объяснить соседям по-солдатски: «Чтоб поменьше о бабах думали. А с чесноком было бы — наоборот». С интересом, подчас и с восхищением он воспринимал предусмотрительность стражей, но и хитроумие охраняемых. В предбаннике стриг волосы и подбривал усы парикмахер из вольных — всё машинкой, никаких бритв, и совершенно голый! Это чтобы он не смог послужить почтовым ящиком между тюрьмой и волей и между клиентами из разных камер. Ночами предпринимались «мамаевы побоища» — повальные шмоны с выгоном из камеры по команде «Все с вещами!», проколы шомпо-

лом подушек и матрасов, разрывы швов на одежде, — и никогда ничего не находили, и почта всё равно работала: утаённым грифелем, который, бывало, припрятывали в ноздре, на клочке подтирочной бумаги писалась цидулька — два-три слова: «Такого-то — к вышке», «Такой-то — наседка» или просто отчаянный зов: «Валя, отзовись!», — послание закатывалось в хлебный мякиш и прилеплялось к банной скамейке снизу. Это было почтовое отделение номер два, номером первым был сортир. Непостижимо меж разгороженными, разобщёнными людьми растекались новости с воли, приносимые новыми арестантами, — и против законов человеческой солидарности радовались новичку, точно он был вестником свободы. Его называли «свежей газетой», и главная его весть была — о новых и всё расширяющихся посадках. Но, странное дело, это не только угнетало и печалило, но чем-то и обнадёживало: процесс вот-вот перешагнёт критическую черту, когда он сделается неуправляемым. И тогда маятник, достигший крайней своей точки, начнёт движение обратное.

Новой волною арестов, — что заранее необъяснимо узнавалось в камере, — принесло В., знаменитого московского литературоведа. Обрадовались и ему — как простому свидетельству, что берут уже всех без разбору, а не только «политиков», и это к лучшему: чем больше людей арестуют, тем скорее исчерпана будет возможность держать столько людей в неволе. Сам новичок был, правда, другого мнения — что возможности России в этом отношении неисчерпаемы, — как, впрочем, и во многих других.

На какое-то время он сделался центром внимания и пребывал в постоянных беседах — групповых или наедине. Ни своей профессией, ни багажом своих знаний генерал никак не соответствовал новому соседу, не мог бы приблизиться собеседником, а тем не менее стал им — неожиданно быстро.

Как-то, при общем выводе на оправку, досталось им вдвоём выносить парашу. Староста камеры нашёл, что они ростом подходят друг другу, и значит, перекоса не будет, содержимое не расплещется. Литературовед В. был и впрямь длинён, только худющ и одышлив, а главное — нервен излишне. То и дело он подёргивал слабой своей рукою — и не для перехвата, а по случаю стукнувшей ему в голову идеи.

— Мой генерал, — спросил он, — не кажется ли вам, что, коль скоро чаша сия не миновала нас, мы могли бы извлечь из неё... то есть, разумеется, не из неё самой, а из процесса её несения, ценности интеллектуального порядка?

— Какие же это, к примеру? — спросил генерал.

— Ну, скажем, дать определение новейшей исторической формации: «Коммунизм есть советская власть минус канализация». И что самое приятное, эта формация уже построена!

Генерал лишь оглянулся — не слышал ли кто эти речи. Слава богу, напарник его говорил, будто с вишнёвой косточкой во рту, за два шага уже нельзя было разобрать.

— Вы смущены парадоксальностью определения? — продолжал он, кося выпуклым глазом куда-то в потолок, свободной рукою оглаживая лысину с начёсом реденьких чёрных волос. — А мне представляется, оно ничуть не противоречит тезису основоположника: «плюс электрификация». Всё очень симметрично. Применив «плюс», он тем самым не исключил существование «минуса».

— Он ни хрена не исключил, — сказал генерал, сбиваясь на полушёпот. — Всё-то у него симметрично. Хошь в ту степь, хошь в противоположную...

— Браво, мой генерал. Никто не постиг этого человека лучше вас. Вы никогда не пробовали доверить свои мысли бумаге?

— Это, стало быть, особому отделу? Не пробовал. Это уж ваше дело — литература.

— Я к литературе имею отношение косвенное. То есть занимаюсь, с вашего разрешения, литературой о литературе.

— Ну, так или иначе, а вы человек писучий?

— Как вы сказали?

— Ну, есть у вас такая писучая жилка, что ли.

— Подозреваю, — сказал литературовед В., — что мысленно вы меня так и называете: «писучая жилка». Я угадал?

Генерал так не называл его, но согласился, что оно и неплохо. С этого дня пошли у них долгие беседы, которые и название получили: «Размышления у параши». Смысл названия был не столько топографический, сколько исторический — просто с параши всё началось.

Отношения их вскоре сложились так, что генерал мог задать вопрос деликатный и обычно избегаемый в тюрьме: «За что попали сюда?»

— За вину, — ответил «писучая жилка». — То есть посадили меня, как водится, ближние, мои же коллеги, но не безвинно, нет.

— Какая же вина?

— В писаниях моих было много непродуманного. Ну, хотя бы, что Вольтер своими идеями оказал сильнейшее воздействие на русских революционных демократов.

— А он — оказал?

— В том-то и дело, что ни хрена. Скорей — они его презирали, и слово «вольтерьянство» считалось у них ругательством. Но зачем я это написал! Вот и сижу.

— Да ведь чепуха собачья!

— Я тоже так думаю. Расстрелять — не расстреляют, это в следующий раз. Но экскурсия на Соловки, лет на восемь, мне обеспечена.

В свой черёд, генерал ему без утайки рассказал о своём. «Писучая жилка», выслушав его, помрачнел.

— А вам, мой генерал, надо бояться.

— Чего?

— А того самого. Что мне не грозит пока. Вам есть прямой смысл бояться и не верить ни одному слову вашего следователя. Вы должны во что бы то ни стало выйти на волю. И держите себя с уверенностью, что вы им ещё понадобитесь. Сумейте их в этом убедить. Именно в этом, а не в своей невиновности. Вы им не свой, только не подозреваете об этом. Есть христиане, которые не подозревают, что они христиане. И это — самые лучшие из них. Так и вы. Не свой, вот в чём ваша вина. Однако не всё для вас потеряно. Ведь война на носу, мы только не говорим об этом. И наши ганнибалы, конечно же, не справятся, просрутся. И так как слишком многих убиенных уже не воскресить, то вся надежда будет на вас, мой генерал.

— Да в том-то и дело, что не верят они насчёт войны.

— Верят, не сомневайтесь в этом. И боятся смертельно.

— Почему же армию так разоружили, лучших людей — в распыл? Ну, провинились, допустим, так и держали бы их про запас по тюрьмам...

Задавая этот вопрос, он о себе спрашивал, и «писучая жилка» это понял, ответил и с печалью, и с явным желанием приободрить:

— Вы дослужитесь до маршала. Если только выдержите. Боже мой, как трудна ваша задача! Мало побеждать во славу цезаря, надо ещё все победы класть к его ногам и

убеждать его, корча из себя идиота, что без него бы не обошлось! Ваши несчастные коллеги этого не поняли, вот в чём они провинились. Но вы спрашиваете, почему нельзя было, учитывая их заслуги, что-то другое для них придумать, почему обязательно – смерть? Не так ли, мой генерал?

– Так.

– Я думаю, правы те умные головы, кто исследует для этого случая модель воровской шайки, законы общества, которое себя чувствует вне закона. Воры и бандиты никакого другого наказания не знают, только смерть. Это даже не наказание, это просто мера безопасности. По тюрьмам будут сидеть те, кто у них не вызывает опасения. Но при малейшей опасности... Вы меня понимаете?

– Что-то слишком они стараются, – сказал генерал. – Зачем столько, удивляюсь я. Одного напугать как следует – это трём тыщам наука.

– О, вы преувеличиваете совокупный интеллект человечества. Оно плохо усваивает уроки истории, то есть даже совсем не усваивает, и приходится эти уроки повторять и усиливать, главное – усиливать. Так что наши следопыты действуют мудро. Инстинктивно, а – правильно. Они проводят величайший исторический эксперимент. Чтобы искоренить неискоренимое – собственность, индивидуальность, творчество – они положат хоть пятьдесят миллионов, а напугают полмира. Эксперимент – бесконечный и заранее обречённый, через тридцать-сорок лет это будет ясно всем. Но на их век работы хватит.

– Что-то мрачно вы рисуете, – возразил генерал. – Что же они, о внуках своих не думают?

– Напротив. Всё и делается ради внуков. По крайней мере так часто они об этом твердят, что и сами поверили. Только не знают, что внуки от них отшатнутся в ужасе.

– Ну, кто как. Некоторые и погордятся. Это же как бы новое будет дворянство.

– Вы думаете? А пожалуй, вы правы... Кстати, как мы условимся их называть? Просто – «они»? Ведь нет им аналога в мировой истории.

– Злыдни, – сказал генерал. – Злодеи.

– Позвольте, мой генерал, не согласиться. И самый главный из них – не злодей. Он – слуга народа. Я не думаю, что ему доставляет удовольствие уничтожить таланты, он даже старается кое-кого защитить. Но это ему не

всегда удаётся. Народ любит казни, а он — восточный человек, он понимает такие вещи. И глупо называть его извергом. Он просто придумал новые правила игры. Представьте, вы играете в шахматы, и ваша пешка ступает на последнее поле. Ваш противник обязан вам вернуть ферзя. А он берёт да этим ферзём — вас по голове. Оказывается, он ввёл новое правило, только вас не предупредил.

— И какая же тут защита?

— А никакой. Не садиться играть в такие игры, где правила меняются с каждым днём. Как только сели — Господь Бог уже не на вашей стороне, всем теперь заправляет сатана. Вы, мой генерал, по роду своей профессии играете в эти игры, так должны быть готовы ко всему. Пусть вас утешит, что наши худшие опасения всё-таки не сбываются. То есть не всегда сбываются.

— Но, может, и у него свои правила, у сатаны? — спросил генерал, усмехаясь. — Не одно злодейство на уме?

— Мой генерал, вы на верном пути. Вам надлежит усвоить: ничто у нас никогда не делается из побуждений добра, то есть делаются и добрые дела, но всё равно из каких-то гнусных соображений. Я верю, например, что у вас всё кончится хорошо — но не потому, что кого-то одолеет жажда справедливости, кто-то за голову схватится: что же это мы творим! А вмешается — дьявольская сила. Вот на неё и надейтесь. Она окажется сильнее. Бог эту страну оставил, вся надежда — на Дьявола.

Между тем всё то, что казалось таким ясным и очевидным в камере, в их «размышлениях у параши», не оказывалось таким в кабинете следователя. Игру, от которой предостерегал «писучая жилка», генерал не мог пресечь, не мог сомкнуть уста и вовсе не отвечать на любые задаваемые ему вопросы. Так, верно, следовало поступить при начале следствия, но не тогда, когда уже согласился хотя бы назвать своё имя и звание — то, что следователь мог вычитать из документов, изъятых у арестованного. И надо было обладать волшебным умением пропускать мимо ушей вопросы и обвинения самые чудовищные, подчас идиотские, от которых кровь бросалась в голову и затмевала сознание.

— Вы же лакей Блюхера! — кричал Опрядкин. — И вы эту связь будете отрицать?

Кобрисов был «лакеем Блюхера» в той же мере, как и лакеем Ворошилова, а связь была такая, что Блюхер

командовал, а Кобрисов ему подчинялся. Но теперь выплывало, что слишком хорошо подчинялся, Блюхер на смотрах и учениях ставил его дивизии самые высокие баллы, а его самого представил к ордену Красного Знамени. И говорил не раз, что может вполне положиться на дивизию Кобрисова.

— Это — в каком же смысле? — спрашивал Опрядкин. — Это когда придёт время открыть границу японцам?

Свой вопрос повторял он часто, и всякий раз генерал так и видел себя, поднимающего полосатый шлагбаум, и колонну ожидающих грузовиков с желтолицей пехотой.

Об одной детали Опрядкин говорил не без удовольствия, что она далеко не лишняя в его «следовательской копилочке». На обычных стрелковых мишенях, где изображался бегущий в атаку пехотинец, он был в мелкой каске — неопределённого образца, скорее английского (напоминание об Антанте). Так вот, генерал зачастую на стрельбищах выражал недовольство этими, утверждёнными Наркоматом обороны, мишенями, говорил, что каски следовало бы намалевать глубокие, как у немцев, какие и придётся увидеть стрелку.

— Это что же? — вскрикивал Опрядкин. — Считали возможным противником Германию? И это вы бойцам внушали? Перед лицом вооружающейся Японии?

И самое стыдное, генерал почему-то страшился так и сказать: «Да, считаю Германию!» Он предвидел, какой вопрос за этим последует: а как определил он возможного противника? Ответить ли, что *по сходству?* Исходя из того, что два медведя не уживутся на одной поляне, в какую сейчас превратилась Европа?

— Да вы это о чём? — вскипал гневом Опрядкин, точно бы прочтя его мысли. — Вы и думать об этом не смейте. Разве не ясно товарищ Молотов сказал, Вячеслав Михайлович: «Мы с немцами братья по крови». Не читали? Быть того не может! Сознательное притупление бдительности в войсках — вот как это называется. Разоружение перед реальным врагом.

Более всего поражало и бесило генерала, как всё то, что, казалось бы, могло считаться заслугой, выворачивалось ему в вину. Имел грамоту за высокую дисциплину в частях — но Красная Армия славится не *тупым подчинением,* а высокой сознательностью; для того и муштровал дивизию, что расхлябанная не соберётся тотчас в кулак и не

пойдёт, куда он прикажет – хоть и прямиком в японский плен. Много внимания уделял противотанковой обороне, защитным приёмам одиночного бойца – это прекрасно, но какие же у японцев танки, против них рукопашный следует применять, *наш излюбленный* бой, которого они избегают, а он-то в дивизии Кобрисова был не в почёте, и не странно ли это для конника, знающего цену острой шашке? Учил манёврам отступления – это ещё зачем? Это не наша доктрина, мы наступать будем, воевать на чужой территории и малой кровью. А перед кем нам отступать?! Сюда же ещё улика – своих командиров, переводимых на Восток с западной границы, поощрял вывозить оттуда и семьи, охотно давал им на это отпуска и сопровождающих для укладки и переезда, выбивал у местных властей жильё для комсостава – да никак целую республику хотел создать на Дальнем Востоке, с последующим отторжением под эгиду Японии?

Так сама земная твердь уходила из-под ног, так любые его поступки оказывались шагами к расстрельной стенке. Иной раз генерал, чувствуя себя спелёнутым этими изощрёнными путами, взрывался и лез напролом:

– Но вы же никаких заслуг не цените! У того же Блюхера – не было их? Или у Тухачевского?

– Какие же, интересно? – вскидывался Опрядкин. – Что вы считаете их заслугой?

– Убираем протокол?

– Убираем, это мне самому интересно. – И Опрядкин захлопывал папку.

– Если война грянет, вы же Блюхеру скажете спасибо, что у нас танки есть. И неплохие танки. А если у нас и самолёты есть, то скажете спасибо Тухачевскому.

Он тут же спохватился, вспомнив, как называл аресты и Тухачевского, и Блюхера головотяпством, преступлением. Но, верно, слышавшие это не донесли на него.

– И скажем, – отвечал Опрядкин с некоторым удивлением в голосе, будто ждал откровенности куда большей. – За танки и самолёты мы и сейчас им говорим спасибо. Вы думаете, товарищ Сталин не ценил их? Не ценил Уборевича, Якира? Очень даже ценил и ценит. Но расстрелять-то их – надо было.

– Да почему «надо»?!

– Они в заговоре участвовали или нет?

– И это доказано?

— Собственноручными показаниями! Признавались, как у попа на исповеди.

Генерал на это замыкал уста. Опрядкин подозрительно озирался вокруг и понижал голос:

— А вы сами — не понимаете, почему их ликвидировать пришлось? Они же стали бы тормозом. Обновлять нужно армию, а они молодым не дали бы ходу. Если сейчас их не убрать, потом будет поздно. Это, если хотите, сверхпредвидение.

— Так вы из людей, из вернейших, заранее врагов делаете! Зачем?

— Фотий Иванович, а из кого же их делать? Бывает, самый лучший враг — из своих, который вчера ещё другом казался. Больше он злости вызывает. Ну, это в порядке юмора, не под протокол. А если серьёзно, то советская власть никаких врагов не боится. Столько у неё единомышленников — во всём мире, не только в стране, — что их всех и не прокормишь. Так что она себе может позволить такую роскошь — друзей на прочность проверить, а кого и ликвидировать, даже самых верных. Если это надо.

— Опять «надо»!

— Да! Да! Значит, были на то соображения. Вы поймите: советская власть — это ослепительный вариант! Это такая удача в мировой истории, что все наши ошибки не могут нам повредить! Если вы вдруг миллион выиграли, неужели вы пожалеете сто рублей на шампанское? Советская власть может себе позволить всё. Уничтожить сотни тысяч, миллионы. И сотни тысяч, и миллионы встанут на её защиту. Такие ценности написаны на её знамёнах. Вы возьмите меня — кто я был? Подкидыш, беспризорник. С чего началась моя карьера? С того, что я украл одеяло. Укрыться хотелось потеплее, Фотий Иванович, не пропить, нет. Я жил в дровяном подвале, там холодно. А меня накрыли, били сапогами в поддых, лежачего... Вас, кстати, ещё не били сапогами?.. И кто меня выручил? Сотрудник ГПУ Удальцов Фёдор Палыч. Он мне сказал: «Лёва, я знаю, ты от меня убежишь, но ты наш человек, Лёва, попомни мои слова, ты к нам придёшь». Я убежал тогда, скитался два года, воровал в поездах — и вернулся. Я осознал — всё, что я мечтаю получить, мне только советская власть может дать. Образование, почёт, самоуважение. И вот я с одеяла начал, а теперь — старший лейтенант государственной безопасности. А завтра — капитан...

— А послезавтра — майор.

— Да! — вскричал Опрядкин. — Да! А там и старший майор. А это уже равно генералу. А ты, сссука, откуда пришёл, — он показывал под стол, — туда и уйдёшь! Тебя революция, советская власть генералом сделали, а ты это ценил? Вот с тебя и сорвали петлицы...

— Я не сука, — сказал Кобрисов. — И я генералом мог при царе стать. Может, даже скорее.

— Ну, знаешь ли!

— Знаю.

Опрядкин, не найдя, чем ответить на эту наглость, вскакивал, некоторое время ходил по кабинету из угла в угол, животом вперёд, разбрасывая ноги в стороны. Затем, успокоясь, брался за свою папку.

— Н-да, — говорил он вздыхая. — Наговорили мы тут, напозволялись!..

— Ничего я вам не сказал, — спохватывался генерал.

— А если бы и сказали? Не под протокол же. Зачем же я буду такой поросёнок — джентльменское соглашение нарушать? Мне ваше доверие дорого, вот чего вы понять не можете. Помогли бы мне построить дело, и я бы вам помог — как от высшей меры уйти. Можно же на покойника свалить — это он, Блюхер, хотел границу открыть, а вы были слепым исполнителем. Вот вам смягчающее обстоятельство. А иначе — вот какой вопрос возникает: мы все его врагом не считали, но почему это он нас обманул, а вас — нет? Вы ж ему до сих пор верите!..

Генерал молчал угрюмо, и Опрядкин, вздохнув, нажимал кнопку вызова конвоя.

— Уведите.

В камере предложение Опрядкина — всё валить на покойного маршала — встретили по-разному. Корниловец от обсуждения устранился:

— Наша чванливая офицерская честь и подумать об этом не позволяла. Но у вас на красных знамёнах иные заповеди: «Всё нравственно, что на пользу пролетариату». Вы сейчас самый что ни на есть пролетариат, вот и думайте.

Товарищ прокурора осторожно заметил, что речь идёт всё-таки о мёртвом, которому ведь ничто не грозит. Корниловец его не удостоил ответом. Совсем иного мнения был «писучая жилка». В очередной «беседе у параши» он сказал:

— Дело тут даже не в чести, а в пошлой прагматике. Этот ваш Блюхер, если мне память не изменяет, заваливал Тухачевского — живого. В составе суда, зная, что невиновен, что всё бред, приговорил к смерти. И что на этом выгадал? Сам через год угодил под тот же топор... Так что не мучайтесь. Я бы на вашем месте подумал о другом: нарушит ли ваш Опрядкин слово?

— Тоже думаю, — сознался генерал.

— Нет, мой генерал, не нарушит. Расстреливать вас будут другие. А он уйдёт в отпуск. Я вижу, вы втягиваетесь в игру, она вас увлекает. Вам уже хочется испытать, держат ли слово урки, бандиты. Держат, у них есть кодекс чести, но только в своём кругу. Так если на то пошло, станьте одним из них. Ну, если не можете совсем отказаться от игры, тогда — притворитесь. Ведь всюду сговор, почему бы и вам не сговориться. От вас не веры требуют, а лишь показать символ веры — так покажите! Убедите их, что вы им верите, не сомневаетесь, что они — рыцари идеи. Им это понравится, и они вам не станут делать худо. А впрочем... Нет, не советую. У вас не получится. Всё несчастье, что мы с вами думаем мозгом, а они — мозжечком, гипоталамусом. Это вернее.

— А не упрощаете? — возражал генерал. — Что-то ж действительно там написано, на знамёнах, из-за чего люди умирать пойдут.

— Он вас не обманул, — сказал «писучая жилка». — Ваш Опрядкин не врёт. Французская революция написала: «свобода», «равенство», «братство» — и рубила головы, ничуть не опасаясь всеобщего разочарования. А у *них* — ещё проще. Они свой лозунг укоротили до одного слова, но зато могут его написать громадными буквами. Только одно: «равенство». Всё остальное — ерунда. «Свобода» — на самом деле никому не нужна, люди просто не знают, что с нею делать. «Братство»? Его нет в природе, нет в животном мире, почему бы ему быть в человеках? А вот равенство — это вещь. Мне плохо, но и тебе тоже плохо — значит, нам обоим хорошо. У меня мало, но и у тебя не больше — значит, у нас много! За это и умереть можно. И никаких жизней не жалко. Ни своей, ни тем более — чужих.

— Ну и век же нам с вами выпал — жить! — говорил генерал почти с восхищением.

— Век разочарований, — «писучая жилка» разводил руками и усмехался, подёргивая небритой щекой. — Взбесив-

шаяся мечта всех просвещённых народолюбцев — толпа наконец приобрела право распоряжаться собою. Сидели бы спокойно при своих династических монархах, которые и убили-то все вместе едва ли больше, чем ваша славная армия в восемнадцатом году. Видите, как всё смещается, когда свергают умеренного деспота, какими были наши цари. Когда в тайге убивают тигра, то размножаются волки, от них урона куда больше. Увеличивается потребление — и каждый хочет воспользоваться своим правом. Сколько прав лежало перед «маленьким человеком» — он охотнее всего воспользовался самым примитивным: тоже быть тираном. Мы с вами говорили о нём, — тут «писучая жилка» на миг устремлял косящий взгляд в потолок, — ему самому много ли надо? Ну, помучить одного-двух, чтоб не напрасно день прожить. В масштабе страны — это пылинка, микроб. Но за это надо заплатить — то же самое разрешить и другому, кто тебя поддерживает, ему тоже хочется помучить...

Генерал не рассказывал никому о методах Опрядкина, стыдился рассказывать, тогда как «писучая жилка» делился охотно всем и со всеми. В чём его вина состояла, генерал понять не мог, как и того, стоило ли так упорствовать, что греко-микенская культура ничуть не ниже той, что привнесла Великая Французская революция, или что Мейерхольд на десять голов выше Завадского или Охлопкова (а по генералу, так пропади они все трое, чтоб из-за них ещё ночами тягали на допросы!), однако же методы следователя Галушко произвели на него впечатление. Этот Галушко тоже себя считал интеллигентом и пути расколоть подследственного выбрал интеллигентные. При аресте и обыске у «писучей жилки» нашли в архиве восемнадцать писем Вольтера — подлинных, как утверждал владелец и против чего нисколько Галушко не возражал — иначе бы его метод копейки не стоил. Вот что придумал он — сжигать по одному письму на свечке, когда подследственный запирался или казалось Галушке, что он не откровенен. Письмо сжигалось в конце допроса, при подведении итогов, так что минутный акт сожжения подследственный переживал заранее долгими часами. И, разумеется, ему прежде показывалось это письмо, даже в руки давалось подержать, дабы он ещё раз осознал его ценность.

Уже три письма было так сожжено, и Галушко пообещал, что как доберётся до восемнадцатого, то самого вла-

дельца оформит к расстрелу – за уничтожение величайших культурных ценностей.

– Да как же он докажет, – поинтересовался учитель логики, а прежде корниловский офицер, – если он доказательства сожжёт?

– Очень просто докажет, – отозвался товарищ прокурора Временного правительства, – ссыплет весь пепел в архивный конверт и даст эксперту, а тот понюхает и напишет заключение, что пепел – тот самый. А где сжёг? Да у себя дома на свечечке, чтоб не досталось народу.

Самого же «писучую жилку» не так поразила перспектива быть расстрелянным за Вольтера, как то, что Галушко назвал эти письма «величайшей культурной ценностью».

– Так, значит, понимает, что ценность? – прямо-таки бесновался он. – Ведает, что творит?

– А они всегда ведали, – сказал корниловец. – Не ведал бы – так не жёг.

Генералу было мучительно видеть, как убивается «писучая жилка» из-за каких-то бумажек, и он, отозвав его в угол, осведомился полушёпотом:

– Позвольте узнать... А копии с этих писем – составлены? Они в надёжном месте? – И, кашлянув смущённо в кулак, добавил: – Если во мне не уверены, то не отвечайте...

«Писучая жилка» взглянул на него с изумлением.

– Боже мой, о чём вы? Да говорите, кому хотите. Копии есть во многих музеях. Они приведены в книгах. Но, мой генерал, он сжигает не копии, он сжигает подлинники!

– Ах, вон что... – сказал генерал. – Да, я понимаю.

И ему самому показалось, что он это понял.

На четвёртом письме великого эпикурейца, которое лишь подпалилось с угла – и тут же Галушко его погасил, – на этом письме «писучая жилка», не битый, не тронутый пальцем, сломался. Он согласился подписать всё, что ни натолкал ему в протокол изобретательный Галушко, и возвратился в камеру с просветлённым лицом, имея впереди восемь лет Соловков, а при его истрёпанном сердце – так и неминуемую быструю смерть.

– Всё! – сказал он генералу, вздохнув освобождённо. – Теперь я – человек.

И странно, с этого дня внутренне оборонился и генерал против своего Опрядкина, понял, что не всё отдано и

растоптано, что и в сломе ещё не падение человека, можно и сдаваясь победить, если избрать своим оружием — смирение, смирение разума перед тупой и дурной силой, которая не есть человек, никак, никогда не может считаться человеком, а потому и оскорбить и унизить не может. И мгновенно это понял Лев Федосеевич Опрядкин, почувствовал своей бесовской интуицией блатаря, что сломался он, а не Кобрисов, когда тот совсем другим человеком явился к нему на допрос. Этот человек не покорно, а свободно протянул руки под его линейку и опустился на колени в углу, о чём-то своём думая. Ни на какие вопросы он не отвечал, он их не слышал.

— С вами невозможно, — сказал Опрядкин. — Я буду вынужден передать вас другому следователю.

Лоб у него заблестел и глаза замерцали от злости, но уголовная этика не позволила взорваться. Он лишь пообещал холодно:

— Завтра же он вами займётся по-другому. Я воздерживался от того, чтобы сделать из вас окончательного врага. Я вас рассматривал как оступившегося, но всё же нашего человека. Мой коллега решит иначе — что вы отсюда никогда не выйдете. Не должны ни при какой погоде. Даже если в чём-то с вами ошиблись, как же вы после этого будете советскую власть любить? Кто в это поверит?

Ни назавтра, ни послезавтра вызова не последовало, и генерал мог свободно предаться раздумьям, что значило такое обещание. Между тем с его сокамерниками происходили перемены. Вызвали с вещами товарища прокурора, который при этом известии немедленно стал лишаться чувств. Настал для него тот час, о котором он говорил слегка дурашливо: «Суд краткий, как свидание с любимой, чтение вслух самого волнующего произведения — приговора. И в этот же день — исполнение всех желаний. Кажется, дают папироску, но я, к сожалению, не курю. Попрошу, чтоб наручники защёлкнули спереди, а не за спиной. С моим животиком это, знаете, неудобно...». Собирать его вещи и выводить из камеры пришлось двум надзирателям и корниловцу, который счёл это «последней услугой товарищу». Он даже просил, чтоб позволили ему проводить товарища хоть до конца коридора, но, разумеется, не позволили.

— И зря, — сказал корниловец, — они же с ним намучаются, а я бы сумел его поддержать. Я бы ему внушил,

что в Лефортове это делают быстро и элегантно, без лишних издевательств.

Через час выкликнули и самого корниловца.

– К исполнению готов, – сказал он, прищёлкнув каблуками.

У него всё было уложено, упаковано в солдатский мешок. Время, полагавшееся на сборы, он отвёл для прощания с камерой, сказал каждому несколько слов, должно быть, заготовленных.

Генералу он поклонился глубоким кивком, и тот ему ответил тем же.

– Знаете, – сказал бывший корниловец, – а всё же хорошо, что мы с вами не встретились в бою, правда?

– Правда, – отвечал генерал. – Сейчас-то я куль с дерьмом, а тогда плечико у меня было – будь здоров! Мог до седла разрубить.

– Но вы не знаете, какая у меня была тогда реакция. Ваш удар я бы успел предупредить. Однако, что ж это мы машем шашками после драки? – он помолчал и добавил: – Если вы, господин красный генерал, протянете мне руку, не удивлюсь. Если нет – не обижусь.

Генерал руку ему протянул и пожелал стойкости во всём предстоящем.

– На сей счёт, генерал, вы можете быть уверены, – сказал корниловец и снова прищёлкнул каблуками.

На другой день отбыл «писучая жилка» на свои Соловки, беззаботный и бестрепетный, точно гору свалил с плеч. Перед уходом он ко всем обратился с речью:

– Сокамерники мои, кто останется жив и отсюда выйдет свободным, а я вам этого всем от души желаю, пусть не забудет и расскажет, что в моём деле, в архиве НКВД, остались пятнадцать подлинных писем Вольтера. Следователь мне обещал, что дело будет храниться вечно. И я надеюсь, что лучше, чем у них, эти письма нигде не сохранятся. Персонально за них отвечает следователь Галушко. А впрочем, это имя можно не запоминать. Запомните – Вольтера.

Камера обещала запомнить и пожелала ему освободиться с полсрока.

К генералу он подошёл попрощаться отдельно.

– Мой генерал, я навсегда запомню наши беседы у параши. Они были чрезвычайно интересны, полезны и плодотворны. Вы согласны?

— Я тоже запомню, — сказал генерал.

— Это не может быть иначе. Ах, мой генерал, неужели вы всё это когда-нибудь забудете? Нет, вы теперь — другой. Но я хочу надеяться, что вы стали христианином, который уже знает, что он христианин, и равно любит как друзей своих, так и врагов. И когда грянет тяжкий час для нашей бедной родины, вы, мой генерал, покажете себя рыцарем и защитите её — со всей человеческой требухой, которая в ней накопилась.

— Не знаю, — сказал генерал. — Да кто их защищать-то будет, сукиных сволочей, когда они такое творят!

— Вы, мой генерал. И — наилучшим образом!

Они обнялись, похлопали друг друга по спине и прослезились немножко.

После отбытия этих троих он себя почувствовал совсем одиноко, тоска обострилась, но с теми, кто их сменил, он уже не хотел сближаться. Он — думал.

Он думал о том, что человек обязан выйти с ружьём в руках на порог своего дома и защищать этот дом и свою семью, не щадя своей жизни. Безоружный, он обязан умереть достойно, не целуя сапоги палачам. Но кто осудит, если мучения пыток он не вытерпел, не согласился терпеть, да просто не рассчитан на это — как танк не рассчитан, чтобы его резали газовой горелкой! И он твёрдо решил: когда они его позовут в ту комнату — почему-то ему казалось, что *это* делается в особой комнате, — когда они только достанут мерзкие свои орудия, он скажет: «Не надо этого. Пишите там, что хотите. Я подмахну». Но это, решил он, только если своими показаниями никого другого не потянет он за собою в смертную яму. На себе самом он поставил крест. «Писучая жилка» ошибся. Никакая дьявольская сила не вмешалась, чтобы его, Кобрисова, спасти.

И, как бы в подтверждение этого, однажды утром надзиратель забрал у него гимнастёрку, а взамен выдал серую, больничного вида, пижаму — тоже без пуговиц, застиранную до ветхости, но хоть не пахнущую потом. А поди, пропитана бывала обильно, подумалось ему, потому что в этом, наверное, и приводят в исполнение, нельзя же командира Красной Армии в форме, даже и со срезанными петлицами... Соседи по камере смотрели на него сожалеюще. И он, почувствовав себя уже отъединённым от них, от всего человеческого, не устыдился жалких своих обносков, но сформулировал раздумчиво: «Тут всякая мелочь направ-

лена к унижению человека. И так – до последнего его шага».

На другой день, когда его выкликнули, была в тюрьме необычная тишина. На целый час запоздали утренняя каша и чай. И вызвали его в необычное время – в полдень, и никто не встретился по пути, не пришлось отворачиваться к стене. Шаги его и надзирателя звучали гулко в гробовой тишине. Что-то чувствовалось напряжённое и зловещее в этих переменах.

Но встретил его в кабинете тот же Лев Федосеевич Опрядкин. Встретили – полутьма от наглухо затянутых штор, мягкий свет лампы, отвёрнутой, чтоб не беспокоить, и странные предметы на столе, заменившие толстую папку, – бутылка коньяка, две бутылки минеральной воды, нарезанный уголками торт.

– Как это понять, гражданин следователь? Новые методы воздействия?

– Никаких методов, – сказал Опрядкин. – Поскольку вас от меня забирают, хочу попрощаться по-хорошему. Чтоб не поминали меня лихом.

Он разлил коньяк в пузатые фужеры и протянул на серебряной лопатке увесистый ломоть с ядовито-зелёным и розовым кремом. Генерал помотал головою.

– Напрасно отказываетесь, Фотий Иванович. Последний довоенный торт. Сегодня ещё можно купить без очереди.

Тут вспомнились генералу непривычная тишина и что никого другого не вызвали сегодня на допрос.

– С кем же война, гражданин следователь?

– Вам ли спрашивать, Фотий Иванович? С вашим предполагаемым противником, с кем же ещё.

Ни в голосе, ни в лице Опрядкина не выразилось смущения. Не в первый раз и не в последний наблюдал генерал в соотечественниках своих эту чистосердечную правоту: «Тогда было такое время и такая была установка, и я говорил так, а теперь время другое и другая установка, и я говорю другое. И просто смешно меня в этом укорять». Некоторые ещё добавляли, что нужно знать диалектику.

Генерал и не укорял, только спросил:

– И когда ж это он напал, мой противник?

– А почему вы думаете, что это он напал? А может быть, мы его упредили?

Генерал лишь пожал плечами. «Если бы упредили, — подумал он, — ты бы меня коньячком и тортиком не угощал».

— Вчера, в четыре утра, — сказал Опрядкин. — Вероломно, без объявления войны.

Он всё стоял с куском торта на лопатке, в глазах его уже разгоралось мерцание злости, и показалось, он сейчас вмажет этот кусок арестанту в непокорное рыло. Было омерзительное предощущение сладких сгустков, ползущих по лицу, спадающих с носа и губ. И тогда арестант не выдержит, расплачется от унижения и бессилия.

Лев Федосеевич вдруг улыбнулся. Он понял генерала по-своему:

— Боитесь отравы? Не тот вариант, Фотий Иванович... Зачем? Хотите, с любого края отведаю? Да хоть от вашего же куска.

Он и вправду отведал. Генерал, которому эта мысль в голову не приходила, подивился только: был, значит, и такой *вариант*, отчего же не применили? Ему всё ещё не верилось, что он *понадобился*. И вдруг увидел на диване свою отглаженную гимнастёрку с пришитыми петлицами, придавленную тяжёлой кобурой.

— Что ж, гражданин следователь, — сказал он, поддёргивая спадающие штаны, но уже голосом построжавшим, уже как имеющий власть, — вместе будем теперь отечество спасать?

— Каждый на своём месте, — отвечал скромно Опрядкин. — И я вам не «гражданин следователь», а товарищ старший лейтенант. А вы, товарищ генерал... вам сейчас пришьют пуговицы, а то так не годится... поедете в свой наркомат. Вам доверяют дивизию.

— Что, уже другую формировать?

— Дивизию вам дают на западе. Она сформирована, но, насколько я знаю, отступает в беспорядке. Есть мнение, что под вашим командованием она отступать не будет. В противном случае могут вас и расстрелять. Это жалко, все мои труды пойдут прахом. — Под тяжёлым взглядом генерала он перестал усмехаться и добавил: — Полетите сегодня ночью.

— А семью мою известили, что я освобождён?

— Вашу семью не ставили в известность, что вы под следствием. А сегодня за вашей семьёй посланы люди, два

расторопных тыловика – помочь уложиться и переехать. Ваша квартира в Москве готова. В самом центре, на улице Горького.

Генерал медленно повернулся выйти, ещё не до конца веря, что его сейчас не остановят:

– Пойду сам уложусь.

– А всё же напрасно вы моим угощением побрезговали, – сказал Опрядкин даже с какой-то печалью. – Эх, Фотий Иванович, золотая вы ошибка моя! Если б вы знали, какие звёзды решали вашу судьбу! А без мелкой сошки всё-таки не обошлось, без Опрядкина Льва Федосеича. Это его участие вас спасло. Ну и, конечно, то, что товарищ Сталин особо доверяет кавалеристам.

– Давно уже я не кавалерист.

– А это неважно. Вы кавалерист по гражданской войне. И не возомнили о себе. Товарищ Сталин не любит тех, кто возомнил. Может быть, ваше счастье, что вы тогда не слишком прославились. Я так и написал в характеристике: «Скромен. Чтит товарища Сталина как спасителя социалистического отечества». И, как видите, помогло!

Генерал это сообщение принял молча.

– Есть вопросы? – спросил Опрядкин.

– Есть, – сказал генерал. – Можно считать беседу нашу законченной?

– Вас просто тянет в камеру, – сказал Опрядкин с досадой. – Что вам укладывать? Всё ваше здесь, поедете прямо от меня.

– Должен я с соседями попрощаться.

– О! – воскликнул Опрядкин, сверкнув глазами. – Вы уже причастились, освоили тюремную этику. И вы так и пойдёте – в этом рубище?

– Так и пойду. Неужели при генеральских петлицах прощаться?..

– Ну-ну, – Опрядкин покачал головой в изумлении. – Когда попрощаетесь, не оглядывайтесь на дверь. Иначе вернётесь к нам.

– Знаю, – сказал генерал.

– Знает он, – подтвердил надзиратель. – Учёный...

Опрядкин его осёк пронзающим взглядом. И велел сопроводить арестованного уже как вольного.

Всех дней генерала Кобрисова не хватило узнать, что означали загадочные слова Опрядкина: «Какие звёзды решали вашу судьбу!» Он это понял так, что на каком-то

столе его судьба случайно была переложена из одной папки в другую, и этим-то всё решилось. Но ничего случайного не происходит в заповедной области судьбоносных бумажек. Две звезды и в самом деле рассиялись над его судьбою. В первые же часы войны на стол будущему Верховному, на его подпись, легли два списка. Имя Кобрисова было в обоих. Один был представлен начальником Генерального штаба Жуковым и содержал три сотни имён командиров, ожидавших своей участи в камерах московских тюрем. Для всех них Жуков не просил ни оправдания, ни помилования, а лишь отложить следствие либо исполнение приговора до окончания военных действий. Предполагались эти действия недолгими и победными, ну а пока требовали возвращения этих людей в строй. Второй список, представленный Генеральным комиссаром госбезопасности Берия, был изъятием из первого; содержалось в нём более сорока имён разного калибра — от майора до генерала армии — тех, кого не расстрелять было бы уроном для тайной службы и личной обидою для её шефа.

Верховный просмотрел оба списка и первый оставил без следов своего пера или ногтя, а во втором против некоторых имён поставил вопросительный знак. Это могло читаться и как сомнение в целесообразности их ликвидации, и как требование так их доследовать, чтобы все сомнения отпали. В отношении же Кобрисова знак «?» скорее всего означал: «Такого — не знаю. Что за птица?» Кроме хозяйственников, не обеспечивших должной боеспособности Красной Армии, в списке преобладали авиаторы, недобитая тухачевщина, как сюда затесался конник?

Ни первого, ни второго списка Верховный не подписал. Но, так как из второго он всё же сделал изъятие некоторых имён, то значит, с другими косвенно согласился, и весь остальной список мог считаться механически утверждённым. А так как он сам был изъятием из первого, то утверждался механически и этот список Жукова, и всем, кто в нём состоял, даровались жизнь и свобода вплоть до конца войны, а с ними, стало быть, и возможность заслужить прощение.

Судьба Кобрисова могла бы и так решиться, чтобы примкнуть ему к тем двадцати пяти, которых в октябре, в дни панического бегства из Москвы, увезли в Куйбышев и частью в Саратов, и там оказались напрасными все их

препирательства на допросах, стойкость в перенесении пыток, надежды оправдаться перед судом — их расстреляли без суда, по приказу Берии. Судьба же Кобрисова пребывала в шатком равновесии. Берия не знал его — и не имел вожделений непременно ликвидировать. Но не знал и Верховный — и не вспомнил бы справиться: «Как там с этим конником, не расстреляли за компанию?» И тут к звёздам двух сиятельных генералов, Жукова и Берии, присовокупились, чтобы одной из них пересиять другую, лейтенантские кубики Опрядкина.

В те же первые часы войны лубянские стены пронизали два слуха, очень нестойких и противоречивых; собственно, ещё не слухи, но робкие дуновения их. Одно из них говорило, что политика меняется, и некоторых подследственных, возможно, возвратят в строй. Это дуновение отразилось морщинкой раздумья на лбу коллеги Опрядкина, а оттуда перенеслось и на лоб самого Опрядкина. Будет, стало быть, спущен план возвращения, а где план, там и перевыполнение его, там передовики и отстающие. Он даже представил себе плакат, на котором пожилой чекист, с серебряными височками, с шевронами и скрещёнными мечами на рукаве, полуобняв чекиста молодого, белозубо ощеренного, спрашивал: «А ты, сынок, скольких невиновных возвратил в строй?» Опрядкин от этой картинки отмахивался, как от собачьей бредятины, — какие могли быть «невиновные», если арестованы *органами*? — а всё же обеспокоился, как бы не попасть в отстающие, кто не осознал суровости момента, не проявил гибкости, какой потребовали от нас, чекистов, судьба страны и воля вождя.

И само дело Кобрисова уже *посыпалось* — в части его намерений сдать Дальний Восток японцам, маскируясь фальшивыми предостережениями о другом противнике. Что ж, скажет Военная коллегия, предостерегал насчёт немцев, так немцы и напали, какое же тут «притупление бдительности», надо что-то другое поискать. За покушение на любимых вождей, даже *в виде намерения*, можно бы и казнить мерзавца, то есть непременно и беспощадно казнить, но... преступление-то — групповое. А где ж те лейтенанты, непосредственные исполнители? А те лейтенанты небось тряслись со своими танками на платформе эшелона или уже вступили с ними в бой. Высокая коллегия могла спросить: «Их что, отпустили воевать? Доверили судьбу Родины?» И тогда бы их следовало вернуть изо всех

контратак, в которые они удалились от правосудия, или же, если успели погибнуть, выкопать из братской могилы, отрубить кисти рук для опознания и закрыть дело ввиду кончины обвиняемых. Это не избавляло следователя от взыскания, но всё же смягчало его. Однако их местонахождения Опрядкин не знал – и не мог узнать срочно.

А слух другой, противоположный, был о том, что некоторые дела будут сворачивать, то есть участь недоследованных будет решаться не судом и не индивидуально, а оптом, и даже в их отсутствие, ибо зачем же им присутствовать и своими объяснениями отнимать время, разве сам факт ареста не доказывал их вины? Такое вот *укороченное судопроизводство* предоставлено самим *органам* с началом военных действий. Сказать честно, это не нравилось Опрядкину, ведь тогда обесценивались все усилия следователя, его замысловатая игра, тонкие методы. Просто весь интерес пропадал, а вне этого интереса старший лейтенант госбезопасности Опрядкин был человек незлобивый, даже по преимуществу добрый. И не было ему резона подводить Кобрисова под вышку, если это не сулило Опрядкину капитанской шпалы в петлицу или хоть малого ордена. К тому же, коль скоро отпала версия с японцами, переменился и Опрядкин к своему «крестнику»; даже симпатия к нему возникла, а к себе чувство горделивое, что он своего подследственного всё же уважал и ценил, вёл себя с ним тонко, деликатно, ничего ему не повредил, не покалечил, даже и не *опустил* по-настоящему, то есть не подверг унижению губительному, и сохранил для родины как значительную боевую единицу. С чистой душою он вынул из дела Кобрисова уже составленное обвинительное заключение и вложил другое, всего на полстранички, что основания для уголовного преследования имеются, но в этот грозный час важнее для социалистического отечества использовать генерала Кобрисова по профессии. Совсем безвинными и он, и его лейтенанты быть не могли, поскольку органы не ошибаются, но в виде исключения можно было им позволить доблестью либо пролитой кровью заслужить прощение. Что же до танков, затормозивших у Мавзолея и правительственной трибуны, то здесь потребовалась экспертиза по двигателям внутреннего сгорания, и этому эксперту Опрядкин поставил вопрос, отчасти содержащий в себе ответ: «Возможен ли отказ танкового двигателя даже при тщательной его под-

готовке? Если да, то возможен ли он одновременно у двух машин?» Эксперт, привыкший к другим заключениям, взглянул на Опрядкина удивленно и, уловив, что на сей раз от него ждут объективности, написал, что отказ может иметь место, в особенности при неловких действиях водителя, участвующего в таком напряжённом ответственном мероприятии, как парад на Красной площади. Возможен и отказ одновременно у двух машин, поскольку оба экипажа находятся в одинаковом психологическом состоянии. На том дело Кобрисова было приостановлено, и все дальнейшие действия Опрядкина были выражением чистой радости избавления, включая коньяк и торт, купленные не на казённые деньги, но на его собственные.

Так судьба генерала Кобрисова не склонилась к тому, чтобы стать ему двадцать шестым расстрелянным в октябре в Куйбышеве или Саратове, а склонилась к тому, чтоб оказаться в огромном коридоре Наркомата обороны, в толпе командиров, числом не менее ста, выпущенных в тот день из московских тюрем. Здесь были люди с треснувшими рёбрами, затянутые под гимнастёрками в корсеты из бинтов и уклонявшиеся от объятий, были с повреждёнными ногтями, упрятавшие свои руки в перчатки и избегавшие рукопожатий, были с припудренными синяками и выбитыми зубами, они предпочитали не улыбаться. Были и те, кого, как Рокоссовского, и дважды, и трижды выводили расстреливать, зачитывали приговор и стреляли поверх головы, отчего эти непробитые головы покрывались в одночасье сединою. Был и тот, опухший от битья и бессонницы, кто ревел быком за стенкой, сводя с ума соседей, — он оказался из «испанцев», то есть воевал в Испании под именем «камарада Хуан Петров», и едва жизнью не поплатился «за сговор с Франко». В общем их гудении особенно выделялся изумлённый голос одного, подвергшегося более чем странной процедуре: нынче утром к нему явились, увезли в военную прокуратуру и там велели расписаться, что он извещён об освобождении из-под ареста и прекращении его дела за недостатком улик. А он и не арестовывался вовсе, а он и не знал ни о каком деле. И вот теперь, напуганный задним числом, он всё не мог успокоиться, он вибрирующим голосом и с блуждающей улыбкой спрашивал, не могут ли *они там* одуматься и не означает ли вызов его, что где-то вверху спохватились, а где-то внизу недопоняли, и так он шумел, едва не

впадая уже в истерику, покуда его не прервали окриком: «Вот будешь базлать — накаркаешь. Плюнь и забудь!» Если не считать этого чудака, то все находились в приподнятом настроении, и о том говорили их лица, сияющие вдохновением и готовностью. Война началась, говорили эти глаза, говорили жёсткие обтянутые скулы, говорили рты, сохранившие и не сохранившие свои зубы, и вот теперь мы докажем *им*, докажем родному Сталину, что мы никакие не враги народа, мы любим свой народ и всем нам дорогую советскую власть и нашего вождя, мы до сих пор не имели такой возможности — доказать свою преданность и любовь, разве только клятвами и слезами, но ведь Москва слезам не верит, а вот теперь у нас эта возможность есть, и наша ли вина, что нам её подарили немцы? А вскоре принеслось дуновение или чьё-то распоряжение, чтоб все присутствующие командиры сосредоточились по одной стороне коридора, так как по второй его стороне сейчас *должны пройти.*

И вот они выстроились длинно и стройно, и каждый — согласно уставу — *видел грудь четвёртого человека, считая себя первым*, а по коридору, под его высокими сводами, шли двое. Они вышли из высоких дверей и шли неторопливо по ковровой дорожке, один за другим: передний — в полувоенном френче и в бриджах, заправленных в мягкие сапоги, шедший за ним — в кителе и в широких штанах с лампасами. Была некая странность в том, как они шли и как говорили друг с другом. Для них словно бы не существовало этой шеренги командиров, нависших над ними в почтительной стойке, они шли словно бы по пустому залу, и шедший впереди говорил что-то злое своему спутнику, не оборачиваясь, а тот отвечал, заходя то справа, то слева, посверкивая стёклышками пенсне. Они говорили громко, порою даже кричали, но так неразборчиво, что речь их казалась каким-то лепетом. В то же время отчего-то сомнений не было, что они говорят именно о тех, мимо кого проходили, совершенно не принимая их во внимание, — как замечательно это умеют кавказцы, отключаясь от всего окружающего, живя в своём языке, в своём племени, в своей истории.

Остановясь против Кобрисова, первый что-то стал говорить, то ли ему адресованное, то ли шедшему сзади. Тот, во всяком случае, продолжал отвечать, стараясь, как казалось, его успокоить, поправляя своё пенсне и криво

улыбаясь. Прямо перед Кобрисовым стоял некто, обидно маленький, рыжеватый, с грубым рябоватым лицом; он смотрел в лицо Кобрисову с ненавистью; топорщились, как у рассерженного шипящего кота, обвисшие усы, трепетали крылья мясистого грубого носа, — и что-то он лепетал злое, раздражённое и угрозное. В тяжёлом взгляде жёлто-табачных глаз горели злоба, и страх, и отчаяние, как у подраненного и гонимого зверя. В продолжение тех секунд, что он смотрел на Кобрисова, тот чувствовал головокружение, ватное тело будто проваливалось куда-то, ноги его не держали. Показалось, стоявший перед ним что-то спрашивал у него, он повторил свой вопрос, но отозвался стоявший за спиной у него, и тотчас сквозь жёлтые прокуренные зубы выхаркнулась ругань. Не понимая ни слова, Кобрисов явственно различил в невнятном лепете, в гортанных обрывках фраз: «Трусы, предатели, зачем выпустили, никому верить нельзя...» Так слышится злая брань в собачьем лае, в крике вороны. Видеть это и слышать было и страшно, и брезготно — мог ли так вести себя человек военный, да просто мужчина, мог ли — Вождь! Ибо стоявшее перед ним, рябоватое, затравленное, лепечущее, это и было — Сталин.

И никакого заговора против Вождя не было, вдруг промелькнуло где-то на самом краю сознания у Кобрисова. Вождь был сейчас со своей армией, готовой за него умереть, и ненавидел её, и в чём-то подозревал, и не желал говорить с нею на языке, понятном ей. Как насмерть испуганный припадает памятью к облику матери, к её лицу и рукам, так и он припадал к родной грузинской речи. Унизив, изнасиловав чужую ему страну, он теперь убегал туда, к своему горийскому детству, к мальчишеским играм, к семинарии своей, где он себя готовил стать пастырем духовным. И выглядело это как обильный верблюжий плевок во все лица, обращённые к нему в трепетном ожидании.

Кобрисову потребовалось усилие, чтобы не отвернуться, а ещё большее — чтоб удержать лицо от гримасы злости и презрения. Вождь постоял и двинулся дальше. В напряжённом молчании всего набитого людьми коридора слышалась поступь его мягких сапог, поступь танцора на свадьбах, тифлисского кинто, но никак не твёрдые шаги командующего. Шаги Берии звучали слышнее. И даже когда они двое уже ушли анфиладою, командиры ещё

стояли в молчании, потрясённые, только сейчас, казалось, осознавая, что же стряслось с несчастным их отечеством и какие его ожидают судьбы.

Этой ночью, летя к фронту в пустом холодном брюхе бомбардировщика, генерал Кобрисов был под тем же гнетущим впечатлением. Рассеялось оно ещё нескоро — когда он окунулся в свои военные дела и всё более стал ощущать, что судьбы отечества меньше всего зависели от мягкой или твёрдой поступи вождя, а больше от душевного настроя свидетелей. Этот настрой заставляет иной раз видеть и слышать то, чего на самом деле и не было. 3-го июля, слушая по армейскому приёмнику речь вождя, перебиваемую бульканьем воды в стакане, Кобрисов непостижимым образом различал и дрожь голоса, и сдерживаемые слёзы, и стремление проникнуть в каждое, ответно устремлённое сердце — всё то, чего много позднее, увидя и услыша эту же речь в кинохронике, отнюдь не обнаружил; лишь неожиданное обращение «Братья и сёстры!» отличало этот очередной, ну может быть, чуть более торопливый, доклад. Никакого обещания не было, ни удержанных слёз, ни сдавленного дыхания, одно сухое бубненье с акцентом. Это у него, Кобрисова, дрожало в ушах, это в нём клокотали слёзы, это ему жаждалось поднести к пересохшим губам стакан. С идолом ничего подобного не происходило, в нём — ничего не дрогнуло. Он себе не дал труда вложить в свою речь даже толику волнения, пусть бы и актёрства, не попытался войти в роль иную, чем раз и навсегда усвоил. Он знал заведомо, что его воспримут, как хочется ему и независимо от того, удастся ему или не удастся увлечь свою послушную аудиторию.

2

Казалось генералу, он не забудет ни один из дней войны, они впитались в поры его души и тела. Но вот прошло полтора года, и многое, многое кануло в море забвения, над которым высились разрозненные островки, а между ними колыхались среди зыбей всплывшие обломки, которые неизвестно к чему должны были причалить. Так помнилось ему теперь то причудливое, горестное, порою ужасное, что сам он мысленно называл — «поход на Москву».

Третье утро войны застало его в просторной горнице добротного каменного литовского дома, на краю большого села близ Иолгавы, где он вручил командующему армией своё предписание на должность комдива. Окна в горнице были предусмотрительно распахнуты, цветочные горшки сняты с подоконника на пол. Било в уши тугими резиновыми ударами, которые ощущались всей кожей лица, и в большом резном буфете вздрагивала посуда. В двух с лишним километрах отсюда вела бой его дивизия, которой он ещё не видел. Она вела бой наступательный — за Иолгаву, которую сперва прошли насквозь и оставили немцам почти без выстрела, а теперь, занятую немцами, пытались у них отнять.

Генерал Кобрисов уже знал, что командир дивизии застрелился утром 22-го, не вместив в свой разум, почему он должен «всячески избегать провокаций», когда его людей убивают. Командование перенял начальник штаба, который решил «действовать по обстоятельствам», но был вскоре убит. Командовал теперь комиссар, который иного боя, кроме наступательного, не знал и знать не хотел. Всем троим, по-видимому, чужда была великая наука — отступать. Иначе б постарались оторваться километров на сорок, закрепиться на выгодных рубежах, встретить противника при нулевой внезапности.

Командарм, весьма пожилой и болезненного вида, с впалой грудью, сидел, глубоко утонув в диване, прижимая руки к животу. Это не было ранение, это была разыгравшаяся язва. При нём находилась медсестра — женщина крупная и полнотелая, её щедрая плоть рвалась наружу из тесной шевиотовой гимнастёрки с тремя лейтенантскими кубиками; толстые круглые коленки, в нитяных телесных чулках, принципиально не желали быть укрощаемы юбкой. Она сидела с расстёгнутым воротом и открыто ласкала, гладила командарма по его лысеющей голове. От близких разрывов она тоже вздрагивала всем телом, купно с буфетной посудой, и вся была охвачена страхом, но не за себя одну, больше — за командарма. Время от времени он её руку отводил, но было видно, ему вовсе не претит страх женщины за него; даже, кажется, помогает принять важнейшее для него решение.

— Я так боюсь за него! — призналась женщина Кобрисову, хоть это было излишне. — Не дай бог прободение...

Кобрисов подумал, что бояться следовало бы другого «прободения» – трибунальской пулей за оставление Иолгавы, но ничего говорить не стал, увидя его запавшие виски с реденькими волосами, не столько прилизанными, сколько мокрыми от пота: боль, наверное, была нешуточная.

– Ну-ну, так ты мне и вправду накаркаешь, – сказал командарм ворчливо и как бы чувствуя неловкость перед посторонним.

Он ещё раз взял предписание, пробежал глазами и отложил бумагу на диван. Следом взяла и посмотрела бумагу женщина, и он не одёрнул её. Кобрисова это неприятно кольнуло.

– Разрешите вопрос, – сказал он. – А зачем её брать, Иолгаву?

– Как «зачем»! Есть директива Генерального штаба отбросить противника за линию границы, есть на то воля Сталина.

– Он так прямо и приказал – взять Иолгаву?

– Это и не нужно приказывать, общая установка такова. Ни пяди земли врагу.

– А тогда разрешите другой вопрос. Зачем оставляли Иолгаву?

Женщина посмотрела на Кобрисова укоряющим взглядом, в котором так ясно читалось: «Ну, зачем, зачем вы мучаете его? Вы же видите, он болен и так страдает!.. И вы сами – разве не делаете ошибок?»

– Разрешите считать, я дивизию принял, – сказал Кобрисов. – О чём вам и докладываю.

– Вот и отлично! Я надеюсь, под вашим командованием...

– Есть мнение, – не перебил Кобрисов, а использовал небольшое замедление в речи начальства, – что под моим командованием она в полном порядке отступит.

– Я такого приказа не отдам.

– Я отдам. И, поскольку своего расположения у вас нет и вы находитесь в моём расположении, то я вас направлю в госпиталь. В свой дивизионный. А госпиталь – эвакуирую в первую очередь.

– Я мог бы тут, в медсанбате... Всё-таки при войсках...

– Не приличествует командующему. Там будете раненых стеснять. И самим неудобно будет, крику много.

Командарм посмотрел на медичку жалобно – зачем он меня обижает? Она такой же взгляд метнула в Кобрисова.

Но следом посмотрела на своего гарнизонного мужа продолжительно и красноречиво: дурачок мой, ты же ничего не понимаешь, это же *наше* спасение. Она быстрее него поняла, что это наилучший выход. Кто-то перетянул тяжкую его ношу на себя.

— Я, право, чувствую себя предателем, — сказал командарм с той интонацией, с какой начинают фразу, не зная, чем её закончить. — Сваливаю на вас всю ответственность...

— Да ведь я вас, можно сказать, силком отправляю, какое ж тут предательство. Могу и конвой назначить, если будете сопротивляться лечению.

Спустя десять минут, прошедших по большей части в неловком молчании, была подана к крыльцу штабная «эмка», командующий в неё сел — не без поддержки медсестры — и навсегда исчез из жизни Кобрисова.

Нет, это ещё не вся была ноша. После отступления от Иолгавы сделалось ясно — если вообще что-то могло быть ясно, — что внятной боевой задачи у всей армии нет и что Кобрисов принял решение не только за свою дивизию, но и за четыре остальных. Так повис в воздухе, истекающем зноем, задымленном бесконечными лесными пожарами, вопрос — кто же *станет на армию?*

Пятеро комдивов сошлись на лесной поляне, усыпанной песком вперемешку с хвоей, уселись вокруг костерка, в котором пеклась картошка; адъютантам велено было отойти за кусты. Слово, как водится, предоставили младшему по званию, полковнику Свиридову, вида и впрямь моложавого, даже несколько гусарского; он себя без долгих церемоний объявил председателем собрания и секретарём, объявил и единственный в повестке дня вопрос — выборы командарма. Сам же и предложил кандидатуру Горячева, старшего всех годами.

Генерал-майор Горячев, пожилой, морщинистый, с полным ртом стальных зубов, но телом крепкий и плотный, из бывших конников, снял фуражку, обнажив голову, бритую наголо, и вытер её платком — сразу потемневшим от пыли.

— Имею самоотвод, — сказал он, глядя угрюмо на свой платок. — Сложившуюся обстановку не понимаю. Не могу объяснить людям, почему они должны так действовать, а не иначе. Не знаю, куда вести людей, чего от них требовать. Кобрисов — знает. Может быть, и не знает, а только вид делает. Но и на это нужно мужество, а у меня его нет, извините.

Платок он двумя пальцами опустил в костёр, и все смотрели зачарованно, как белая ткань корчится, точно живое существо, которому больно умирать в пламени. Затем посмотрели молча на Кобрисова.

— Тоже не знаю, коллеги, — сказал Кобрисов. — А вид делаю потому, что люди должны чувствовать: они не брошены, как падаль на дороге, кто-то о них думает. Из этих соображений согласен армию принять.

— Кто ещё выскажется? — спросил Свиридов.

Генерал Черномыз, прокопчённый и пропылённый, чьи гимнастерка и галифе свидетельствовали, что он из тех, кто не брезгает ползать под огнём, сказал:

— Я бы всё же Кобрисова послушал, какой у него план. А тогда я решу, принять мне его с этим планом или же не принять. А не так, чтобы он всё взял на себя, а у нас бы у каждого голова не болела. Родину все любят горячо, а ответственность — не так горячо.

Последний опрошенный, генерал Новицкий, человек склада нервического, с измождённым лицом, пребывающий, видно, в большом ошеломлении, сказал раздражённо, едва не истерично, что выполнит любой приказ, но пусть это будет наконец приказ, внятный и членораздельный, ему надоели общие слова и всеобщий бардак.

— Значит, так, коллеги, — сказал Кобрисов. — Контрнаступления не обещаю, ещё не полный идиот и псих. Обещаю — драп. Не простой, а планомерный. Покамест я в верхних эшелонах не вижу ясности, считаю главным долгом — сохранение армии.

Свиридов предложил всем подумать минуты три.

— Руки поднимать не будем. А просто, кто согласен, прошу встать и приветствовать нового командующего согласно уставу.

Сам он остался на ногах. Через минуту и все поднялись в молчании.

Кобрисов, тоже встав и всем козыряя, сказал:

— Благодарю за доверие. Завтра до рассвета, с божьей помощью, побредём потихоньку. А сейчас прошу садиться: может, спеклась уже картошка. И вот я вижу, у Свиридова фляжечка пояс оттягивает. Разрешаю угостить товарищей.

Было потом и сказано Кобрисову, и внесено в его послужной список, и вошло в анналы Генерального штаба, что вверенная ему армия семь раз на своём пути попадала

в окружение и столько же выходила из него, но сам он удивлялся такому выводу. Его можно было сделать, если только предположить, что немцы наступали неразрывным фронтом и что в каждом захваченном населённом пункте они оставляли по гарнизону и, значит, всегда имели свободные резервы, чтоб тут же заблокировать любое появившееся у них в тылу инородное тело, – чего на самом деле не было и быть не могло. Как иначе могли бы существовать обширные полости и каверны, в которых так вольготно размещались партизанские владения, месяцами не знавшие особых утеснений, постоянно державшие оккупантов в напряжении и страхе? Применительно к своей армии генерал избегал говорить о *кольце* окружения – к тому же, как полагается, двойном, к тому же и семикратном, – но предпочёл бы говорить о *подкове*, обращённой своим разрывом то в одну, то в другую сторону, так что всегда оставался выход. Да потому, наверно, и считается, что найти подкову – к счастью: она обещает, что положения безвыходного у вас не будет.

Ещё говорилось потом, что это чудо какое-то, что армия уцелела, не имея связи с высшим командованием, а Кобрисов скромно помалкивал, что потому-то она и уцелела, что лишилась руководящих указаний сверху и жила своим умом. А когда спрашивали его, откуда же черпалась информация о положении в стране, без которой воинское объединение просто погибает, он отвечал маловразумительно, с оттенком генеральской придури: «Разведчиков надо хорошо кормить. Лучше всех. Тогда они свою работу ценят и про свои три «о» забывают». Имел он в виду те три «о», которыми всегда оправдывают разведчики невыполнение задания: «обнаружены», «обстреляны», «отошли».

Дни стояли стеклянно-ясные, безветренные, и далеко разносились запахи гари; казалось, армия идёт сквозь непрестанный, со всех сторон окруживший её пожар. Горели трава и ветви деревьев, горели хаты, горели нефть и сталь, электроизоляция и резина. Горело мясо.

Вся масса войск двигалась тремя колоннами, друг от друга в два, в три километра. Он настоял, чтоб не шли вразброд, но хоть подобием строя, чтоб не было «партизанщины». Так легче идущему преодолеть потрясение оставленности, безвестности. Обозы и госпитальное хозяйство переместили в середину, как это было в Запорожской

Сечи. Были головная походная застава, заставы боковые и тыльная, и была постоянная между ними связь посыльными. Ночами походные заставы превращались в походное охранение. Правда, решив однажды проверить, как же несётся это охранение, он многих застал спящими, свалившимися от непомерной усталости. К счастью, ещё не миновала та пора, когда немцы ночами не воевали. Всех провинившихся он приказал собрать и сказал им, что они этой ночью предали своих товарищей, на первый раз прощается, но впредь проверяющий будет пристреливать спящих, не затрудняясь их будить. Однако и сам он больше не проверял и не требовал об этом доклада, зная, что ничего другого не останется, как примириться.

Немцы, сперва наседавшие на пятки, вскоре оказались справа и слева, временами забегали вперёд. По целым дням слышались отдалённые рёвы моторов, лязганье сотен гусениц. Попозже объяснят генералу Кобрисову и покажут на карте, что маленькой его армии угораздило втереться меж двумя жерновами — танковыми армадами Гота и Гудериана. А наша агентура вызнала, что два корифея блицкрига друг с другом не ладили, совместных операций избегали и своими флангами старались не соприкасаться. Ох, если б соприкоснулись! Позднее они и вовсе разошлись: Гот повернул на Ленинград, на соединение с Гёпнером, Гудериан — к фон Клейсту, на Киев. Преследовали Кобрисова части пехотные, мотоциклетные, кавалерийские, без конца донимали самолёты. Поначалу немцы рьяно пытались что-то отрезать, окружить, но постепенно эти попытки ослабили. Может статься, это объяснялось тем, что какой-нибудь нижестоящий генерал не решался доложить генералу вышестоящему, что с ним соседствует и движется в ту же сторону некое войсковое соединение русских, ибо неизбежно последовал бы вопрос, долго ли соседствует с ним это русское соединение и почему до сих пор оно не разгромлено. Но хотелось объяснения другого: армия, всё разрастаясь и усиливаясь, вызывала к себе всё большее уважение, вынуждала противника остерегаться её и при этом не слишком досаждала ему, она бои не навязывала, она их принимала и при первой возможности из них выходила. Было похоже, у неё своя боевая задача, очень дальняя, которую немцам ещё не удалось разгадать.

А задача была, как и обещал генерал Кобрисов у костерка, чтобы как можно больше сберечь людей к тому

часу, когда он даст бой решающий и переломный *на выгодном рубеже*. Одной этой задачи хватало, чтоб занять все его мысли и силы. Там, где отступавшие не опередили в бегстве свои тылы, там они имели обозы с армейским продовольствием, были у них сухари, мука и крупы, мясные и рыбные консервы и сухофрукты, сахар, жиры, каша в концентрате, были и кухни, и свои пекарни. Слишком поспешные теперь продовольствовались кормами подножными и подручными, прореживали колхозные поля и огороды, в сёлах брали, что попадалось под руку. Увы, скоро кончились благодатные земли сплошь курортной Прибалтики, и сразу почувствовался тот резкий перелом, который всегда поражает путника, ступающего на землю Белоруссии: он видит приземистые тёмные хаты, взывающие к жалости, золотушных детей и неулыбчивых взрослых, болотистые, скудно родящие низины; в этом краю зачастую только и знали картошку и молоко. Ещё был приблудный скот, остатки стада, угнанного на восток, чтоб не досталось ни оккупантам, ни — так уж вышло — оккупируемым. Это огромное, мычащее и блеющее, недоеное, по пути рожающее и околевающее стадо расстреливалось немецкими самолётами, чаще всего штурмовиками «Ju-87», наравне с пастухами-перегонщиками и просто беженцами, но только скотинке не полагалось ни лечения, ни похорон, она невыносимо смрадно разлагалась вдоль дорог в невыносимую июльскую жару, а уцелевшие особи разбредались по лесам или чаще возвращались к своим дворам — и так становились добычей армии.

Армейские снабженцы и самостийные добытчики не делали различия между скотинкой казённой и личной, это к хорошему не могло привести. Близ Молодечно немцы точным фланговым вклинением отсекли головную заставу, а позади выбросили десант. В кольце оказалась вся штабная группа, с которой двигался Кобрисов, — и в кольце огненном: лес, в котором при всей сырости много было сухостоя, загнившего на корню, подожгли с разных сторон огнемётами и зажигательными бомбами. Стены жара сходились неумолимо, треща и стреляя горящими головешками, в панике люди припадали к земле, её сыростный запах казался заменою воздуха, которого совсем не стало. Палило затылок и уши, казалось — они уже дымятся. Но это и пересилило страх перед пулями. И, уже не думая об опасности иной, а только жаждая глотка дыхания, генерал с

полусотнею людей предпринял бросок сквозь пламя. И ещё надо было перебежать широкую просеку, которую немцы простреливали насквозь пулемётами с мотоциклов. Навести окружение столь точное воздушная разведка не могла, помогли, без сомнения, местные жители. Впрочем, об этом не думалось, когда перебегали сквозь пулемётные трассы, перепрыгивая через упавших, кому не повезло и кто, может быть, своими телами заслонили более счастливых. Воздух ворвался в лёгкие опьяняюще, они должны были разорваться от его напора, иссохшей гортани было от него больно. В прохладном лесу, где они отдышивались после перебега, попадались бочажки, ещё хранившие воду после давнего — может быть, ещё майского — ливня. Она была тухла и вонюча, покрыта ряской и пеной лягушечьей икры, иссекаема зигзагами водяных насекомых. Спасшиеся люди, став на колени, разгребали себе касками более или менее чистую воронку, зачёрпывали и пили — и не могли напиться. Он выпил тогда одну за другой четыре полных каски. И лишь после этого ощутил боль и что сапог полон крови.

Свои две пули он, разумеется, не мог не схлопотать. Одна повыше другой прошли насквозь, не задев кости, но идти он не мог, и его сначала понесли на носилках, сделанных из ветвей и шинели, потом раздобыли ему лошадь под седлом.

Он ехал, вытянув забинтованную ногу поверх стремени — слабый и беспомощный, не могший без чьей-нибудь поддержки слезть по нужде. Но наружно он был — всадник, былинного облика воитель и вождь и, не зная этого, являл собою притягательную силу — человека, знающего, куда вести. Если б он передвигался на машине, если бы суетился, даже распоряжался энергично, он был бы от многих взоров без пользы скрыт, но человек на коне, пребывающий в спокойствии и раздумье, помещает себя в центр внимания, он вознесён над головами толпы и владеет её тревогами и надеждами. Он ехал, ослабив поводья, бросив руки на луку седла, морщась от боли, но чувствуя постоянно обращённые к нему взгляды. И далеко окрест разносилась весть о генерале, собирающем несметную силу для отпора.

Нога распухла, и опухоль ползла к колену; было похоже на гангрену, и оставалось только перетянуть ногу жгутиком и отсечь клинком. В деревне близ Орши хозяйка

избы усадила его, завернула штанину, приложила к опухоли тряпицу, сочившуюся пахучим настоем из травок и корней, пришёптывала над нею, затем помазала слюною коровы, лизавшей своего раненого телёнка. Неизвестно, какой был тут главный ингредиент, но день на третий, на четвёртый опухоль стала опадать.

...Теперь уже не помнилось, с какого дня пристроился к его стремени новый для генерала и по меньшей мере странный человек, бригадный комиссар Кирнос. Как-то вдруг с высоты седла генерал обнаружил его подле себя вышагивающим в мрачной задумчивости. В любой толпе военных он бы выделялся обликом неискоренимо штатским: тяжёлыми кирзовыми сапогами с прямыми голенищами, слишком широкими для его тонких голенастых ног, слишком длинной гимнастёркой, сбитым набок ремнём, впалой своей грудью и выпяченным животиком. Чем-то напоминал он больную нахохленную птицу семейства журавлиных, скорее всего неспокойным лихорадочным видом, заострённым носом, исступлённо горящими круглыми чёрными глазами. Вспомнилось — он комиссарствовал в той дивизии, которая предназначалась Кобрисову, и это он предпринял контрнаступление на Иолгаву. И вообще-то не расположенный, как многие боевые командиры, к политработникам, генерал его тотчас отставил от командования и попросил впредь не утруждать себя военными делами. Можно было ждать возмущения, обиды, но нет, с видимым облегчением Кирнос уступил эту должность одному из полковых командиров, которого сам же генералу и рекомендовал, и вот появился рядом и вышагивал часами неотступно.

— Чем могу вам услужить, комиссар? — спросил генерал слегка насмешливо.

— У вас ромб в петлице и у меня ромб, — мрачно ответил Кирнос. — Мы можем и на «ты».

Он не спрашивал, а утверждал непререкаемо, генерал не нашёлся возразить. Полевая сумка у Кирноса, оттягивавшая ему плечо, под напором содержимого расправила все свои гофры и уже не застёгивалась; генерал в ней предположил смену белья, полотенце и мыло, принадлежности для бритья, но оказалось иное. На вопрос, чем это сумка так набита, Кирнос едва не с гордостью показал пачку тонких книжечек, частью во что-нибудь обёрнутых, частью своего, красно-малинового цвета.

— Партийные билеты, — пояснил он. — От коммуниста должен остаться партийный билет. Это доказательство, что он жил не зря и погиб не зря.

Он поведал, что начал собирать свою пачку в первые же часы войны и теперь пополняет её после боёв, после обстрелов и бомбёжек. Генералу рассказывали, как он бродит среди убитых и обыскивает их карманы, которые у рядовых бойцов помещались внутри галифе; чтобы до них добраться, надо было расстегнуть ремень и пуговицы на ширинке. С немалой досадой он пожаловался генералу, что далеко не все партбилеты удаётся собрать. Накануне, к примеру, сидел он на берегу речушки с командиром батальона, беседовали, курили — и были разбросаны близким разрывом шального снаряда. Кирнос остался невредим, только в голове у него до сих пор звенит и слух ослабел — но это, впрочем, уже проходит, — а вот у комбата отделившуюся верхнюю половину туловища перенесло через речку. Бесконечно жаль настоящего, пламенного коммуниста, но ещё досаднее оттого, что в кармане его гимнастёрки остался партийный билет. Нельзя ли, спросил Кирнос, послать за ним людей, ведь это всё-таки память о командире Красной Армии, не говоря о том, что билетом воспользуется враг.

У генерала возникло лёгкое головокружительное ощущение нереальности того, что пришлось услышать, но и поразило соображение, что эти тоненькие книжечки, пожалуй, долговечнее фанерной таблички на колышке, с надписью химическим карандашом. А к тому же и сведения у Кирноса были подробнее, в графе «Уплата членских взносов» он записывал, к примеру: «Погиб 16 июля в бою у деревни Барыбино» и далее координаты этого боя по карте-двухвёрстке.

«А что же, беспартийным учёт не полагается?» — хотелось спросить генералу, но не стал.

— Речушка-то узенькая, Евгений Натанович, — сказал он как можно серьёзнее. — Чего б тебе самому не сплавать?

Кирнос поднял к нему страдающее, искажённое гримасой стыда лицо.

— Не умею, Фотий Иванович. С детства никак не мог научиться.

Он сказал, что не боится ничего, самое страшное для него на войне — форсировать водные преграды.

В горящем лесу он был рядом с генералом и простреливаемую просеку перебегал не спеша, точнее, переходил

журавлиным шагом, тревожась больше о драгоценной сумке. Это он и высказал предположение, что немцев навели местные жители. И с удивлением, всё ещё не улёгшимся, стал рассказывать, как проходили через Каунас и как его жители провожали отступавших:

– Кто-то пустил слух, что высадились на город парашютисты, немецкий десант, и мы это так объясняли бойцам. На самом деле это были не парашютисты. Они бы стреляли, бросали гранаты, но в нас бросали из окон цветочные горшки, куски штукатурки, шлак с чердаков, кирпичи, а то и детские посудины опорожняли на наши головы. Я должен составить политическое донесение, как мне это оформить? Как воздействие вражеской пропаганды? Или раскрылись подлинные настроения народа, который так и не влился в полноправную семью, не успел за два года привыкнуть к новой жизни? Я не могу написать, что это были отдельные жители, это был чуть не весь город. А если это народ, то чему он сопротивлялся? Отступлению?

– Тебе это для себя нужно? – спросил генерал. – Или для политдонесения?

– Я себя и партию не разделяю.

– Это я усвоил, что не разделяешь. А кому всё же конкретно пишешь?

– Партии. Но не теперешней, которую испохабили и разложили, которая утратила всё лучшее, что в ней было, а той, какая должна быть – и будет.

– А, ну это долго... Это значит, пока что – себе... Да ничему они не сопротивлялись. Просто зло срывали.

– Но что мы им сделали? Чем так насолили?

– А разве ничем? В гости пришли без спросу. Расположились, как хозяева.

– Так они же сами позвали! Они же пожелали присоединиться! Большинством голосов!..

– Евгений Натанович, это кто же и когда армию на свою землю звал?

– Как?! Историю надо знать. В начале века армяне позвали русскую армию против турок.

Генерал об этом услышал впервые и сказал коротко:

– Ну, так то – армяне.

Час спустя, проведя его в полном угрюмом молчании, Кирнос ему сказал:

– Ты избрал мудрую тактику – всех прощать.

Но генерал никакой тактики не избирал, просто владело им твёрдое сознание, что все эти люди, окружавшие его, не виноваты. Не по своей вине они проиграли первые бои на границе – только идиот мог приказать им сражаться там и, значит, рассматривать условную и случайную линию как боевой рубеж. Сражаться – и где ручеёк журчит, и где она – середина реки, и где – низ холма. Так облегчили немцам задачу – ворваться на их плечах на позиции укреплённые, заранее предусмотренные для обороны и теперь бесполезные. Вот он услышал о *факторе внезапности*, который составлял временное преимущество немцев, а единственная внезапность была в том, что величайший полководец всех времён и народов оказался недоучкой и дезертиром, на целых одиннадцать дней устранившимся от командования. Что же после этого винить тех, кто сорвал петлицы или зарыл документы? Или тех, кто поднял руки, а потом бежал из плена, пробирается к своим? Генерал велел принимать всех до единого, не делая никаких попрёков. Свинтил знаки различия – будешь рядовым. Бросил винтовку – возьми у погибшего в бою, добудь у врага. Знамя потеряли – вступайте в ту часть, которая его сохранила. Если вообще они нужны, знамёна...

Иной раз целыми часами шёл Кирнос рядом, словно бы и не чувствуя едущего шагом генерала, погружённый в свои мрачные неповоротливые мысли. И однажды, разомкнув бледно-лиловые свои губы, спросил вдруг:

– Фотий Иванович, скажи мне, ты отступаешь или наступаешь?

– Как это? – генерал удивился искренне.

– Ну вот ты говорил, что главное – оторваться от противника, ради этого можно многим пожертвовать. Но мы же от него не отрываемся. Мы с ним непонятно как сосуществуем.

– А не надо мешать ему, и он нам мешать не будет. Зачем ему облегчать разведку боем? Чем больше огрызаешься, тем больше он про тебя узнаёт.

– Но вот я вижу, в некоторых частях пушки волокут – без снарядов! Зачем такая бессмысленная растрата энергии? И так ведь лошадей не хватает. Мы свою артиллерию в Каунасе, поскольку снаряды кончились, всю побросали в Неман. Заводили моторы тягачей и направляли в воду.

– Ух, какие ж бесхозяйственные мужики!

– Чтоб не достались врагу!

— Так и самим же не достались! Затем волокут, Евгений Натанович, что снаряды легче найти, чем стволы. Этих пушечек полковых, семьдесят шесть миллиметров, много выпущено, снаряды для них найдём. Ну, и бросить жалко. Одни прицелы каких денег стоят!

Кирнос едва не час вышагивал молча, потом спросил:

— А всё же ты не ответил мне: ты отступаешь или наступаешь?

— Сам не знаю, — отвечал генерал. — Иду на восток, в Россию. Хочу, понимаешь ли, концом копья Волгу потрогать. Говорят, часовенка там поставлена, где она вытекает из родничка. Там я посижу, подумаю — и скажу тебе, жива ли Россия или уже нет её.

— А злость ты чувствуешь?

— Чувствую, Евгений Натанович. Огромной силы злость.

— На немцев?

— Не только на немцев. Больше даже — на своих.

— А чувство мести — горит в тебе?

— Да кое с кем бы я посчитался...

— Так я скажу тебе, — произнёс Кирнос почти торжественно, с просветлённым лицом, с горящими глазами. — Так ты таки наступаешь!

Генерал ответил, пожав плечами:

— Разницы не вижу. Иду вольный по своей земле. Никто не гонит меня, да вроде и не препятствует никто. А в душе — тоска.

Кирнос, оглядясь вокруг, не подслушивает ли кто их разговор, сказал, понижая голос до свистящего хрипа:

— Этого не может быть, что мы такие одни! Ведь говорят, что мы, земляне, навряд ли единственные мыслящие существа во Вселенной. Почему же в России таких, как мы с тобой и все наши люди, больше нет? Ты представь себе, какие полчища сейчас движутся к Москве! И сколько ненависти они в себе несут, сколько обид накопилось. Но это же не армии, это орды, неорганизованный сброд. Ты, Фотий Иванович, сейчас, может быть, единственный командир, у кого под началом — армия! Я всё думаю об этих пушках и прихожу к выводу, что ты прав. Нужно добиваться полного комплектования. Чтоб у нас всё было своё!

Пожалуй, генерал, уже хорошо пуганный, сорок дней проведший в камерах Лубянки, заподозрил бы провока-

цию, если б не полнейшее, безграничное простодушие собеседника. Оно не могло быть игрой, иначе пришлось бы признать этого Кирноса гениальным актёром, каким он до смешного не был.

— Вот, оказывается, какой ты собственник, — сказал генерал, усмехаясь. — Может, и свой трибунал заведём? Свою гауптвахту?

— Я серьёзно.

— А серьёзно, так у нас покамест только пленные свои. И то не знаем, что с ними делать.

Было их с десяток — взятых в разное время «языков», которых отпустить за ненадобностью нельзя было, они бы стали «языками» для своих, а расстрелять — жалко и не за что. Немцы были послушны, сносили терпеливо все тяготы пути, они форсировали реки бок о бок со своим единственным конвоиром, которого они обожали, приносили ему обед с кухни, а когда он прилегал вздремнуть, охраняли его сон и его оружие. Похоже, они были рады, что война для них кончилась, для полного счастья недоставало только уверенности, что их всё же не расстреляют.

— Своя артиллерия, свой госпиталь, — перечислял Кирнос мечтательно. — Будут и свои танки, и самолёты...

— Вот ты в облаках и паришь, Евгений Натанович, — перебил генерал. — Нам бы о патронах думать, где их пополнить, а ты — о танках... Госпиталь у меня! Ты б в этот госпиталь сунул нос. Что армию больше всего характеризует? Отношение к раненым. Слава богу, мы их не бросаем, не дожили до этого, а толком их полечить не можем. На мою ногу бинтов хватило, а бойцам сестрички любовные подарки делают: своё исподнее режут на ленты и этим перевязывают. А к ранам прикладывают подорожник. Нажуют и прикладывают...

— Но ведь заживают раны, Фотий Иванович?

— Да уж... Заживают.

— Мы всё это возьмём по дороге. Я тут приложу все усилия. И надо быстрее, быстрее идти на Москву. Надо противника опередить, чтоб он не ворвался на наших плечах!..

— Ну, это, положим, хороший генерал не допустит. Только зачем опережать? Знаешь, когда медведь на охотника наседает, хочет его задрать, куда верная собачка медведя кусает? Не в морду, нет, она его за вислую задницу тяпает.

Вот и я *его*, как та собачка, сзади тяпну. И покамест фриц со мной отношения не выяснит, в Москву он не войдёт.

— В Москву мы войдём, Фотий Иванович! — восклицал Кирнос, уже голос не приглушая, и желваки гуляли по его худым щекам, поросшим иссиня-чёрной щетиной. — Оборону там ничего не стоит взломать, да её и нет, она вся погибла на границе, разговоры о резервах — пропаганда, мне-то лучше знать, чем кому бы то ни было. Самое большее там — три полка НКВД. Кремлёвскую дивизию можно не считать, это для почётных караулов, это опереточное войско. И то уже, наверно, разбежалось...

— Но мы же как-никак радио слушаем. Вождь любимый — из Кремля говорил.

— Почему ты так уверен, что из Кремля? Если тебе говорят, что это передаёт радиостанция «Коминтерн», так ты думаешь — из Москвы? А может быть, из-за Урала уже вещают? Из Сибири? Из-за Полярного круга?.. Нет, какая наивность!

— Может, и так. Да что-то блазнит мне, что Москва не сгинула!

— Это ты себя убеждаешь. Это политика страуса. Значит, ещё не понял ты, что всё погибло. И тебе не только армию придётся взять на себя.

— А что ещё? — спросил генерал едва не испуганно.

Кирнос, подняв к нему лицо, искажённое мукой, выкрикнул:

— Всё! Буквально всё!

— Ну-ну, — сказал генерал примиряюще, — перегрелся ты, возьми фляжку у меня в подсумке, водички попей...

Кирнос продолжал, словно бы не слыша его, а может быть, и впрямь не слыша:

— Тебе выпала историческая роль: принять на себя всё руководство страной, объявить себя единовластным и полномочным диктатором. Да, диктатором. И кто будет этому сопротивляться — предъявить ультиматум. Если не примут, перебить беспощадно. Да! «Если враг не сдаётся, его уничтожают».

— Господи, твоя воля, — генерал возражал терпеливо, как будто уговаривая больного. — Хорошую ты мне работу придумал.

— Я не придумал. Так складываются обстоятельства.

— Да зачем это мне? Почему мне?

— Потому что больше некому.

Вспомнив, должно быть, свои же слова: «не может быть, что мы такие одни», он добавил:

— Ну, возможно, ещё десяток-другой генералов найдётся, которым этот бардак осточертел. Пусть будет — совет. Или — военная хунта. Или чёрт его знает, как это будет называться, неважно, лишь бы страну спасти, завоевания революции!.. Почему-то я думаю, что ты будешь — старшим. А я при тебе комиссаром. Я помогу тебе избежать многих ошибок...

«А своих не наделаешь?» — подумал генерал.

Остальной путь до вечера Кирнос молчал, погружённый в свои загадочные раздумья. Разговорился за ужином, в хате, словно и не замечая хозяйки-старухи, собравшей им на стол с дюжину картофелин в мундире, две больших луковицы, бутылку мутного самогона.

— Можно объявить себя военным диктатором, — сказал он, макая картофелину с лепестками неснятой кожуры в тряпицу с солью. — Но лучше — народным президентом. Которого выбрала армия в ситуации чрезвычайной. Это не противоречит духу марксизма-ленинизма, а если угодно, то и букве — учению о вооружённом восстании. Революция обязана себя спасать любыми средствами.

Хозяйка, приглашённая выпить с ними, взглядывала на Кирноса испуганно-уважительно. Едва ли что понимала она в речах двух фронтовиков, поедавших её картошку, и, верно, не чаяла услышать эту музыку в бедной своей хате, в которой вчера только побывали немцы — и пренебрегли, ушли. И непонятно было, как же эта музыка, возвратившаяся из недавних времён, звучала в её ушах — сладостно или зловеще? Об этом спросил себя генерал, приняв некую дозу, так горячо, блаженно растекавшуюся внутри. И ещё о том он подумал, что, наверное, прав был Верховный, когда во всех подозревал врагов. В сущности, каждый мог им стать. Но ведь сам же он эту вражду и породил.

Генерал хотел спросить у Кирноса, что он про это думает, но такие вопросы нельзя было задавать даже и в тылу врага. Впрочем, когда беседа приняла пьяный оборот, Кирнос об этом заговорил сам, прихлопнув ладонью по столу и затем помахивая перед лицом генерала длинным согнутым пальцем:

— Он... ты знаешь, о ком я говорю... он должен быть низложен. Это первое, что надо сделать! И судить всенародно. Он должен ответить за все свои преступления.

Генералу, хоть он думал сходно, отчего-то захотелось противоречить:

– Что ты так на него свирепствуешь? Тебя лично – чем он обидел?

– Я понимаю твой вопрос. «Кем бы ты был, неистовый еврей, если б не революция, не советская власть? Ты бы свой нос не высовывал из местечковой лавки, где торговали все твои предки до четвёртого колена». Шучу, Фотий Иванович... Это – под влиянием возлияния... Итак, отвечаю: меня лично ничем советская власть не обидела. Мне революция, можно сказать, открыла все пути. Имею политическое образование, которого ты таки не имеешь, возможность жить идеями, духовной жизнью. И что же, я за это должен ему простить тридцать седьмой год?

Генерал удивился, что именно такого ответа и ждал.

– Да что за год такой интересный, скажи на милость! Вот слышал я... в одном заведении, где пришлось мне сорок дней побывать: «Сейчас ещё что, а вот тридцать седьмой!» Ну, что же тридцать седьмой? А то, что самих начали хватать, «своих», которые других раньше хватали. Забыл Тухачевский, как он кронштадтцев на льду расстреливал и в проруби спускал? А вспомнилось, поди, когда самого... Главное – самого. Не-ет, я не в обиде на *него* за тридцать седьмой. Да за одно то, что он Бела Куна шлёпнул, я б ему памятник поставил. Этот Бела Кун тридцать тысяч офицеров пленных расстрелял в Крыму. Которые по его призыву к его сапогам оружие принесли и положили. Могли бежать, но не бежали, остались новую Россию строить – революционную! А он их собрал – что значит «собрал»? предложил собраться – и всех перестрелял в долине.

– Он своё получил, – сказал Кирнос. – Я согласен, многие своё получили справедливо – за настоящие, не выдуманные преступления. За то, что уничтожали испытанные партийные кадры...

– В чём испытанные? В живоглотстве, в живодёрстве, ты меня прости. Я так говорить могу, потому что и сам руку прикладывал к неправому делу. И прощения себе не нахожу. В молодые годы я за басмачами гонялся. Да кто такие эти басмачи – с ихними английскими маузерами? Где они скачут на своих арабских скакунах? По московским улицам? Нет, по барханам своим. Да я-то зачем полез в ихние барханы? Я-то чего грудью встал за бедных дех-

кан? Они меня об этом просили? Ещё придёт время – внуки этих дехкан песни сложат про басмачей – и национальными героями назовут. Вот как!..

Хозяйка им постелила на полу, накрыв цветистой занавеской два полушубка. Генерала вполне устроило это ложе, мощам Кирноса оно было жёстко, он постелил ещё и шинель.

Спали, накрывшись одной шинелью, но вскоре генерал почувствовал, что лежит один. Кирнос сидел на лавке у окна, в которое яростно светил молодой месяц, курил, что-то шептал про себя. В звенящей тишине ночи, с таким уютным пиликаньем сверчка, был пугающе странен этот шёпот, похожий на страстную молитву.

– А примет ли она, Россия, свободу из наших рук? – спросил генерал.

Кирнос, тяжко вздохнув, ответил, что сам об этом думает и просит дать ему ещё немножко подумать. Утром, едва тронулись дальше в путь, он продолжил этот разговор с полуслова:

– Что значит «примет ли»? Есть историческая необходимость, народ это обязан понять и поймёт. Мы установим подлинное коммунистическое правительство. В духе священных для нас заветов Ленина. То, о котором мечтали лучшие умы человечества. То, что и называется «диктатура пролетариата», а не тирана, возомнившего себя гением. Если только получится у нас, я благословлю эту войну!

Генералу от этих слов делалось уныло. Не под эту ли музыку – «диктатура», «священные заветы» – стоял он на коленях в углу и протягивал руки для битья линейкой? Умереть за Россию, за народовластие – это да, это понятно. Но умереть за «диктатуру пролетариата»? А что это? Те чумазые слесари и такелажники, те грузчики и шофёры, которые опохмеляются пивом у ларьков и говорят непечатно о бабах, – это их диктатура? Да что они про неё знают?

Кажется, он свои мысли всё же выразил вслух, потому что Кирнос откликнулся:

– Но мы установим диктатуру человечную. Которую каждый примет как свою.

– А такие бывают?

– Мы установим, чего бы это ни стоило!

– Правильно. А кто возражать будет – того к стенке.

– Что ж, расстрел во имя человечности, самый массовый и жестокий – я за. Но это в последний раз!

...Лошадь погибла где-то между Оршей и Ярцевом. Нежданно зашли над лесом «юнкерсы» и сбросили бомбовый запас на головы людей, не успевших не то что разбежаться, но хотя бы пасть на землю. Генералу никто не помог, он остался в седле и только ждал, удивляясь, отчего так долго не впиваются обильные осколки, визжащие над ухом, не изрешетят его и лошадь. Ему не досталось, досталось ей. Впервые с тех пор, как научился ездить верхом, он утратил власть над лошадью; не слушаясь рывка поводьев, она кинулась вскачь сквозь кусты и попала обеими ногами в какую-то рытвину или в барсучью нору. Сквозь грохот бомбёжки он услышал треск ломаемой кости и затем жалкий задушенный, едва не человеческий вскрик. Упав, она ему придавила больную ногу, он света невзвидел от боли, а она продолжала биться, порываясь встать и снова падая...

Подбежавший Кирнос не знал, что делать, как помочь ему выпростать ногу.

— Она встать не может, Фотий Иванович. Обе ноги передние...

— Знаю, что передние, — прохрипел генерал. — Пристрелить её надо. Быстрей!

Кирнос, выхватив пистолет, направил его в морду лошади и так сморщился, побелев лицом, как будто в него самого направили воронёное дуло.

— В ухо! — кричал генерал. — Самое верное!..

Кирнос, вставив пистолет в ухо лошади, которая сразу и странно притихла, бесконечно долго не нажимал на спуск.

— Да не мучь ты её! — взревел уже генерал, едва не теряя сознание.

Кирнос, отвернув лицо, выстрелил. Несколько секунд спустя решился он взглянуть на дело рук своих — и ужаснулся разбухшему, раздавшемуся черепу, выпученному глазу. Лошадь перестала биться, но вылезти генерал всё не мог. Кирнос, точно в столбняке, замер во весь рост под осколками. Помогли трое бойцов, которые, передвигаясь на корточках, оттащили лошадь за хвост.

— Ты в жизни в кого-нибудь стрелял? — спросил генерал.

— Никогда. В первый раз.

Лошадь раздобыли другую, много хуже убитой. С той крепкой литовской кобылкой, могшей чуть не призы брать, было не сравнить водовозного флегматичного мерина,

с отвислым брюхом и нелепыми белыми пятнами по буланой масти.

Кирносу мерин не понравился, вызвал едва ли не омерзение.

— Типичное не то, — сказал Кирнос. — При первой возможности достанем тебе совсем белого.

— Белых в кавалерии не бывает. Бывают — соловой масти. И тогда будет истинное коммунистическое правительство?

Шутка тоже не понравилась Кирносу. Он промолчал.

На другой день он изложил свой план — ему не под силу осуществлять защиту идей с применением оружия, для этого нужны другие свойства души. И он сосредоточится исключительно на руководстве партией.

— Это моя стезя. А ты отвечаешь — за армию.

Генерал покорно свою обязанность принял.

— Надо ещё подобрать способных командиров — возглавить руководство военной промышленностью. В наших рядах такие есть. Но самое главное дело — на тебе и на таких же боевых генералах. Надо переломить ход войны. Выиграть эту войну. Ты — сумеешь.

— Думаешь, так уж я в стратегии силён?

— А кто такие были Чапаев, Котовский, Фрунзе наконец? В военном отношении были неучи, не в пример тебе. Но был в них революционный дух, вот чего тебе не хватает. Надо же наконец-то вплотную познакомиться, что писали Маркс и Энгельс, что говорил Ленин. Тебе бы коечто почитать. Хотя бы «Критику Готской программы». У меня она как раз законспектирована.

— Я и саму-то Готскую программу не читал.

— Саму — не надо. Надо — критику. Ты поймёшь, что жил до сих пор в темноте. Ну, скажем, в полумраке. А здесь ты попадаешь совсем в другой мир, где всё просто, предельно понятно, кристально ясно.

Ночью приснилась генералу «Критика Готской программы». Он её увидел отчётливо — в белом балахоне, с прорезями для глаз. Она выходила к нему, приплясывая, как на танцульках деревенских выходят девки к парням, вызывая отколоть коленце. Почему-то было ясно, что это женщина, и что она — неживая, и почему-то её звали «Критика Готской программы». Кажется, она сама так себя называла. Проснулся он удивлённый и несколько расстроенный: «Ох, неспроста бабы снятся!»

Однажды — уже под Ярцевом это было — прибилась, вырвавшись из своего окружения, группа человек в семьдесят. Кирнос, выявив коммунистов, поставил их на партучёт, провёл с ними краткую политбеседу. Впрочем, суетливых этих сокращений: «партучёт», «политбеседа», которые жизненного времени отнюдь не сберегают, он не употреблял, но всегда — «партийный учёт», «политическая беседа». Вернувшись, он рассказал о «случае возмутительном» — как эти люди попали в засаду. Завела их к немцам вертлявая бабка, у которой всего-то конфисковали кабанчика. Конфискацию она приняла спокойно, разве что губы поджала, и вызвалась проводить гостей в соседнее село, где будто бы немцев ещё не было. А они там были. И она это знала. И ещё кричала: «Так вам и надо, извергам, всю жизнь порушили, испакостили, изговняли, так пусть вас тут всех перестреляют!»

— А не перевелись ещё Сусанины на святой Руси, — подивился генерал. — И что ж, укоротили бабку? И речь бабкину, и бабкин век?

— Да, пришлось... Без суда. Я понимаю... Но есть же законы военного времени!

— А той бабке небось всего пятьдесят стукнуло...

— Не знаю. Ты что, жалеешь её? Ту, которая за кабанчика сочла возможным человеческими жизнями расплатиться?

— Расплатилась-то она, — заметил генерал, чем вогнал Кирноса в мрачное раздумье. — А представляешь, что был для неё этот кабанчик? Небось имечко было у него. А как же, покуда растят его — член семьи. А перед тем как зарезать, прощения у него просят. И почему ж его надо было под мобилизацию отдавать? За что?

Кирнос, снизу вверх, посмотрел удивлённо, сказал то ли серьёзно, то ли шутя:

— Вот не знал, что у генерала Кобрисова кулацкие настроения.

— А нет кулацких настроений. Они — человеческие. Ты мне скажи, комиссар, вот этого коника мы по какому праву конфисковали у сельчан?

— По праву армии. Население обязано считаться с нуждами армии.

— Не то говоришь, Евгений Натанович. Армия имеет права, когда она защищает население, когда наступает. А когда она драпает — нет у неё никаких прав. Молочка попросить — и то нету. Только водички из колодца.

— Спорно. И к чему ты это ведёшь?

— А к тому, что мы всегда всё по праву берём — и всё авансом, всё в кредит. Когда ж отдавать будем? И чем?

Кирнос, с лицом, которое сделалось от злости каменным, сказал упрямо:

— Есть обстоятельства, когда надо суметь подавить в себе жалость. Сентиментальность — только выглядит, как человечность. Но это — суррогат. Истинная человечность бывает иногда на вид страшна. Но — оправданна.

Ответная волна злости затмевала генералу голову, стучало от неё в висках. Как ни странно, а первым, кого пришлось бы расстрелять, оказался бы Кирнос. Чем не диктатор, дай только волю! Но если пришло на ум, что кого-то для общего счастья надо в расход пустить, то почему не с него начать, с Кобрисова?

Некоторое время двигались молча, затем генерал спросил:

— А ты, Евгений Натанович, крестьянские волнения подавлял?

— Не приходилось. Но что такое классовая борьба в деревне, я представление имею.

— Да? — удивился генерал. — А я вот не имею. Хотя, можно сказать, поучаствовал. Вот, хочешь, расскажу тебе про классовую борьбу? В одной волости помогали мы с коллективизацией. Не так чтобы сильно возражал народ, но надо было семенной фонд обеспечить будущему колхозу, а с этим делом всегда сложности большие. Так что пришлось оказать помощь... не останавливаясь перед применением оружия. И вот, крепкий мужик один, по-нашему с тобой — кулак, попросил соседа-бедняка, Афоню... вот, даже имя запомнил... попросил спрятать у себя несколько мешков зерна. Тот согласился — не за деньги и не за долю хлеба, а вовсе бесплатно — потому что не любил этих экспроприаторов, то есть нас с тобой не любил, а хозяев крепких, наоборот, уважал, считал — тот богат, кто умеет своё беречь и использовать, а не тот, кто чужого нахапал. И не думал никто этого Афоню обыскивать... Посадили кулака в холодную — на хлеб и воду, сказали, что сгноят, если не скажет, куда упрятал зерно. День на десятый он сознался. И где хлеб, сказал, и кто его прячет. Взяли того Афоню, повезли в райцентр, на показательный суд. На одной подводе они с кулаком ехали. И он соседа простил по-христиански. Ни словом не попрекнул того, кто его

выдал, всю его судьбу покалечил. А ждала их обоих судьба лютая, одно облегчение — что короткая... А кто же классовый враг-то был? А я и был, Фотий Кобрисов, нынешний советский генерал. И вот понял я: армия существует не для этого. Не для того, чтоб я баб и стариков побеждал да принуждал. Что это за «преобразование» такое, что должны его под дулами и штыками проводить?

Кирнос ни слова не сказал в ответ.

...К августу стало совсем худо. Едва тащилось усталое ослабевшее войско, в изодранном обмундировании, в обувке, которая просила каши, да и десяткам тысяч ртов этой каши уже не хватало, армейские обозы истощились вконец, а земля, по которой шли, была разграблена и нища. С огородов всё уже было вырыто, на полях сожжено, в лесах сорвано и убито всё, что могло быть пищей. Уже не нужно было призывать командиров отказаться от своего дополнительного пайка в пользу бойцов, голодали все одинаково, и генерал голодал со всеми наравне. Подступало бездонное безвылазное отчаяние.

В таком вот отчаянии, когда с утра во рту маковой росинки не было и не обещалось быть, они с Кирносом сидели на земле, прислонясь спинами к дереву, бессильные пальцем шевельнуть и языком. Кирнос ещё вдобавок мучился без курева.

И вышел на поляну солдатик — в горбатой шинельке с бахромою на полах, — пригляделся к ним, склонив набок голову в добела выцветшей пилотке, и произнёс в горестном изумлении:

— Бог ты мой, командующий с комиссаром не евши сидят, бедненькие. А нам-то хоть сухари выдали. Дай-кось поделимся.

Сунув руки в карманы едва не по локоть, перегибаясь с боку на бок, он что-то нашарил, вытащил каменный армейский чёрный сухарь и разломил его надвое.

— Нате-кось, поточите зубки.

Предприняв такие же глубокие изыскания, он вытащил и ссыпал Кирносу на ладонь горстку махорки, вперемешку с сухарными крошками. Двое высокорослых и вышестоящих мужиков смотрели оторопело в курносое лопоухое лицо солдатика, едва достававшего, наверно, до плеча им. Они не догадались поблагодарить его, а он того и не ждал; ушёл довольный, что кого-то сумел ублажить, сам себе объясняя убыточную свою щедрость:

— Нельзя ж так людям — совсем без ничего.

Генерал Кобрисов, с сухарём в руке, чувствуя в горле комок, скосился на Кирноса — у того в глазах стояли слёзы. Стыдясь их и злясь на себя, он их утирал кулаком с зажатой в нём махоркой.

— Я это не смогу забыть... Никогда! — выдавил он из себя. — Я судил о жизни и ничего о ней не знал, а теперь я знаю всё. И я благодарю войну — за то, что дала мне это узнать.

Генерал говорить не хотел. Он знал, что голос его прервётся.

— А мы даже не спросили, как его зовут, — сказал Кирнос. — Наверно, и спрашивать бессмысленно, это он и есть — народ... О котором мы оба с тобой ничего не знали.

«Так сразу ты всё узнал, — подумал генерал. — Даже завидно. А я вот и раньше не знал и ещё больше не знаю».

...По всем прикидкам генерала, он должен был вывести армию куда-то севернее Москвы, скорее всего к каналу Волга—Москва, который мог бы стать рубежом окончательным. Он таким и стал, когда в ноябре подползли к нему танки Рейнгардта и Гёппнера. Есть сведения, что немцам удалось даже переправиться через канал, но лишь на сутки, и место переправы оказалось, по-видимому, ближайшим для них подступом к Москве. По одним отсчётам, это в семнадцати километрах от неё, по другим — в тридцати пяти. И то, и другое верно, всё дело в том, откуда считать — от Окружной железной дороги, бывшей тогда границей города, или от Спасской башни Кремля, служившей издревле как бы начальным верстовым столбом. Суждено и генералу Кобрисову принять участие в тех боях и выбыть из них по оплошности — может быть, извинительной, — чтоб быть чудесно спасённым руками Шестерикова и наступлением Власова. Но это случится в декабре, а в августе 1941-го было ещё так далеко до Волги, которую мечтал он потрогать концом копья...

...В августе он дошёл до малого городка под названием, которое показалось ему знаменательным: Владимирский Тупик; в тридцати километрах от него брала начало из родника другая великая река России — Днепр. Впрочем, и об её истоке не узнал он, поставлена ли над ним часовенка или нет. Вероятно, он проявил бы побольше любознательности и упрямства, если б мог предвидеть, что когда-нибудь свяжется его жизнь с тем же Днепром, но в его

полноводном течении, с плацдармом на Правобережье, с городишком Мырятином, с другой армией, не этой, которую он потерял, отправясь на французский коньяк в Большие Перемерки.

В этом Владимирском Тупике впервые за войну увидели трамвай. Может быть, то была единственная на весь город линия, у неё и номер-то был первый. Вагоны, один красный, другой синий, были с двумя токосъёмными дугами – во избежание вольтовых вспышек ночью. Здесь блюли светомаскировку. Стёкла вагонов были крест-накрест заклеены полосками газетной бумаги, и трамвай вёз на себе плакат: «Трус и паникёр – пособники врага!» Всё в этом мобилизованном воинственном трамвае показалось генералу трогательным и беспомощным. Он необъяснимым чутьём почувствовал, что перед ним до самой Москвы – едва ли не пустое пространство. И он представил себе, как его пересекает орда войск, врывается в столицу, растекается по её улицам и площадям, как его танки, невесть откуда взявшиеся, лязгают по брусчатке и наполняют городской пейзаж чёрным дымом. Он первым делом отворяет все тюрьмы, а затем, надев шпоры, сопровождаемый своими командирами и толпою недавних арестантов, входит в ворота Кремля, поднимается широкой лестницей, идёт по ковровым дорожкам высочайшего учреждения. Здесь обрывалась его фантазия. Далее он не заглядывал – как человек военный, который не привык строить далеко идущие планы. Никогда ни одно сражение не было по такому плану выиграно. Война сама подскажет, что делать.

Стало вдруг ощутимо, что впереди уже никаких немцев нет. Похоже, они на что-то напоролись и растеклись в стороны, опасаясь попасть между двумя огнями. Казалось, уже и нет препятствий всё же дойти до того родничка, но вдруг головная застава упёрлась в чью-то оборону и была обстреляна. Разведка принесла новость: там, в окопах, слышится явно русская речь. А затем понемногу, постепенно стало происходить то, что и всегда бывает в таких случаях, когда наступающие и обороняющиеся говорят на одном языке. Плотная оборона оказалась вполне проницаемой, нашлись такие смельчаки, назвавшиеся «ходоками» или «землепроходцами», которые сквозь неё хаживали погостить и возвращались. С той стороны тоже были «ходоки» и «землепроходцы», они смущённо выведывали: «Вы ж не против нас, верно?» Так, сутки напролёт, стояли одна про-

тив другой две силы, неизвестно чем и почему разъединённые и томимые взаимным притяжением.

И вдруг всё оборвалось. От последних гостей стало известно, что весь передний край в одну ночь заполнился частями НКВД. И как будто передний край отсекли, он ощетинился пулемётными гнездами, засадами снайперов; где протоптаны были тропы мира, поднялись ряды кольев с прядями колючей проволоки, зазмеились в травах и лопухах спирали Бруно. А где и так нехожено было, выросли таблички, извещавшие путника о минных полях. Затем появилась громкоговорительная установка, огласившая окрестность призывами переходить к своим, не слушаясь провокационных приказов командиров. Гарантировались освобождение от наказания, возможность — после надлежащей проверки — встать на защиту любимой родины.

Генерал с Кирносом слушали это сквозь распахнутые окна хаты, на окраине села, и оба молчали. Кирнос был мрачен и нахохлен, лоб его бороздили мучительные складки. Он курил и морщился, не поднимая взгляд. И отчего-то было впервые неловко вдвоём.

Затем появился в небе двухмоторный десантный ЛИ-2, с красными звёздами на крыльях и фюзеляже. Это был первый самолёт, от которого не надо было прятаться. И люди, высыпавшие на улицы, смотрели на него завороженно. Он полетал кругами, должно быть что-то высматривая, затем от него отделились и зависли над лесом три парашюта.

Были у троих этих посланцев одинаково жёсткие лица с глазами ястребиными, которые сверлили и повелевали, вынуждая к заведомой покорности. Было похоже, они себя подготовили к возможной смерти и перешли ту грань, за которой уже ничего не страшно. И оттого неподавимый страх возникал в душе собеседника. Такие лица, подумал генерал, бывают, наверно, у расстрельщиков. Позднее, повидав эту категорию людей, он убедился, что у хорошего расстрельщика, любящего своё дело, лицо зачастую пухловатое и задумчивое, рот небольшой, чувственный и женственный, а глаза мечтательные, с поволокою. Нет, перед ним были отчаюги, боевики, профессионалы ножа, стрельбы навскидку, костоломных и смертельных ударов руками и ногами. Такие часто вербуются из блатных.

Один из них, с перебитым носом, представился старшим, второго тоже назвал по имени и званию. Третьего

почему-то ни он не назвал, ни сам тот не назвался. Этого можно было и не заметить, но за генералом был уже тюремный опыт, камерные предания, из которых он почерпнул, что во всякой группе славных чекистов есть непременно один, который себя не называет; он-то и есть главный. В разговор этот неназываемый не вступал, а только смотрел в упор с нескрытой враждебностью.

Они потребовали оставить их наедине с командующим. Кирнос взглянул на генерала вопросительно и тотчас опустил голову и застыл, как будто ждал себе приговора. Было несколько тяжких секунд, покуда генерал размышлял, а те трое не сводили с него взглядов. Он думал о том, что это всего лишь излюбленная их «проверка на вшивость» и что подчиниться ей унизительно, но не менее унизительно ей воспротивиться, выказав тем свой страх. Он не думал о том, что в эти секунды решает он судьбу другого человека.

— Подожди у себя, Евгений Натанович, — сказал он как можно спокойнее, беззаботнее, всем видом не придавая важности этому требованию парашютистов. — Мы тут с товарищами ненадолго...

Кирнос встал медленно, точно бы отклеиваясь от лавки, с бледным, сразу обострившимся лицом, зачем-то расстегнул и застегнул свою драгоценную сумку, ещё раз взглянул на генерала — показалось, с укором и жалостью. Никто из них троих не смотрел на него, покуда он не вышел.

— И охота вам была с неба прыгать? — сказал генерал. — Хорошо, что ноги не переломали об деревья. А что б вам было чинно не прийти, парламентёрами?

— Это как? — спросил старший, обдав его ледяным взглядом. — К вам с белым флагом?

Тот, который не назвался, смотрел с презрением.

— Не учёл, — сказал генерал, — что так нынче положено встречать окруженцев.

Было тягостное унылое чувство разочарования: вот он пришёл к своим, к соотечественникам, о встрече с которыми всё же не переставал мечтать, а вышло, что прежде всего утратил свободу, какая была у него в самые горестные дни, в задымленных лесах и вонючих болотах, и теперь остаётся лишь пригнуть голову и покорно стать в стойло. Кто ещё так мог бы встретить его, кто ещё так обожает соотечественников своих, как русские?

— Какие намерения, генерал? — спросил старший, с перебитым носом.

Второй смотрел так, словно вот сейчас выстрелит. Третий, который не назвался, его усмирил взглядом, в котором ясно читалось: «Погоди, никуда он у нас не денется».

— Куда ж мне от вас деться? — сказал генерал. — Вы намерения мои наперёд знаете.

— Отчасти знаем, — сказал перебитоносый, с неопределённой угрозой в голосе, налегая локтями и грудью на стол, за которым сидел против генерала, — И кое-какие настроения, имеющие место в вашей, с позволения сказать, группе войск, себе представляем.

— С позволения сказать, у меня армия, — сказал генерал.

Никто из троих не возразил ему, но как не возражают сморозившему явную глупость. А в голове пугающе пронеслось, что, наверно, кто-то же слышал его с Кирносом беседы и как-то сумел передать — да через тех же «ходоков», «землепроходцев»...

— Ваше соединение, — сказал старший, — придётся расформировать по отдельным частям. Есть указания о выходящих из окружения. В таком виде ваша армия существовать не может. Будете противиться — предъявлю вам ордер на арест. На ваше имя, подписанный.

— Вы рискуете. Не забудьте — находитесь в расположении моих войск.

— Мы вас отсюда выведем и черезо всё расположение проведём под конвоем, без ремня. Уверяю вас, генерал, ни один человек из вашего войска за вас не вступится.

Тот, который не назвался, застыл и, казалось, моргать перестал, смотрел колючими глазами в упор. Второй смотрел на него вопросительно: может быть, не церемониться, взять и скрутить? И то и другое показалось генералу разыгранным приёмом. Не раньше они его могли бы вывести под конвоем, чем он отдал бы приказ разоружиться. Иначе зачем бы им тратить время на беседы? Но едва отдаст он этот приказ, они его уж точно скрутят.

— Как люди военные, — сказал генерал терпеливо, — вы должны понимать, что выход из окружения такой массы войск — дело сложное и опасное.

— Как военный человек, — сказал старший, — вы тоже должны понимать: наши люди идут на риск, когда выходят на соединение к неизвестным частям. Неизвестно, кто

вы такие в данный момент. Может быть, продались давно немцам. Может, нападёте и всех нас перестреляете, как куропаток.

Весёлая мысль пришла в голову генералу, и он её высказал:

— Почему ж так неуверенно: «Может быть, продались», «Может быть, нападёте»? Неужто людей ваших, осведомителей, не было в моей армии?

— Я только указываю основания для законного недоверия, — сказал старший. — А без наших людей нигде не обходится. И они представили свои рекомендации. Потому и настаиваем на разоружении.

Генерал закрыл глаза на несколько мгновений, ощутил себя как бы в одиночестве, где можно было принять верное решение, и сказал:

— Оружие сдать отказываюсь. Противник от меня в опасной близости. Оставить людей на фронте безоружными хоть на час — это гибель. Этого я не прикажу. Можете в меня стрелять. Можете убить, но тогда уже вам самим придётся объявить моим людям, чтоб сложили оружие. Жалко, я не увижу, что они с вами сделают.

Все трое переглянулись. Такой поворот беседы, очевидно, был у них предвиден. Тот, который не назвался, еле заметно кивнул.

— Тогда так, — сказал старший, — по одному полку, в походном строю, оружие — тоже по-походному, на ремне за спиной. Орудия, миномёты зачехлены, снаряды и мины, если они есть, отдельно.

— В общем, шаг вправо, шаг влево — считается побег?

— Считается — сопротивление. Выходить в строго указанные время и место. В других местах, при попытке прорваться, будете расстреляны артиллерией и танками.

— А у вас они есть?

— Будете расстреляны всеми огневыми средствами обороны, какие имеются в наличии.

— Блефуете вы, никаких сил и средств нет у вас. Разве что ополчение. А это я знаю, что такое. Я с ополчением в гражданскую навоевался.

Их молчание сказало ему, что он угадал. Он, впрочем, возражал только чтобы выгадать время и всё как следует обдумать. Он знал, что и полчаса взять на размышление не может. Эти полчаса ему зачтутся потом в трибунале. Но ему, даже к удивлению его, хватило и минуты. Оказа-

лось, он давно всё это обдумал. Никуда не уйти было — ни от тех перспектив, какие обещал Кирнос, ни от тех требований, что сейчас были ему предъявлены. Всюду неизбежность.

Ещё частичку времени он выгадал себе, спросив:

— А кто же полки поведёт? Мои командиры или вы своих назначите?

— Второе, — ответил старший. — Вам же нужны провожатые. Кто вашим людям укажет проходы в минных полях?

— Да как-то находили мои люди проходы, ухитрялись... А я с комиссаром — в какой роли выступим?

— За вами придёт машина.

— Закрытая? С провожатыми?

Старший, поглядев на того, кто не назвался, ответил холодно:

— Можно и в открытой.

— Так, — сказал генерал. — И найдутся такие, кто мою армию возьмёт?

— Хоть отбавляй, — сказал старший, усмехаясь всё ещё напряжённо.

Генерал тоже усмехнулся и, заложив руки за спину, прошёлся по комнате.

— В июне что-то не много было охотников. А тут нашлись...

— Так уж два месяца прошло, пора и в чувство прийти.

Ординарец, ворвавшийся с грохотом, всех заставил вздрогнуть. Парашютисты, повернувшие головы к двери, не привскочили, но в руках у всех троих оказались пистолеты.

— Товарищ генерал! — кричал ординарец с порога, не замечая наведенных на него стволов. Этот предшественник Шестерикова и поступал, и выражался своеобычно и несколько невпопад. — С Евгением Натановичем — беда!

— Что за беда? Припадок сердечный?

— Хуже.

— Арестовали, выручать надо?

— Хуже. И сказать вам не смею. Беда, и всё тут!

Генерал, поняв, что он не врёт, кинулся со всех ног, даже подумать не успев, что незваные гости сейчас его догонят и скрутят.

В отведенной Кирносу хате бросились в ноздри генералу запахи жжёной бумаги и порохового дыма. Кирнос,

в странном белом тюрбане, полусидел в углу, куда свалился с лавки после выстрела. Пистолет лежал рядом на полу.

Перед тем как выстрелить, он обвязал голову полотенцем, чтобы не разнесло череп. И всё равно было видно, что в этом комке собраны разрозненные части. Никакой записки он не оставил, лишь аккуратная высокая стопка партбилетов была на столе и несколько страниц из школьной тетрадки в косую линейку, исписанных карандашом, — политдонесение, начинавшееся отчётом о Каунасе. Командирская сумка его была пуста, в перевёрнутой каске — пепел и клочья разорванных и полусгоревших бумаг. Это были его письма, фотографии, давние конспекты, испещрённые поздними карандашными пометками.

«Что же ты сделал, Евгений Натанович? — спросил генерал. — Побоялся, что я твои мысли несоответствующие перескажу кому следует? За кого ж ты меня держал?»

Но дело было не в этом, совсем не в этом.

Как многие самоубийцы, он сохранил на лице выражение, с каким убивал себя, — и это было выражение муки, непосильного для души страдания и тяжкой своей вины. Не перед кем-нибудь, перед самим собою. Точно бы он себя казнил за своё святотатство. Так оно, верно, и было.

Парашютисты стояли за спиной генерала, он затылком чувствовал их дыхание. И неназвавший себя разомкнул наконец уста:

— Интересно, чего это он боялся?

Генерал, вспомнив, что Кирнос говорил ему о жене и сыне, сказал:

— Ничего он не боялся. Контузия у него была.

...Куда девались потом эти парашютисты, генерал не мог бы вспомнить. Они как будто испарились — бесследно и стремительно, как и те части НКВД, заполнившие передний край. Похоже, произошло это при первых же залпах немецкой артподготовки, слишком массированной, чтоб остались сомнения насчёт неминуемого удара. И уже ни о какой проверке окруженцев не могло быть речи, вся забота была — как развернуть в краткие часы громоздкое тело армии для удара упреждающего. Спешно формировались несколько батальонов, куда входили на равных и вчерашние окруженцы, и те, кто их встретил близ Владимирского Тупика, неподалёку от истока Днепра.

В закатный час генерал вышел на крыльцо проводить их. Он их провожал на запад и сам смотрел туда же, где

небо цвело тревожным оранжевым цветом, всё больше густеющим, переходящим в тёмно-свинцовый. Батальоны уходили в ночь, чтобы на несколько часов, пока развёрнется армия в боевые порядки, заслонить её своими телами. Артиллеристы катили пушки на конной тяге, пехота — с тяжёлыми скатками через плечо, в ботинках с обмотками — пылила следом по улице села и пела про них — голосами, соответственно уставу, бодрыми и молодцеватыми:

Час пробил,
Труба зовёт.
Батарея, стройся!
Гром гремит,
Война идёт.
Заряжай,
Не бойся!

За плечами этих солдат — за километрами, окопами, батареями, бетонными надолбами и рельсовыми ежами, и всё же за плечами этих солдат — лежала великая столица, погружённая во мрак и тревожное ожидание. Войска готовились к легендарной обороне.

И дико было представить генералу Кобрисову, как бы он взламывал эту оборону, покуда ещё такую жиденькую, как подавлял бы сопротивление этих людей, ничего не подозревавших и которые так тепло, с чистыми сердцами, приняли его людей, накормили их, поделились «наркомовской нормой» и махоркой.

Но не так же ли дико — плечом к плечу с ними, локоть к локтю, кровью и плотью своими оборонять истязателей и палачей, которые не имели обыкновения ходить в штыковые атаки и выставляли перед собою заслон из своих же вчерашних жертв?

А может статься, и завтрашних?..

Глава шестая

ПОКЛОННАЯ ГОРА

Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..

Н. А. Некрасов. «Железная дорога»

1

Чем ближе к Москве, тем чаще возникали на пути контрольно-пропускные «рогатки», где вместо шлагбаумов перегораживали шоссе грузовики, стоявшие впритык радиаторами друг к другу, нагруженные мешками с песком, и лишь по предъявлении документов дежурному и по его команде раздвигались, давая пройти «виллису». Документы предъявлял адъютант, всякий раз извлекая их из целлофановой обёртки — как из платка или онучи. Генерал молчал, старался глядеть в сторону, с видом брезгливым и настороженным, мучительно ожидая каких-нибудь расспросов. Но дежурные ни о чём не спрашивали, только быстро и косо оглядывали машину и, почему-то вздохнув, козыряли на прощанье. Адъютант вновь не спеша заворачивал документы в целлофан. Но, кажется, они успели всё-таки отсыреть.

Впрочем, всё меньше генерала Кобрисова раздражали эти мелочи, всё реже вспоминал он свои споры с Ватутиным, с Жуковым и уже уставал переигрывать то совещание в Спасо-Песковцах, которое постепенно приходило к одному варианту — тому, какой и был в действительности, — а всё чаще задумывался, что ожидает его в Москве. В общих чертах он представлял себе разговор в Ставке, после которого и в самом деле месяца на полтора, на два отпустят отдохнуть — скорее всего в Архангельское, благо зима на носу, походит на лыжах, проделает эти ихние дурацкие процедуры. После чего, вероятно, позовут формировать новую армию — не для себя уже, разумеется, для чужого дяди. Или дадут училище — выпекать шестимесячных лейтенантов. А то — засадят в каком-нибудь управлении Генштаба бумажки перебирать до конца войны.

Дальше — за тот барьер, который назывался «конец войны», — он не заглядывал, там ему как будто и места уже не было. И всё чаще звучали в нём чьи-то, невесть где подхваченные, слова: «Жизнь сделана». Оказавшаяся такой короткой, вот она и подошла к своему пределу.

А в самом деле, куда ему теперь вкладывать силы, чем увлечь себя? Дачей в Апрелевке? Неужели дойдёт он до того, что жизнь заполнится радостным созерцанием муравья, переползающего тропинку в саду, или дрожью крыл стрекозы над прудом — после того как её наполняли карты и планы сражений, конский топот и лязганье гусениц, сладкий воздух вокруг грохочущих батарей? Всякое созерцание пугало его, оно было началом угасания всех желаний, кроме желания покоя. День ото дня будет всё безобразнее — погружение в непременный послеобеденный сон, потом — сон при гостях, покуда последняя дрёма не смежит веки навсегда. Чем привязать себя к жизни, чтоб подольше выдержать одолевающее притяжение небытия?

Что скажет жена, он тоже представлял себе — огорчится, конечно, а в глубине души всё же и обрадуется, что он, слава те, господи, отвоевался, жив, с нею рядом. Вот с дочками будет потруднее: не раненый, не контуженый, как он им всё объяснит? Разве втемяшишь им в головы, в которых сейчас кисель вместо мозгов, что бывают, хотя и редко, такие случаи, когда снимают именно за успех? Нет же, навсегда он будет для них — незадавшийся полководец, несправившийся командарм. Где «не справившийся»? Да под несчастным Мырятином! А сколько он стоит, этот Мырятин? Десять тысяч? Пятнадцать? Легко считать, если ты пришёл на готовую армию, не тобой сформированную. А если ты сам её собирал — с бору по сосенке, из маршевых необстрелянных рот, из частей, раздробленных в окружениях, сохранивших свои знамёна и потерявших свои знамёна?

Почему-то он спорил с дочками, будто они и в самом деле его корили, и чувствовал к ним неприязнь, и к жене её чувствовал — за то, что не родила сына. Вторую-то, собственно, и затеяли, потому что хотелось парня. И добро бы они пошли в неё, она хороша была молодая, но каково было узнавать в них свою «корпулентность», мясистость лица, и каково ещё будет с ними потом, на выданье. Лошади, думал он, вот бы о чём побеспокоились, а то всё с расспросами, с упрёками!.. Ах, как сейчас недоставало

сына, который бы всё принял к сердцу, как если бы сам прошёл с отцом от рубежа к рубежу, и понял бы его без долгих слов, и не осудил. Сыну-то можно было бы объяснить, что жить им довелось в стране, где орденов и всяких иных наград выдаётся больше, чем в какой бы то ни было другой, и где никакие заслуги не имеют цены, стоит тебе лишь пошатнуться.

Уже замелькали подмосковные названия, он узнавал знакомые места, или ему казалось, что узнаёт, и сердце сжималось от робости и тоски. Он уже рад был, что день кончается и к своему дому на улице Горького он подъедет совсем к ночи. Дочки уже будут спать, а жена выйдет встречать в халате и в косынке, низко надвинутой на лоб, — простоволосая она давно уже не ходила, а всё в косынках, стянутых спереди узлом, — она повиснет на нём, заплачет от радости, и он скажет ей только: «Покорми нас, мать, да и спать уложи, завтра наговоримся». В хлопотах ей и гадать будет некогда, почему вдруг приехали, а утром он уже явится в Ставку, и после того гадать будет не о чем.

Но прежде чем кончился день, кончился бензин в баке, и покуда искали, где заправиться, ходили туда с канистрой, быстро, неумолимо стемнело. А ехать без света, с одними синими подфарниками, не хотелось, всё-таки не фронт, зачем зря себя мучить. Заночевали в дежурке, возле «рогатки», и была грустна и бессонна для генерала последняя эта ночь перед Москвой, всё он кряхтел и ворочался на скрипучей койке в жарко натопленной комнатке. Он зло завидовал своим спутникам, мигом провалившимся в сон, и чувствовал себя уже безнадёжно состарившимся, изношенным, едва не больным.

И что-то тревожило его, дёргало, вырывало из сна — всегдашнее его беспокойство, что он чего-то не сделал, не успел. Девушке Нефёдова так и не написал он, как обещал. Читая Вольтера, отвлекался от всех своих забот, а о той, не виденной, всё-таки помнил. Но так быстро всё отошло от него вместе с армией, он сразу оказался не у дел. И написать ей — тоже не было его делом. И куда-то непременно он должен был вернуться, где давно ждали его, — это, он уже знал, началось засыпание, это пришёл сон, который несколько раз ему снился, так что уже не помнилось, сон это или воспоминание о яви. Было мглистое утро поздней осени, и вокруг были товарищи его, юнкера Петергофской школы прапорщиков; с ними он шёл к вокзалу, где пред-

стояло им разделиться: одни уезжали в Петроград, другие их провожали. Ещё, значит, не распалось их мужское содружество, а выпили они перед тем не на прощанье, а оттого, что настроение было молодое и приподнятое. Но, странное дело, это однокашников своих он видел молодыми, тогдашними, а себя — нынешним, пожилым, с ноющими суставами, и от этого ныло сердце: может быть, это он среди мёртвых? А значит, и среди убитых им?

В те дни на улицах Петергофа много появилось революционной матросни, братишек из Кронштадта и Ораниенбаума, с пулемётными лентами крест-накрест и маузерами, свисавшими только что не до земли, они задирали офицеров и юнкеров, приставали с вопросами: за кого ты и против кого, — и если ты говорил, что ни за и ни против кого бы то ни было, то они решали, что ты за того, против кого они, и затевали драку. Ходить по Петергофу надо было втроём, вчетвером. Кобрисова, рослого и на вид опасного, да при солдатском Георгии на груди, не трогали и одного, но вслед выкрикивали оскорбления и угрозы «будущему золотопогоннику». А накануне они устроили митинг на площади перед вокзалом и призывали не оказывать никакой поддержки гнилому продажному контрреволюционному буржуазному правительству, засевшему в Зимнем дворце. Между тем едва не половина юнкеров школы для того и спешила в Питер, чтоб заступить на охрану этого правительства, а другая половина не видела в том нужды или вовсе была против, но не заодно с братишками. В этом и была сложность: и те, кто уезжал, и кто оставался, и сами эти полосатые братишки — все были сплошь революционеры. И все люто враждовали с революционерами, которые были также и контрреволюционерами. К революции призывал главарь большевиков Ленин, но и генерал от кавалерии Корнилов был спаситель революции, он её спасал от революции Ленина, а министр-председатель Керенский спасал революцию от революций их обоих. Получалось, что у каждого своя революция, а у противника она была — контрреволюция, и кажется, один Кобрисов не имел ни того, ни другого, поэтому и не знал, ехать ему в Питер или остаться, и этого было не решить на коротком пути к вокзалу.

Петергофский вокзал имел две платформы, выходившие из-под высокой остеклённой арки и далее крытые лёгким навесом на чугунных, фасонного литья, опорах;

ближняя сейчас пустовала, и юнкера спрыгивали с неё на рельсы и шли ко второй платформе, где стоял поезд, карабкались на высокие трёхступенчатые подножки, колотились в запертые с этой стороны тамбуры. За пыльными стёклами вагонов мелькали фуражки и лица отъезжавших. Решиться надо было в какие-нибудь секунды, потому что уже пробил второй звонок, и вскоре было бы не успеть перебежать через рельсы: приближался встречный из Питера. В этом месте своего сна чувствовал Кобрисов неодолимое оцепенение, сковавшее и ноги, и всё его большое тело, чувствовал страшную, изнурительную раздвоенность — ему хотелось и опередить встречный поезд, и чтобы он скорее налетел и не пришлось бы уже перебегать. Вот уже последние, кто хотел того, перебежали, вцепились в поручни, повисли гроздьями, и тут поезд тронулся медленно, как бы в раздумье, и они оглядывались на тех, кто оставался, и так до самой последней секунды, когда встречный налетел с грохотом и заслонил их. Вспоминал об этом Кобрисов с грустью и теснением сердца, оказалось это не простым расставанием, но великим русским разломом. Он это смутно чувствовал и тогда, хотя отъехавшим надлежало всего несколько дней отстоять в карауле у Зимнего и вернуться. Не вернулся никто.

А уже через год так сложилось, к тому привело Кобрисова его оцепенение, что где-нибудь в Сальской степи он летел на своём чалом Буяне, с оттянутой назад шашкой, распяливая рот криком: «Даёшь Котлубань!» — а встречно летели с оттянутыми шашками и с криком бывшие дружки, Мишка и Колька, теперь смертельные враги ему — только из-за того, что они перебежали через рельсы, а он нет... Он не знал, как всё это объяснить своим дочкам, и надо ли объяснять, имея на погоне две генеральских звезды. Но почему-то опять он злился и доказывал им, что выбор уехавших оказался не лучшим — было повальное бегство из Крыма, чужбина, голод, позор нищеты посреди чужого богатства и роскоши. Хотели бы они, чтоб их папка зарабатывал им на жизнь, играя на гармони в ресторанах? Или бы в цирке показывал вольтижировку? Да пошли они прочь, не о чем ему с ними разговаривать!

Но понемногу приходило к нему смирение, и прежде всего он примирился с женою, зная, что в споре его с дочками она, конечно, примет его сторону и пресечёт неуместные расспросы. Она примет его сторону в споре с целым

светом и найдёт слова самые убедительные и выскажет их не сразу и не впрямую, но исподволь, в час по чайной ложке, и выйдет само собою, что все кругом карьеристы и шкурники, один её Фотя — талант и храбрец, которого ценить не умеют. Это у неё так славно получалось!

У неё много чего получалось хорошо, а ведь, кажется, и не так умна была. Однако ж ума этого хватило, чтоб заставить его когда-то, притом издали, споткнуться об её лицо. Кажется, впервые он задумался всерьёз, что за таинственное существо связало с его жизнью маленькую свою жизнь. Таинственное это существо, Маша Наличникова, произрастало в деревне близ Вышнего Волочка верстах этак в тридцати, а по другую сторону того же Волочка и на таком же почти расстоянии, дислоцировался тогда его полк. Каким таким чудом они могли бы встретиться? Но всё дело в том, что деревня её была не просто глушь, но глушь с обидою на железную дорогу, проходившую вблизи, на магистраль Москва—Ленинград, глушь с завистью к поездам, проносившимся мимо их полустанка, на котором не всякий-то местный поезд останавливался, к спальным вагонам, освещённым то вечерним оранжевым, то ночным синим светом, из которых вылетали душистые окурки и дерьмо из уборных. Развлечением было прогуляться до полустанка, там в буфете посидеть с пивом, закусить бутербродами с заветренной чёрной икрой, а Вышний Волочок был уже просто праздником, о котором вспоминалось неделями. И таинственное существо задумалось, как из этих праздников перенестись в другую жизнь, которая год за годом проносилась мимо. Услышанные в школе слова основоположника насчёт «идиотизма деревенской жизни» запали ей в душу и уже не могли быть вытравлены позднейшими уверениями о высокой духовности «раскрепощённого советского крестьянства» — в них лукаво прочитывалось именно «закрепощение», и в самом воздухе реяло, что надвигается нечто неотвратимое, и этого идиотизма ещё должно прихлынуть, так что от него уже будет не избавиться. Ещё пока можно было ей, беспаспортной, проявив некоторое упрямство, отпроситься на какую-нибудь великую стройку, но её страшили рассказы вернувшихся оттуда; в её представлении с этими стройками нерасторжимо связалось житьё на голом энтузиазме, в грязном и тесном общежитии, с клопами и вшами, с пьяными гитарными переборами во всякое время суток, грубая,

уродующая женщину одежда и неженски тяжёлый труд, с производными от него неизлечимыми женскими недомоганиями, драки и поножовщина, приставания, насилия и аборты, которые в девяти случаях из десяти кончались гибельно. А ещё, рассказывали, могло быть и так, что лагерную жизнь строителей в одночасье обносили колючей проволокой и на вышках поселяли часовых с винтовками, которые должны были этот лагерь охранять от тех романтиков, кто попытался бы из него бежать... Насколько всё это правда, она не знала. Но знала, что живёт в стране величайших возможностей, где возможно всё.

Был и второй путь — и всё чаще она, девятнадцатилетняя, думала о нём, сознавая и цену себе, и что цена эта с каждым годом возрастала, но не беспредельно, а где-то должна была достичь своего пика и дальше пойти на снижение. Этот момент надлежало ей точно угадать, чтобы тут как раз и встретить того, кто сильной своей рукой выведет её отсюда — в свою неведомую жизнь. И она принялась набрасывать в своём воображении облик своего избранника, а точнее, того, кто избранницей сделает её. Она ему не пожалела роста и ширины в плечах, годков отвела ему на шесть больше своих — ибо на семь было бы уже многовато, вернее, старовато, а младше того был бы уже почти сверстник, а сверстников она, как многие девицы, презирала, — она его одела в командирские шевиотовые гимнастёрку и галифе, перепоясала скрипучими ремнями, обула в хромовые сапоги со шпорами и в подчинение ему дала эскадрон, лицом наделила полнеющим и значительным, голову обрила «под Котовского», а для некоторого гусарства, подумавши, провела ему по верхней губе ниточку усов. Получился у неё вылитый Фотий Кобрисов. Впрочем, как потом выяснилось, она не целиком его выдумала, а однажды увидела в Вышнем Волочке на бульваре, и сразу он ей понравился, и она стала думать в том направлении, как до него добраться да присушить его, чтобы не смог увильнуть от предназначенного им обоим судьбою. И оружием в нелегком этом предприятии выбрала она — семечки.

Земли вокруг Вышнего Волочка не так обильно поливаемы солнцем, как Украина, где волнуются желтые моря подсолнухов, но уж если кто их взрастил у себя, то может реализовать их быстрее и подороже, нежели украинцы.

Маша Наличникова с подругами установили свои мешки на притоптанной земле близ вокзала, и торговля у них пошла хорошо. Так же безостановочно, как лузгаются семечки, они отмерялись стаканом и ссыпались кому в кулёчек, тут же ловко сворачиваемый из газеты, а кому в подставленный карман. Часа через полтора они всё и распродали и, поместивши выручку в прелестные сейфы — кто за чулок, а кто за лифчик, — направились поискать ей достойное применение. Не так много было в этом городе соблазнов — сходить в кино на фильму «Катька, Бумажный ранет», накушаться мороженого от души и ещё в запас, упиться до икоты лимонадом или яблочным суфле, покататься на карусели в парке, пострелять в тире — и посчитать себя вполне удоволенными. Маша Наличникова этих соблазнов избежала. Маша Наличникова явилась в фотоателье с картинкой из журнала, изображавшей Юлию Солнцеву в кино «Аэлита». Прекрасная шлемоблещущая марсианка Аэлита, полюбившая землянина-большевика, тоскующая в межпланетной пустыне о своей несбывшейся и не могшей сбыться любви, смотрела в три четверти и слегка вверх и выражение лица имела надмирное, которое чрезвычайно нравилось Маше и с которым она находила лестное сходство у себя.

— Вот я хочу, как здесь, — сказала Маша.

Ей возразили было, что как же без шлема, не получится «как здесь», но Маша настаивала, что шлем — это не главное, а главное — то выражение, которое она сейчас сострoит.

Мастер, похожий на старого композитора, с беспорядком в редеющей шевелюре, её понял и усадил так, что она своё выражение видела в зеркале. Накрывшись чёрной накидкой, он надвинул на Машу громоздкий деревянный ящик, прицелился, изящным округлым движением снял крышечку с объектива и, выждав одному ему ведомую паузу, надел её. Он сказал, что у него выйдет «даже лучше, чем здесь», что было воспринято Машей охотно и с душевным трепетом. Он был очарован моделью и заранее попросил разрешения выставить Машин портрет в витрине. Маша неохотно согласилась, но, когда он стал ей выписывать квитанцию, она его огорчила, не пожелав зайти через неделю посмотреть пробные отпечатки.

— Да чо ж там смотреть? — сказала она. — Я ж вижу — мастер. Приехать я не смогу, в Москву меня вызывают на

два месяца. Вы лучше по почте пришлите, мне куда надо перешлют.

— Но мало ли что, — сказал мастер. — А вдруг вы моргнули?

— Я, когда надо, не моргаю, — ответила Маша.

Он записал её адрес, чего Маша и добивалась маленькой своей хитростью. В этот день она посетила ещё три ателье, расположенные на том же бульваре, и там тоже расставила капканы. Хотя бы в один из них командир эскадрона должен был попасться. Маша поскромничала, он попался во все четыре.

Небрежный прогулочный его шаг по бульвару сбился тотчас, едва он скосил глаза на витрину. Снятая в три четверти справа, смотрела мимо него прекрасная Аэлита. Надмирный взор её был отуманен любовью, но адресован кому-то другому, располагавшемуся за срезом кадра, — это и досадно было, и горячило воображение. С большой неохотой оторвавшись от магнетического лица, он пошёл дальше — и через два квартала опять споткнулся о лицо чрезвычайно похожее, но только отвёрнутое ещё дальше от него. Теперь Аэлита показала ему свой левый профиль, который выглядел ещё надменнее и как-то более инопланетно. Впрочем, исчерпав этот свой облик, она с ним рассталась для выражения чувств земных. В третьей витрине он увидел её запрокинутый фас, с блуждающими глазами; лишь какого-то «чуть-чуть», лишь полградуса недоставало, чтобы получился образ женщины, поневоле уступающей натиску возлюбленного. На это невозможно было спокойно смотреть мужчине, вся вина которого состояла лишь в том, что он опоздал ко встрече. Командир эскадрона был уязвлён, расстроен, повергнут в чувство гнетущее. Но витрина четвёртая обнадёжила его, здесь он увидел фас наклонённый, с глазами, стыдливо опущенными долу, со смиренным пробором в строго расчёсанных волосах; здесь превыше всего ставились девичья честь, целомудрие, скромность и давалось понять, что ещё не всё для него потеряно...

Он кинулся узнавать, кто она, эта девушка, он умолял и брал фотографов за грудки; ему отвечали, что здесь занимаются искусством, а не сводничеством; он настаивал, что его воинская часть давно охотится за этой знаменитой ударницей, чей снимок они увидели в местной газете и загорелись с нею переписываться; его не стали уличать

в несуразице и предлагать ему в газету же и обратиться; красного командира поняли, как надо, и пошли ему навстречу — знаменитую ударницу земледелия и животноводства, проживающую там-то и там-то, зовут Марья Афанасьевна Наличникова.

В ближайший же выходной по селу проскакали двое верховых. Они скакали уверенной рысью, разбрызгивая жирную весеннюю грязь, и спешились у избы Наличниковых. Вошедший первым, с красным бантом на широкой груди и ниточкою усов по верхней губе, смущаясь, напомнил Маше, случайно одетой в самое своё нарядное, что комсомол является шефом Красной Армии, и вот они с товарищем налаживают смычку с молодёжью окрестных сёл, и вот порекомендовали им в первую голову познакомиться с активисткой Машей Наличниковой. «Ври дальше, — подумала Маша, — так сладко ты врёшь!» В свой черёд, она возразила *обоим товарищам*, что они ошибаются, комсомол шефствует не над Красной Армией, а над Краснознамённым Военно-Морским Флотом, и, кстати, от морячков, которые тут поблизости в отпуске оказались, пришла ей уже целая пачка писем с предложениями несерьёзными — руки и сердца, а если говорить о серьёзном общении, то она прямо не знает, когда и время-то найти для этой смычки, всё дела, дела... Усатенький был смущён и не нашёлся, что сказать, но выручил товарищ, который пригласил Машу посетить их воинскую часть с лучшей её подругой и совершить прогулку на конях, которые у морячков навряд ли имеются. Был здесь момент, для Кобрисова опасный: Маша могла обратить внимание не на него, а на товарища, и это было бы досадным и, может быть, непоправимым уроном. Но Маша, отвечая на приглашение согласием, обратилась именно к нему, и сделала это даже подчёркнуто. Несколько позже призналась она Кобрисову, что весь его вид никакую девушку не мог бы обмануть: у него на носу было написано, что он приехал не просто знакомиться, он приехал знакомиться с будущей женой.

— Ну, естественно, — сказал Кобрисов, — я же тебя уже выбрал.

— Нет, — сказала Маша, — это я тебя выбрала. И раньше, чем ты меня

Почин Маши Наличниковой оказался заразительным и был подхвачен. Тем же путём, через те же фотоателье,

но уже под Машиным руководством, прошла не лучшая её подруга, а младшая её сестра, которая досталась в жёны товарищу, тоже эскадронному командиру. Затем, хоть и с трудностями, но выдали сестру старшую, уже несколько засидевшуюся в свои двадцать четыре, за молоденького заместителя Кобрисова. Сестра двоюродная тоже удачно вышла за полкового начфина, а троюродная так совсем поднебесно — за начальника полкового коннозапаса. Попозднее, когда подходило время нянчить у Кобрисовых детей, выписывали жить в гарнизоне двух Машиных племянниц, одну, а потом другую, и тоже хорошо их выдали — за начальника продфуражного снабжения и за ветеринарного фельдшера. С неустроенной личной жизнью никто отсюда не уезжал, и род Наличниковых всё шире вторгался в жизнь гарнизона, заодно и вышневолоцким посевам маслосемян светило расшириться до размеров жёлтых морей Украины. Положение Кобрисова всё укреплялось и укреплялось, прорастая узами служебными и родственными, и всем брачующимся Наличниковым казалось, что будут они теперь одна большая нерасторжимая семья. Но никто б не уготовил им расставания более неизбежного, чем выходить за военных, которые, каждый в свой час, разъезжаются по разным гарнизонам и никогда не старятся там, где были молодыми.

Память ещё немножко хотела задержаться на том времени, когда ещё была любовь вдвоём, без третьего. Что особенно он ценил в своей подруге жизни, так то, что она не считала своё завоевание окончательным. Не в пример другим женщинам, которые, добившись своего, точно бы садятся в поезд и всю дальнейшую свою жизнь считают обеспеченной дорожным расписанием, она его завоёвывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Она за свою молодость, отданную ему, сражалась смолоду, а не как все другие, лишь спохватясь. Разменяв только третий десяток, почувствовала уже беспокойство — и помолодела непостижимо как, постригшись короче и приняв новое имя — Майя. Действительно, чем-то майским повеяло, ранневесенним, и она дала почувствовать, что может быть *другой*. А чем бы ещё его завлечь? Стать вровень с ним — сильной и умелой амазонкой. Так и пришло в их жизнь третье — прелестная каурая трёхлетка Интрига, строптивая дочь Интернационала и Риголетты, унаследовавшая, как то полагается кавалерийской лошади, первые слога их имён.

Вооружась шамберьером, он их обеих гонял на корде до пота и мыла – красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребячьем восторге, в состоянии ощутимого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной рыси, чтоб всадница и лошадь сливались – нет, не в единый механизм, а в одно великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм. Отрабатывали «манежную езду», «полевую езду» и тот упруго-напряжённый рысистый бег, что звался длинно и торжественно: «марш кавалерийской дивизии в предвидении встречного боя», а в довершение, на закуску, атака с шашкою наголо, «аллюр три креста». Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать, и тогда наконец труднейшее и опасное:

– Бросить стремя, руки в стороны, галопом на препятствие!

От избытка чувств и чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь чтоб не задерживалась переменить ногу, он их подхлёстывал длинным пастушеским посылом, с пистолетным щёлканьем, норовя попасть лошади под брюхо, а жене любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно приподнятому стременем. Брюки она сама себе сшила, и так они её обтягивали, что голова у него кружилась, и хотелось эту ткань разодрать. Конники его эскадрона сходились посмотреть на такое диво и только головами качали, как же это командир свою бабу мучает. Она – терпела. Но терпела чутко. Едва заметив, что не всегда он её бьёт за дело, а вовсе из другого к ней интереса, возмутилась:

– Что ты меня почём зря хлещешь? Всю исхлестал!

– Терпи, раз уж вызвалась, – ответил он. – В прежнее время берейторы великих князей били по ногам, и те ничего, терпели.

Она задумалась, сделала круг и подъехала снова.

– А княгиней?

– Чего «княгиней»?

– Великих княгиней тоже по ногам хлестали?

– Ну, это уж я не знаю... Наверно.

– А вот узнай сперва точно, а тогда и хлещи.

Но вот однажды, усталая, вымотанная вконец и даже заметно подурневшая, она подъехала и объявила ему с высоты седла, с улыбкой чуть печальной и чуть загадочной:

— Придётся нам перерыв сделать. Скоро ты у меня отцом станешь.

Так она и кончилась, любовь вдвоём, без третьего, который (или которая) её прерывает навсегда и превращает в нечто уже другое. Через два года так же и теми же словами, объявила о второй дочке. А когда внесли её в дом, сказала, едва порог переступив:

— Больше рожать не стану. Сына, видать, не будет.

Но и потом, и долго ещё, была Интрига — не до старости, но до «морального износа», когда хозяину пришлось пересаживаться с коня на танкетку с двумя гробовидными бронекрышками. Пришли к выводу, что миновало время коней лихих и легендарных тачанок, стреляющих назад, будущей войне понадобится танкетка, стреляющая вперёд, а не намного спустя и танк с поворотной башней, — и пришлось переучиваться, и жена разделила новое его увлечение, научилась водить гусеничные чудища. Заставила себя полюбить и ружейную охоту, только бы вместе быть с мужем и чтоб он любовался ею, какая она у него боевая подруга. На самом деле убийство претило ей, и в дичь она постоянно промахивалась, тогда как по мишеням сажала всегда в чёрное, не ниже восьмёрки. Как было бы славно оказаться с нею посреди зимы в охотничьем домике в лесу, без никого другого, пострелять, побродить на лыжах, да просто побыть вместе, ведь не старость ещё! Санаторий, куда непременно сошлют его, чтоб был под присмотром, вызывал отвращение и страх — и тем, что придётся *общаться*, и что любое слово будет записано, не исключая слов ночных.

Он вспоминал лето 1940 года, санаторий для высоких чинов в Крыму, близ Ялты, где доскребали последних, кого упустила затянуть в себя великая мясорубка. Там старались выспаться до десяти вечера, потом уже не спалось, подъезжала машина, слышались шаги по лестнице, шаги по коридору, приближение и стук в чью-то дверь, ещё не твою, ломкий дрожащий голос того, за кем пришли. В эти минуты наставала великая тишина, так что слышно было не только на этаже, но, казалось, во всём санаторном корпусе. Бывало, они ошибались — может быть, и не преднамеренно, — заставляли пережить всю процедуру опознания, установления личности, а потом что-нибудь не сходилось с ордером, отчество или год рождения, но обязательно самым последним вопросом, и

человеку, уже попрощавшемуся со всем земным, приносили извинения, что нарушили покой, желали приятных сновидений. И для всех других, кто уже вздохнул облегчённо, опять начинались мучения. Шли дальше по коридору, поднимались по лестнице, спускались, искали. Ни у кого не спрашивали дорогу. Никогда не спешили. И никогда не уезжали пустыми. За тот месяц, что Кобрисовы пробыли там, освободилась, наверное, четверть всех комнат. В них не поселяли, поскольку у арестованных ещё текли сроки путёвок.

Он старался жить, не умирая раньше времени, как если бы ничего вокруг не случалось. Вставал в шесть утра, выходил в парк, там делал зарядку и бегал среди кипарисов и пальм, затем спускался к морю. К спуску вела широкая аллея самшитовых кустов, рододендронов, алых и белых роз, и не миновать было обогнуть центральную клумбу, настоящий скифский курган, густо усаженный цветами, на котором высилась белая гипсовая фигура. Всякий раз, приближаясь к ней, упираясь взглядом в белые бриджи, заправленные в высокие гладкие сапоги, он подумывал о своих невыясненных отношениях с прообразом. Фигура была обращена к зданию и видна изо всех окон, которые выходили к морю. Одна рука фигуры покоилась за обшлагом полувоенного френча, другая протянута к зданию, — в такой позиции Вождю вести было некуда и некого, и скорее это так читалось, что он предлагает выложить ему на ладонь доказательства преданности и любви.

В то утро, сходя в парк по широкой лестнице с колоннадой, генерал почувствовал необъяснимое беспокойство. Аллеи, по которым обычно к этому часу уже расходились и разбегались любители зарядок и пробежек, были пустынны, весь парк точно бы вымер. Потом оказалось, что несколько отдыхающих, прервав свой отпуск, уже отбыли на такси в Симферополь, надеясь успеть на утренние поезда, другие собирали чемоданы, третьи не знали, какой выход лучше, предпочли довериться судьбе. Всё же один попался навстречу — знакомец, тоже генерал и тоже энтузиаст продления полноценной жизни, в пижаме и с полотенцем через плечо. Было, однако, похоже, что он так и не окунулся, а возвращается с полдороги. И почему-то он не поздоровался и шёл, не поднимая глаз, а поравнявшись, сказал тихо и не разжимая рта, как чревовещатель:

— Не ходи дальше, Кобрисов.

Всё мужество этого человека Кобрисов смог оценить, когда, не поняв, в чём дело, всё же продолжил свой путь и — увидел, к чему приближаться ему не следовало и крайне желательно было бы не увидеть. Неизвестный злоумышленник, по всей вероятности, воспользовался лестницей или же был он недюжинным метателем, во всяком случае его злоумышление не так просто было устранить. И всякого, кого бы здесь застали, сочли бы виновником или соучастником или — что тоже было предосудительно — бездействующим зрителем, который одобряет содеянное, а то даже и любуется им. Не поворачивая головы, он почувствовал всей кожей щеки и шеи, что на него смотрят десятки глаз. Весь корпус притих и все окна были зашторены, и за портьерами стояли, с гулким сердцебиением, герои Перекопа и Халхин-Гола, победители Колчака, участники прорыва линии Маннергейма. Поворотясь медленно и как бы небрежно, как бы и не увидев ничего такого, он побрёл обратно, стараясь, чтобы его шаг не выглядел торопливым. Вдруг он осознал, что делает ошибку, для видимой непричастности ему бы следовало как раз пройти к морю и окунуться, но поворачивать было поздно, это бы выглядело подозрительной суетой. Оказавшись наконец в своих апартаментах, возле спящей жены, он стал думать, не раздеться ли ему и не сказаться ли спящим, если постучатся, но так ничего и не решил и тоже стоял за портьерой, ощущая, с какой стороны у него сердце, и молясь, чтобы это как-нибудь само собою устранилось, исчезло, испарилось.

Мадам генеральша проснулась около восьми, когда полагалось идти к завтраку, и сразу почувствовала неладное. Она спросила, почему зашторено от солнышка и кого это её ненаглядный там высматривает. Он ей сказал, кого и что. Она, больше вопросов не задавая, тотчас поднялась, надела свой роскошный халат с павлиньими глазами, затянулась поясом с кистями и вышла.

Вскоре она выплыла внизу, держа наперевес лёгкую садовую лестницу, за ней семенила бабуся-нянечка с ведёрком и шваброй. Лестницу упёрли в белый живот, нянечка взлезла на цоколь, поднялась по ступенькам к белой груди. Мадам генеральша ей подала ведёрко и швабру, а сама осталась внизу и давала руководящие указания. Героям и победителям пришлось наблюдать святотатственное елозенье намоченной швабры по лбу и носу, особенно

старательно по усам и под усами. Затем бабуля, поднявшись на ступеньку выше, совершила нечто и вовсе непристойное: задрав полу своего халата, да так неловко, что приоткрылись байковые нежно-сиреневые панталоны до колен, схваченные резинками, она этой полой протёрла все места, которые осквернила швабра. Мадам генеральша кивком одобрила её работу и помогла слезть.

Она вернулась недовольная, хмурая и сказала, для чего-то понюхав руки:

— Икра баклажанная. И всего делов.

Тут же она завалилась досыпать. А проснувшись, уже ничего этого и не помнила. Она не вспоминала об этом никогда. И несколько позже он заподозрил, что она и не досыпала вовсе, а думала. Она думала, как она станет об этом говорить в дальнейшем. И решила — никак.

Она, рубившая не хуже иного мужика лозу по верхушкам, знала — этому неодолимому давящему страху подвержен каждый, он со всех сторон, он снизу и сверху, он рассеян в воздухе, которым дышишь, и растворён в воде, которую пьёшь. И он самых отчаянных храбрецов делает трусами, что вовсе не мешает им всё же остаться храбрецами.

Для неё муж остался тем же, кем и был, и она, как прежде, не подвергала сомнению никакой поступок его, никакое слово. Даже особенно она это подчёркивала — жестом, улыбкой, говорившими так красноречиво: «Ничего я в этом не понимаю, знаю только, что Фотя всегда прав. Убейте меня, а он прав». Это и умиляло его, но зачастую и раздражало, а вот теперь казалось таким необходимым. И так трогала его сейчас эта её святая неправота, что он проникся к ней нежностью, какой давно от себя не ждал, он даже примирился навсегда, что не родила сына. И сердце защемило от мысли, что она, единственный *его* человек, кто при любом повороте судьбы с ним останется, где-то уже совсем близко, в каких-то сорока пяти километрах, а он почему-то медлит, не спешит к ней. В окнах ещё и не брезжило, когда он не выдержал, растолкал своих спутников, велел собираться и заводить.

Хмурые от недосыпа, они, наверно, кляли его в душе и, наверно, думали, что вот уже скоро от него избавятся, и он за это злился на них, злился на слишком медленный бег машины. А между тем шоссейка сделалась шире, побежали молоденькие саженые сосны, ещё серые перед

рассветом, замелькали среди них позиции зенитчиков, истребителей танков, стянутые за обочину рельсовые ежи, бетонные надолбы — и все четверо оживились, заёрзали на сиденьях, предчувствуя конец пути. И вот увидели Москву — сверху, с холма.

— Вот она и Поклонная, братцы кролики, — сказал генерал. И тронул за локоть вертевшего головою водителя. — Притормози-ка, Сиротин.

Выбравшись из машины, он медленно, закинув руки за спину, прошёл несколько метров до спуска.

2

То, что принимал генерал за Поклонную гору, на самом деле не было ею. Единственный из четверых москвич, но москвич недавний, он не знал, и никто не мог ему подсказать, что ещё километров пять или шесть отделяют его от того невысокого и не столь выразительного холма, шагах в двухстах от филёвской избы Кутузова, где и стоял Наполеон, ожидая напрасно ключей от Кремля. Генерал же Кобрисов находился в начале того длинного и крутого спуска к убогим домишкам и садам Кунцева, где, однако ж, впервые чувствуется несомненная близость Москвы. Теперь здесь многое переменилось, сады повырублены, сместилось в сторону и само шоссе, а весь спуск и низина застроены 14-этажными домами-«пластинами», расставленными наискось к улице, линялобежевыми и в проплешинах от облетевшей кафельной облицовки, на каждом из которых сияет какой-нибудь краснобуквенный транспарант: «Свобода», «Равенство», «Братство», «Мир», «Труд», «Май». И не найти уже того места, где в один из последних дней октября 1943 года остановился закиданный грязью «виллис», не определить достоверно, где же она была, Поклонная гора командарма Кобрисова.

Тем не менее была она, и Москва для него начиналась внизу, под краем огромной чёрно-сизой тучи, завесившей всё Кунцево и дальние, еле различимые скопления домов и труб. Аэростаты заграждения — серебристые на фоне тучи и тёмные, уродующие небо, на узкой полоске зари, — медленно вплывали в серый мглистый рассвет. Он обещал редкое солнце поутру и унылый полдень, с ветром и моросящим дождём.

Ничего доброго не обещала генералу столица, где испытал он унижение, которое не уляжется в беспощадной памяти до конца его дней, где в один час был он ссажен с коня и растоптан в прах, где лубянский следователь Опрядкин ставил его на колени в угол и шлёпал по рукам линейкой — вот и вся пытка, но, может быть, не так жгуче, не так раздирающе вспоминалось бы, если б дюжие надзиратели, втроём, избивали в кровавое мясо и зажимали пальцы дверьми? Как изжить из сознания, чем выжечь склонившееся к тебе лицо, этот убегающий подбородок, тонкие бледные губы и светло-ледяной взгляд, аккуратный пробор в прилизанных жёлтых волосах, голос насмешливо-ласковый и поучающий: «Фотий Иванович, ну вы ж не маленький, если ваши два танка на первомайском параде вдруг тормозят напротив Мавзолея — напротив Мав-зо-лея! — то это на юридическом языке называется — как? По-ку-ше-ние. На жизнь кого? Не смейте произносить, а только представьте мысленно... Закрытый башенный люк означает — что? Боевое положение танка. Бо-е-во-е!» Не легче было и себя вспоминать — как, оборачиваясь из своего угла, кричал визгливо, точно в истерике: «Но не было же боекомплекта! Снарядов — не было! Патронов — не было!» И огорчённый Опрядкин, вздыхая, брался опять за свою линейку. «Ну, честное слово, вы как дитя малое. Да если б были снаряды и патроны, я бы с вами не разговаривал, я бы вот этими руками вас бы растерзал!.. Ну, чёрт с вами, оформлю вам «намерение», будет законная десятка... так давайте же вместе поборемся за эту десятку!» И ведь была глухая мысль — не поладить ли на этом, хотя лучше других мог бы предвидеть, как это всё произойдёт: серо-зелёные мундиры вдруг хлынут через Неман и Прут, и двухвостые бомбовозы с крестами на крыльях поползут с прерывистым воем над Киевом, Ленинградом и Минском, и тот же Опрядкин в своём кабинете «вот этими руками» подаст ему отглаженную гимнастёрку с уже пришитыми петлицами, вернёт ремень с тяжёлой кобурой, широким жестом покажет на свой стол, где пухлую папку сменили коньяк и круглый, нарезанный уголками торт. «Напрасно отказываетесь, Фотий Иванович, последний довоенный торт». И видно было по ледяным глазам, с каким бы удовольствием вмазал он жирный сладкий ломоть арестанту в непокорное рыло! Да только вся непокорность арестанта на том и выдох-

лась, что отказался от угощения. Вместо того чтобы хрястнуть, пустился в язвительные беседы: «Стало быть, гражданин следователь, вместе будем теперь отечество спасать?» — спрашивал, рукою придерживая спадающие штаны, на что Опрядкин отвечал спокойно и с достоинством: «Каждый на своём посту. И я вам в данный момент не гражданин следователь, а товарищ старший лейтенант. А вы, товарищ генерал... вам сейчас пришьют пуговички, а то ведь спадут, нехорошо... вы поедете в свой наркомат, вам доверяют дивизию». И была мысль, сжигающая, мстительная, бессильная, — повстречать бы этого Опрядкина одного на улице, затащить в подъезд... Но тем же вечером пришлось вылететь — принимать свою дивизию, которая в панике отдала Иолгаву и в панике же пыталась её отнять...

Не вернулся он и сейчас на коне. Его опять охватили робость и беспокойство. И было досадно — зачем так спешил, какой такой «святой неправотою» себя тешил, пора бы уже трезво смотреть. Он постоял над безлюдным спуском и вернулся к машине.

— Привал, — объявил он своим спутникам.

Все трое смотрели на него с недоумением. Он объяснил мрачно, насупив брови:

— Рано ещё, восьми нет, куда денемся? И прибраться бы надо, побриться, в столицу прибываем.

— Она? — спросил водитель, кивая с улыбкой вдаль, в сторону Москвы.

— Она самая, Сиротин. Не верится?

— А метро тут близко? Я вот две вещи посмотреть мечтаю — Кремль и метро.

— Будет тебе и Кремль, будет и метро...

Генерал первым спустился с невысокой насыпи на лужайку. Адъютант Донской, глядя бесстрастно-иронично на его широкую сутулящуюся спину, на складчатую шею, отметил про себя, что в этой очередной дури, пожалуй, есть свой резон. Появляться — особенно в данной ситуации — следовало при полном параде и лучше слегка припозднясь.

Сиротин вырулил на обочину, все трое вылезли, разминали затёкшие ноги, курили, а глаз не могли отвести от манящей Москвы.

Шестериков приволок из машины мешок и противогазную сумку, туго набитые, выбрал место поровнее и рас-

стелил на траве плащ-палатку, а поверх — старую, отслужившую срок шинель адъютанта, которую всегда с собою возил для таких случаев. Трава поседела от инея и приминалась с звенящим шорохом, от которого делалось зябко. Он выудил из мешка термос и все принадлежности для бритья, взбил помазком пену, усадил генерала на шинель и повязал ему на грудь салфетку, затем, передвигаясь вокруг него на коленях, быстро и ловко выбрил до розового блеска. Ножничками немецкой золингеновской стали подровнял ему брови и дал посмотреться в круглое автомобильное зеркальце.

Адъютант Донской побрился сам. Водитель Сиротин погладил себя по щекам и раздумал бриться.

Слово «привал» Шестериков понимал капитально, во фронтовом смысле — постелил белую камчатую скатерть и выставил на неё консервы, буханку белого хлеба в целлофане, четыре гранёных стопки, флягу с водкой и едва початую бутылку коньяка — французского, из провинции Cognac. Бутылку он, впрочем, отставил подальше, вытоптав каблуком в земле лунку, чтоб стояла твёрдо и не свалилась впоследствии от размашистого жеста. Аккуратно, финским ножом с наборной рукояткой — из пластинок цветного плексигласа и алюминия — он взрезал большую немецкую банку с маринованными лиловыми свёколками; банку американскую, четвероугольную, красоты необычайной, с розовым фаршем в желе, вскрыл специальным, к ней же припаянным ключиком, наворачивая на него полоску жести и тем отчасти губя красоту; на дощечке, гладко выструганной, нарезал хлеб и всем положил немецкие вилки, из алюминиевого сплава фантастической невесомости, с выдавленными на ручках орлами и свастиками. Что ещё он забыл? Спохватясь, переменил генералу салфетку. После чего присел, умиротворённый, сцепив на коленях большие руки, картофельной желтизны, с узелками набухших вен.

Генерал смотрел на его работу внимательно, склонив голову набок и чему-то усмехаясь. Вдруг он спросил:

— Что же теперь, Шестериков? Куда твои таланты девать?

Он задал тот вопрос, который давно предвкушался Шестериковым и имел свой заготовленный отрепетированный ответ, и сердце Шестерикова ощутимо дрогнуло. Он знал, что дважды такие вопросы не задаются, иного случая

ему не представится, и всё же не выдал волнения, ответил просто, как будто даже беспечно, в широкой улыбке показывая крепкие прокуренные зубы:

— Насчёт талантов, Фотий Иваныч, что уж тут такого особенного... Главное, живы были бы, руки-ноги при себе, и чтоб печали нас миновали. — Потом добавил, вздохнув: — Много перемен бывает, а не всё же к плохому. Может, ещё обернётся как-то...

Донской коротко взглянул на него, удержав усмешку, как удерживают зевоту.

— Какие там перемены, — сказал генерал. — Ну, прошу к столу.

Все четверо придвинулись, ноги положив на траву. Генерал откупорил коньяк, налил адъютанту и себе, поставил перед водителем и ординарцем, чтоб и они себе налили.

Шестериков быстро сказал Сиротину:

— А мы с тобой — водочки, верно?

Сиротин взял осторожно коньяк, пощупал с недоверием цветистую наклейку и рельефный узор, поглядел на мир сквозь тёмное, глубокой прозелени стекло и отставил в лунку.

— Да, не про нас питьё. Только добро переводить.

Первый тост, как было принято в этом маленьком кругу, не произносился, а лишь подразумевался, он был за всех тех, кого уже с ними не стало, поэтому выпили молча и не чокаясь, затем, соблюдая очерёдность, принялись выбирать себе из банок мясо и свёколки. Генерал и адъютант под вилками держали салфетки, ординарец и водитель — куски хлеба.

Неожиданно маленький пикник был потревожен негромкими голосами. Обочиной шоссе шли женщины — в телогрейках, в платках, в резиновых сапогах, держа на плече лопаты. Небольшая толпа женщин, растянувшаяся на подъёме, взобралась на гору и проходила поверху, обтекая забрызганный грязью «виллис», — явление четырёх фронтовиков, расположившихся на лужайке под насыпью, и среди них — генерала, было для кунцевских жительниц, верно, в диковинку, они враз умолкали и проходили, как бы не глядя, лишь кто помоложе посмеивались и перешёптывались.

— Эх, бабоньки, гвардейцы пищеблока! — пожалел их Сиротин, слегка уже разомлевший. — Картошку, поди, заготовляют. Какая теперь картошка!

— «Какая»! — сказал Шестериков. — Самая дорогая, сверхплановая. Которую в сентябре не собрали. Небось теперь и себе наберут, не только государству.

— Ну, всё он знает! — изумился Сиротин.

— Как же не знать, ежели лопаты каждая свою несёт. Совхозные — они там побросали, в будке. А своей-то — глубже достанешь.

— А мы-то, дураки, — сказал генерал недовольно, — в рощицу не догадались съехать, расселись на виду пировать. Люди-то изголодались...

Одна из женщин остановилась как раз над ними и, скинув лопату с плеча, запричитала сиплым, простуженным или прокуренным голосом:

— Ой, ну что ж это вы, мужчины, на сырой-то земле устроились! Так же ревматизм схватите...

— Не жалей нас, мамаша, — Сиротин ей показал стопку, вновь наполненную, — у нас от всех ревматизмов лучшее лекарство.

— Уже я тебе «мамаша», — сказала женщина. — Я думала — сестра старшая. А это всё обман, лекарство твоё. Тебе-то, молодому, ещё всё нипочём, а товарищ генерал у вас — пожилые, им бы поберечься.

— Ну, уж и пожилые, — обиделся генерал слегка игриво. — Я ещё таких молодых двоих заменю.

Она в ответ слабо улыбнулась, показывая этим, что есть вещи, о которых ей-то уже думать поздновато, и генерал ей сказал серьёзно:

— Спасибо тебе, дочка. За твою заботу.

— Ой, да за что ж спасибо! — Она вдруг обрадовалась, что может чем-то помочь этим четырём сильно бедствующим мужчинам. — А вы б, знаете, вон до будочки б доехали, там и обогреечка есть, стол есть, лавки. А нас там до обеда никого не будет, вам свободно. А то на вас даже смотреть зябко.

— Ничего, дочка, — сказал генерал. — Мы привычные. Спасибо тебе.

— Зато какой пейзаж! — сказал Донской, слегка уже порозовевший от коньяка, поведя рукою в сторону Москвы.

Женщина не нашлась ответить ему. Её подруга — с таким же серым, опавшим лицом, — приотстав от толпы, сказала ей строго:

— И что ты, Любаша, к людям пристала, смущаешь.

Люди себе хорошее место выбрали, Москву наблюдают. И радио, может, хотят послушать.

– Это где же радио? – спросил генерал.

– А вона! – Женщина, которую назвали Любашей, вновь осветилась улыбкой. – Вона же, на столбе. Не заметили?

Шагах в пятнадцати позади машины свисал с телеграфного столба огромный репродуктор с чёрным квадратным граммофонным раструбом. И впрямь, не заметили, миновали.

– Он горластый, – сообщила Любашина подруга. – Нам на картошке слышно, как известия передают. А вы сами – с фронта будете?

– Откуда ж ещё! – обиделся Сиротин; для него все мужчины делились на фронтовиков и дезертиров.

Она сделала таинственное лицо.

– А сейчас отдохнуть приехали? Или – на переформировку?

– Есть у нас дела, – ответил сухо Донской.

– Ну, ладно, – заторопилась Любаша. – Отдыхайте, приятного вам.

Обе женщины пошли дальше, вскинув лопаты на плечо. За ними от Кунцева ещё шли, группками и порознь, и одна – молоденькая, круглая, как бочонок, в своём ватнике, перетянутом в поясе концами серого шерстяного платка, – крикнула звонко:

– Фронтовикам, дролечкам, горячий привет от трудящего тыла! Как там орёлики наши, хорошо бьются?

– Ох, и бьются, лапонька! – отвечал Сиротин. – Так бьются, что клочья летят!

– С наших-то? Или с фрицев?

– С наших – чуть-чуть, с фрицев – покудрявее.

– То-то весёлые вы. А за компанию к вам – нельзя?

– А это спросим, – Сиротин поглядел вопросительно на генерала.

– Отчего ж нельзя, – сказал генерал. – А кого ж мы тут ждали.

Она прыснула и сделалась пунцовая, но тотчас заробела, прикрыла рот ладошкой и затесалась среди других.

Мужчины же, дождавшись, когда пройдут, выпили ещё – за Победу, закусили и снова выпили – за Верховного и ощутили некое вознесение от принятого внутрь, от запахов отогревающейся земли и травы и оттого, что

ждала их вдали Москва, понемногу высвобождаясь из-под сизых лохмотьев тучи. Донской, привстав на колени, вытащил свой самодельный портсигар, на котором сапожным шилом выколоты были скрещённые, перевитые гвардейской лентой штык и пропеллер, а повыше и пониже рисунка — «Будем в Берлине, Андрюша!» и «Давай закурим, товарищ, по одной!». Все по одной и взяли, кроме генерала, от которого они ладонями отгоняли дым. То была непременная минута молчания, долженствующая отграничить разговоры суетные от разговора сокровенного и значительного, и она длилась, длилась, никто не осмеливался её прервать, все ждали сло́ва от генерала, и он это понимал, только не мог собраться — что же ему сказать этим людям, с которыми он прожил, провоевал полтора года и которым завтра уже будет не до него?

Запомнят ли они этот час? Понимают ли, поймут ли когда-нибудь, зачем он выкроил этот привал, ведь другого случая побыть им вместе, вчетвером, может быть, не представится? И ещё вопрос — так ли уж хотелось им этого на прощанье? Вот сидит его шофёр, Сиротин Вася, великий химик насчёт раздобыть и обменяться и столь же великий модник: гимнастёрку он себе обкорнал снизу, так что она едва выглядывает из-под ремня; ремень у него — конечно, офицерский, с пятью-шестью антабками, на них болтаются ножичек в чехольчике, зажигалка на цепочке, «парабеллум» с длиннейшим, плетённым из красной кожи темляком; в погоны — чтоб не топорщились и не гнулись — вставлены целлулоидные пластинки; голенища сапог — тоже офицерских — вывернуты жёлтым наружу; мало того, он ещё шпоры нацепил, да пришлось приказать, чтоб снял, ведь мешают же на педали нажимать (уверял, что нисколько). Водитель он в меру лихой, в меру осторожный, и машина у него ни разу не подвела, но кто-то внушил ему, что с этим генералом он войну не вытянет, — это уже по тому чувствуется, как Сиротин поглядывает на него при обстреле или налёте: будто не с неба и не со стороны, а именно от него, генерала, жди погибели... Вот сидит его адъютант, майор Донской, в общем-то порученец толковый и памятливый, только излишне много думающий на тему: отчего бы ему самому чем-нибудь не покомандовать, бригадой там или даже дивизией, да не пробиться в генералы? Другие же преуспели, в те же тридцать с чем-то, отчего бы и не ему? А чёрт его знает отчего, есть у него как будто

и способности, и знания какие-то, и с начальством обхождение, и, что называется, «личная храбрость», да всё чего-то строит из себя, непонятно – что, но бабы-то, поди, вернее чувствуют, чего мужик сто́ит: он вот крутит галантную платонику с рыжей Галочкой из поарма, а эта самая Галочка наставляет ему ветвистые рога с начальником артразведки, о чём вся армия только что песни не поёт в строю... Вот сидит его ординарец Шестериков, самый близкий ему человек на войне, прямо-таки свирепо заботливый и без которого действительно как без рук, изучивший все его прихоти, научившийся столы сервировать и подавать крахмальные салфетки, страдающий оттого, что не припасено белого вина к рыбке или красного – к мясу. Мечта у него – служить у генерала и после войны; не сказать, что вовсе несбыточная, о том же и сам генерал, и мадам генеральша подумывали, да так уж оно повернулось, что либо ему на «передок» в автоматчики возвращаться, либо другому так же служить верно... Вот они, его люди, всё, что ещё на несколько часов осталось ему от армии, от её мудрёной жизни, из которой он выпал, как выпадают на ходу из поезда. А поезд летит себе дальше, не заметив потери, и нельзя её замечать, невозможно приостанавливать ход из-за каждого, кто выпал, чтобы не утерять налаженный ритм, чтобы и быт не потревожить, который так тяжко складывался и наконец сложился. Да, сама война стала бытом – как вон у тех кунцевских женщин, что сажают и выкапывают картошку среди артпозиций и противотанковых ежей, уже их не замечая либо спокойно вешая на эти ежи свои ватники и авоськи. И армия валит на запад, таща с собою свои моды, свои интриги, свои суеверия и свою счастливую, спасительную забывчивость, и, чёрт дери, в этом тоже есть логика, тоже заключена та самая «непобедимость»!

Он вот бы о чём сказал, пожалуй, но слова как-то не шли или шли самые пустые, вроде того, что «ну, братцы кролики, не поминайте лихом», и не выручало хмельное вдохновение. Может быть, потому не выручало, что всех троих братцев кроликов вызывал к себе для бесед майор Светлооков из «Смерша», наверняка вызывал, не мог не вызвать, да оно ведь и чувствуется – люди после этого както иначе смотрят, иначе говорят, – и никто из троих про это не сказал генералу, и Шестериков не сказал – вот что всего обиднее было, всего больнее! – некогда жизнь спас-

ший, столько раз выпивавший с ним наедине. Какую верность выказал, а этого испытания не прошёл! О, нет, никого из них не хотелось винить, и даже Шестерикову упрёка особенного не было: в чём-то же и ты виноват, если посмели тебя предать, так и начни с себя — почему не отставил их, почему хотя бы не отдалил, сколько можно, свою свиту, почему вид делал, будто ничего не произошло? Да вся история России, может статься, другим руслом бы потекла, если б отказывались мы есть и пить со всеми, кого подозреваем. А может, на том бы она и кончилась, история, потому что и пить стало бы не с кем, вот что со всеми нами сделали. Но не об этом же было говорить к застолью, тем более — к последнему. О чём же тогда?

В репродукторе, что висел на столбе и о котором успелось забыть, вдруг щёлкнуло — раз, другой, — послышались хрипы и вроде как визг пилы, затем в его чёрном нутре прорезался женский голос, сказавший время, поздравивший дорогих радиослушателей с добрым утром и приказавший им слушать последние известия. Чёрный раструб и впрямь был горластый, рассчитанный на всю округу, чтоб широко разливалось над рощами, лугами, оврагами, над огородами и позициями, захватывало бы небось и половину Кунцева.

— Я чего спросить хотел, — очнулся водитель. — Почему ж они «последние» называются, известия? Ещё солнце не взошло. Надо их «первые» называть. А последние — это уж вечером.

Генерал досадливо поморщился.

— Ты послушай, Сиротин, послушай. Может, и нас касается, нашему фронту приказ...

И, едва сказав, сам понял, чего так ждал все двое суток пути. Ждал, отодвигая в сознании, как ждут приговора. Жаждал услышать и страшился услышать — кто же теперь *стал на армию?* кто её дальше поведёт, к новым победам и жертвам?

Голос, выплеснувшийся из чёрного раструба, был теперь мужской, гортанно-бархатный, исполненный затаённого до поры торжества:

— ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО...

Женщины, копавшие картошку, распрямили спины и замерли, опираясь на свои лопаты. В орудийном дворике прислушались, подняв головы в касках, зенитчики.

– ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ВАТУТИНУ...

Дыша коньяком, придвинулся Донской – шепнуть: «Угадали!», удивлённо взглянули Сиротин и Шестериков. Генерал всем ответил коротким кивком и слушал, уже не поднимая глаз.

– АРТИЛЛЕРИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА СЕРАПИОНОВА... ЛЁТЧИКАМ-ШТУРМОВИКАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ГАЛАГАНА... СТРЕЛКАМ И ТАНКИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КОБРИСОВА...

Сам обомлев, он не видел, как вытаращились на него ординарец и водитель, как привстал на колени адъютант, побледневший от волнения. А голос пропал на долгий миг и вернулся, набрав новой силы, загремел звонко-трубно, державно-ликующе в холодном, изжелта-голубом воздухе:

– ...К ИСХОДУ ДНЯ НАШИ ВОЙСКА ПОСЛЕ РЕШИТЕЛЬНОГО ШТУРМА, ПРЕОДОЛЕВ УПОРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА И ЗАВЕРШАЯ ОКРУЖЕНИЕ, ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИЕЙ...

Ещё пауза, крохотная и тягучая, как вздох перед разбегом, как замирание перед прыжком с высоты...

– МЫ-РЯ-ТИН!..

Вот как просто – и вместе торжественно – произнесено было, кинуто в пространство это труднейшее в мире слово. И, точно бы враз истощился запас сил, ликования, голос приопустился в спокойные низины, даже чуть потускнел:

– ПРОТИВНИК, ПОНЕСЯ ТЯЖЁЛЫЕ ПОТЕРИ, ОСТАВИВ НА ПОЛЕ БОЯ ТЫСЯЧИ УБИТЫХ И РАНЕНЫХ, ДЕСЯТКИ И СОТНИ ТАНКОВ, ОРУДИЙ, АВТОМАШИН И ИНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ...

– Ну, прямо сотни! – сказал Сиротин. – Насчёт техники всегда заливают. Десяточки – и то слава богу...
Адъютант Донской на него цыкнул.

– ...ОТБРОШЕН НА ОДИННАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ И ОТСТУПАЕТ В НАПРАВЛЕНИИ...

– После штурма, – заметил адъютант, придвигаясь, скорбно приподняв бровь. И снова стал – весь внимание.
Генерал молча кивнул: да, он слышал. Да, после штурма. И – «завершая окружение». Что значило это – «завер-

шая», но не — «завершив»? В голове у него сильно шумело, и далёкие дома Москвы, которые он видел отсюда, казались не существующими в объёме, а словно бы намалёванными на громадном колеблющемся полотне. А голос, бухающий в уши, словно бы долетал, разрастаясь, из полутёмной прохладной глубины мраморного зала. И не поддаться его ликованию было невозможно, думать иначе — дико, кощунственно.

— ...ПРИСВОИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ «МЫРЯТИНСКИХ» И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ... — приказывалось осеннему хмурому небу и стылой, усыпанной жёлтыми листьями земле, — ОРДЕНА КУТУЗОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ШЕСТАЯ МЫРЯТИНСКАЯ ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ... ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СТО ДЕСЯТЫЙ МЫРЯТИНСКИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛК САМОХОДНЫХ ОРУДИЙ...

Был избран и задействован тот самый вариант, который сложился сразу после переправы, а задумывался раньше ещё — может быть, на пароме, пересекавшем Днепр, — и который он сам от себя прятал, когда узналось, какую угрозную новинку скрывает Мырятин. Как потом не хотелось этого окружения! Как сожалел он о выдвинутых неосмотрительно клиньях, мечтая втянуть их потихоньку обратно, как какой-нибудь рак или краб инстинктивно утягивает защемляемую клешню, и морочил головы штабистам, говоря, что не время, что руки не доходят, что есть поважнее цель, что нужно ещё прикинуть, подправить, прежде чем отдать им «Решение командующего» для детальной разработки. И так и не подправил, не вернулся к нему, против своего же замысла рогами упирался на том совещании в Спасо-Песковцах. И вот он задействован, брошенный на полдороге план, кому-то там впопыхах подвернувшийся под руку, и уже ничего не исправить, ни одной жизни не вернуть, истраченной согласно этому плану... В паузе было слышно, как шелестит бумага на столе у диктора, но другой шелест возникал в ушах генерала, покалывая сердце тревогой, — шелест еловых лап, опадающих с брони танков, когда перед рывком из укрытий командиры пошевеливают башни вправо и влево, проверяя поворотные механизмы. С рёвом и свистом пронеслись «горбатые»* — низко над окопами, не заботясь об

* Штурмовики «Ил-2».

ушах онемевшей пехоты, бережа от «мессеров» слабые свои животы. Пришёл тот момент беспомощности, когда всё, что должно было и могло быть сделано, уже отдано в другие руки — и теперь на три четверти, на девять десятых он не властен что-либо изменить. Наклонилось огненное жерло — и литейщик отшагнул от формы, в которую полился расплав. Теперь всё зависело от сотен и тысяч воль, от желаний или нежеланий, от чьей-то смелой дерзости или трусливой осторожности, от чьей-то расторопности или головотяпства, но больше всего — от крохотных серых фигурок, рассыпавшихся по белой пелене снегов. Была ещё поздняя осень, и никакого снега там, под Мырятином, ещё не выпало, но генерал их видел такими, как в первых наступательных боях под Воронежем, — крохотные серые фигурки на белой, слегка всхолмлённой равнине. Они бегут, бегут, оглашая поле протяжным «А-а-а!» — и падают, и тотчас же отползают в сторону, чтобы в другом месте подняться через несколько секунд. Но отползают только живые, мёртвые не выполняют этого требования устава, они просто падают и остаются лежать... Что́ они знали, что́ успели прослышать — о споре его с Ватутиным, с самим Жуковым, о том, почему их командующий оставил армию, и какая операция дороже, а какая дешевле? Но вот артиллерия перенесла свой огонь на двести шагов вперёд, и ракета позвала их на рубеж атаки — о, как тянет назад окоп, уютная глубина его, как трудно подняться над бруствером, как заранее жалят тебя всего невидимые осы! — но они поднялись и пошли, пошли, пошли по кочковатому болотистому полю, перепрыгивая воронки от мин и витки проволоки, разрезанной этой ночью сапёрами, чувствуя холод внизу живота и горяча себя криком, всеми силами подавляя страх смерти, страх боли, увечья... И сделали его тем, кем он был сейчас, — командармом, принимающим сводку победы.

Он не видел их лиц, а лишь затылки под касками и ушанками, лишь спины и плечи под серым сукном, подпрыгивающие на бегу. Ни одного имени не мог он вспомнить, и не было утешением, что это и не дано командарму, который не может увидеть свою армию, разбросанную на многие вёрсты, по хуторам, сёлам и даже городам, как может любой батальонный увидеть сразу весь свой батальон, даже полковой командир видит свой полк, хотя бы на торжественном построении. И как вообще представлял он

себе ту или иную часть, то или иное соединение? Прежде всего — лицо командира, его голос, ну ещё начальника штаба, ещё нескольких офицеров — и как он обедал у них, и чем кормили и поили, а потом уже — войска в каре, молчаливая пехота, замаскированные орудия, забросанные ветвями танки...

— ...МОСКВА САЛЮТУЕТ ДОБЛЕСТНЫМ ВОЙСКАМ, — разлеталось из раструба, — ДВЕНАДЦАТЬЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ ЗАЛПАМИ ИЗ СТА ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЁХ...

— Ну, поскупились, — не утерпел Сиротин.

Донской снова на него цыкнул.

«И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ», — звенело ещё в ушах генерала. Он сидел на шинели, склонив отяжелевшую голову, а в это время серые фигурки уже достигли окопов первой линии, прыгают с разрушенных брустверов на тех, кто успел вернуться после артобстрела, и с руганью, хряском и лязганьем бьются там, делают своё проклятое мужское дело. Они себя не слышат, как же услышать им этот голос, роняющий слова так ликующе звонко, объявляя как о высшей награде:

— И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ...

Он падал с высоты и ударялся обземь, как отбивая золотые слитки — цену их усталости, страха, безумной жажды выжить, жаркого мучения ран — пулевых, колотых, резаных... и какие ещё бывают раны? — цену их злобы к врагу, сумевшему опомниться и вернуться в окопы и встретить огнём — кинжальным, фланкирующим, косоприцельным... и какие ещё есть огни?.. Потом всё стихло, не слышно стало и шелеста.

Однако голос вернулся. С новой бодростью диктор читал о награждениях и повышениях, и генерал — как сквозь вату — опять услышал о себе, а скорее почувствовал на плечах некое прибавление тяжести, а на груди — лёгкое жжение привёрнутых к кителю наград. Всё это надобно было как-то переосмыслить и как-то примерить к себе, словно бы Героем и генерал-полковником стал не он, Кобрисов, сидевший на разостланной шинели со стопкой в руке, а некто другой, стоявший сейчас в вышине, над дымными, чадными полями сражения, как над расчерченной стрелами картой...

Он не сразу почувствовал, как Донской взял его руку со стопкой и наливает ему из бутылки.

— Товарищ командующий, за вас хотим... Разрешите? — кажется, в третий раз он говорил, глядя восхищённо и преданно. — А я бы добавил — за перспективу. За генерала армии Кобрисова. За командующего фронтом. Я серьёзно.

Сиротин и Шестериков сидели, раскрыв одинаково рты, на лицах блуждали одинаковые блаженные улыбки.

— За орёликов надо бы, — сказал генерал, насупясь. — Которые жизнь отдали, но обеспечили победу.

Сиротин и Шестериков слегка посуровели и спешно себе налили из фляжки.

— Тем самым и за вас, — сказал Донской с нажимом в голосе.

— «Тем самым»!.. Мы-то тут при чём?

Глаза адъютанта сделались строгими, в них появился металлический блеск.

— Чужого не берём, товарищ командующий, — сказал он твёрдо, поднимая стопку. — Виноват, у меня своё мнение.

В его строгих, в его преданных глазах, однако ж, мог прочесть генерал мучительную, судорожную работу мысли: «А действительно — мы-то при чём? И кто его в список вставил? Ватутин — по старой дружбе, на прощанье? Или — сам Жуков, в виде отступного? А может быть... Нет, не может быть. Ну не может Верховный всех упомнить! А скорей всего — просто машинка сработала. Пока мы тут двое суток шкандыбали... Ах, как чисто сработала! Снятие-то ещё не оформили, не согласовали, а новый ещё не стал на армию... А Москве — что? Москва смотрит — чья армия Тридцать восьмая? Кобрисова? Звезду ему на грудь, этому Кобрисову. И на погон заодно. Что мы, не знаем, как это делается?» Впрочем, возможно, и не об этом думал адъютант Донской или не только об этом, а ещё и о том, как он теперь пройдёт по ковровым дорожкам Генштаба, — чуть позади генерала и чуть поодаль, всё остаётся прежним, ничего не меняется, лицо и походка те же, но смысл-то — совсем другой!

— За орёликов, — повторил генерал тоном приказа.

Адъютант Донской склонил голову, подчиняясь с видимой неохотой. Все выпили и зашарили вилками в банках.

— Значит, говоришь, чисто сработала машинка? — спросил генерал, усмехаясь. Глазки его, из-под толстых бровей, блеснули озорством и злорадством.

Донской замер с куском во рту, щёки у него ярко вспыхнули пятнами. И, глядя на его растерянную, чеканность утратившую физиономию, генерал ощутил, как в нём самом поднимается волна грозного веселья, мстительной радости, жгучей до слёз, поднимается и несёт его.

— Не бурей, Донской, не бурей! — Он хлопнул адъютанта по плечу, отчего тот мало не сломался в спине. — Верно говоришь: своё берём! Чисто, не чисто, а пускай нам хоть кто словечко скажет. Чихали мы с высокого косогора! Мы ещё за этот Мырятин попляшем, верно?!

Он потянул из-за воротника салфетку. Шестериков, с радостно вспыхнувшей улыбкой, кинулся к нему.

— Дайте сменю, Фотий Иваныч. Немножко желеем залили.

— Ступай ты... со своим желеем!

Кряхтя, багровея лицом, генерал поднялся на ноги. Шестериков и адъютант вскочили тоже и поддержали его под локти. Он вырвался от них и, скомкав салфетку в кулаке, погрозил этим кулаком кому-то вверх, в пространство.

— Чихали, говорю! Вот что главное... С высо-окого косогора!

«Никак он и в самом деле плясать собрался? — подумал адъютант Донской почти испуганно. — А ведь с него, чёрта, станется».

Генерал, притопнув, взмахнул салфеткой и запел хриплым, непрокашлявшимся баритоном:

Ах, мы ушли от пррроклятой погони,
Перррестань, моя радость, дррродать!
Нас не вввыдадут верррные кони,
Ворррoных — уж теперь не догнать!..

Трое спутников его встали навытяжку, не зная, куда себя деть; между тем на них уже обращали внимание — подходили солдаты, оставившие свои зенитки, подходили робко женщины с огородов, воткнув в землю свои лопаты, притормаживали проезжавшие шофёры — и все смотрели, как грузный, хорошего роста генерал приплясывает около разостланной скатерти с выпивкой и закусками, взбрыкивая начищенным сапогом и помахивая над головою салфеткой.

Застелю мою бричку коврами,
В гривы конские — ленты вплету,
Прррoскочу, прррозвеню бубенцами
И тебя подхвачу на лету!..

Адъютант Донской смотрел на него, кусая губы с досады, чувствуя в душе странное уязвление. Не то чтоб ему чересчур неловко было за генерала, это бы ещё полбеды, но он вдруг почувствовал, что сам бы он, приплясывающий и припевающий обочь шоссе, со своей поджаростью, со своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка» глазами, выглядел бы совершенно невозможно, несусветно, и никогда бы эти женщины, солдаты, шофёры не смотрели на него с просветлёнными улыбками, как смотрели они на эти восемь пудов... чего? Он и сформулировать сейчас не мог чего, но, бог ты мой, как всё вдруг сделалось неважным — и что им теперь запоют в Генштабе, и как они будут выглядеть перед тамошними офицерами, проходя вдвоём с генералом по ковровым дорожкам, и даже что скажет, узнав, рыжая Галочка из поарма...

На дикой скорости подлетел со стороны Можайска «студебеккер» с надставленными бортами, гружённый брюквой, и стал, клюнув носом. Водитель, лет сорока солдат, опустив стекло, долго приглядывался, что происходит, потом закричал весело, кивая вверх, на чёрный раструб, из которого изливался теперь победный марш:

— Что берём, бабоньки? Неужто Предславль?

— Мырятин какой-то, — отвечали женщины.

— Чего? — Он приставил к уху ладонь совочком. То ли был глуховат, то ли ему мешал подвывающий двигатель.

— Мырятин! Уши прочисти!..

— Сятин? — переспросил водитель «студебеккера». — Хороший город Сятин. Я, правда, не был, но слыхал. — Он послушал марш и опять закричал: — Мелкоту отмечаем! А как Харьков сдавали — кто помнит, бабоньки? Одна строчечка была в газетке!

Генерал вдруг замер с открытым ртом. Он дышал тяжело, лицо малиново наливалось гневом.

— Я те щас дам «мелкоту»! — Он полез наверх, к шоссейке. — Я те щас покажу «Сятин»! Стратег выискался, Рокоссовский, Наполеон... Засранец! Предславль ему подавай. А Берлина, деятель тыла, не хошь сразу?

Водитель при виде генерала, подбиравшегося к нему снизу, с салфеткой в тяжёлом кулаке, обмер и стал бледнеть. Как бы сама собою судорожно подкинулась к виску ладонь. Как бы сам собою «студебеккер» тихонько тронулся и, взревев, бешено рванул со спуска.

— Гопник несчастный! — кричали вслед ему женщины, с мгновенно вспыхнувшей злостью к дураку, испортившему праздник.

— Дезертир!

— Чтоб ты взорвался!

— Чтоб тебе, падла, всю жизнь этой брюквой питаться!

Генерал, выбравшись наконец на асфальт, плюнул вслед «студебеккеру», уже и невидному за спуском. И, точно бы его сил только на то и хватило, вдруг поник, обвис, шумно засопел, замычал, как от боли.

— Орёлики мои! — Все его обиды нахлынули на него разом, от слёз защемило в глазах, и он, не таясь женщин, вытер глаза салфеткой. — Эхма, орёлики...

Отчего так грустно стало, почти невыносимо душе? Из-за этого дурака тылового? Или оттого, что, битый по рукам учительской линейкой, стоял на коленях носом в угол, и это никогда не забудется и ничем не искупимо? Неужели никогда, ничем?.. Он стоял одиноко посреди шоссе, никто не осмелился к нему подойти близко, и он смотрел поверх голов на облако, медленно наползавшее со стороны Москвы, изборождённое серо-лиловыми извилинами, а снизу чуть позолоченное краешком восходящего солнца. Облако меняло свои очертания, различались на нём то надменная голова верблюда с отвисшей губой, а то журавль с изогнутой шеей и распахнутыми крыльями, и вдруг оно заулыбалось, явственно заулыбалось — злорадной ухмылкой Опрядкина. Той самой ухмылкой, не затрагивающей ледяных глаз, с какой он протягивал на тарелочке жирный сладкий ломоть. «А всё-таки вмазали они тебе этот торт, — сказал себе генерал. Было и впрямь, как тогда, предощущение противной сладости на губах, сползающих с носа и подбородка липких сгустков. — Нравится? И кушай на здоровье!» Тут ему вспомнились его предчувствия, что с этим Мырятином непременно должно связаться что-то роковое для него — может быть, даже смерть, и будут его косточки лежать где-нибудь в городском скверике, под фанерным обелиском, — кажется, так теперь, после гибели Опанасенко в Белгороде, хоронили генералов? Ну, не связалось роковое, погребальные дроги миновали его, страхи не сбылись — много ли они значат, наши предчувствия? — но он-то их пережил! Не подумали об этом отставившие его от армии. Не подумали, как ему далась одна эта переправа, где его сто раз могли подстрелить, как селезня. Почему-то ему казалось обяза-

тельным, чтоб те, кто вырывает у нас кусок изо рта, ещё бы при этом задумывались, как он нам самим достался. Но ведь нашёлся же кто-то, неведомый судия, кто увидел всю цепь его унижений и своим вмешательством разорвал её, постарался поправить, что можно ещё поправить. Могла и в самом деле «машинка» сработать, но мог же и сам Верховный углядеть, оценить, что не в Мырятине, заштатном городишке, всё дело, а что плацдарм Мырятинский — ключик не к одному Предславлю, но, может быть, и ко всей Правобережной Украине, и подчеркнул его имя — жёлтым ли ногтем, черенком трубки: «Есть мнение, что в отношении товарища Кобрисова допущено нечто вроде несправедливости. Пожалуй, я к этому мнению присоединяюсь. Нельзя так людьми разбрасываться. Тем более, он у нас, если я не ошибаюсь, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Или я ошибаюсь?» Да, могло и так быть. Ну и что, если даже Сам? «А только то, — сказал себе генерал, — что вместо одного куска два кинули...» Почему всё так поздно к нам приходит, так безнадёжно поздно? Хотя бы и вернули его на армию — разве сам он останется тем же? Непоправимо никакое зло — и не оставляет нас прежними.

Адъютант Донской, поднявшийся следом за генералом на обочину шоссе, наблюдал за ним пристально, с язвительной усмешкою на тонких губах. Право же, мудрено было поспеть за этими причудливыми изменениями: только что генерал плясал и пел, а теперь вот ушёл к столбу, стоял одиноко под ревущим репродуктором, держась рукою за столб, опустив голову без фуражки. Ветерок лохматил ему редкие волосы, вид был неприкаянный. «Перебрамши малость», — определил Донской. И сформулировал по привычке: «Восемь пудов неизъяснимой скорби». А более всего коробило майора Донского, что генерал дал основание женщинам и солдатам-зенитчикам, собравшимся около машины, вслух обсуждать его.

Женщины поняли генерала по-своему. Иные согласно заплакали и утирались концами платков, иные так объясняли себе и другим:

— Бедненький, как за сынов убивается!..

— Вот судьба-то — всех разом...

— Поди, в одном танке сгорели.

— Чего ж он тогда плясал?

— Дак им же всем Героя присвоили. Он уж потом-то сообразил, что посмертно.

Далее, на взгляд адъютанта, пошло уже и вправду несусветное: одна из женщин всё же осмелилась, подошла к генералу и, взяв его за рукав, принялась утешать, что не такой-то он старый, жена ему ещё и двоих, и троих народит, а он ей отвечал, что чихать он на всё хотел с косогора, но люди-то не патроны, их экономить надо, каждого жалко.

— Ещё бы не жалко! — отвечала женщина со слезой в голосе. — Зато их народ не забудет, памятник всем поставит...

Долее адъютант Донской уже не мог терпеть.

— Шестериков! — позвал он. — Сходи-ка за ним, приведи.

— Почему я? — спросил Шестериков. — Вам же ближе.

Донской было заметил, что ближе-то к генералу как раз ординарец, но сказал другое:

— Я при командующем для более важных дел. А ты за его состояние отвечаешь, за физическое. И знаешь, как с ним обходиться.

— Если б знал! — проворчал Шестериков. — Каждый день им, что ли, Звёзды перепадают?

Но всё же полез наверх.

Женщина робко попятилась и отошла подальше. Генерал услышал, что кто-то тянет из его руки салфетку, поднял голову, увидел Шестерикова, смотревшего на него грустно и укорительно.

— Фотий Иваныч, пойдёмте, нехорошо вам тут.

— Нехорошо? — глаза генерала были мутны. — Хочешь сказать, я нехорош?

— Ну, и это тоже...

Сказавши так, Шестериков почувствовал, что власть его, маленькая, но ощутимая власть ординарца над своим хозяином, богом, упёрлась в предел, который переступить страшно. Генералу же вспомнилось мимолётное: как он, выплясывая, вдруг словно бы напоролся на этот же, грустный и укоряющий, взгляд своего ординарца.

— Что, на костях плясал?

Шестериков зябко повёл плечом и не ответил.

— А ты, — спросил генерал, — всегда со мной такой... откровенный?

Шестериков тотчас понял, о чём он говорит и о ком, и опустил глаза. И от этого генерал уверился, что да, было такое, доверительные беседы, о которых умолчал верный человек. Да и нельзя было бы слишком ошибиться — у того же Опрядкина читал он показания бывшего своего адъютанта, бывшего шофёра, бывшего ординарца, снятые особистами дивизии задолго до его ареста — после «разо-

блачения» Блюхера. Никто не отказался показывать на «любимого командира». Никто, правда, особенно и не закладывал его, даже старались, каждый в меру своего ума, как-то его выгородить, но никто же и не сообщил ему о тех беседах. Что же мы за народ такой, думал генерал. И злые слова шли на язык: «Кому ж ты доложишь, как я себя вёл? Твой-то майор Светлооков – где он теперь?» Но вид Шестерикова был такой убитый, что слова удержались – действительно непоправимые. Можно ли было совсем забыть, как этот же самый человек, попавший в сети матёрого, закалённого смершевца, да неизвестно ещё, насколько в них запутавшийся, и неизвестно, что и как отвечавший при тех беседах, этот же человек в сорок первом, не так далеко отсюда, у села Перемерки, тогда ещё незнакомый, только что встреченный, повалился рядом в кровавый снег, один отстреливался, вытащил, от верной смерти спас, а могло быть – и от плена, от участи того же Власова?

– Прости, если что худое сказал, Шестериков. – Генерал почувствовал себя так, будто он те слова произнёс. – Прости, брат...

– Фотий Иваныч! – Шестериков, с горящим лицом, подался к нему. – Я всё собирался, да никак... Я вам расскажу, как получилось...

Генерал хотел было отстранить его рукою, но только поморщился.

– Не надо, – сказал он, тряся головою. – И слушать не стану. Зачем это мне? – И повторил: – Прости, брат.

Хмель наплывал и схлынывал волнами, и в голове никак не укладывалось, что делается вокруг и почему делается. Водитель Сиротин, не усидевший один внизу на плащ-палатке, взобрался с фляжкой в руке к машине, уселся на своё сиденье, вывалив ноги на асфальт, и всем желающим наливал из фляги в крышечку.

– Женщины и девушки! – орал Сиротин, перебарывая радио. – Красавицы вы мои! Я правду вам скажу: на войне – всё, как в жизни. Кому гроб, кому слёзы, кому почёт на грудь. Поэтому за всех выпить полагается!.. Выпьем и отдадим все силы фронту. Все силы!..

Адъютант Донской высился на обочине одиноким столбом, кривил губы насмешливо-брезгливо, но вмешаться не спешил. Уже какая-то мигом захмелевшая бабка, дробненькая и темноликая, в расхристанном ватнике не по росту ей, пританцовывала, притопывала огромным башмаком,

истошно гикая и то попадая в такт бравурного марша, а то нарочно невпопад. Бабка из своих малых сил очень старалась всех развеселить, насмешить — и явно преуспевала: парни-зенитчики, спешившиеся шофёры, женщины с огородов, запрудив шоссе, сгруживались вокруг неё, и кто подхлопывал в ладоши, кто подгикивал, кто просто смотрел с невольной несгоняемой улыбкой. Поглядывали с улыбками и на него, генерала, — как из отодвинувшейся перспективы, из окуляров перевёрнутого бинокля; уже, поди, выяснилось вполне, что не погибли генеральские сыновья, чепуха это, всё у него в ажуре, и, стало быть, за него тоже праздновали, за его как с неба свалившиеся звёзды. Худые пареньки с тонкими шеями, кормленные по тыловой норме, в шинельках второго срока, с бахромою на полах и на рукавах, в ботинках с обмотками, женщины с опавшими или одутловатыми лицами, чуть только разгоревшимися, порозовевшими от выпитого, от смеха, в тяжелых, как доспехи, уродующих ватниках, в заляпанных грязью и обвисших юбках, в пудовых сапогах, — так выглядел этот, всегда непонятный, *народ.* И генерал представил себе, как бы он вдруг объявил всем этим людям, что там, в Мырятине, русская кровь пролилась с обеих сторон, и ещё не вся пролилась, сейчас только и начнётся неумолимая расправа — над теми, чья вина была, что им причинили непоправимое зло, — и ещё добавь, добавь, сказал он себе, что и сам его причинял с лихвой! — и они этого зла не вытерпели. У каждого была своя причина, но то общее, что сплотило их, заставило надеть вражеский мундир и поднять оружие против своих — к тому же и неповинных, потому что истинные их обидчики не имели обыкновения ходить в штыковые атаки, — это общее, заранее объявленное «изменой», не простится одинаково никому, даже не будет услышано. И как не считались они пленными, когда поднимали руки перед врагом, не будут считаться и теперь. Скажи он всё это — и что произойдёт? Проникнутся эти люди *чужими* сломанными судьбами? И хотя б на минуту прервётся или омрачится праздник? А может быть, тяжкий грех — прерывать его, омрачать? Может быть, всё то, что он сказал бы, и не важно — в сравнении с этой скудной радостью, какую доставил взятый вчера и никому из них не известный «Сятин»?

Наверно, есть, думал генерал, ещё какая-то справедливость, другая, которой он не постиг, а постиг — Верховный. Он-то лучше всех изучил, что нужно этому *народу.*

Не для себя же одного придумал он эти салюты, не для себя настоял в ноябре сорок первого: «Парад на Красной площади состоится, как всегда». Говорили, это ему посоветовал Жуков. Но так ли важно, кто подал совет, да были же и другие советы, важно — какой из них он принял, а принял — как полководец, понял, что такое война. А может быть, и большее он успел понять — что люди, к которым он был так жесток, мучил, убивал, гноил, единственные и верные его спасители, — и человеческое в нём дрогнуло? Не мог же так просто, на ветер бросить: «Братья и сёстры!» Так бог не обращается к человеку! То был — «отец», а то вдруг — «братья», «сёстры». С горней высоты сошёл смиренно, почувствовал себя равным со всеми, одним из всех. И в самые страшные дни, на пределе отчаяния, сказал вовсе не парадно, а как мог бы любой, как равный всем: «Будет и на нашей улице праздник». Какие слова нашёл! Какое в них послышалось обещание! Отныне всё по-другому пойдёт — ещё не сейчас, а когда немца прогоним, последнего немца с последней пяди России, сейчас только об этом думать! Вот и ему, Кобрисову, протянул руку — поверх всех голов, над интригами завистников — и разрубил узел, который никак не развязывался, враз облегчил бремя, все мучившие его мысли, в которых не дай бог кому признаться, прочёл — и отвёл: «Мелочи, мелочи, не имеет значения». И остановил на пороге Москвы, как будто пригвоздил, предупредив все нелёгкие разговоры в Генштабе. И отметил-то как — в числе немногих, самому Ватутину не дал Героя, а ему, Кобрисову, пожаловал... И оставил только одно, не отменимое никакими наградами: помнить и угрызаться, что план по Мырятину был составлен наспех и брошен на полдороге и все потери, которых могло не быть, повисли на нём...

Между тем содержимого фляжки там, ясное дело, не хватило, и явилась на свет пятилитровая канистра из-под моторного масла с чуть разбавленным спиртом-сырцом. Адъютант Донской и тут не вмешался. Шестериков, охнув, кинулся было спасать канистру, но генерал его удержал за локоть.

— Не надо, — сказал он, всех, кого видел, любя и жалея. — Не жмись. Гуляют люди!

...Гуляли, наверно, и там, в Мырятине. Ещё на западной окраине автоматчики вышибали немцев с верхних этажей и чердаков, и артиллерия на всякий случай стара-

тельно расстреливала колоколенку на холме, безглазую и пустую; ещё искали «керосинщиков», поджёгших мебельную фабрику, только что занятую и оприходованную как спасённое имущество, — пока не выяснилось, что сами же и подожгли ненароком; ещё не различить было, где перестрелка, а где так, салютуют от избытка чувств, а уже кто-то спал вповалку посреди газона в скверике; уже в центре телеграфистки и радисточки сменили тяжёлую кирзу на сапожки с каблучками, пошитые на заказ, и собирались выйти погулять на главный проспект; уже кто-то разведал, где дополнительное спиртное, и тащил его в родную роту сразу в четырёх касках, держа их за ремешки; уже дымили на площади походные кухни, и осмелевшие мырятинцы пристраивались в очередь с кастрюльками и горшочками — и снова вдруг начиналась пальба: обстреливали немецкий взвод, который вышел сдаваться аккуратным строем, но с таким грязным лоскутом, что его не признали за белый... И может быть, вся вот эта неразбериха и нужна была, чтоб люди пришли в себя и понемногу забыли, как на мглистом рассвете они стояли в сырых окопах, чувствуя холод внизу живота, молясь про себя и ожидая ракету.

Потом они узнают, потом объяснят им, что это было *великое наступление.*

Генерал вытер пальцами под глазами и увидел перед собою адъютанта — вытянутого, как палку проглотил, с генеральской шинелью на локте.

— Товарищ командующий, — сказал Донской построжавшим голосом. И поправился, нарочито выделяя новое обращение: — Товарищ генерал-полковник... Виноват, но всё-таки ехать пора. Тут уже в конце концов я отвечаю.

Генерал молча кивнул. Дал себя одеть в шинель, нахлобучил фуражку.

— Ожидается, что мы сегодня прибудем, — напомнил Донской, застёгивая на нём пуговицы. — Хорошо бы до одиннадцати. Время есть, но нужно же в себя прийти.

— Хорошо бы, — сказал генерал.

Он шёл к машине охотно, даже покорно, слегка поддерживаемый адъютантом под локоть. Люди, которых он смутно различал, сразу отчего-то притихшие, расступались перед ним широким коридором. Внизу, под насыпью, Шестериков торопливо совал в мешок стопки, вилки, ножи, салфетки, сворачивал скатерть, плащ-палатку, шинель.

С двумя громоздкими свёртками он поднялся к машине и сунул их за передние сиденья, под ноги адъютанту и себе.

— Получше не мог уложиться? — спросил генерал.

— Фотий Иваныч, дак тут ехать-то сколько...

— Сколько б ни ехать, а фронтовую укладку соблюди. Чтоб ничего не торчало, ноги бы не мешало вытянуть.

— Ну, я на колени возьму.

— Не надо на колени.

Генерал заговорил строго, посверкивая глазками из-под насупленных бровей; в нём появилась какая-то мрачная решимость, и адъютант Донской почувствовал в груди некое замирание: «Никак он сразу *туда* решил ехать». Это даже восхитило Донского — в высочайшее присутственное место заявиться вот такими, как есть, на заляпанном «виллисе», во всём повседневном, полевом, пропахшими грязью дорог, по́том, бензинной гарью, немножко и коньячком — тоже не повредит в такой день! — *пропахшими фронтом.* И ещё бы разыграть, что не слыхали о Приказе, пусть-ка сначала им сообщат, поздравят. Если в том и есть генеральская дурь, то — высокого свойства. Интересно, подумал он, из ста генералов сколькие так бы и поступили? А сколькие — не посмели бы?

Однако ж генерал сто первый, лучше всех изученный Донским, поставил ногу в «виллис» и спросил водителя:

— Как у тебя с бензином, Сиротин?

— До Москвы-то? — Сильно порозовевший Сиротин, переваливая малопослушные ноги с асфальта к педалям, беспечно рассмеялся. — Да на нейтралке с горушки домчим, даже без зажигания. На одном, тарщ командщ, эн-ту-зи-азме!

— А до Можайска? — спросил генерал. — Хватит без заправки?

В груди адъютанта Донского явственно что-то стало опускаться.

— Товарищ командующий... Виноват, но — Москва! Нас ведь сегодня в Ставке ждут...

— Кто? — спросил генерал тем же мстительным голосом, каким он кричал про чиханье с косогора. — Кому там без нас не прожить? Ставка нам уже всё сказала. *Сам* сказал!..

— Ещё раз виноват... *Хоть я и перебрал малость,* — последнюю фразу Донской произнёс с нажимом, — но осмелюсь настаивать. Это чрезвычайно важно! Вы же потом с меня взыщете...

Генерал, широко взмахнув рукою, показал ему на репродуктор. Победные марши смолкли, из чёрного раструба изливалась тягучая печальная мелодия.

— Вот это мы приняли? — спросил он, глядя в упор в бледнеющее лицо адъютанта. — Звёзды на грудь и на плечи — приняли, я спрашиваю? То, что ты говоришь — «своё»... Значит, и всё остальное должны принять! Кровь пролитая, люди погибшие — не зовут тебя, майор Донской?

Шестериков, укладывавший возимое добро в бортовые коробы, выпрямился и поглядел на генерала с удивлением, с восторгом, но и с мольбою.

— Ставка-то — бог с ней, оно и лучше туда носа не казать. Но неужто домой не заедем? Фотий Иваныч, дочек не повидаем? Майю нашу Афанасьевну — не порадуем? С меня не то что вы — она с меня взыщет!

— Порадуются и без нас, — буркнул генерал. — Приказ небось уже слышали. Что мы им другого скажем?

Он поглядел на Москву, всю в проплешинах от лучей бледного холодного солнца, проникавших в разрывы облаков. Он поглядел на неё без всякого интереса, и это яснее всего сказало Донскому, что убеждать его, соблазнять чем бы то ни было — бессмысленно: ни тем, что им всё-таки есть резон хоть показаться в Генштабе и кое-что разведать, ни тем, что они вполне бы могли, без особенных угрызений, провести сутки в Москве, хлебнуть столичного воздуха и увезти кое-какие воспоминания, ни даже несколькими часами дома, с семьёй, которую генерал может и до конца войны не увидеть. А то и вовсе не увидеть.

— Так чего, заводить? — спросил Сиротин. — Куда поедем?

— Указан тебе маршрут, — сказал Донской потухшим голосом.

До Сиротина, однако, не всё дошло толком. Он смотрел на домишки и сады Кунцева и улыбался.

— Эх, да как же не погулять, салют не поглядеть в кои-то веки? На метро не прокатиться? Был я в Белокаменной или не был?

Генерал, грузно усаживаясь, отвечал ему ещё сдержанно:

— Нагуляешься, Сиротин. После войны. Ребёнок ты? Не видал, как из пушек бабахают? Давай заводи.

Но и запустив мотор, Сиротин ещё не всё до конца понял.

— А может, сгоняем? Ну, на часок хотя бы... Ведь дело ж какое!..

Генерал, багровея, затрясся от гнева.

— Что, совсем окосел? Трезвей у меня щас же, мобилизуйся! Какое у тебя там дело? У тебя на фронте все твои дела! В армии! Понял? И крути назад! Крути, говорю!

Сиротин поспешно схватился за рычаг, со скрежетом включил передачу. Выкручивая руль до отказа, он взглядывал на генерала испуганными глазами, словно с недобрым предчувствием; лицо его было несчастное, едва не плачущее. Люди, всё видевшие и слышавшие, медленно расступались перед широким тупым рылом «виллиса». Солдаты-зенитчики поднесли ладони к каскам, женщины крестились. Темноликая бабка, поднявши троеперстие и кланяясь, крикнула шепеляво: «Сохрани вас Господь, касатики!..» Лица у всех были печальны, точно бы на них отражалась истекавшая из чёрного раструба тонкая пронзительная щемящая нота.

Генерал, против устава, всем откозырял сидя.

Адъютант Донской, стиснутый, скорчившийся на заднем сиденье, чувствовал в душе уязвление — оттого, что не разгадал эту очередную дурь. Вина, разумеется, была его, но винил он в своей ошибке почему-то генерала, которому не преминул съязвить:

— А хорошо бы, товарищ командующий, нас на первом КПП* не завернули — без надлежащего предписания.

— Нас-то? — Генерал не оглянулся, а лишь откачнул голову назад. — А хотел бы я посмотреть тому в рыло, кто нас от войск завернёт. Чёрта ему лысого, хренушки — нас теперь от армии отставить! Успеть бы только, успеть... Нам бы вчера там быть. Давай, Сиротин, жми!

Круто вильнув и оставив на шоссе две синусоиды грязи с обочины, «виллис» взревел и пошёл, набирая ходу, в сторону Можайска. Ещё раз, из-под брезента, с отчаянием на лице, оглянулся водитель Сиротин. И более все четверо на Москву не оглядывались. Траурный марш отдалялся и затихал, всё сильнее бил в стекло и хлопал брезентом ветер.

Прав оказался генерал Кобрисов, а не адъютант Донской — на первом КПП их не только не завернули, а ещё поздравили и передали о них по телефону на следующую

---

* Контрольно-пропускной пункт.

«рогатку», чтоб пропускали без замедления. Их кормили и водку им отпускали без продаттестатов и заправляли бак бензином, не спрашивая талонов и накладной. Среди машин, спешивших на запад, маленький «виллис» не мог затеряться и застрять, он переходил из одних предупредительных рук в другие.

Сегодняшний день – весь целиком – принадлежал генералу. Весь этот день он ехал триумфатором, потому что столбы с чёрными раструбами попадались на всём его пути, и каждый час гремело из них, как с неба:

– ...СТРЕЛКАМ И ТАНКИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КОБРИСОВА...

И державно ликующий голос разносился широко окрест – над холмами и ухабистыми дорогами, выбегавшими к шоссе, над мокрыми простреляннными перелесками, над печными трубами деревень и хуторов, испустившими свой последний дым два года назад:

– ...И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ...

Всякий раз, подъезжая к такому столбу, водитель Сиротин притормаживал, чтобы ещё раз послушать и дать послушать генералу, а потом рвал как угорелый, мучая мотор, губя покрышки. И ветром дороги отбрасывало, уносило вдаль, за корму:

– ВЕЧНАЯ... ПАВШИМ... НЕЗАВИСИМОСТЬ... РОДИНЫ...

Этого, впрочем, генерал как будто и не слышал. Он сидел неподвижно, вцепясь обеими руками в поручень у приборной панели, выставив на ветер толстое колено, обтянутое полою шинели, и смотрел хмуро и сосредоточенно в летящее навстречу пространство. Адъютант Донской, перегибаясь с заднего сиденья, заботливо укутывал ему горло серым, домашней вязки, пушистым шарфом.

Он мог бы этого и не делать. Генералы – когда они едут к войскам – не простуживаются.

Глава седьмая

СНАРЯД

1

Майор Светлооков сидел один в комнатушке сельской хаты на Мырятинском плацдарме. Он сидел за столом лицом к окну, держа около уха трубку телефона, другой рукой машинально расправляя шнур. Быстро вечерело, но огня он не зажигал, не хотелось занавешивать окна и сидеть потом в слепой и глухой норе. Спасо-Песковцы не переставали быть ближним тылом, а теперь, с наступлением, они оказались неожиданно в зоне боевых действий. Разумеется, штабное село охранялось, но лучше было всё видеть и слышать и иметь под рукой пистолет, вынутый из кобуры.

То, что сообщали майору Светлоокову, отражалось на его лице игрою бровей и губ — отражалось бы, если б не так стремительно сгущавшаяся темнота.

— Зоечка, друг мой, — говорил он. — Ты там сидишь на коммутаторе, на главном, можно сказать, пульте управления, так ты пресекай, пресекай эту болтовню по связи. Чтоб у тебя отводная трубка от уха не отлипала. И как услышишь, что маршрут сообщают и время, прерывай тут же. В разговор не встревай, замечаний не делай, а тут же прерывай.

— Я так и делаю, майор, — отвечала трубка.

— Кто ещё знает, кроме начштаба? Ну, начальнику разведотдела полагается это знать, а кто ещё?

Трубка ему перечислила трёх-четырёх посвящённых.

— Да, — сказал майор Светлооков, — это уже не секретность. Уже, как пить дать, где-нибудь утечка произошла, что барин едет. Ну, хоть бы просто трепались, анекдоты рассказывали, насчёт баб опытом обменивались, а то ведь такие вещи по проводу сообщают! А вот подслушают, да

устроят барину перехват в лесу, да в плен возьмут... У них же мечта – нам ультиматум предъявить.

Люди, которых называли бандитами и предателями, рыскали вокруг по весям и малым хуторам, и вели они себя дерзко. Из страха окружения они подались не на запад, куда бы им следовало прорываться любой ценой, а на восток, к берегу Днепра, – этого не объяснить было никакой логикой, но лишь инстинктом загнанного животного, которое бежит туда, где не так пышет огонь или не так леденит дыхание смерти, – хотя там-то как раз она и поджидает его. Спасаясь от окружения незавершённого, из которого ещё можно было вырваться, они попали в такое, откуда им выхода не было вовсе.

– А Светлооков ему безопасность обеспечь! – сказал майор Светлооков с досадой. – Волшебники мы, что ли?

– Скромничаете, майор, – сказала Зоечка и рассмеялась серебряным смехом. – Я-то вас считала волшебником.

– Уже не считаешь?

– Считаю, считаю. Кого же мне ещё с вами рядом поставить!

– Ну, придётся нам с тобой этой ночью попотеть...

– Фи, – сказала Зоечка, – не ожидала, что вы так вульгарно...

– Ну, я хотел сказать, потрудиться.

– Не лучше.

– Слушай, Зоечка, ты что-то у меня сегодня игривая. Уговор был какой? Всякие шуточки на скользкие темы во время работы отставить. А тебя только туда и тянет. Где он сейчас примерно?

– Не примерно, а точно – к Торопиловке приближается.

– Там он ночевать не захочет. И в Спасо-Песковцах не захочет. Он в свой вокзальчик поедет. А там сейчас неизвестно кто и что. Я звоню – без результата. Линия туда обрезана?

– Нет.

– Это почему? Сказано же было: все линии, которые могут быть захвачены, обрезать.

– Можете не беспокоиться, я все концы в руках держу.

– Н-да? – спросил он с гнусавой ухмылкой. – Это хорошо, Зоечка. Я так и вижу тебя, как ты концы необрезанные в ручках своих нежных держишь. Впечатляющая картиночка!

— Ну вот, — обиделась Зоечка, — вы же сами на скользкие темы...

— Виноват, виноват... А ты сейчас и командующего могла бы прослушать?

— Командующего — это что! Я вас могу.

— Ого! А ты знаешь, Зоечка...

Он хотел продолжить: «А ты далеко пойдёшь!» С некоторым даже испугом, но и восхищением, он отметил, что она уже высвободилась из-под его первоначального подавляющего авторитета и неуловимо наглеет. Вот уже называет его не «товарищ майор», а просто «майор». И нет смысла делать ей замечание, это ведь не Зоечкина особенность, а той службы, которой принадлежали они оба и которая, по самой природе своей, разрастается и наглеет, наглеет и разрастается. Знать о людях больше, чем они того хотели бы, и чтоб это не сказывалось на посвящённом в чужие тайны? Невозможно.

— А ты молодец, — прервал он свою затянувшуюся паузу. — Благодарность от лица службы.

— Служу Советскому Союзу.

— Неправильно говоришь. От лица *нашей* службы. На это наши люди отвечают глубоким сосредоточенным молчанием. — Трубка помолчала. — Вот, правильно. Сейчас я по карте посмотрю, где эта Торопиловка. Что ж, дорогая моя...

— Приятно слышать.

— Не в смысле — дорогая женщина, а дорогая помощница.

— Тоже приятно.

— Придётся нам сегодня, Зоечка, проявить себя волшебниками. Тут что главное сейчас... когда уже произошла утечка и не исключается подслушивание. Нужно создать... как бы это выразиться?.. хорошую неразбериху.

— Я это поняла, майор. *Можешь* на меня положиться.

— Зер гут, — сказал он весело. И подумал, что лучше с этой Зоечкой не ссориться, слишком она влезла во все дела. — Созваниваемся. Ты знаешь, где я буду. Адьё!

Он положил трубку, прокрутил отбой и несколько мгновений сидел неподвижно, в рассеянности продолжая расправлять шнур. В окнах всё больше чернело, и темнота понуждала его приступить к делу.

«Эх, Фотий Иванович, зачем?! — произнёс он мысленно. — И что вам в Москве не посиделось? Не побыли дома,

с женой любимой, с дочками подрастающими, а прямо к нам. Ведь расплатились же с вами! Неужели мало? Звезду на погон и Звезду на грудь — фактически за одну только переправу... за один лишь замах! Другой бы доволен был выше головы, а вам подавай — Предславль!.. Один бог знает, как я вас уважаю. Но ведь правду говорят: жадность фраера губит!»

— Ну, что поделаешь, — произнёс он вслух. — Вызываю огонь на себя.

Но и после этих слов он сидел, огорчённо вздыхая, и не мог себя заставить подняться, невмоготу было перенести всю тяжесть свою на ноги. Он надел фуражку и, взяв со стола пистолет, поставил его на предохранитель и вложил в кобуру. Казалось ему, на это ушли все его силы. При свете было бы видно, что лицо его хмуро и печально.

2

Приблизительно в этот час в маленькой землянке на левом берегу Днепра сидели за столиком, друг против друга, командир батареи 122-миллиметровых гаубиц и наводчик первого орудия. Сидели они хорошо, у них ещё были полторы фляги водки-сырца, полбуханки хлеба, пачка печенья из офицерского пайка и большая, килограммовая банка американской мясной тушёнки, из которой они себе накладывали в миски понемногу, чтоб банка подольше была украшением стола. И был у них повод выпить — за перемену позиции. Их батарея покидала своё расположение и перебиралась на новое место — уже на том берегу, на плацдарме, который они два с лишним месяца поддерживали огнём. Комбату отчасти и жаль было покидать обжитую землянку, такую низкую, что в ней едва он мог распрямиться, а зато дивно пахло от пола, укрытого еловым лапником и ссохшейся полынью. И сначала они говорили о том, что следующие свои землянки они выроют поглубже, в них будет потеплее, — и не так, добавлял наводчик, чтобы десять рыл друг у друга на голове, а по двое, скажем, или хотя б по пятеро, — но потом вспомнили, что и в прошлые разы это же обещали себе, и пришли к тому, что, наверное, и не понадобится их рыть вообще, потому что пошло наступление, и может быть, жить они будут в хатах наконец, а не в земле.

Попивая и закусывая, они с душевной приязнью смотрели друг на друга при свете коптилки, сделанной из снарядной гильзы от малой зенитки, — наводчик, мужичок лет тридцати, с лычками сержанта, юркий и расторопный, а когда надо степенный и немногословный, и комбат, возрастом помоложе его лет на восемь и всячески старавшийся это своё досадное отставание преодолеть с помощью усов и деланной басистости в голосе. От чадящего фитиля ноздри у них были чёрные. Кроме того, у наводчика темнело вокруг правого глаза и несколько припухла бровь. Наводчик имел пагубную привычку — закончив наведение, не сразу отстраняться от прицела, а ещё мечтательно задумываться о траектории снаряда, покидающего ствол, и мысленно провожать его в полёте до самой цели, которой он никогда не видел, так как стрелять ему приходилось всегда с закрытых позиций. Из-за этой мечтательности и задумчивости ему частенько доставалось от толчка, который не целиком поглощался дульным тормозом и противооткатной гидравликой. Резиновый наглазник окуляра удар, конечно, смягчал, но и натирал ему надбровье.

Они сидели достаточно долго, чтобы почувствовать произошедшие в них изменения. Наводчик первого орудия с удивлением осознал, что жизнь его была бы решительно неполна, если б не повстречался на его путях-дорогах командир батареи 122-миллиметровых гаубиц. Со своей стороны и комбат должен был признать, что в жизни своей не встречал человека лучше, чем наводчик первого орудия. И с некоторым удивлением он вспоминал, как совершилось это открытие. Наводчик пришёл к нему отпроситься часика на три, на четыре в село под названием Свиные Выселки, — там, в дополнение к местному контингенту, располагался армейский госпиталь с разнообразным женским персоналом и, к счастью, немногой охраной, — и скрепя сердце комбат отказал ему, мотивируя тем, что уже много людей ушло, а на батарее осталось мало, вот разве только вернётся кто-нибудь до срока, тогда почему ж не отпустить... Надежды на это не было никакой, но разговорились, комбат почёл своим командирским долгом расспросить подчинённого, как складывается жизнь его на батарее, чем заполняется личное время и что пишут из дому; слово за слово, выставилась на столик фляжка, достанная из стенной ниши, где она сохранялась в земляной прохладе, выпили по четверти кружки, потому что нельзя же так разойтись, потом ещё по

четверти, потому что «надо ж повторить», а к третьему наливу появилась ответно фляжка другая, как бы вынырнувшая из шинельного рукава наводчика, его «вступительный взнос», с которым он бы в любой компании был принят сердечно; тут, само собою, продолжили и воспрянули, а вскоре и вознеслись, и наводчик совершенно перестал жалеть, что не попёрся по осенней грязище и по холоду за пять вёрст в эти Свинячьи Выселки.

— А почему это происходит? — спрашивал он с упрямством в голосе. — Вот почему?

— Да, почему? — спросил комбат. И спохватился. — А что происходит?

— Вот такие встречи. Почему, капитан, я тебя в мирной жизни не встречал? Потому что не мог. Увидеть — мог, а разобраться не мог, кто хороший человек, а кто, понимаешь, сволочь. А тут и разбираться не надо. Лично я считаю, на фронте — кто воюет, конечно, — все люди хорошие. И чем к переднему краю поближе, тем лучше.

Комбат был с этим вполне согласен, но считал, что если он возражать не будет, спор у них быстро выдохнется, поэтому сказал:

— Ну, это не совсем так...

— Так! — сказал наводчик и вытаращил глаза. — Резкое уменьшение. Резкое! То есть уменьшение кого? Сволочей. Их, понимаешь, передовая отсекает. Напрочь! Это вот как будто кто их отодвинул на край земли. Нету их! Не чувствуются! Вот что война сделала.

Комбат понимал инстинктивно, что нетрезвый разговор по душам всё же должен одолевать некое сопротивление, не такое маленькое, чтобы его перешагнуть, не заметив, но всё же мягкое и формы как бы округлой, чтоб его можно было и обойти, не доходя до резкостей и излишних телодвижений. И он говорил тоном мягким, лишь легонько подначивающим:

— А мы же её кончить скорей хотим, войну.

— Правильно!

— Ну, так они ж опять придут, сволочи.

— Придут, куда им деться.

— А нам куда деться?

— А нам — никуда. Жить дальше. С ними. Но зато — пожили. Зато вот я тебя встретил, а ты меня.

Комбат всё порывался ответить наводчику, но не получалось сформулировать, что есть какая-то сила в их общей

жизни, вовсе не случайная, не тупая, не механическая, а очень даже направленно сволочная сила, которая специально заботится, чтобы людям было хуже. Сейчас эта злая сила отодвинулась от них двоих за тридцать, за сорок километров, но как обозначится перелом окончательный, так она снова к ним явится. Она никуда не девалась, эта сила, она за ними шла по пятам. Вот они очистили землю до Днепра, и скоро и она придёт на эту землю и всё захватит в свои руки.

— Не захватит! — закричал наводчик, и это означало, что какие-то слова комбат всё же сформулировал и произнёс. — Всё не захватит! Нас с тобой, капитан, она не разобьёт нипочём. Мы как стали братья, так и дальше останемся.

— Так за что выпьем? — спросил комбат.

— Вот за это, — ответил наводчик. — Что встретились мы с тобой.

— Выходит — за войну?

— Выходит — да...

И, ощутив подступившее желание немедленно закурить, наводчик потянулся к кисету. Как раз в эту минуту загудел зуммер. Оба посмотрели друг на друга вопросительно. Комбат с опаской взял трубку.

Звонили с дивизионного узла связи, сказали, что будет говорить шестой, согласно нехитрой конспирации — командир дивизиона. Комбат, быстренько мобилизуясь, как это хорошо умеют облечённые ответственностью фронтовики, подчас в усмерть пьяные, застегнул ворот и сел прямо, вытянув шею.

— Что поделываешь, капитан? — спросила трубка.

— Пока ничего, — отвечал комбат голосом трезвым, только излишне громким. — Ну, то есть уже ничего, а до этого поделывал.

— И что же ты там поделывал?

— А всё, что надо. Батарея приведена в походное положение. Дело только за тягачами. Как придут тягачи — двинемся, задержки не будет.

— Люди твои — все на месте?

Комбат глубоко вдохнул и выдохнул медленно и бесшумно в сторону от трубки.

— Н-никак нет, не все. Кой-кто в отлучке.

— А куда ж они отлучились? И кто это позволил? Праздник устроили!..

Командир дивизиона говорил так, как привык при грохоте пальбы, в тишине это выходило излишне крикливо, и казалось, он сильно гневается.

— Мне, товарищ шестой, тягачи обещали не раньше пяти. Ну, позволил людям друзей навестить — и своих тут, соседей, и в селе, у кого завелись. Ведь столько тут стояли, надо же попрощаться по-человечески. Но — чтоб к пяти ноль-ноль были бы как штыки! Ну, отдохнуть же надо, понимаете?

Командир дивизиона был из тех, кто понимал.

— Не хотелось тебя дёргать, капитан, поскольку ты с позиции снимаешься, я Шурупову звонил — он лыка не вяжет. Ты тоже хорош, хотя на ногах, я чувствую, стоишь.

Комбат при этих словах привстал с табуретки. Наводчик смотрел на него пристально и с яростной надеждой, что не придётся никуда идти.

— И вот думаю, — продолжал командир дивизиона, — бывают же чудеса, вдруг ты мне боевую задачу сумеешь выполнить...

— Почему это не сумею? Минимум людей у меня имеется.

— Ну, раз так — переводи батарею в положение боевое. Тут, понимаешь, сообщают о прорыве большой группы. Из окружения, понимаешь. Захватили машины, понимаешь, носятся по нашим тылам, нападают, стреляют. Надо пресечь. От тебя тоже потребуется огневой налёт. Всеми орудиями. Задачу понял?

К унынию, к великой досаде, комбат себе представил, что его людям, которые уже зачехлили орудия, свели станины и взяли их на передки, долго и нудно перетягивали стволы в заднее, походное положение, всё это укрыли маскировочными сетями, плащ-палатками, еловым лапником, теперь предстоит эта работа в обратном порядке, а потом, по выполнении огневой задачи, всё опять начинать сначала. Когда же они поспят до пяти?

— Так точно, товарищ майор, — сказал комбат, вытягиваясь и упираясь головою в бревна потолка. Оправляя гимнастёрку под ремнём, он прижимал трубку к уху плечом. — А кто у меня глазами будет?

Он имел в виду корректировщика огня.

— Будет офицер один, ты его не знаешь. Он к тебе обратится по-старому. Не забыл, как в последний раз тебя звали?

— Это... Как его?.. Резеда.

— Помнишь хорошо. Глаза будут нормальные, он дело знает. Сейчас он туда выехал, позвонит тебе на батарею, укажет координаты цели.

— Всё понял, иду на батарею, — сказал комбат. И, положив трубку, поглядел с сожалением на оставляемый столик. — Вот, никогда за войну пить не следует. Тут она как тут.

Покуда наводчик надевал шинель — так размашисто, что занимал этим надеванием три четверти землянки, — и покуда нахлобучивал ушанку, задевая локтями потолок, комбат связался с батареей и объявил боевую готовность. Потом комбат надевал шинель и ушанку, занимая три четверти пространства, а наводчик, локти расставя, оборонял от задева водку и закусь. Полминутки помедлив, дав себе свыкнуться с неизбежностью, они вышли в ход сообщения. Ход был капитальный, шириною двоим разойтись, с отлогими утрамбованными стенками, а дно усыпано мелким речным песком, крахмально поскрипывающим под ногами. И наводчик подумал, что хорошо бы стенки ещё обложить, как у немцев, аккуратно нарубленными и проволокой перевязанными ветками. У них и тропинки между землянками и блиндажами выложены такой плетёнкой, в любую непогодь грязи в жильё не нанесёшь. Но потом он подумал, не без грусти, что у немцев времени много, вот они и возятся, а у нас, русских, его всегда не хватает, очень уж часто приходится задумываться о разном, и куда-то оно девается незаметно. И в утешение себе он решил, что если бы и впрямь ходы сообщения были такие благоустроенные, так ещё бы жальче было отсюда уезжать.

Огневая позиция батареи была расположена среди редколесья, орудийные дворики хоть и разбросаны друг от друга в отдалении, но все проглядываемы меж кустов и деревьев. В брезжившем свете луны, невидной за облаками, даже приземистая серая туша последнего, четвёртого орудия виднелась отчётливо. А от Днепра загораживала всю позицию плотная стена елей и берёз, их вершинки сейчас чернели на темно-синем, как острия частокола. Батарейцы, повыползшие из своих землянок, хотя и в малом числе и довольно-таки замедленно, шевелились уже при орудиях. Станины они развели, теперь только сошники забивали в грунт да из снарядных погребков подтаскивали ящики со снарядами и зарядными гильзами.

Наводчик первого орудия к этим делам не прикасался. Первое орудие было и *основное*, для него рассчитывались установки для стрельбы, по оси его ствола при надобности строился батарейный «веер», с результатами его пристрелочного огня согласовывали свою цифирь наводчики других орудий. И наводчик номер один сразу же прошёл к своему особому, привилегированному месту – слева, перед самым щитом, – снял чехол с прицела, снял кожаную крышечку с окуляра панорамы и положил в карман шинели, затем маховиком подъёмного механизма стал задирать уже перетянутый в боевое положение ствол. Как по сигналу, толстые стволы других трёх гаубиц тоже поднимались в ночное небо, к плывущим лохмотьям облаков. Командир первого орудия отсутствовал, он ушёл в село попрощаться со своей двухмесячной зазнобой, «закруглить роман», как он поведал всему огневому взводу, но он и не нужен был наводчику, поскольку сам командир батареи расположился невдалеке, у хода сообщения, накрытого плащ-палаткой. Там в нише сидел связист с телефонами дальней связи и внутренней батарейной. Комбат сел около него на землю, подоткнув под себя полы шинели и свесив ноги в окоп, и развернул на коленях свой координатный планшет.

Было холодно, промозгло, и наводчик, вздрагивая под своей шинелькой, согревался предвкушением, как они вернутся в тёплую землянку. Наверное, и другим номерам поредевших расчётов хотелось поскорее в свои норы, однако стояли терпеливо и молча.

– Вас, товарищ капитан, – сказал связист и снизу, из-под плащ-палатки, протянул ему трубку.

Комбат, пошатнувшись, наклонился и поймал её.

– Поработаем, Резеда? – сказала трубка. Голос был незнакомый, какой-то неуловимо наглый и заранее насмешливый, тотчас вызывающий раздражение. – Как слышишь?

– Слышу, – сказал комбат. – Ты кто?

– А чего ты хриплый такой? – вместо ответа спросила трубка. – Простудился? Или же сильно перебрал?

– Слышу, – повторил комбат, давая понять, что в эти «разговорчики» он не вступает. – Спрашиваю, кто ты?

– Кто я? Тоже на «ры», только не Роза и не Ромашка, а – Ревень.

– Так это ж не цветок, – удивился комбат.

— Не пахнет, это верно, зато от запора помогает. Старички говорят. От ревматизма тоже полезно. Ладно, что там у тебя пристреляно на рокаде — между Озерками и Голубковом? Вот, около рощи... Как ты её зовёшь, роща Кудрявая?

— У меня много чего пристреляно, — сказал комбат обиженным тоном. — Так это ж когда было! Больше двух месяцев...

— Но ты же свои таблицы не скурил, я надеюсь? Или ты их в печке сжёг?

— Чего это мне их сжигать? — возмутился комбат.

— Ну, напрягись там. Усилься. Должен наизусть помнить.

— Пожалста... Выезд из рощи Отдельная, где развилка. Дальше влево — дуб одиночный, от обочины метров сорок. Раскидистый такой... Не знаю, стоит он там или уже нет...

— Не такой раскидистый, но есть. Ты по нему шмаляешь, и чтоб он тебе всё раскидистый был. Значит, репер номер один — развилка, репер номер два — дуб одиночный, бывший раскидистый. Правильно я тебя понял?

В отуманенной голове комбата всё происходило, как у сельского киномеханика в потрёпанном фильме. Одни кадры застывали надолго, потому что лента рвалась и останавливалась, другие промелькивали стремительно, когда она с места пускалась вскачь. И всё же, как ни был силён хмель, а комбат заподозрил, что с координатами цели что-то напутано. С какой такой стати обстреливать ему рокадную шоссейку? Она звалась рокадой уже не потому, что была параллельна фронту, который далеко от неё ушёл, но параллельна Днепру. И проходила она совсем близко от переправы. Можно сказать, глубокий тыл. Неужели так много туда просочилось из Мырятинского то ли «мешка», то ли «котла»? Он знал, что и по берегу Днепра идёт охота на беглецов из окружения, но действовали оперативные отряды, тяжёлая артиллерия не задействовалась. И даже такая несусветная мысль посетила его голову: а не разыгрывает ли его этот Ревень? Может быть, ни черта он там не корректирует, а сидит где-нибудь в тёплом укрытии, смотрит в карту-двухвёрстку и тычет пальчиком — где, по его мнению, что-то должно быть. А хотя чёрт его знает, ведь звонил же о нём шестой...

— Э! — сказал комбат. — Ты там не ошибся, Ревень? Похоже, я по своим ударю.

— Ты охренел там спьяну? — кричал ему в ухо наглый голос. — Какие они тебе свои? И с какого дня, интересно? Виселица по ним плачет, а ему — свои.

Комбат, развернув планшет, посветил на него фонариком. Хотя довольно было света невидимой луны.

— А ты сам-то где находишься, Ревень? — спросил комбат.

— Где я? Скажу тебе по секрету: на конце провода.

— На каком... конце?

— На том. На противоположном. Давай, сосредоточься. Пощупаем твою пристрелку, цель номер один.

— А я тебя не могу поразить?

— Можешь вполне. Ну, такая наша горькая участь, приходится иногда и на себя огонь вызывать.

Когда эти слова дошли до сознания комбата, они ему показались лучшим доказательством, что координаты даны верные. За любую ошибку, свою ли собственную или огневиков, корректировщик расплачивался своей жизнью. И комбат проникся наконец доверием к Ревеню, который спервоначалу показался ему несимпатичным. Он даже усовестился, что подумал о своём боевом товарище нехорошо.

— Цель номер один, — повторял за Ревенем комбат. — Прицел восемь, левее три. Первому орудию один снаряд огонь!

Наводчик приник к панораме и, вращая маховики, отсчитал табличные деления от горизонта орудия и от вспомогательной точки — вбитого в землю невдалеке белого шеста. За правым его плечом тяжёлый снаряд упадал рылом в полукруглое приёмное ложе казённика, вдвигался на своей смазке вглубь, до упора в поясок, и мягкая медь пояска толчком вбивалась в устья нарезов. Следом вползла зарядная гильза. Лязгнул затвор. Осталось протянуть руку и, не глядя, нашарить спуск.

Уже необратимо тугой на ухо, сильнее — на правое, он легче прежнего переживал свирепый грохот выстрела, но ощущал всем существом тяжкий присед и подпрыг всей гаубицы, резкий отлёт ствола и неспешный его возврат, звонкий выброс горячей дымящейся гильзы и тотчас ударявший в ноздри запах дыма, окалины и горелого масла.

Вскоре же заверещала трубка дальней связи, и комбату стали сообщать поправки на перенос огня. Комбат громко переспрашивал, уже оглохший, другое ухо зажав ладонью.

В это время наводчик думал о том, как слова комбата, влетающие в трубку, бегут один за другим по проводу в оболочке, проложенному под Днепром, в холодной глубине, между камней, осколков и невсплывших трупов, и далеко на том берегу вылетают из трубки в ухо корректировщику. А его слова той же дорогой бегут навстречу. Интересно, что будет, если обоим заговорить одновременно? Наверно, слова встретятся где-нибудь на дне и дороги друг другу не уступят, так что никто ничего не услышит. Хотя вроде бы не с чего им друг в друга упираться, могут и разойтись мирно. Говорили ребята из первой лодочной группы, погибшие потом со своим лейтенантом Нефёдовым, что сам командующий армией выделил артиллеристам немецкий кабель с гуттаперчевой изоляцией, ёмкостью в шесть проводов. Долгонько же он прослужил, этот кабель, — немцам на их же голову.

Да если бы только немцам! С неожиданным облегчением наводчик услышал, что никуда ещё не попал. Со вторым снарядом то же случилось, хоть и поближе к цели. И от всего вместе наводчику было не по себе: и неловко за своё облегчение, и грустно отчего-то, и схватывало странное, невнятное опасение, будто кто-то подсматривал за ним, подслушивал его неуместные, непозволительные *настроения*. Чем бы он перед этим тайным соглядатаем мог оправдаться? А перед собою? Всё-таки он стрелял не по фрицам, которые пришли на чужую землю и бог знает что на ней творили, а по людям, на этой земле родившимся. Про них говорили, правда, что они ещё хуже немцев, и объясняли это тем, что они подняли оружие против своих. Однако ведь и он стрелял не по чужим... Странно, он никогда не ставил себя мысленно на место немца, а на их место — пробовал.

Было дико, что земля плацдарма, уже освоенная, обжитая, стала таким опасным районом, где не так-то просто было передвигаться — и в одиночку, и группами. Несчастные беглецы, они бродят там — в немецкой форме, ищут советскую, снимают её с убитых, кого не успели убрать похоронщики, нападают из засад на проезжающих по дороге, убивают без пощады, только бы переодеться и както затеряться в массе людей, которые возвращаются после госпиталя, разыскивают свою часть. А главная их цель — переправиться через Днепр, дальше они надеются затеряться совсем. Они выходят к реке, чтоб переплыть её или только воды испить, — и по ним стреляют из пулемётов с

бронекатеров либо сверху – с самолётов. Никто не ожидал, что они прихлынут к Днепру, думали – под угрозой окружения они уйдут на запад с немцами. Они не захотели с немцами, хотели сдаться своим, приходили поодиночке и целыми взводами, но скоро узнали, что их путь в плену – до ближней стенки, и уже не сдаются. Сейчас, говорят, всё делается, чтобы не давать им покоя, спать не давать ночью. А днём, когда их голод одолевает и тяжкие мысли, им и так не спится. И ходят по деревням и хуторам голодные, усталые, затравленные люди. На дорогах и лесных просеках их ждут машины с оперотрядами «Смерша», прочёсывают заросли, обходят овраги и воронки, штыками тычут в копны сена.

Накануне вернулся с того берега почтарь, заехал взять письма на батарее и рассказал – он как раз подъехал к переправе, когда пригнали к берегу с полсотни пленных. Все сошлись на них посмотреть. Смертникам велели спуститься с кручи на плёс. Они, может быть, думали – их будут допрашивать, что их с немцами свело, приготовили ответы, хотели высказать свои обиды. Им объявили сверху в мегафон: «Плывите. Кто доплывёт, пусть землю целует, которую предал, просит у родной земли прощения». Они спросили: «Да что ж плыть, вы же стрелять будете?» – «Стрелять не будем». – «Обманете. Когда это вы не стреляли?» – «А сейчас не будем. Слово чекиста». И не стреляли. А послали катер вдогонку, он по ним носился зигзагами, утюжил и резал винтом. Вскипала кровавая волна. Не выплыл никто.

– Батарея! – кричал комбат в трубку внутренней связи. – Прицел восемь, левее шесть, два снаряда осколочно-фугасных огонь!..

И наводчик это так понимал, что не по танкам сейчас бьют, не по иной броне, а по живой плоти.

Объясняют ребята-смершевцы, что и рады бы их в плен брать, да не удержать их взаперти. И не в том дело, что бегут, это-то можно пресечь, но когда их отлавливают, они сразу же начинают думать, как себя убить. Однажды, перед тем как запереть в сарае, их обыскали кое-как – и на одном-единственном куске телефонного провода они все повесились. Когда очередной переставал хрипеть и дёргаться, его вынимали из петли и спешил просунуть голову следующий. Кажется, вот и расплата, сами себя наказывают люди. Ан нет, так они, наоборот, «уходят от расплаты». Должно всё совершаться по приговору, а не так, что

каждый сам себе прокурор. И вообще, казнь важна не так для злодея, как для зрителей. Поэтому в Мырятине как будто ожидается массовая и публичная...

Временами наводчик чувствовал знобящий страх — будто он сам был среди них, искал и находил обмундирование по себе, но его всё равно разоблачали, и подступал мгновенный ужас погибели, а затем блаженное облегчение, что он, слава богу, не с ними. Если б не те деревья, что загораживали батарею со стороны Днепра, виден был бы сейчас тёмный берег, по которому они спускаются к воде, как дикие звери к водопою, каждый миг ожидая нападения, смерти. Он вздрагивал от холода снаружи и от холода в душе и старался думать о том, как он и комбат, с которым его соединила почти что родственная связь, вернутся в землянку и продолжат свой диспут. Может быть, поговорят о том, что случилось, какая тёмная вода протекла между своими? Или лучше о чём другом?..

— Добре шмаляешь, Резеда! — влетело в ухо комбату. — Почти что вывел снаряды на цель. Только разброс у тебя страшный, по площади лупишь. Упорядочи как-нибудь свой эллипс, дай ты мне залп вдоль рокады! Ты понял? Со смещением влево на два деления. Вдоль рокады!

Комбат понял. Дабы «упорядочить» злосчастный эллипс рассеивания, он должен был из всех четырёх стволов выстроить фигуру, которая у артиллеристов называется «параллельный веер», а для этого прежде найти ориентир, удалённый в бесконечность, и затем уже принять поправку от него. Вершинки елей и берёз, заслонявших берег Днепра и всю его ширину, для этого не годились. Не подходили для этого и шесты воздушной проводки, что вела от батареи к переправе. Зацепиться бы, подумал он, хоть за облачко, если б только оно стояло на месте. Но вот отнесло ветром тёмные лохмотья, закрывавшие полнеба, и враз посветлело. Небо окрасилось тем нежным жемчужным сиянием, как когда ждёшь молодого месяца. Он поднял голову и увидел тонкий, двоившийся в его глазах серп, отвернувший острые свои рожки влево. Он был такой большой, такой ослепительный, сочный, какой бывает только в украинском небе. И комбат обрадовался месяцу. Усилием глаз он совместил оба силуэта в один и сказал себе: «То самое, что доктор прописал!» Это и был ориентир, которого недоставало ему для «веера».

— Батар-рея! — закричал он в трубку. — Вспомогательная точка — луна! Наводить в правый срез луны-ы-ы!

Наводчик опять припал к прицелу, приладил свой правый глаз к глазку панорамы, прижал натруженную свою бровь к её упругому резиновому оглазью. Огромный месяц возник над перекрестьем, такой близкий, что на нём можно было различить извилистые потемнения — должно быть, лунные овраги. «Вот бы куда зафигачить, зафинтифлюрить!» — подумал наводчик и представил себе крохотный цветок разрыва на серебряно-голубой поверхности нашего спутника. Вращая маховик подъёмного механизма, он привёл перекрестье к выпуклой стороне дуги, к её серединке, к самому краешку, и затем, беря надлежащую поправку, ушёл несколько вверх и влево. Месяц рассекал своим верхним рогом густую синеву ночи и заполнял почти всю нижнюю половину круга.

— Цель номер два! — протяжно, певуче закричал комбат. — Батар-рее три снар-ряда беглый огонь!

Хоть один из двенадцати должен был попасть. «Хорошо бы — не мой», — подумал наводчик. Он не отстранился и почувствовал болезненное нажатие на свою несчастную бровь. В тысячный раз он пропустил, как же снаряд покидает ствол, и дал себе зарок больше не думать об этих глупостях. К счастью, это был последний залп.

— Хорош, хватит, Резеда! — закричала трубка. — Всё садишь... Куда столько? — Помолчав, Ревень сказал глухо и, как показалось комбату, даже с какой-то досадой: — Считай, цель уничтожена... Свободен, Резеда.

— Счастливо оставаться, Ревень, — сказал комбат.

— Будь здрав. Иди выпивай дальше.

Но ещё много оставалось дел на батарее, в которых комбат и наводчик, по недостатку людей, участвовали до скончания, и к тому времени, когда они возвратились в землянку, оба успели порядком отрезветь. Таким образом, сладостный процесс вознесения для них начался снова. Их прерванный спор продолжился с того же места, где был оборван звонком шестого, однако же претерпел некоторые изменения. Наводчик был заметно поколеблен во мнении, что люди на передовой сплошь хорошие. На этом теперь настаивал комбат — но больше для того, чтоб не утратилось наслаждение беседой.

О тёмной воде, протекшей между своими, они не говорили.

3

РАПОРТ

Командующему войсками фронта
генералу армии ВАТУТИНУ

1. Сего, 2 ноября 1943 года, согласно Вашего приказа, вступил в командование 38-й армией вверенного Вам фронта, о чём докладываю.

2. Личный состав частей и соединений армии о моём назначении оповещён.

3. При этом направляю Докладную записку членов Военного совета армии о случившемся инциденте с бывшим командующим Героем Советского Союза Ф. И. Кобрисовым, а также по обстоятельствам гибели и по линии организации похорон сопровождавших его людей.

Терещенко

Вступившему в командование 38-й армией
генерал-полковнику ТЕРЕЩЕНКО
членов Военного совета армии:
генерал-майора ПУРТОВА
генерал-майора ФАРТУСОВА

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

1-го ноября сего года, в 20.45, автомашина «виллис», бортовой № 090678, с находившимся в ней командующим 38 А, генерал-полковником Героем Советского Союза Кобрисовым Ф. И. и его сопровождавшими: офицером для поручений командующего майором Донским А. Н., ординарцем мл. сержантом Шестериковым С. Т. и водителем ефрейтором Сиротиным В. П., передвигаясь в районе расположения 114-го мотострелкового полка 17-й Мырятинской стрелковой дивизии, на участке дороги Озерки—Голубково, в 50 метрах близ рощи Отдельная, была накрыта прямым попаданием снарядом гаубицы противника, предполагаемого калибра 155 мм. Что было замечено с наших позиций и поднята тревога.

По прибытии офицеров полка на место смертного происшествия тела погибших находились в неузнаваемом виде, останки сильно разрознены, однако их принадлежность указанным лицам была установлена по сохранившимся в карманах обмундирования пеналам-

медальонам с личными данными каждого. Командующий Кобрисов Ф. И. был обнаружен в 45 метрах на той же дороге, лежа без сознания, в состоянии контузии, направлен в госпиталь. В настоящее время состояние тяжёлое, но обнадёживающее.

Об особой опасности этого участка дороги командующий Кобрисов Ф. И. был предупреждён выставленными дозорными на развилке, но объясняют, он их не послушался. Предполагается, что попадание было случайное, выстрел одиночный, не прицельный, беспокоящего действия.

Сбор останков произведён максимально тщательно, похоронной команде было дадено указание распределить их равномерно на три гроба с досыпкой для тяжести землёй, взятой с места смертного происшествия, гробы закрыть и заколотить, обить траурными материалами полностью.

Захоронение состоится завтра, 3 ноября, в 14.00 в Центральном парке культуры и отдыха гор. Мырятина в общей могиле всех троих с отданием воинских почестей: маршами сводного оркестра 17-й сд и салютом выделенных представителей от лучших соединений и частей армии, с выступлениями на митинге местного населения представителей партийных и государственных организаций, общественности города. На месте захоронения устанавливается временный обелиск с позолоченными именами погибших и пятиконечной красной звездой. В дальнейшем предполагается установить постоянное мемориальное сооружение, напоминающее о вечном подвиге героев-освободителей Мырятина.

Место гибели майора ДОНСКОГО Андрея Николаевича, младшего сержанта ШЕСТЕРИКОВА Сергея Тимофеевича, ефрейтора СИРОТИНА Василия Петровича нанесено на маломасштабную оперативную карту, карта вместе с наградами и личными делами погибших находится в сейфе политотдела армии, ответственная — ст. лейтенант Бычкова Г. И.

Семьям погибших смертью храбрых посылаются индивидуальные письма.

Память о погибших останется навечно в сердцах личного состава 38-й армии.

Подписи:

Пуртов
Фартусов.

Верно:

Г. Бычкова.

Примечание: а/м «виллис», бортовой № 090678, числившаяся за командующим 38 А, согласно акта подлежит списанию как неремонтабельная.

4

Пятнадцать лет спустя, умирая тяжело, безобразно, страшно, он пожелал, чтоб его свезли на то место за Кунцевом, до которого он доехал тогда, в 1943-м. Жена заказала такси, помогла надеть пальто и тёплые ботинки «прощай, молодость», дочки свели по лестнице и усадили, но дальше подъезда не сопровождали. Они не испытывали большого интереса к тому, как он воевал, к его воспоминаниям «о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах». Но их, конечно же, огорчали его слабость и уменьшение в объёме и в росте, которое он считал началом ухода в небытие.

Про его исхудалость сказала младшая:

— Ничего, папка, это значит только, что раньше ты состоял из воды.

Право, этим можно было утешиться.

Заказанный таксист оказался едва ли не ещё худее, с измождённым лицом, изрезанным глубокими морщинами, с глазами водянисто-голубыми, в которых теплилась некая святость, — такие лица бывают у сильно пьющих, которые уже не нуждаются закусывать. Увидя своего пассажира, он вылез ему открыть дверцу и спросил:

— Куда повезём товарища гвардии полковника?

Сказал весело, а посмотрел с жалостью. «Хорош же я», — подумал генерал даже без грусти и ответил без упрёка, усмехаясь бескровными губами:

— Что-то много ты мне отвалил.

— Не ниже, — сказал шофёр. — Глаз у меня намётанный.

— Оно и чувствуется, — сказала жена.

Был канун октябрьских праздников, и Москва украшалась флагами, транспарантами, портретами дорогих и любимых. Праздник этот был ненавистен генералу — «по погодным условиям», как он говорил, и в самом деле, долго же *они* выбирали денёк для переворота! Но был канун и другого праздника — 15-летия освобождения Предславля; годовщины того дня, который провёл он в госпитале почти без сознания, в семье генерала почтительно и молчаливо считались его личными праздниками. К этому дню ему присылали приглашение на встречу ветеранов 38-й армии в какой-нибудь московский ресторан, на этот раз — в Белый зал «Праги»; приглашал новый председатель инициативного комитета, бывший политрук

пулемётной роты, ныне майор в отставке Безгласный. «Вы прошли с армией, – писал он, – славный путь от Воронежа до Предславля». И хотя это было правильно, даже больше, чем правильно, ибо до Предславля генерал не дошёл, а лишь до Мырятина, всё равно была обида. Почему его, генерала, приглашает какой-то майор? А что он тогда делал, этот Безгласный? Небось в писарях сидел, бумажки подшивал, вон какую подпись выработал себе – как у министра обороны!.. Никогда не приглашали его, если обещался быть Терещенко, и то не была деликатность устроителей; они не знали, хочет ли он видеть Терещенку, но знали очень хорошо, что Терещенко его не желает видеть. В этот раз до Терещенки было, поди, не дописаться, он командовал не захудалым округом и *шёл на маршала*, вот и приглашали Кобрисова. Не пошел бы, даже если б здоров был.

Не отвечал он и на приглашения приехать в Предславль – и так и не увидел его. Не хотел читать про его восстановление, не смотрел про него кинохронику. Завещал быть похороненным в Мырятине, но дочки, узнав об этом, попросили папку не делать глупостей, ему полагается Новодевичье, и если ему всё равно, где покоиться, то не всё равно будет семье и потомкам. Теперь не было никакого завещания. И не нужно было никакого, всё и без него к рукам прибирали дочки.

С некоторыми трудностями, но их преодолевая, дочки повыходили замуж, старшую муж оставил, и у младшей, кажется, тоже к этому шло, но всё же поднялись новые поколения, и каждой вновь образованной семье что-то выделялось в квартире. Ему с женою осталась комнатка самая маленькая, но, правда, не проходная и не запроходная – генерал уже разбирался в таких вещах. Впрочем, и в холле ему отвели кусок территории, отделив стационарной перегородкой до потолка, и там, где некогда посиживал Шестериков и рассматривал фотоальбомы, там теперь сидел генерал и вымучивал свои мемуары. Бумажки, которые уговорили его писать, поскольку хотелось *наконец-то всей правды о войне*, он раскладывал на кухонном столике, который хотели выбросить, а он упросил оставить.

И ещё была Апрелевка, он эти два гектара получил сразу после Победы вместе с дешевым финским домиком, но до сада и огородов дело не дошло, дочери не имели к этому интереса, а думали только, как бы эту «виллу»

разделить да распродать, и он уже жалел, что взял на себя эту мороку. Тут бы царствовал Шестериков, но не было Шестерикова.

С улицы Горького свернули на Садовое кольцо. Высился слева Маяковский, которого этим летом ставили краном, — зрелище было не слишком приятное: накинули петлю троса на шею, а голову укутали мешковиной. Этим летом генерал ещё мог сюда прийти пешком... Стихи генерал всегда любил и ничего не имел против памятника, который полагалось ругать, вот только не понять было, что у него с правой рукой; похоже, он доставал карманные часы — не сходить ли пообедать в сад «Аквариум» наискосок. За спиной поэта, заслоняя чуть не все окна в здании, поднимали на верёвках колеблемый ветром портрет Хрущёва. Генерал смотрел недоверчиво — тот ли он самый, кто приезжал к нему на плацдарм и дарил украинскую рубашку с вышивкой и кистями? Вот какую власть забрал, самого Жукова сплавил в отставку — без которого за полгода перед тем ни за что бы не удержался. И никакие мемуары без него не обходились. Литературный костоправ, молодой шалопай, которого приставили от Воениздата к генералу «оживлять» его записи и устные рассказы — и не научили, что к генералам полагается приходить вовремя, как условились, — этот будущий писатель сказал, что сейчас не время культа и можно не упоминать Верховного, но без встречи с Никитой Сергеевичем не обойтись, всё летосчисление теперь ведётся «от Рождества Хрущёва». Встречу на плацдарме шалопай забраковал, попросил вспомнить что-нибудь задушевное, а лучше того — героическое. Вспомнилось задушевное и даже немножко героическое: на Воронежском фронте как-то приехал Хрущёв знакомиться с новой армией, и Кобрисов его встречал у въезда в штабное село. А была ранняя весна, и всё поле было в проплешинах оголившейся земли. Живописная могла быть встреча, её даже приехали снимать киношники, да всё испортил налетевший «мессершмитт». Никите Сергеевичу самое верное было плюхнуться в грязь с маскирующей жухлой травой, а он, не желая пачкать свою бекешу, улёгся на белом, как сахар, снегу. Пилот «мессера» только, поди, из крайнего изумления не попал в такую прекрасную мишень, но, конечно, заставил всех поволноваться. Адъютант всё падал на Никиту Сергеевича, прикрывал своим телом, а Никита Сергеевич его сбрасывал и

ругался. Эпизод шалопаю понравился, но забодал категорически редактор Воениздата. Он же сказал, что надо что-то придумать, раз не вспоминается. Как это — придумать, если не было? А очень просто, все придумывают, и никто этого проверять не станет. Важно, что в такое-то время и в таком-то месте встреча *могла быть*. И уже было придумалось что-то подходящее, как поползли слухи, что урежут пенсии генералам. И что-то расхотелось придумывать...

А Верховный — тот гектары дарил, Апрелевку. Широк был, этого у душегуба не отнимешь. Вот по этому Садовому кольцу в июле сорок четвёртого прогнал пятьдесят семь тысяч пленных — показал немцам Москву, их показал Москве, изголодавшимся, измотанным войной людям сказал этим: не так страшны они, как вам кажется, и праздник наш — не за горами. И как точно он выбрал время: самая глубина лета, июль, но он пообещал, что можно уже не бояться, в это лето немцы наступать не будут. В августе такое обещание уже было бы лишним. В чём действительно был мастер — вот в таких эффектах, повышающих дух армии и народа и о которых нельзя вспомнить без умиления и восторга! Так цезари по Риму протаскивали варваров, прикованных к колеснице. И вообще генерал был не прочь рассказать о встрече с Верховным, да если б можно было о той, в Наркомате обороны, во второй день войны; ну, немножко можно бы *смягчить акценты*, с годами ту встречу он переосмыслил, и вспоминалась она уже без отвращения. Так и об этом почему-то нельзя, самое лучшее — вообще не упоминать.

«А тебе, — спрашивал он себя, — обо всём хочется помнить?» Приходили приглашения от ветеранов другой армии, которой он командовал после 38-й, — он никогда не откликался. Сказать честно, он не был уже полководцем, это в нём умерло. Больше чем за год ни одного ордена не имел он в розницу, всё — из тех, что давались оптом по всему фронту. Приезжал командующий фронтом Попов, говорил с грустным упрёком: «Фотий Иваныч, ты воевать — думаешь?» Они были оба генерал-полковники, оба Герои, так что сурово попенять Кобрисову он не решался, а впрочем, и человек был мягкий, поэтому и не досталось ему ни маршальских звёзд, ни ордена Победы. «А я что же, Маркиан Михайлович, по-твоему, не воюю?» — «Да как-то странно ты воюешь. Целое хозяйство тут развёл, коровы у тебя тут,

женщин полно, то и дело свадьбы играются, а немца — совсем не тревожишь». — «Зачем я его буду тревожить, раз он меня не трогает? Будет общее наступление — пойдём помаленьку, а чего бабахать зря? Немца напугаешь — он мне потом неделю жить не даст». — «Говорили мне, Кобрисова придётся вожжами удерживать, а ты инициативу проявить не можешь. Даже не поинтересуешься, что у тебя на левом фланге делается...» — «Чайком не побалуемся? — спрашивал в ответ Кобрисов. — Велю самовар поставить, а покуда закипит да сгоняем по чашечке, нам и доложат, что там на фланге делается. На каком, вы говорите? На левом?» Командующий от чая не отказывался, только говорил со вздохом: «Разучился ты, Кобрисов, воевать...» А Кобрисов всё большее облегчение, даже и удовольствие, находил в том, чтобы уходить под защиту своей дури. Это сделалось его стилем. Думая об этом сейчас, вспоминал он подслушанный разговор двух солдат, рывших ему окопчик, молодого и пожилого. «А вот по стилю, по стилю существенно они друг от друга отличаются, командующие наши?» — допытывался молодой. А другой, летами и фронтовым опытом постарше, сворачивая цигарку из «Боевого листка», ему отвечал: «Как же не существенно? В одном дури поменьше, в другом поболее, вот и отличаются...» Ах, молодец какой! Право, ничего умнее не услышал Кобрисов о себе и своих коллегах за всю войну.

Не дожидаясь победного конца, предложили танковое училище. Что успели его выпускники на войне? «Отметиться», как он говорил. Впрочем, кто-то из них поучаствовал в штурме рейхстага, а кто-то в Прагу успел на раздачу пирогов, даже иные в составе 38-й... В их памятных фотоальбомах он был в красивом овале, и указывалось, что это он формировал 38-ю. Всё как-то к ней сходилось, которую у него отняли. И если подумать, так и он тоже, наперекор своей неудачливой судьбе, освобождал Прагу, помог чешским повстанцам вышибить эсэсовцев. Чехам, правда, ещё до этого помогли власовцы, бывают же совпадения. Ну, что же, и хорошо, что закончил Власов свой извилистый безнадёжный путь добрым делом, и мог бы Верховный это учесть и не казнить его, а простить на радостях. Да ведь на добрые дела нужно ещё право заслужить, кто ж его даст изменнику! И что ж бы это за Победа у нас была, какие такие радости — без «справедливого народного гнева», без «священной расплаты»?..

Ехали теперь по Кутузовскому проспекту, здесь тоже были Хрущёвы и прочие дорогие и любимые, из-за них пропустил он Бородинскую панораму и неприметную Поклонную гору и пропустил начало, когда таксист стал рассказывать жене о своём участии в Московской битве:

— ...а танки он гонит, понимаешь, гонит, а танки у него — ох, злые! И все куда-то в сторонку побежали. Ну, а мне что — больше всех надо? Тоже и я в сторонку. Не так что драпаю, но — в темпе. Я вам скажу, Майя Афанасьевна, где лучше всего бежать. Лучше всего — в серёдке. Я молодой хорошо бегал, всех мог обогнать, но мне как бы инстинкт говорит: «Не спеши, не спеши...» — не дай бог политрук с пистолетом навстречу выскочит: «Стой, трусы-предатели!» — или же заградотряд из пулемётов чесанёт — первые пули твои будут. А всех вперёд пропустить — тоже плохо, немец-то догоняет, в спину из автоматов чешет, и никто тебя не загораживает. Так что лучше в серёдке. Но я вам скажу, Майя Афанасьевна, когда в серёдке плохо, а лучше — в сторонку. Это если «мессер» налетит — по-нашему «мессер», а по-ихнему «мессершмитт», — именно он в серёдку весь боезапас всодит, потому что — скопление, за одиночными ему гоняться — охота была!.. А тут «юнкерс» налетел, восемьдесят седьмой, «лапотник» мы его звали, тоже злой был, бомбочкой по нам — шарах! Оглушило меня — и лежу в воронке. Не знаю, кто меня в воронку столкнул, а очнулся — лежу засыпанный, в голове, извините, звон. И вот говорят, вся жизнь человека за одно мгновение проходит. Ну, вся не вся, частично... Но много передумать тогда пришлось. И зачем, думаю, люди войну придумали?.. Ох, мамочки, война!.. Не дай бог!..

«Не понимаю, — думал генерал. — Кто ж тогда победы одерживал, если такие были защитники отечества, то в серёдку норовили, то в сторонку?..» И с удивлением признавал, что да, именно они. Всегда окружённый людьми храбрыми и ещё старавшимися в его присутствии свою храбрость показать, он составил себе впечатление, что и вся армия в основном такова. А на самом деле только малую часть её, как в гранате запал, составляют те, кто воевать любит и без кого война и трёх дней бы не продлилась, а для людей в массе, «в серёдке», она только страшна и ненавистна. Так может быть, ничего удивительного нет и ничего позорного, что и он задолго до конца почувствовал отвращение? Правда, ещё двенадцать

лет после конца он командовал танковой академией, но что это за война была – разучивать операции, которые никогда не повторятся? Понемногу и вспоминать войну расхотелось, жизнь заполнили анализы и диагнозы, рассказы об операциях совсем иного рода, о том, как готовили, и как давали наркоз, и через сколько часов он очнулся. Правда была в том, что он умер там, в Мырятине. Там и должен был лежать. Предвидение было верным, не обмануло. И погребальные дроги не миновали его.

Но вот сегодня он вдруг услышал какой-то неясный зов, почувствовал беспокойство и тоску; пришло сожаление, как в юности о пропущенном свидании, и боязнь куда-то опоздать, и смутное ощущение, что где-то ждут его, да не где-то, а именно там, куда он держал сейчас путь.

Проехали Кунцево – и вот приближались к вершине того холма. Он помнил, что это место было на первом подъёме от границы Кунцева, но ту границу уже перешагнули ничтожные строения и домишки, они карабкались на подъём и зрительно скрадывали его. Он искал, где же тот столб, на котором висел тогда репродуктор. Ни репродуктора не было, ни столба, а красовалась трансформаторная будка с черепом и костями. Но все рельефы запоминал он хорошо и попросил остановить почти там же, где и тогда, только на противоположной обочине.

– Проводить тебя, Фотик? – спросила жена. – Или ты хочешь один?

– Один.

– Конечно, один, – подтвердил таксист. – Дело такое, Майя Афанасьевна. Мужское, военное.

И выскочил открыть дверцу.

– Прими таблетку, – сказала жена. И дала запить чаем из термоса.

На слабых, подкашивающихся ногах он пересёк шоссе и медленно сошёл с насыпи на лужайку.

Где же тут расстелили плащ-палатку? И где стояли фляга с водкой и бутылка французского коньяка из провинции Cognac? А сохранилась ли та лунка, что вытоптал Шестериков для бутылки? Лунок этих было здесь несколько, любая могла быть его. В самом общем всё было то же. И такая же погода была, только холода тогда не чувствовали, в гимнастёрках сидели. Но место, которое он узнал точно – по приметам, которые трудно было бы назвать, но трудно и ошибиться, – всё же оказалось не таким, как

помнилось ему. С него Москва была как-то виднее, различимей, и спуск был покруче, и лес был, кажется, ближе. Что же он, отступил? Или так повырубили? Но самое большое «не то» было то, что без людей, которые это место оживляли тогда, само оно было другое. И сразу иссякла надежда, что, оказавшись здесь, он их вызовет в памяти так зримо, так осязаемо, что они заговорят.

Он постоял, пересилил приступ боли и двинулся вверх, к машине. Он с трудом поднимался к ней — и не знал ещё, что это были его последние шаги по земле.

...Точно так же не знал он, когда на рокадной дороге вылезал из «виллиса», что больше не сядет никогда на своё сиденье рядом с Сиротиным. Тот, кто выехал его встречать, остановился метрах в ста впереди и весь оставшийся путь проделал пешком, помахивая фонариком, хотя вполне хватало лунного света. Он подошёл, осветил себя, откинул капюшон брезентового дождевика и оказался начальником штаба Пуртовым.

— Василь Васильич, здравствуй! Ты что ж без оркестра?

— Слава богу, не разминулись. Пройдёмся-ка, Фотий Иванович, я что сказать тебе должен. А ты, — сказал он Сиротину, — тут постой на обочине. И оружие лучше наготове держать, а то у нас неспокойно.

Они отошли порядочно далеко от машины, и Пуртов всё молчал, как будто не зная, с чего начать.

— Куда ты меня тащишь? — спросил Кобрисов.

— Нет, куда ты притащился! — остановясь, заговорил Пуртов горячим полушёпотом, будто кто-то мог подслушивать из кустов. — Зачем ты вернулся, Фотий Иванович, ведь убьют же тебя, неужели не понимаешь?

— Так на то и война, чтоб убивали. А вернулся я — Предславль брать, не меньше.

— Который уже ему обещан, Терещенке. Неужели он тебе его подарит? Неужели главный орден с груди сорвёт и тебе нацепит? Пойми ты, всё утряслось уже, успокоилось — и тут ты приехал... А ведь воевать надо, «жемчужину Украины» освобождать. Нет тебе места в армии. По крайней мере сейчас нет. Потом, может, и будет, подберут Терещенке армию, он легко с одной на другую переходит. Всегда я на твоей стороне был, а сейчас — прошу тебя, уезжай немедленно!..

— Нет места мне? В моей армии — нет?..

Он больше не мог говорить, обида и гнев душили его. Оставив Пуртова, он пошёл к своей машине. Он прошёл

больше половины пути, когда загромыхало в лесу, всё ближе и громче, и он понял, что это убивают его, и ускорил шаги. Он, заговорённый, спешил быть со своими людьми. Тогда бы все остались живы. Что-то случилось бы, но не смертельное. Не успел... В лицо, в грудь, в живот ударила горячая и твёрдая, как бревно, взрывная волна, изжелта-красный фонтан огня взлетел над маленьким «виллисом», и глаза ему ослепило, уши заткнуло непереносимым, убойным грохотом, а затылком и всей спиной ощутил он удар истерзанного асфальта...

...Какая острая, какая пугающая боль вдруг пронизала сердце! И как заломило в ключицах. Он едва поднялся к машине – и увидел вопрошающие лица жены и таксиста, выскочившего перевести его через дорогу. Всё же он перешёл сам и постарался выглядеть хорошо.

– Прими ещё таблетку, – сказала жена.

Он подумал, что если возьмёт, то этим испугает жену, и помотал головой.

– Ещё первая действует.

Но когда поехали, его совсем развезло. Сидя один на заднем сиденье, он старался заговорить боль. Они к нему не оборачивались, и он мог откинуть голову и закрыть глаза. Но оказалось, шофёр продолжал видеть его в своём зеркальце.

– А товарищ гвардии полковник что-то, я смотрю, заскучал...

И в этот миг крохотная фигурка возникла на том берегу, за понтонным мостом, по которому ехал генерал, сидя справа от Сиротина. Она приближалась, и он узнавал её. Тяжёлая сумка с крестом оттягивала ей плечо и сминала погон, и маленький браунинг «Лама» висел на поясе – его подарок, с которым тоже она не рассталась. Она была молода и стройна, она была прекрасна в своей выгоревшей, застиранной одежде фронтовой сестры, прекрасно было её лицо, не тронутое временем, девически-мужественное, бесхитростное и доверчивое и выражавшее гордый вызов, – такое увидишь ли среди сегодняшних лиц? И она ждала его там, хотя не звала и не махала рукою, а просто стояла и смотрела на него. Но разве не она ему предсказывала, что дальше он не ступит ни шагу? «Я вижу, как ты лежишь на том берегу, сразу же за переправой, совсем без движения...» И он чувствовал разрывающую сердце тоску по ней и страх перед тем, что должно было с ним случиться. «Зачем я тебе,

больной старик?» — спросил он её, избегая назвать по имени, потому что где-то рядом была жена, которая остаётся жить и помнить об его измене. Она бы любую измену простила ему, но не эту, последнюю, с которой уходят насовсем. «Умирание — тоже наука, — подумалось ему отчётливо. — И к этому надо готовиться...»

А та всё ждала его — терпеливо, но и властно, и требовательно, и он чувствовал себя виновным перед нею. Как будто кого-то он предал, обманул, не исполнил долг. «Я всё исполню! — пообещал он ей, и показалось, она кивнула ему, поверила. — Я еду к тебе...» Изо всех сил он удерживал на устах её имя, чтобы не прозвучало оно, и это удалось ему — и он почувствовал облегчение.

— Довезём, Майя Афанасьевна, не сомневайтесь! — услышал он голос шофёра. — Не отдадим гвардии полковника!..

И кончилась переправа, и боль оставила его совсем — ибо он въезжал в расположение своей армии...

— Он не полковник, — сказала жена. — Он генерал-полковник.

Это были последние слова из мира внешнего, но изнутри, из глубины сознания, возникали голоса, очень похожие на его голос, как будто он разговаривал сам с собой. Так оно, верно, и было.

«Если мы умерли так, как мы умерли, значит, с нашей родиной ничего не поделаешь, ни хорошего, ни плохого». — «И значит, мы ничего своей смертью не изменили в ней?» — спрашивал другой голос. «Ничего мы не изменили, но изменились сами». А другой голос возражал: «Мы не изменились, мы умерли. Это всё, что могли мы сделать для родины. И успокойся на этом». — «Одни умерли для того, чтобы изменились другие». — «Пожалуй, это случилось. Они изменились. Но не слишком капитально...» — «А со мной, со мной что произошло?» — «А ты разве не знаешь? Ты — умер». — «Но я, — спросил он, — по крайней мере умер счастливым человеком?»

Никто ему не отвечал, и он больше ни о чём не спрашивал, он перестал мыслить, дышать, быть.

...Хочется верить, однако, что в тот далёкий час, въезжая в расположение своей армии, все они четверо были счастливы.

Был счастлив генерал Кобрисов — тем, что Мырятинский плацдарм оказался самым красивым — и *недорогим* — решением Предславльской операции, и красоту эту оцени-

ли даже те, кто попытался скинуть его с Тридцать восьмой. Сбитый с коня и ставший пешкою, он всё же ступил на последнее поле, и пусть-ка попробуют не признать эту пешку ферзем! И сердце его было полно солдатской благодарности Верховному, который его замысел разгадал и понял, что Мырятин был ключом не к одному Предславлю, но ко всей Правобережной Украине. И если так хочет Верховный, чтобы Предславль был взят именно к 7 ноября, ну что же, он сделает всё возможное, чтоб так оно и было. В конце концов, всем необходим праздник. Он думал об этом, проезжая по переправе, трясясь по пустынной рокаде, залитой серебряно-голубым светом, и видя далёкие синие подфарники машины, на которой выехали его встречать.

Был счастлив ординарец Шестериков, что не придётся коротать век без генерала, ещё столько всего впереди у них, одной войны года на полтора, а ещё же будет в их жизни Апрелевка, воспоминания о днях боевых, о том, как встретились, это уж без конца! Ну, а погибнуть придётся — так вместе же.

Был счастлив адъютант Донской, наблюдавший визуально все тернии генеральской судьбины и пожелавший себе, чтоб миновала его чаша сия. Преисполнясь мудрости, он так себя и спросил: «Ну зачем, зачем тебе, Андрей Николаевич, эта головная боль?» И всё чаще прикидывал он на слух, и всё больше нравилось ему слово «адъютант». Что-то в нём слышалось энергичное, красивое, молодое.

И был счастлив водитель Сиротин, освободясь от своих страхов, что с этим генералом он войну не вытянет. С последней «рогатки», где они заночевали, он сумел-таки дозвониться до Зоечки, он сообщил ей маршрут и время прибытия — и мог быть спокоен за всех четверых. Они уже не были песчинкой, затерянной в бурном водовороте, всемогущая тайная служба распростёрла над ними спасительные крыла — и никакой озноб, ни предчувствие, ни мысль о снаряде, готовом покинуть ствол, не мучили его в ту минуту, когда подвыпивший комбат, выстраивая «параллельный веер», скомандовал наводить в правый срез Луны, и грустный наводчик, подкручивая маховики, ловя в перекрестье молодой месяц, приникал натруженной бровью к резиновому оглазью панорамы.

1996
Москва — Niedernhausen

✦

ПРИЛОЖЕНИЕ

✦

НОВОЕ СЛЕДСТВИЕ, ПРИГОВОР СТАРЫЙ

Рано или поздно, а должны же мы утолить интерес к тем людям, которые в годы войны 1941—45 надели мундир врага и подняли оружие против своих. Этот интерес, возникший ещё когда мы впервые услышали о «генерал-предателе» Власове, заметно обострился в пору «застоя»; уже никакой страх не заставлял нас любить наших правителей, а вели они себя так, что вызывали одно омерзение; для многих из нас перестало быть вопросом, можно ли так возненавидеть родную власть, чтобы и родная земля показалась не лучше чужбины. На проснувшийся интерес — к Белому движению, к эмигрантам первой волны и второй, ко многим тайнам «Чужеземии», составлявшей наше извечное «вражеское окружение», — власть ответила, как от веку она отвечала: перекрытием каналов информации, обысками и изъятиями литературы, всяческим преследованием не в меру любопытных. Но всех лишить памяти она не могла, мало того — сама же, в ярости, и напомнила о тех, осмелившихся некогда против неё восстать, когда в свой ругательный обиход ввела термин «литературный власовец». Так назвали двух наших нобелиатов* — и именно по случаю премии; что же теперь мы станем говорить, когда оба изгоя реабилитированы и возвышены? Что во власовцы попадают ненароком люди достойные и почтенные? Или — что нужно же с нашим прошлым когда-нибудь разобраться?

Очерк Леонида Решина «Коллаборационисты и жертвы режима»** и является одной из первых таких попыток, совершаемых уже не в зарубежной, а в российской публицистике. Как первой попытке ей могут быть прощены многие упущения; следует, однако, на них указать, а прежде

* Б. Л. Пастернак (1958) и А. И. Солженицын (1970).
** «Знамя», 1994, № 8.

того – обозначить позицию автора. К людям, восставшим против соотечественников, да в лихую годину иноземного нашествия, относятся по-разному. Мне приходилось наблюдать – преимущественно у молодых – откровенную апологию, со жгучей завистью к осмелившимся, отважившимся, да притом получившим в руки заветную винтовку или автомат (из которого можно «от живота веером»). Встречается и отношение враждебно-брезгливое, при нежелании вникнуть в какие б то ни было причины измены и предательства. Есть, наконец, и осознание трагедии отчаявшихся, утративших все надежды найти с властью иной язык, кроме ружейно-пулемётного, пошедших против родины, как идут против самих себя, решаясь на самоубийство. Такое осознание встретим мы у Александра Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ», его позиция близка и автору этих строк.

Отношение Леонида Решина – скорее традиционно отрицательное, заслуживающее, разумеется, уважения, тем более, что оно, как правило, старательно аргументируется. Преобладают тенденции разоблачительные, без сочувствия даже к тем обманувшимся, кто надеялся, выйдя из лагеря военнопленных и получив оружие, пробиться к своим. Главная же задача автора – убедить нас, что не следует придавать антисоветским формированиям того значения, какое невольно мы им придавали, вынужденные питаться слухами и домыслами. Согласно Решину, были эти формирования не столь уж многолюдны и роли в войне совсем или почти не сыграли, боеспособностью не отличались, для её повышения приходилось их сильно разбавлять немцами, особенно в формированиях кавказских и среднеазиатских, где немцем был каждый третий или даже второй. Нравственный облик этих «бойцов» – бандитско-мародёрский, политического содержания в их протесте не было, интересовала их – военная добыча: золотые коронки, выбитые у мертвецов, ювелирные изделия, часы, дорогая одежда и т. п. Зачастую они выполняли функции карательные, использовались против партизанского движения, население к ним относилось враждебно. При удобном случае – перебегали к своим (что, правда, слабо вяжется с бандитско-мародёрскими вожделениями), пополнение же формирований происходило не за счёт перебежчиков, а – пленных. Более или менее благородное деяние власовцев – помощь восставшей Праге – расценивается автором как

спекулятивное: рассчитывали этой ненужной помощью купить себе политическое убежище и спастись от возмездия. Итог же всех изысканий и подсчётов автора — число коллаборантов, никак не составлявшее миллион, а лишь «немногим более 250 тысяч». Хотя, признаёт он, «тоже страшно — такого в нашей истории не было».

Похоже, для Решина миллион был бы не количественно страшнее, а символически: это уже такое число, когда измена теряет своё название. Покуда счёт на десятки, сотни тысяч — это ещё предатели. А миллион — это уже народ. А народ предателем себе самому быть не может.

Так же страстно отвергается версия о «политических причинах массовой сдачи в плен». Принявши нехотя советскую цифру — всего за войну 4059 тысяч пленных, автор её объясняет «военными неудачами, неопытностью и некомпетентностью военного командования, ошибками, просчётами и преступлениями партийно-государственного руководства» (какими — не сказано), никак не признавая пленения добровольного. Подчас аргументы могут вызвать улыбку: наше внимание обращается на немецкую кинохронику, где сонмища пленных показаны в нательном белье — «это бойцы, захваченные врасплох, может быть — во время сна». Какой всеобъемлющий, непреоборимый сон! И — какое расплывчатое представление о взаимоотношениях воина с его одеждой. За сколько минут одевается солдат по тревоге, этого автор, поди, не знает, как и того, что на переднем крае зачастую в шинелях и полушубках спят, а в нательном белье, случается, ходят в контратаки; едва ли допустимо ему поверить, что гимнастёрки и галифе скорее всего сбрасывались намеренно, поскольку на них были командирские (а хуже того — комиссарские) петлицы, шевроны, лампасы, канты и т. п. либо значки отличника боевой и политической подготовки — что, разумеется, участь пленного не облегчает.

Документальный очерк — это такой жанр, где критике подлежит не только то, что есть в нём, но и чего нет, а должно бы быть. Во всём очерке Решина не встретишь слов «кулак», «раскулаченный», нет речи о семьях репрессированных, о переживших голод на Украине, а такие люди и составляли «золотой фонд» антисоветских формирований и имели «политическую причину» густо сдаваться: либо чтоб не служить в Красной Армии и оставить любимую родину без защиты, либо — отомстить кое-кому

за все ужасы коллективизации. Но кажется, лишь для казаков находит автор причину «очень не любить советскую власть».

Не менее странно полное умолчание о той обширной литературе, посвящённой антисталинскому сопротивлению, что составилась в Зарубежье. Назвать хотя бы книги А. Казанцева «Третья сила», С. Свеенберга «Власов», К. Кромиади «За землю, за волю...», прот. Д. Константинова «Записки военного священника РОА», прот. А. Киселёва «Облик генерала Власова», В. фон Штрик-Штрикфельдта «Против Сталина и Гитлера», В. Артемьева «Первая дивизия РОА», Ник. Беттела «Последняя тайна». Поверить, что автор не мог эти книги раздобыть, трудненько; хоть и в микродозах, они в СССР проникали и ходили по рукам; коль скоро меня эта тема занимала, я их читал в Москве в 70-е годы. Некоторое объяснение найдёт читатель в словах благодарности Решина архивистам Министерства безопасности России. Славные чекисты, как показывает долгий опыт, ревниво хранят архивы и всего в руки не дают, но в строго отмеренной пропорции и с непременными рекомендациями — что и как использовать. Боюсь, автор эти рекомендации принял близко к сердцу. Никак не пойму, плотно ли он держал в руках или же из чьих-то рук почитывал следственные дела двенадцати повешенных — Власова, Буняченко, Жиленкова, Малышкина и других. Если держал, почему так скупы, отрывочны, единичны ссылки и цитаты? Приводится текст из солдатской книжки РОА, выданной Власову, фраза из допроса Трухина, что «стал на путь борьбы с советской властью только в плену у немцев», вскользь — показания Жиленкова, но не слышны объяснения подследственных, их политическая программа, их последние слова. Почему-то, скажем, обстоятельства пленения Власова излагаются со слов поварихи Марии Вороновой, а не его самого. Что же, его об этом не спрашивали? Или показания поварихи больше устраивали следствие и суд?

Задумаемся, кстати: отчего Сталин ни разу не судил военных открытым судом: ни в 1937-м году — Тухачевского, Якира, Примакова и других, ни в 1941-м — Мерецкова, Лактионова, Рычагова, Штерна и других, ни вот в 1946-м — группу Власова? Первая мысль, какая приходит в голову: человек военный, как правило, телом и духом покрепче штатского, сломить его нелегко. Увы, это различие —

количественное: ну, не «потёк» в первую неделю, так продолжим и усилим воздействие — и глядишь, потечёт. А полбеды, если и не выйдет это: вон генерал Лактионов все мучения перенёс, ничего не показал ни на себя, ни на других, — и что же? Другие всё, что надо, на него показали, кто не перенёс, — и он был расстрелян с ними вместе... Дело, наверное, в другом — в характере мышления военного человека: оно конкретно и чуждается абстракций, оно оперирует фактами, а не химерами, и оно же мешает ему выступить хорошим актёром в политическом спектакле, подобно Бухарину или Радеку, повинуясь дирижёрской палочке Вышинского. Надо думать, и Власов со товарищи надежд не оправдали бы, выпустить их на публику было рискованно, вдруг бы они такое стали молоть, что вызвали бы к себе, не дай бог, и сочувствие.

Я надеюсь, изо всей гущины фактов, цифири, цитат и ссылок на документы, а подчас и домыслов не аргументированных читатель очерка всё же выловит, что обнимающее название «власовцы» распространялось на всех, кто поднял оружие против своих, неосновательно. Власовская РОА — Русская Освободительная Армия — стояла особняком среди формирований кавказских, среднеазиатских, казачьих, прибалтийских, среди таких частей, как бригады Каминского и Кононова или украинская дивизия СС «Галичина». Начать с того, что РОА не воевала на территории России или иной республики СССР, но это отличие не единственное. РОА была однородна, она не разбавлялась немцами для боеспособности и во всех своих звеньях (исключая, увы, самого Власова) подчинялась командирам-соотечественникам; она, наконец, была сформирована идейно и знала не только против чего она, но и — за что. Последнее не только в литературе доказывается, какую я здесь перечислил, но и самим появлением её: ни «каминцы», ни «кононовцы» книг не написали, всё написано либо самими уцелевшими власовцами, либо разделявшими, хоть отчасти, их убеждения. Возможно, и наименование «власовцы» распространилось благодаря этим выгодным отличиям, а не только громкому имени генерала Андрея Власова. Пётр Краснов или Андрей Шкуро — тоже громкие имена, однако звучания нарицательного не приобрели.

Перечисленные здесь отличия автор явно стремится стереть, рассказывая, что в РОА перемётывались боевики из бандитско-мародёрских бригад Каминского и Кононова.

Но это может быть прочтено и в пользу РОА – видимо, её репутация привлекала людей, не желавших быть мародёрами, бандитами и карателями. И соответствующий приказ Буняченко, запрещавший попрекать этих людей их прошлым, вполне педагогичен, в духе традиции А. С. Макаренко.

Второе, что надлежит усвоить об армии Власова, – что это не была армия. Разрешено было иметь три дивизии, но одна так и не была сформирована, другая – сформирована, но не вооружена, и лишь одна – Первая дивизия, под командованием генерал-майора Сергея Буняченко, – явилась соединением боеспособным. Она-то и была – РОА. Лишь скрупулёзности ради упомянем эскадрилью Мальцева (24 лётчика), запасную бригаду (учебную), батальон охраны КОНР (Комитета Освобождения Народов России) и роту личной охраны Власова.

Вопрос, могла ли столь крохотная армия исполнить своё боевое предназначение, отпадает сразу, но тем труднее уйти от загадки А. А. Власова – что двигало им, когда соглашался дать имя заведомо безнадёжному делу? Простой расчёт – выжить любой ценой, не сгинув в лагере? Решин полагает, что так и было и что Власов стал предателем через сутки, показав на допросе, что у советского командования под Ленинградом едва хватает сил удерживать фронт, но ни о каком советском наступлении не может быть и речи. «И резервные дивизии были переброшены под Сталинград».

Я думаю, то обстоятельство, что у русских под Ленинградом нет сил наступать, было известно денщикам Гитлера и, может быть, не миновало хорошенькой головки Евы Браун; предательство же было скорее с немецкой стороны – перебрасывать дивизии без тщательной разведки, на основе показаний только что пленённого советского генерала.

Время позволяет нам поставить вопрос шире и смелее: если действительно Андрей Власов возымел идею выступить против Сталина и против Гитлера, используя германское нашествие, был ли он тем человеком, кто мог бы этот замысел мало-мальски осуществить? Я так не думаю. Это был человек момента. В нём были свойства ценные для генерала – находчивость, дерзость, авантюризм, но был он человеком минуты, а не часа. Под влиянием момента принял он бремя руководителя «Третьей силы», заведомо не-

подъёмное для него. Составить армию из военнопленных — замысел, достойный Спартака, но античного вождя едва ли волновало, во что одеть своих гладиаторов; в позднейшие века — форма сделалась вопросом нравственным. Это не просто прикрытие наготы, тут и идеология, и национальный дух. Так вот форма оказалась — не третья, а немецкая, гитлеровская. Любопытно, что сам Власов от всякой униформы отказался, носил что-то неопределённое, для него одного пошитое. Итак, ты поставил свою армию под знамёна врага, назовём вещи их именами, и уже этого первого испытания советскому генералу было не преодолеть. Отсюда погружение в апатию, метания, питьё, паралич воли. Это при том, что хватило характера принять мученическую кончину, не покинуть своё войско, воспользовавшись самолётом и гостеприимством генералиссимуса Франко.

Ну, а сама идея «Третьей силы» — с опорой на Германию — как выглядела в глазах воюющего народа? Выглядела так, что с коллаборантами, попадавшими в плен, расправлялись круче, нежели с эсэсовцами. И не могло иначе быть после Сталинграда, после Курской дуги, когда армия повалила на запад и лишь одного хотела — скорее очистить свою землю от оккупантов. Летом и осенью 1941 года, в месяцы обвала, позорного бегства и трёхмильонной сдачи в плен, идея «Третьей силы» ещё была уместна, да и брезжила во многих умах, но курьёзно, что Власов, герой зимней Московской битвы, этой идеей жил и в году 1943-м, и в 1944-м, когда война уже перевалила некий хребет, пошла по другим законам. Чего стоило его знаменитое заявление, что он закончит войну по телефону! То есть он позвонит Жукову, Рокоссовскому, ещё каким-то друзьям по академии — и они ему сдадут фронты! Здесь и те, кто втайне ему сочувствовали, только рукой махнули. Стало слишком ясно: он не представляет себе, как настроены массы народа на фронтах и в тылу, не видит, что они теперь на стороне Сталина, что сменился уже весь интерес нации.

Заявлений Власова и всего поведения его в Германии не понять без учёта весьма важного персонажа, группового, о котором ни разу Решин не обмолвился, — эмигрантского Народно-Трудового Союза, небезызвестного НТС. Умолчание тем более странно, что Решин, судя по всему, не мог не оценить — и скорее благосклонно — той роли,

какую сыграл этот персонаж в судьбе РОА. Советская печать, сородственная 5-му, идеологическому, Управлению КГБ, мозги нам пробуравила «недобитыми власовцами», составляющими едва не весь контингент этого подобия партии. Сам персонаж — отстаивает свою суверенность и о роли своей говорит вот что: «НТС существовал задолго до власовского движения. Члены НТС старались передать власовцам идею «Третьей силы» — против Сталина и против Гитлера, за Россию. За это немало членов НТС погибло в гитлеровских концлагерях»*. Когда имеешь дело с текстами НТС, лучше заранее настроиться на принятие сильнейшей поправки. В лагерях энтээсовцы оказались не потому, что выступали против Гитлера, — за это головы отрубали и вешали, — а потому, что гестапо заподозрило (и справедливо) инфильтрацию их рядов советской агентурой и 200 человек изолировало для проверки. Длилась она полгода — которые НТС и записал себе в героический счёт. Известный «тамиздатский» автор Б. Прянишников (Серафимов) в последней книге «Новопоколенцы» упоминает троих умерших за это время, не связывая их смерть с лагерными условиями. Он, правда, жалеет многих пострадавших, но пострадать и погибнуть — не одно и то же.

Своих идей НТС отроду не генерировал, едва ли «Третья сила» зародилась в его умах. Участь этой «партии» — быть на подхвате; не так давно её вождь Е. Романов косноязычно, но точно сформулировал — по отношению к советским диссидентам — её извечную тактику: «В этом развивающемся движении мы ищем своё место. Мы даём туда себя». И таково чудесное свойство этих альтруистов, что всякое движение, куда они «дают себя», обречено заглохнуть, то-то диссидентов шатало от их навязчивой помощи. Ко времени пленения Власова НТС давно уже не был организацией политической; опекать прославленного генерала, на которого делалась ставка, он принялся, находясь в плотном — и платном, разумеется, — контакте с Восточным министерством Альфреда Розенберга и военной разведкой «Абвер» (как позднее с британской «Интеллидженс сервис» и далее с американским ЦРУ). От этой опеки Власову было не избавиться, шагу не ступить, в НТС состояли и его переводчица-немка, и постоянные собеседники, сотрапезники, собутыльники, да ведь и свои

* «Вынужденный ответ». — «Грани», 1986, № 140.

коллеги-генералы – Трухин, Благовещенский – были втянуты в членство; энтээсовцы же ему устраивали «нужные» и «полезные» встречи – по своим «линиям» и исходя из своего понимания, что́ ему нужно и полезно. Так его свели с Геббельсом, Леем, Розенбергом, фон Ширахом, мечтали – с самим фюрером (насчёт которого были «против»), да он о РОА и слушать не хотел; высшим достижением явилась встреча с рейхсфюрером СС Гиммлером, который и дал «добро» на формирование трёх дивизий. Не принося ожидаемого успеха, встречи с такого сорта людьми сильно компрометировали Власова в глазах немцев, особенно тех, кто и были ему единственно нужны – армейских генералов, которые тоже искали свой *третий путь* и в чьей среде созрел заговор против Гитлера, завершившийся покушением 20 июля 1944 года. Скорее всего, идея «Третьей силы» исходила от самого Власова и его пленных коллег, но призна́ем и не оценённую Решиным заслугу НТС, который в ней принял живое участие и поспособствовал её краху. После чего, с душою лёгкой и чистой, от власовского движения отмежевался и даже осудил его – в пространном обращении «К кадрам Союза» от 6 июля 1946 года, когда власовцы в Москве ожидали суда и казни.

Не сказать, однако, что с разгромом генеральского заговора шансы РОА стали нулевыми. Был в Германии человек – и могущественный человек, в ком она могла бы встретить понимание и поддержку. Это был Гейнц Гудериан, бывший командующий танковой армией на Восточном фронте. По сведениям В. фон Штрик-Штрикфельдта, «близкий к людям 20-го июля, о чём знали немногие», он всё же участия в заговоре не принял. Впоследствии он привёл многие доводы против покушения, свои личные тоже: как христианин не мог бы поднять оружие против безоружного. Гитлер, ища опору, его отметил, вернул из опалы и назначил начальником Генерального штаба сухопутных сил; в этой должности Гудериан сделался, по существу, главным организатором обороны Германии. Власов с ним дважды встречался на театре войны; в первый раз – под Киевом, когда танковые клинья Гудериана и фон Клейста замкнули окружение пяти советских армий; вырвался Власов со своей 37-й и остатками других. Пишет дотошный Солженицын (в письме ко мне от 24.4.93): «...во всём Киевском окружении – 665 тысяч пленных – никто не показал себя столь доблестным и умелым воином, как

генерал Андрей Власов (и *до* Киева — он же)». Такого противника Гудериан не мог не запомнить! Вторая генеральская встреча была в Московской битве; разделённые двумястами километров, они почти одновременно приняли решения, определившие её исход: Власов близ Красной Поляны — ринуться в наступление, Гудериан под Тулой (Поляна — Ясная, усадьба Толстого) — отступить. Теперь, в Германии, могла состояться и третья встреча — личная, да и естественно было Власову, формируя армию, обратиться к начальнику Генерального штаба. Но он даже не искал этой встречи, а Гудериан лишь в американском плену в Маннгайме, общаясь с Жиленковым и Малышкиным, узнал с удивлением, что была такая — «Третья сила»!

Почему об этой не-встрече оба могли пожалеть? У Гудериана была своя идея: как вывести Германию из войны без её расчленения. Предполагалось — открыть фронты американцам, англичанам, французам и все немецкие силы перебросить на Восточный фронт. Мысль договориться сепаратно с союзниками Сталина уже витала в воздухе, Гудериан — односторонним решением навязывал им проблему. Сложилась бы ситуация по меньшей мере нервирующая. Если уже была оговорена демаркационная линия, то силы коалиции, не встречая сопротивления, дошли бы до неё и здесь бы остановились — предоставив Германии оперативный простор для войны уже на одном лишь фронте! Двинувшись дальше, за линию, они бы вызвали сильнейшее неудовольствие Сталина и сделались бы его врагами, расчёт Гудериана и был — на разлад коалиции. И не исключено, что её войскам пришлось бы вместе с немцами противостоять советским армиям — не слишком роняя свой престиж. Не дать повода Сталину вступить в Европу — кто из европейцев, не считая коммунистов, в конце концов не примирился бы с этим? А спросить советских фронтовиков — сколькие не предпочли бы, чтоб фашистского зверя в его логове добили союзники, и при этом война кончилась бы на 5–6 месяцев раньше? Вспомним опять же Толстого: народная война была лишь до границ России, дальше пошла война политическая. Чувство народного возмущения и гнева вполне удовлетворилось изгнанием супостата, незачем было его преследовать до Парижа, где и так его ждал неизбежный крах. Вероятно, и у Сталина, при всех амбициях и вожделениях, хватило бы ума и смирения не затевать новую, европей-

скую войну, когда цели и задачи войны Отечественной были исчерпаны.

В этом противостоянии – не нашлось ли бы места и применения для всех антикоммунистических, антибольшевистских сил, оказавшихся волею рока в Германии, в том числе – для РОА? Историки пишут о слепоте, о маниловщине тогдашних лидеров Запада в их отношении к «дяде Джо»; эта запоздалая прозорливость, однако, не считается с тогдашней реальностью, с тем, что в сердцах союзников преобладало восхищение героизмом русских, дружелюбие и симпатия к ним. И всё же не сбросим со счетов, что эти чувства сильно подогревались немецким сопротивлением, – исчезни оно, и может быть, их заместил бы вопрос: отчего так яростно немцы сопротивляются русским и нисколько – нам? При этом РОА – не та, что была, а со всеми невостребованными резервами, численностью в сотни тысяч военнопленных, панически страшившихся возвращения в милое своё отечество, предпочитавших смерть в бою и даже самоубийство, – эта РОА стала бы живым отрезвляющим аргументом, сильнейшим катализатором отторжения Запада от России сталинской. Так что два знаменитых и даровитых генерала, мыслящих масштабно и дерзко, в равной мере были нужны друг другу.

Этот многообещающий план имел, конечно, свою ахиллесову пяту: в нём не было места Адольфу Гитлеру. На его вопрос: «А как же я?» – что мог бы ответить Гудериан? «А вы, мой фюрер, предстанете перед международным трибуналом». Предстали бы, ясное дело, и все те, по ком заскучали нюрнбергская виселица и тюрьма Шпандау, светили и Гудериану его три года заключения, да ведь речь шла – о судьбе Германии! Я думаю, российским национал-патриотам, баркашовцам, жириновцам и прочей свастиколюбивой публике, почитающей Адольфа Алоизовича, нелишне узнать, что в решающие дни он свою судьбу и судьбы своих присных поставил выше. Разумеется, до прямого диалога с фюрером не дошло; Гудериан, почти единственный в рейхе, кто умел говорить ему всю правду, всё же свою идею не выкладывал. Мог идти спор лишь о том, какому из фронтов – Западному или Восточному – подбросить пополнение, какой усилить за счёт ослабления другого. И, как ни покажется странным российскому читателю, Алоизович до последних дней считал Восточный фронт – второстепенным. Главные его враги были –

англичане. Объяснить ли это традиционной враждебностью континентальных европейцев к «коварным островитянам», — какая была у Наполеона, — или же два социализма, гитлеровский и сталинский, расовый и классовый, втайне ощущали своё родство даже над схваткой, но наибольшей опасности фюрер ожидал от Запада, всего подозрительней и беспощадней был к тем, кто туда скашивал глаз, ища путей к сближению. Заикнуться об его согласии на какой-либо шаг в ту сторону значило положить голову на плаху. И дело могло идти не о согласии — об устранении его и присных. Мысль об этом фельдмаршалов Роммеля и Клюге, покончивших с собою после заговора, не умерла вместе с ними, обитала в головах многих офицеров и генералов, всё более тяготевших к «западному варианту» решения судьбы Германии, но неудача покушения, но свирепая расправа над причастными к нему и непричастными оказывали действие парализующее и разобщающее. Чтоб сбросить оцепенение, требовалось время — которого не было.

Как известно, история не знает сослагательного наклонения, а тем не менее уже проклюнулась на Западе новейшая наука — «альтернативная история», призванная, разумеется, не к тому, чтоб «переиграть» прошлое, но к рассмотрению иных вариантов для оценки поступков исторических персонажей — политиков, генералов, публицистов, писателей. Что желаемое не произошло, тому были причиною вины и ошибки множества людей, разбирать которые здесь не входит в мои намерения. Вина же и ошибка власовцев состояли в том, что они себя связали с худшими людьми рейха. И было это — непоправимо. Когда, в конце марта 1945 года, генерал Гудериан уходил из гитлеровского бункера, выгнанный в отпуск, из которого не суждено было ему вернуться, его в этом бункере ничто не держало, уже миновала возможность изменить всю картину итогов Второй мировой войны, избегнуть раздела Германии, образования ГДР и других «народно-демократических республик», строительства Берлинской стены... Миновала и для Русской Освободительной Армии единственная возможность исторического оправдания — и спасения от гибели. Ведь только в этом случае она, держа оборону против соотечественников, не преступила бы закона божеского и человеческого, не изменила бы и национальному долгу — ему не изменяют, когда отстаивают демократию.

Не было бы опасений у давших ей оружие, что она его повернёт против них же, не было бы и резона ограничивать её тремя дивизиями (а по существу — одной), и не стали бы англичане и американцы, во исполнение «союзнических обязательств», выдавать бойцов РОА в новый — и самый страшный — плен. Тут бы она и была — и против Сталина, и против Гитлера!

Причудливая история, однако, предоставила РОА исполнить миссию иного рода. Как уже сказано, на территории СССР она не воевала. Но боевая встреча с советскими войсками всё же была у неё — в Польше, близ Фюрстенвальде, 13 апреля 1945 года. «Власовцы, — пишет Решин, — отступили в беспорядке, оставив на поле боя убитых, раненых, оружие и амуницию». При этом он ссылается на немецкие штабные документы, не учитывая, что они могли быть составлены противниками и ненавистниками РОА; воспоминания участников содержат картину несколько иную. Боя не получилось. Солдаты с обеих сторон перекрикивались, обмениваясь информацией о житье-бытье. Были и перебежчики — в ту и другую стороны, это значит — не было перестрелки. Такого ни командование немецкое, ни тем паче советское снести не могли, поле было обстреляно артиллерией, противники разведены. Чуткий наблюдатель мог бы отметить, что на чужой территории соотечественники относятся к власовцам уже иначе, нежели на своей; это должно было, хоть отчасти, вернуть «изменникам и предателям» чувство и своей правоты, так что не стоило, пожалуй, и далее с ними обращаться как с «унтерменшами» — могло случиться, что в один прекрасный день они выйдут из повиновения. Это и случилось: единственным значительным боевым действием РОА оказалась помощь восставшей Праге.

Этот эпизод Решин излагает предельно кратко, словно бы нехотя и явно в полемике с другими версиями. «Представители повстанцев предложили Буняченко поддержать восстание. Власов отказался участвовать в переговорах. Буняченко потребовал предоставления дивизии политического убежища...» И что же, оно было обещано? Иначе — как прочесть дальнейшее? «8 мая дивизия вошла в Прагу, не встретив никакого сопротивления со стороны немцев. Вечером того же дня 1-я дивизия РОА выкатилась из Праги... Власовцы не могли освободить Прагу... в ней остались десятки тысяч вооружённых немецких военно-

служащих. И кто знает, что было бы со Златой Прагой, если бы танкисты Рыбалко и Лелюшенко не блокировали группировку Шернера».

Любое наше деяние допускает трактовки самые разные. Можно рассказать о людях, оборонявших Москву, форсировавших Днепр, бравших штурмом ступени рейхстага, что они это делали из страха перед трибуналом. Или они жаждали наград, облегчавших послевоенную карьеру. Наиболее дальновидные, наверное, предвкушали, что спустя полвека выжившим фронтовикам будут отпускать продукты без очереди. Можно и так... Но вот Гоголь, в известной сцене, где старый Бульба убивает сына-изменника, призывает «пощадить рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было». Возможно, власовцы поддержали пражан в небескорыстном расчёте на политическое убежище (какое же, интересно, и кому его могла тогда предоставить Чехословакия?). Но ведь не дрова они подрядились попилить, не картошку убрать с поля, а рискнули своими жизнями ради спасения жизней чужих. Что и заставляет меня пересказать этот эпизод несколько иначе, добавив и то, о чём Решин предпочёл умолчать.

Первая дивизия РОА, отступая на юг с группировкой Шёрнера, прошла Прагу и удалилась от неё на 50 километров, когда началось там восстание, а вскоре послышался в эфире крик о помощи. Делегаты повстанческого комитета прибыли в походный лагерь дивизии. Они не предлагали, они умоляли помочь. Эсэсовцы топили в крови восстание, начатое преждевременно, и ни войска Рыбалко, ни Лелюшенко, ни другое какое соединение не могли успеть. Могла только Первая дивизия РОА. И она — вернулась. Комдив Буняченко лишь оформил приказом общее решение солдат и офицеров. Власов, действительно, устранился, больше того — при немцах, повсюду его сопровождавших, выразил Буняченко своё неодобрение. Но известно, что минут на десять они остались наедине. Оба повешенных, возможно, оставили следы своего разговора в протоколах следствия, и когда-нибудь мы это прочтём. А пока — должны поверить слышавшим от Буняченко, что Власов ему сказал: «Действуй!» — и посоветовал, как действовать: вначале захватить аэродром, на который высаживались новые каратели.

Нас косвенно хотят уверить, что серьёзного боя в Праге не было: дивизия не встретила «никакого сопротивления со стороны немцев». Его и не должны были встретить

люди в немецких мундирах. Но эти люди всё же были настроены воевать, а так как это почти невозможно в одинаковой с противником униформе, женщины Праги за ночь пошили для них пять тысяч широких нарукавных повязок с тремя цветами российского флага. Нас уверяют, что власовцы «не могли освободить Прагу», — это верно, как верно и то, что они не затем пришли; когда одна дивизия выступает против пяти, можно не ссылаться на закон наступательного боя, требующий обратного превосходства в силах (кстати, достаточно и тройного). Всё, чего они хотели, — поддержать повстанцев, спасти их от неминуемых массовых расстрелов, и по-видимому, добились этого, если к исходу дня нужда в спасителях миновала. И, как изящно выражается Решин, дивизия «выкатилась из Праги». Он забывает сказать, что «выкатилась» она под сильным давлением тех же повстанцев. Их делегация вновь явилась к Буняченко и потребовала немедленно уйти из города, поскольку уже на подходе войска маршала Конева. Спасённые русскими теперь пожелали, чтоб их спасли советские. Из двенадцати делегатов восемь были коммунисты, главою был Йожеф Смрковский, будущий лидер «Пражской весны». Можно предположить, что в составе уже не было тех, кто приезжал умолять о помощи.

Никем не подсчитано, сколько бойцов дивизии погибло на улицах, на аэродроме, а времени было потрачено на Прагу — четыре дня. Это при бегстве от советских танковых и моторизованных частей, когда и четыре часа потерять гибельно. Теперь эти части двигались не то что по пятам дивизии, но порой вперемешку с её частями, такое в те дни было не в диковинку. Буняченко дивизию распустил, и её люди, хоть и в немецкой форме, но шедшие вразброд и без оружия, интереса у советских фронтовиков не вызывали. Самая гибельная перемена, какая могла произойти за эти четыре дня, самая обидная и непостижимая, произошла с жителями Праги и окрестных мест. Все выжившие участники отмечают, как резко изменилось отношение к «русским предателям». В лучшем случае им вслед выкрикивали оскорбления, угрозы и проклятья, в случаях иных — отыскивали спрятавшихся в лесу, в разрушенном доме, в крестьянском дворе и указывали на них оперотрядам «Смерша». Партизаны и повстанцы, случалось, приводили связанных. Отличительной приметой — кроме незнания немецкого — была нашивка на левом рукаве, в виде

геральдического щита, с литерами «РОА», ещё лучшей — широкая, видная издали, трёхцветная повязка — у тех наивных, кто не сорвал, надеясь на её спасительность...

Двадцать три года спустя, в августе 1968-го, танки маршала Гречко залязгали на Вацлавской площади, утюжа «Пражскую весну». Все страны НАТО были этой дерзостью изумлены, и ни одна не посмела хоть погрозить глухо. Генералы не скрыли профессионального восхищения внезапностью и быстротой вторжения: за каких-нибудь восемь часов была оккупирована европейская страна и взята её столица! И во всей Восточной Европе нашлось в те дни лишь семеро смельчаков — внятно изъявить своё возмущение и протест. Выйдя на Красную площадь в Москве, столице оккупирующей державы, с плакатиком «Руки прочь от Чехословакии!», они пошли против своего правительства и против той, очень немалой, части своего народа, которая одобрила оккупацию. Годом позже была в гостях у меня чешка из Праги, жена моего переводчика Яна Забраны, теперь покойного; говорили о тех семи, многого ли они добились трёхминутной своей демонстрацией, и вот что сказала Мария Забранова: «Из-за этого их поступка все чехи не возненавидели всех русских». Но может быть, не только из-за поступка «великолепной семёрки»? Может быть, если не все, так многие чехи вспомнили раскаянно тех далёких спасителей, одетых во вражеский мундир и с цветами российского флага на рукаве, кого призвали на помощь — и выдавали потом на расправу. И ведь зря была эта угодливость, власовцы и так были обречены: они шли сдаваться в плен американцам, но были не приняты, выданы поголовно в плен советский. Только чехи и могли б их укрыть... если б захотели.

Горестная история РОА написана лишь отчасти, она полна белых пятен, которые, понадеемся, будут заполнены со временем. К сожалению, очень многое, что давно уже могло бы стать для всех явным, остаётся тайною наших, российских, архивов — пусть не за семью печатями, так за шестью наверняка. Очерк Леонида Решина, приоткрывающий завесу, — всего лишь попытка начать новое следствие, без видимого желания отменить старый приговор. Но эта попытка могла бы по крайней мере послужить стимулом к полному раскрытию тайны.

«Знамя», 1994, № 8

«КОГДА МАССИРОВАЛ КОМПЕТЕНЦИЮ...»

Ответ В. Богомолову

Из-за моей эмигрантской обособленности я лишь в октябре прочёл фрагмент новой книги В. Богомолова, опубликованный в «Книжном обозрении» к 50-летию Победы. Разбираются в нём два моих текста — роман «Генерал и его армия» и к нему же примыкающая статья «Новое следствие, приговор старый». Обещано рассмотреть и другие «пасквильные сочинения», «очерняющие Отечественную войну и десятки миллионов её живых и мёртвых участников». Называется книга — «Срам имут и живые, и мёртвые, и Россия...».

Для начала позволю себе дать автору добрый совет — переменить название. Не потому, что оно громоздко и темно по смыслу, но ведь сократят его при нашей суете до первого, ключевого слова. И станут говорить: «Как утверждает в своём «Сраме» Богомолов...».

«Очерняющие войну» — забористо, но непонятно: следует ли осветлять это мрачное занятие рода человеческого? Лев Аннинский, взявшийся нас примирить и уравнять в правоте, говорит о «тяжёлой руке» Богомолова*. Это, конечно, лучше лёгкости в мыслях, только почему эта тяжёлая рука так удручающе раззнакомилась с ВМСП (великим, могучим, свободным и правдивым) и выделывает кренделя, бывшие в обиходе дремучего 1949 года? Иной раз кажется, статья писана бригадой лубянских стилистов, ибо не может быть в языке прозаика таких изумрудов: «воспевая власовцев и РОА», «всячески апологетируя», «стремление умалить наше участие в разгроме гитлеровской Германии», «нелепо-уничижительное изображение советских военнослужащих», «восславление кровавого гитлеровского вермахта». Точно бы нельзя было удержаться на уровне литературного спора, но потребовались другие «правила игры» и даже язык другой.

---

* Лев Аннинский. Богомолов. Владимов. — «Родина», 1995, № 10.

Лет двадцать назад явился нам вестерн «В августе сорок четвёртого», вещь приметная – если не придираться, что оболгана польская Армия Крайова. Там протокольный язык донесений, оперативных документов служил прелестной аранжировкой детективному повествованию; для этого хватило автору вкуса и чувства меры. Попозже узнали мы, что в сотруднике «Смерша» Таманцеве он описал себя молодого, что книга читаема и почитаема чекистами, то есть людьми компетентными и которые нашли себя воспетыми достойно; он любимец Чебрикова, его замов и помов, часто выступает в дружественной аудитории, дарит и надписывает экземпляры. Всё было именинно, теплосердечно. Несколько поколений чекистов воспиталось на «Августе», это сами они признают благодарно. Однако не только писатель делает книгу, но и книга – писателя; сдаётся мне, что-то произошло тогда с Богомоловым, и не только с его языком, но миропониманием.

На шести газетных «простынях» он представляет читателю мой роман и статью чередою нелепостей, исторического лганья, выплеском злобы и ненависти к России, к её живым и павшим защитникам; ни один мой персонаж, ни эпизод, ни даже строчка не удостоились снисхождения – какое встречается иногда в речи прокурора, испрашивающего для подсудимого ВМН, – сплошь отрицание и уничтожение. И ещё – строгий выговор критикам, имевшим вольность высказаться обо мне доброжелательно.

Некоторые критики всё же не дрогнули. В № 9 «Знамени» выступили В. Кардин («Страсти и пристрастия») и М. Нехорошев («Генерала играет свита»); они опровергли многие обвинения Богомолова, приведя аргументы, какие мне бы в голову не пришли; они уличили его в подтасовках, передёргиваниях, нечестном усекновении цитат. Я бесконечно благодарен моим защитникам, и всё же не вправе отсидеться за их спинами, поскольку критика г-на Богомолова – это меньше всего литературная полемика, она не имела цели достичь истины, цель её была другая. Я также не могу быть оправдан ссылками на то, что и у Толстого в «Войне и мире» были ошибки. Толстой – писатель великий, и ошибки ему позволительны, я такой привилегии не имею. И я намерен показать, что моих ошибок – куда меньше, чем мог предположить читатель «Книжного обозрения».

Рядовому публицисту с Лубянки я бы не стал отвечать, но приходится делать исключение для автора «Ивана»,

автора «Зоси». И я отвечу по всем темам, либо не затронутым в статьях В. Кардина и М. Нехорошева, либо когда есть у меня что добавить. Наглядности ради позаимствую у Богомолова его заголовки.

О гуманном набожном Гудериане

Уж сколько раз твердили миру, что пересказывать прозу нельзя, она лишается присущих ей компонентов — лексики, музыки, дыхания. Богомолов пересказывает «Генерала» ёрнически, с пережимом, искажая факты, иногда нарочито пошло и банально. «Вот он, нежный любящий супруг... пишет проникновенное письмо любимой жене Маргарите...» И правда — пишет. И правда — любимой жене. И правда — Маргарите. Ну, и «проникновенное» — пожалуй, правда. А всё вместе — ложь. Потому что письмо — меньше всего любовное. Пишет человек, которому больше некому сделать три «нежных» признания: в своей болезни, в бессилии выполнить боевую задачу, возложенную на него командованием, в беспокойстве за судьбу Германии. Зачем создавался ложный образ? Могло б показаться, меня возвращают к шаблону *сентиментального убийцы*, поскольку иное изображение не положено для немецкого генерала, нарушившего священные наши рубежи. Но нет, то была бы неуклюжая, но всё же литературная претензия, а моего критика интересует обвинение политическое. Живой текст сопротивляется; надо его переиначить — и станет управляем.

Как упорно сражались диссиденты, чтоб их показания записывались дословно, — и как против этого упорствовали следователи: «Ну, какая разница? Из-за такой мелочи переписывать протокол?» Да уж, такова магия слова: одно и то же деяние, но изложенное по-разному, может вызвать у суда гнев, а может и сочувствие. Что всякое слово — не мелочь, отлично знает Богомолов — и вот переименовывает «Быстроходного Гейнца» (прозвище Гудериана) в «Железного Гейнца». Кажется, не всё ли равно, оба на гусеницах, но у нас-то свои ассоциации, Феликс у нас был Железный, и его «железо» мы не относили к доблести боевой. Навязав читателю эту как бы небрежную, амикошонскую манеру пересказа, можно всё смелее в свою речь вкрапливать очень даже рассчитанные обвинения.

Угодно Богомолову считать, что Гудериан удался автору больше других, выглядит самым цельным, — пусть так. Только не следует принимать это за похвалу, это я *апологетирую гитлеровский вермахт.* Это я сознательно обманываю читателя, изображая гуманным и набожным «отцом-командиром», «нежным и любящим супругом», «проявляющим при этом в мыслях удивительно высокий интеллектуальный и нравственный уровень», — кого?! Нацистского палача, кровавого завоевателя жизненного пространства, верноподданнейшего гитлеровца, о ком достаточно собрано обличений, чтобы пригвоздить его к позорному столбу истории.

Замечательна уверенность Богомолова, будто я всего этого не знаю. То есть я не читал всей той литературы, которая представляет нам «Быстроходного Гейнца» карателем и палачом. Но и самый тяжкий преступник, вторгшийся в чужую страну, имеет же право поразмыслить: откуда эта страна черпает силу сопротивления и почему в ней, двигаясь от победы к победе, приходишь к поражению? Отчего её люди всё-таки защищают своего Сталина, который над ними «всласть наиздевался»? Ответа он не получает, и мы с Богомоловым тоже его не знаем. На тюремном дворе, над трупами расстрелянных узников, русский священник говорит генералу-оккупанту, что не ему скорбеть о наших мёртвых, а в глазах живых можно прочесть: «Ты пришёл показать нам наши раны, а — виселицы на площадях? а забитые расстрелянными овраги и канавы? а сожжённые деревни с заживо сгоревшими стариками и младенцами? а все зверства зондер-команд и охранных отрядов, все насилия и грабежи, совершаемые армией Третьего рейха?»

И нигде слова нет, будто Гудериан к этому не причастен. Он разделяет общую вину — как верный солдат этой армии, притом умелый и талантливый. Но была же у него вина индивидуальная, и вот что в неё включает Богомолов, начиная с Ясной Поляны. С одобрения Гудериана усадьба Толстого была изгажена и разграблена, дом превращён в конюшню, а на могиле устроен нужник, уничтожены редчайшие рукописи, книги и картины. Он призывал советских воинов сдаваться, а когда они приходили с листовкой-пропуском, их расстреливали, — то есть поступал, скотина, как Бела Кун и Землячка с белыми офицерами в Крыму или наши ребята-смершевцы с коллаборанта-

ми в 1945 году в Европе. После разгрома антигитлеровского заговора, став начальником генерального штаба сухопутных войск, он заседал в «суде чести» и беспощадно отправлял на виселицу бывших сослуживцев. Он руководил подавлением Варшавского восстания, координировал действия войск СС, приказывал «...расстреливать всех поляков в Варшаве, независимо от возраста и пола... пленных не брать... Варшаву сравнять с землёй...». Он указывал, куда наносить бомбовые удары и как поступать с несдавшимися повстанцами — выжигать огнемётами. В своих преступлениях он не покаялся, блицкриг и оккупацию не осудил. А почему это кровавое чудовище избегло суда, так дело в том, что немцы — идолопоклонники, и Гудериан был для них «лучшей кандидатурой в национальные божки», а сверх того оказался для американцев ценным специалистом, ну и «холодная война» подоспела, ну и пожалели — учли возраст (60 лет) и болезнь сердца.

Всё это, подчёркивает Богомолов, он вычитал из «чистых» источников, то есть изданных на Западе; он ссылается на три немецкие книги, не затрудняясь, однако, нас просветить насчёт авторов. А ведь это немаловажно, марка западного издательства ещё не делает их книги «чистыми» источниками. «Чистый» — словцо нашенское, чекистское, в своё время читывали мы авторов, не столь верных истине, как нашей пропагандной машине: вроде Альберта Кана из «цитадели империализма» — США, вроде Говарда Фаста или Пьера Дэкса до их «перестройки».

Всякого, выступает ли он прокурором или адвокатом дьявола, должно бы вот что занять: 86 000 судебных процессов было в Германии над нацистскими преступниками, и как же не подорвал доверие к судам феномен «Железного Гейнца», истоптавшего гусеницами пол-Европы и схлопотавшего «детский срок», три года, и то не по приговору, а как предварительное заключение? Ведь подсудимые должны бы пальцем на него показывать: «И после этого, господа судьи, вы меня судите?» Куда меньше содеявший Рудольф Гесс отсидел пожизненно и ещё пять лет (у англичан с 1941 года), и сколько петиций было о помиловании, и ни разу не сослались на Гудериана как на пример достойного победителей снисхождения. Не перегружена ли чаша обвинений? В какой мере он — дьявол?

В Ясной Поляне Гудериан был первым, но не единственным из немецких генералов, его сменил Р. Шмидт,

который едва ли бы поселился в доме, превращённом в изгаженную конюшню; ясно, что все разрушения совершались немцами перед уходом. Есть исследование одного аспиранта, работавшего в музее после войны (напечатано в эмигрантском журнале, стало быть — «чистое»?): в первые недели офицеры и нижние чины брали книги из библиотеки и аккуратно их ставили на место; четыре книги пропали — но, может быть, остались там, где полегли сами читатели? Нужник не мог быть устроен близ могилы Толстого, там устроено было — кладбище. Зарывали павших в бою (временно, до отправки в Германию), ставили берёзовые кресты с табличками и касками. Советские газеты и кинохроника это и называли осквернением могилы великого писателя. Но едва ли истинные христиане (и сам Толстой) так могли бы это понять. В Германии услышал я, что Гудериан «хотел взорвать могилу Толстого». Не представлю себе командующего армией, который бы внятно выразил своё хотение — и оно б не было тотчас исполнено! Так, верно, трансформировалось применение взрывчатки при рытье могил зимою.

«Чистый» источник сообщает о приказе Гудериана «Пленных не брать!» (к сожалению, ни текста, ни подписи. — *Г.В.*) и о последующем тому «оправдании»: «танкисты «Железного Гейнца» рвались вперёд, они делали иногда по 60-80 километров в сутки, и у них не было ни времени, ни людей собирать и охранять пленных». Очень странное «оправдание». Танкисты *при любой скорости* (и при нулевой) не могут заниматься пленными. Но танковая армия — это не одни танкисты, в неё входят части кавалерийские, мотоциклетные, мотопехота, егеря; они тотчас же заполняют отбитую танками зону, так что было кому собирать пленных и охранять их. И много ли в 1941-м требовалось охраны? Десятка два автоматчиков конвоировали тысячную колонну. Гудериан, ко всему, ещё прославился числом захваченных пленных — едва не полтора миллиона, зачем ему было эту славную цифру уменьшать расстрелами? Это я к тому, что прагматическому интересу верят скорее, нежели духовному или «набожному». Это знает и из этого исходит мемуарист:

«...В корпуса и дивизии поступил приказ верховного командования вооружённых сил относительно обращения с гражданским населением и военнопленными. Этот приказ отменял обязательное применение военно-уголовных

законов к военнослужащим, виновным в грабежах, убийствах и насилиях... Такой приказ мог способствовать лишь разложению дисциплины... поэтому я запретил его рассылку в дивизии и распорядился отослать его обратно в Берлин. Другой приказ, также получивший печальную известность, т. н. «приказ о комиссарах»*, вообще никогда не доводился до моей танковой группы. По всей вероятности, он был задержан в штабе группы армий «Центр».

Обозревая прошлое, можно только с болью в сердце сожалеть, что оба эти приказа не были задержаны уже в главном командовании сухопутных войск. Тогда многим храбрым и безупречным солдатам не пришлось бы испытать горечь величайшего позора, лёгшего на немцев»**.

В «Дневниках» Франца Гальдера, начальника генштаба сухопутных войск, где отмечены многие «дерзости» и «капризы» Гудериана, всё же признаётся его умение «крепко держать свою армию в руках». Надо думать, слова «разложение дисциплины» были не пустыми для него. Тот самый «порядок в танковых частях», за который неизменно пьют фронтовики, полагал он едва ли не главной составляющей успеха; грабь-армия, выполняющая фунции палаческие, побеждать не сможет.

Богомолов не раз ссылается на подпись Гудериана. Но если б такая подпись существовала, на что же надеялся мемуарист, осуждая эти расстрелы как «величайший позор»? Что его подпись не сунут ему в бесстыжие глаза? Для немцев Гудериан отнюдь не божок, да они и не были судьями, судили победители, чаще всего американцы. И он вовсе не избежал суда, он был судим — и оправдан. Не по болезни сердца, не по случаю 60-летия, не потому, что был корифеем по части массированного применения танков. Это всё не спасало от петли. Не худшим экспертом и лектором был бы Йодль, штабной генерал уровня фон Шлиффена, однако ж не учёл его способностей Нюрнбергский трибунал. Спасали — отсутствие или недостаточность улик.

Тут самое время сказать о двух «злодеяниях» Гудериана, за которые страсть как хотелось *нашим* вздёрнуть мерзавца. Одно из них — захват Смоленского архива ВКП(б) и НКВД, сокровищницы жгучих тайн обоих гуманнейших учреждений. Похищать чужие архивы нехорошо — и с

* Приказ о поголовном расстреле политруков, коммунистов, евреев.
** Гейнц Гудериан. Воспоминания солдата. — М., Воениздат, 1954.

этим охотнее всех согласятся наши правозащитники, у кого они изымались при обысках. Так ведь не для себя же он, не для продажи с аукциона! Ныне этот архив хранится в США, с ним работают историки — и много интересного выуживают для своих диссертаций!

Другое его «злодеяние» касается вины перед польским народом. В сентябре 1939 года в Бресте, где Гудериан с комбригом Кривошеиным принимали парад советско-германских войск (о таких чудесах молчит святая лира Богомолова!), произошла передача советскому командованию нескольких тысяч пленных польских офицеров. До конца войны в Европе они должны были находиться в России. Трудно сказать, как сложились бы их судьбы в Германии и Польше, — учитывая Освенцим или Маутхаузен, — судьба же Гудериана причудливо свела его с ними вторично: именно его армия, 2-я танковая, захватывала Козельск и Катынь, где впоследствии были обнаружены массовые захоронения этих польских офицеров. Теперь и россиянам известно, что к расстрелам в Катынском лесу немцы отношения не имели, это дела наших славных «органов», но в первые послевоенные годы это было предметом расследования. Об этом в Нюрнбергский трибунал мы тома представили и, разумеется, указали конкретных виновников. И какие авторитетные люди свидетельствовали: патриарх Сергий, писатель и граф Алексей Толстой, хирург Бурденко... В июне 1947 года, однако, все обвинения с Гудериана были сняты (но ещё год он провёл в заключении, покуда решался вопрос о виновности всего генерального штаба). Можно понять судей: когда «посыпалось» такое обвинение, на другие прегрешения уже не смотрят так свирепо. Но можно понять и огорчение *наших*: было на кого списать персонально эту досадную «ошибку» с поляками — и надо же, вывернулся мерзавец!

В продолжение «польской темы» суд, очевидно, рассмотрел и участие подсудимого в подавлении Варшавского восстания в августе—сентябре 1944 года.

Восстание в ближнем тылу, в городе на Висле, за которой стоят советские войска, следовало подавить — и как можно скорее. Это аксиома войны. (Вот написал я это — и спохватываюсь: ведь скажет Богомолов, что я *призывал к беспощадному подавлению!* Может быть, лучше так: «Офицеры и солдаты вермахта должны были поднести повстанцам цветы и выпить с ними на брудершафт»?) Есть и ди-

лемма – превратится ли подавление в операцию боевую или карательную. Кто скажет, что одно не мешает другому, пусть обратится к опыту Чечни. Боевая операция может быть выполнена быстро и малой кровью, операция карательная – с убийствами непричастных, с разрушениями жилищ, без пощады к пленным – затягивается бесконечно. Восстание подняла Армия Крайова, ей и надо было противопоставить армию, но для этого включить Варшаву в зону боевых действий сухопутных войск. Генерал-губернатор Франк и рейхсфюрер СС Гиммлер этому воспротивились и уговорили Гитлера оставить Варшаву в подчинении генерал-губернатора. Из тщеславия, объясняет Гудериан. Глядя на Чечню, мы различим это межведомственное соперничество – кому замирять, армии или ОМОНу, и значит, кому достанется больше добычи и орденов. В сознании же противника они едины: «будённовец» Шамиль Басаев расстреливал и лётчиков, и «ментов».

Подавление Варшавского восстания было поручено Гиммлеру, а тот возложил эту задачу на группенфюрера СС фон дем Бах-Зелевского, подчинив ему части СС и полиции. Что в таком случае может армейский штабист, *отстранённый от операции*? Разве что исполнители сами попросят его вмешательства. Так, Бах-Зелевский сообщил Гудериану «о бесчинствах своих подчинённых, пресечь которые он сам не в состоянии. От его сообщений волосы становились дыбом...». Особенно зверствовали бригада штрафников, старавшихся так искупить свои вины, и бригада Бронислава Каминского, из русских военнопленных, которую причисляют иной раз к власовцам, хотя она в РОА не входила. Не без труда убедили фюрера, что они «действительно, босяки» и чтоб он снял эти бригады с фронта. А Бах-Зелевский «позаботился о том, чтобы Каминского расстреляли, этим он избавлялся от нежелательного свидетеля».

Уже и эсэсовцам стало ясно, что жестокость только вредит делу и затягивает его. Поэтому Гудериану удалось склонить Гитлера открыть повстанцам пути капитуляции, а для этого обращаться с ними как с военнопленными, в духе международного права. Вся беда, что эта директива была в войсках так понята, что нужно отличать военных от гражданского населения. Лидер восстания, генерал Бур-Комаровский, писал, что сами польские командиры «с

трудом отличали солдат от гражданских лиц» и не могли никому запретить носить на рукаве бело-красную повязку. А это было отличие повстанца, и с ним поступали как с партизаном.

Я не касаюсь долгих споров о значении и смысле Варшавского восстания, имело ли оно шансы на успех и было ли преждевременным или ему намеренно дали истечь кровью стоявшие за Вислой армии Рокоссовского и Войско Польское; речь о конкретном персонаже истории, об его участии, которое сильно преувеличивает Богомолов. Да не мог Гудериан, мастер «молниеносной войны», подавлять восстание два месяца, не надо его путать с Павлом Грачёвым.

Направлять бомбовые удары было компетенцией «люфтваффе», да и не входило в планы Гудериана разрушить город. То же – и выжигание повстанцев огнемётами: достаточно эффективное – главным образом в полуподвалах и первых этажах, – оно чревато пожарами, которых и без того хватало. О приказе сравнять Варшаву с землёй он прочёл впервые в 1946 году в нюрнбергской тюрьме, но и раньше выступал против намерений такого рода, настаивая на сохранении города – «крепости, в которой должны укрыться немецкие войска. Тем более важно было сохранить здания потому, что Висла в то время стала уже передним краем...». С военной точки зрения – это совершенно логично. Кто же из немцев знал, что русские не поспешат на помощь восставшим и, пожалуй, сами заинтересованы в разрушении Варшавы? И какой же идиот будет сравнивать с землёю город, представляющий собою, со всеми его зданиями, укреплённый плацдарм!

Насчёт нацистского приветствия, с выкриком «Хайль Гитлер!», предписанного в армии «с благословения Гудериана», что-то путает Богомолов. В армии приняты не благословения, а приказы, – кто же его отдал? Если начальник генштаба такую власть имел, то лишь в сухопутных войсках, авиаторы и моряки приветствовали бы друг друга по-старому. На самом деле «Deutscher Gruss» – так оно называлось – было восстановлено во всём вермахте после 20 июля 1944 года настоянием Гитлера; как отнёсся к этому Гудериан, видно из его рассказа, что вышло, когда формирование «фольксштурма» поручили Борману: «...руководство национал-социалистской партии выдвигало на руководящие посты не опытных командиров, а *партийных*

фанатиков». И солдаты «больше занимались *совершенно бессмысленным разучиванием германского приветствия* вместо изучения и овладения оружием». (Курсив мой. — *Г.В.*) Не правда ли, отношение Гудериана к партийным деятелям чем-то напоминает маршала Жукова с его любовью к политрукам и комиссарам? А ещё в равной мере не симпатизировали они оба — соответственно — гестаповцам и чекистам...

Коснёмся же, наконец, участия Гудериана, вместе с фельдмаршалами Кейтелем и Рунштедтом, в «суде чести», который был учреждён Гитлером «для изгнания негодяев из армии». Уволенные этим судом офицеры и генералы, причастные так или иначе к заговору против Гитлера, передавались затем «народному трибуналу» и там уже получали свой приговор. Гудериан, как пишет Богомолов, о своём участии упоминает вскользь и делает «оговорку о своей якобы пассивности, однако быть пассивным там было невозможно: заседания судов “чести” и “народного”, так же как и сам процесс казни, снимались кинооператорами, и сюжеты эти по ночам показывались Гитлеру... Видевшие эту хронику немцы свидетельствуют — и Гудериан, и Рунштедт, и Кейтель со злобными лицами буквально “выпрыгивали из своих мундиров”, демонстрируя под объективами кинокамер свою ненависть к противникам фюрера...».

Пишет об этом Гудериан вовсе не «вскользь» и сообщает две крайне важные подробности, упущенные Богомоловым. Первая та, что все, причастные и непричастные, до «суда чести» проходили предварительное следствие в гестапо. Материалы следствия содержали «признания, сделанные с почти невообразимой откровенностью», — как обычно и высказывались офицеры перед офицерами, не сознавая при этом, что у следователей в красивой чёрной форме (как у Штирлица с Мюллером) свои понятия «о чести офицерского корпуса». Очевидно, вели себя подследственные совершенно так же, как наши декабристы перед комиссией Николая I: рассказывали не только о себе, но называли имена и критиковали действия и ошибки других. «Таким образом, гестапо вскоре имело перед собой почти полную картину заговора... При откровенном признании обвиняемого часто было просто невозможно объявить его невиновным и непричастным к заговору». И вовсе не о «своей якобы пассивности» говорит мемуарист, а

о том, что «при ведении этого неприглядного судебного разбирательства приходилось вступать в тяжёлые конфликты со своей совестью... не хотелось, смягчая вину одного, ввергать в несчастье других людей, ещё неизвестных или уже арестованных... К сожалению, мало кому удавалось оказать добрую услугу».

Другая немаловажная подробность была та, что «суд чести» выносил решения «только на основе имевшихся документов. Допросы обвиняемых не допускались». Что же тут было снимать кинооператорам? Как сидят генералы и шелестят бумажками? И перед кем было «выпрыгивать из мундиров», кому демонстрировать «злобное лицо»? Сдаётся мне, что немцы, «видевшие эту хронику», лжесвидетельствуют.

Что хотелось видеть фюреру — как подсудимый выслушивает приговор и как он принимает смерть. О казни сообщает Богомолов, что «она осуществлялась двумя придуманными лично фюрером способами повешения: на рояльных струнах — "для замедленного удушения" жертвы или "как на бойне"— крюком под челюсть». Так не умерщвляют на бойне, это приведена искажённая фраза Гитлера, что он повесит заговорщиков, «как бараньи туши, на крюках». Но, насколько мне известно, душили без затей, пеньковой верёвкой, свисавшей с крюка, вбитого в стену или ползающего по рельсу. А известно мне это из многих километров немецкой хроники, просмотренной вместе с киногруппой М.И.Ромма во время его работы над «Обыкновенным фашизмом». Заседания же «народного трибунала» часто показывают в Германии, в них Гудериан не участвовал даже зрителем, иначе бы камера его показала (вот бы где и состроить злобное лицо!). Кстати, бурные эмоции перед объективом ему не свойственны, в сохранившихся кадрах он неизменно улыбчив и на удивление скромен, не лезет, подобно Кейтелю, на передний план, так что приходится диктору указывать: вот он, третий слева, или вон, за плечом такого-то. А вот сообщение насчёт рояльной проволоки и крюка под челюсть (или под ребро) — небезынтересно: так, по одной версии, казнили Власова и 11 его подельников. Возможно, друзья-информаторы Богомолова косвенно эту версию подтвердили.

Читатель вправе спросить меня, почему я так доверчив к мемуарам человека, желавшего, несомненно, оправ-

даться перед историей (только перед нею, не перед судом, за мемуары он принялся после освобождения). А потому же, отвечу я, почему и Богомолов так доверяет первым попавшимся ему авторам. Учась на юрфаке, я слышал от моих учителей: «Никогда не отвергайте первой версии, которую высказывает сам подследственный. В большинстве случаев она оказывается правдивой». Это и есть презумпция невиновности — верить, пока не доказано иное. Приведенные здесь утверждения Гудериана не опровергнуты, никто его не уличил во лжи. Напротив, часто ссылаются на его «Воспоминания солдата» и письма к жене, как на источники достоверные*. В случае опровержений и обличений я бы поставил вопрос: кому из двоих верить? Обратимся к личности мемуариста. Можно ли верить тому, кто, вопреки воле фюрера, исходя из своего понимания обстановки и учитывая все последствия этого шага, приказывает войскам отступить? Тому, кто, часто единственный, возражает любому из вышестоящих? Тому, наконец, кто уже после смерти Гитлера — из тюрьмы, из-под качающейся петли — бросает жёлчный упрёк тем своим коллегам, которые пресмыкались перед диктатором, а теперь попирают его прах?

Можно много собак навесить на Гудериана, но он не был человеком стаи, мафии, всегда имел своё мнение и смелость его высказывать. Не вписывается он в рамки среднестатистического нациста. Может быть, потому и уцелел, потому и не указывали на него другие подсудимые: они не были такими и не вели себя, как он. Косвенно его неординарность подтверждает и Богомолов, когда говорит, что Гудериан не осудил свои преступления. Это верно. Когда все осудили и покаялись, он один — из тюрьмы — продолжал гнуть своё, пересматривал лишь сроки блицкрига, но не главную его цель — разрушить коммунистическую империю, рассадник «серой чумы большевизма».

И вот она разрушена. Без его танков. Сошлись три голых мужика в беловежской баньке — и разрушили. У нас ведь оно всегда как в сказке: били, били — не разбили, мышка пробежала, хвостиком махнула... «Серая чума большевизма» тоже как будто выродилась, во что — покуда неясно. Легче от этого Богомолову?

---

* Kenneth M a c k s e y . «Guderian, der Panzergeneral». Перевод на нем. книги английского автора, бывшего офицера-танкиста, участника Второй мировой войны.

Мне симпатичны люди, чуждые стадности. Но как я могу симпатизировать немецкому генералу, изгнавшему меня своими танками навсегда из родного Харькова? Я только против лжи о нём. И я постарался его изобразить таким, как представлял себе. При этом, описывая, как он в доме Толстого принимает своё решение отступить, я это называю «поступком, может быть, высшим в его жизни». Может быть, завтра он лучшего друга продаст, родного брата зарежет, но сегодня он был таким.

«Освободитель России» генерал А. А. Власов

Есть отработанный следовательский приём, часто применяемый в лубянской публицистике, — уширение до абсурда. Я называю генерала Власова «спасителем русской столицы», а мне ударом от ворот через всё поле — «освободитель России». Так смешнее. А чтобы совсем животики надорвали, даже внешность «освободителя», хоть и признаётся «незаурядной», но подвергается коррективам, совокупно с манерой себя вести:

«...Честолюбивый и потому карьерный, льстивый с вышестоящими и безразличный к подчинённым... он пользовался доверием Сталина, рос в званиях и должностях и, не скрывая, радовался этому. Он гордился, что лицо у него в рябинах, как у Сталина, разговаривая с ним по телефону ВЧ в присутствии генералов и штабных офицеров, вытягивался по стойке "смирно" и усиливал природное оканье, убеждённый, что вождю это нравится». К тому же ещё, после Московской битвы, «страдал упадком слуха».

Я расспрашивал людей, общавшихся с Власовым, сидевших с ним в застолье, — они не видели на его лице оспин (особо отмечали склонность к загару), не слышали в его речи оканья*, не констатировали упадка слуха; в манере себя вести не отмечена льстивость к вышестоящим, хотя было кому льстить, также и безразличие к подчинённым — солдатам и офицерам РОА, которые зачастую толь-

---

* Когда уже была написана эта статья, в Германии по телевидению показали документальный фильм «Генерал Андрей Власов». Ни оспины, ни оканье действительно не отмечаются зрителем, и закрадывается сомнение насчёт повешения на рояльных струнах или каким-либо иным способом, кроме обычного.

ко ему и верили. А что, разговаривая со Сталиным по ВЧ, он вытягивался по стойке «смирно», это устав велит так говорить с вышестоящими, не исключая разговора по телефону. Наедине с трубкой можно уставом и пренебречь, говорить с Верховным сидя, но не *в присутствии генералов и штабных офицеров.* Утверждают, что всем обликом — ростом, голосом, лицом — производил он сильное впечатление на многих, даже на врагов своих, среди которых самым ярым был Гиммлер. Рейхсфюрер СС считал, что Власов под Москвою нанёс немецкой армии серьёзнейший урон, и не мог ему этого простить — в отличие от Богомолова, который нас просветил, что никакого урона от Власова не было и быть не могло.

Впервые узнаём мы, что в Московской битве он вообще не участвовал и моё описание этого — «чистое сочинительство». Оказывается, «назначенный командующим 20-й армией 30 ноября 1941 года Власов с конца этого месяца и до 21 декабря болел тяжелейшим гнойным воспалением среднего уха, от которого чуть не умер и позднее страдал упадком слуха...». Важнейшие три недели он на командном пункте не показывался, пришлось отдуваться и подписывать приказы «за» командующего начальнику штаба Л. М. Сандалову.

Одна любопытная неувязка: в ноябре нет 31-го числа, и Власов, стало быть, не имел возможности заболеть после своего назначения, он был назначен уже больным. Почему же он не доложил о своей болезни, не попросил замены?

В. Кардин и М. Нехорошев разобрали подробно эту детективную историю и нашли её несостоятельной. За воспаление среднего уха орденов не давали и в газетах бы про него не напечатали. Однако история эта ещё детективнее. Существовал больной командующий — и может быть, с таким диагнозом, — только другой. В Германии Власов рассказывал, как в ноябре 1941-го Сталин вызвал его к себе, дал ему из своего резерва 15 танков и направил заместителем к командующему, который заново формировал 20-ю армию (расформированную после выхода из окружения под Вязьмой). Власов застал командующего тяжело больным — действительно, с конца ноября, числа с 25-го, — и принял от него командование. Имени своего предшественника он не называл — либо из деликатности, либо из-за малой известности генерала Н. И. Кирюхина. Возможно,

это его действиями был недоволен Жуков, требуя — хоть и больным, но показаться на командном пункте и подписывать приказы самому, — как бы немецкая разведка чего не подумала, считает Богомолов, а я думаю — чтоб армия знала, что у неё есть командующий. Видимо, последствия болезни были тяжелы, более никогда Кирюхин армиями не командовал.

Если, наконец, обратиться к мемуарам Жукова, можно увидеть, какую высокую оценку даёт он 20-й армии, предопределившей успех Западного фронта. Он, правда, не называет имени командующего, но если б то был Сандалов или Кирюхин, неужели бы Жуков избег его назвать?

Другую детективную историю рассказал Богомолов о 2-й Ударной армии, увязшей в «мешке» у Мясного Бора, на Волхове: «Из анализа всех материалов становится несомненным, что всю последнюю, роковую для него неделю Власов находился в полной прострации. Причиной этого, полагаю, явилось то, что когда на Военном совете было оглашено предложение немцев окружённым частям капитулировать, Власов тотчас сослался на недомогание и, предложив: «Решайте без меня!» — ушёл и не показывался до утра следующего дня. Военный совет отклонил капитуляцию без обсуждения, а Власов вскоре наверняка осознал, что этими тремя словами он не просто сломал себе карьеру, но фактически подписал себе смертный приговор».

Подумаем: в августе 1941 года приказ Ставки № 270 установил, что нет у нас слова «военнопленный», а есть — «предатель». Так мог ли Военный совет собраться по поводу немецкого ультиматума и оглашать его — очевидно, чтоб услышать мнения? Да никаких мнений быть не могло, единогласное «против». И мог ли Власов предложить Совету *решать*: сдать ли армию — не в плен, а в предатели?

Однако всё это было — и заседание Совета, и «Решайте без меня!» — только повестка другая. Авиационной поддержки 2-я Ударная не имела, тут прав Богомолов, но когда надо было, самолёты и прорывались, и приземлялись. Несколько их прислал Мерецков, командующий Волховским фронтом, по приказу Сталина, — эвакуировать Власова и его штаб. Насчёт себя Власов решение принял, но не счёл возможным приказывать штабу — ни улететь, ни остаться. Поэтому и ушёл, чтобы своим присутствием ни на кого не повлиять. Решение, которое принял Совет, должно было и обрадовать его, и опечалить, как всегда бывает,

когда твои коллеги показали себя людьми, но и обрекли на гибель.

Я не думаю, что, улети Власов из почти окружённой, погибающей армии, его бы ждала участь расстрелянного Павлова. Всё-таки Сталин уже не был тем паникёром 1941 года, который расстрелами генералов надеялся остановить повальное бегство. И он успел оценить Власова, его умение и дар полководца. У Богомолова ни слова о Киеве, но Сталин-то помнил, как героически его обороняла 37-я армия Власова и была им выведена, вытащена из стальных клещей Гудериана и фон Клейста, из страшного Киевского котла, где осталось 665 тысяч пленных. А то, что сейчас он бы покинул 2-ю Ударную, её бойцов, опухших от голода, которые не то что всех коней, а стружки с их копыт разваривали и ели, — ну что ж особенно ужасного, покидали же войска Ворошилов с братишкой Будённым и ничего, дальше командовали. И Власов бы этот позор как-нибудь пережил, командовал бы другой армией или даже фронтом — и ещё сильнее возлюбил бы Верховного за снисхождение и прощение. Да в том-то и дело, что не оставил генерал свою армию! И для Верховного он теперь был — «невозвращенец», убоявшийся ответ держать, а отсюда уже и до «предателя» недалеко.

Несколько лет назад высказывались в нашей, ещё советской, печати выжившие бойцы 2-й Ударной. Там довелось мне прочесть и такое признание, что Власов для своей армии сделал всё, что мог и должен был сделать командующий. Я бы сказал: он разделил участь своей армии до конца.

Вот здесь, сколь это ни странно, появляется у Богомолова трогающая, человечная интонация. Начинается она с фразы чудовищной, точно из доморощенного компьютерного жаргона: «Когда я массировал компетенцию...» — но далее, вспоминая собственные фронтовые передряги, он всё же проникается горестно-трагическим состоянием другого человека, вынужденного 17 суток, как загнанный зверь, скитаться в лесах и болотах, прячась и от своих, и от чужих. Единственное возможное решение — пробиваться из окружения малыми группами — тоже оказалось гибельным. Группа, с которой шёл Власов, была немцами, как и другие, перестреляна, частью пленена, частью перемёрла, а его самого, прятавшегося в сарае или в церкви, приспособленной под склад, выдали советские крестьяне. Им было за что любить Красную Армию и славных её

полководцев – начиная с Тухачевского, а пожалуй, что и пораньше, с её основателя Троцкого.

На этом, собственно, и кончается сочувствие Богомолова – бомбёжки и артобстрелы он пережил, а от плена Бог его избавил. Поэтому, как ни старается он «с позиций общечеловеческой объективности найти хоть какие-то, даже не оправдательные, а всего лишь смягчающие обстоятельства его (Власова) поступков, но не получается».

Оно бы и получилось, и мог бы генерал Власов даже в этой ситуации остаться для нас героем: если б уподобился Михаилу Кирпоносу, командующему Юго-Западным фронтом, который в окружении под Киевом погиб в бою, а по другой версии – застрелился. Почему Власов этой судьбы не принял? Может быть, и тогда, под Киевом, когда узнал о смерти Кирпоноса, была у него такая мысль, и он её отогнал – в надежде, что повезёт ему. Тогда – повезло, и может быть, он надеялся, что и в этот раз выйдет так же. Не вышло. И всё же, думаю, недостойно вгонять ещё и ещё осиновые колья – или, как сам выражается Богомолов, «походя кидать подлянку» – в могилу казнённого.

Дважды, с видимым злорадством, он приводит известную фразу Гитлера о Власове: «Он предал Сталина, предаст и меня». Первую часть этой фразы-формулы мы проходили, повторяя бездумно скудные официальные сведения о 2-й Ударной. Может статься, если займёмся этой историей всерьёз, выйдет наоборот – Сталин и присные его предали Власова.

Вторая часть формулы, строго говоря, тоже не оправдалась вполне. До смерти Гитлера власовцы были верны присяге вермахту, а взяли себе суверенность в первой декаде мая 1945 года, – когда генерал-майор Сергей Буняченко повернул Первую дивизию РОА на помощь восставшей Праге.

Об этом – ни словечка у Богомолова. О Праге он компетенцию не массировал. Дисциплина молчания у него высочайшая. Зато цитируется последний приказ Власова людям РОА – уже из нашего плена – переходить на сторону Красной Армии. Сегодня такие приказы нельзя рассматривать всерьёз. Цивилизованное сознание не приемлет подобных заявлений от человека, находящегося в плену, в тюрьме, в залоге у террористов и т. п., тем более когда личный контакт с ним исключён.

Генерал и его армия

Говорит Богомолов, что я в своей статье высказываю «недоверие к советским источникам и архивам», и советует мне всё же их почитывать – «прежде всего, доступные в последние годы архивные военные документы 1941–45 годов». Всё, конечно, наоборот, я призываю архивы открыть пошире; однако ж я не вчерашний на свете и многое из того, что стало Богомолову «доступным в последние годы», я давно для себя «рассекретил» – при встречах с маршалом К. А. Мерецковым, с генералом М. Ф. Лукиным (который был в плену вместе с Власовым), с генералом-танкистом В. М. Бадановым (который общался с майором Гудерианом в пору его свободных поездок по нашим заводам и полигонам), с генералом П. Г. Григоренко (в романе упомянутым в связи с приказом Жукова о расстреле семнадцати командиров на Халхин-Голе, позднее им же и награждённых); да, наконец, и сам я в некотором роде поучаствовал в создании этих источников, сделав «литературную запись» воспоминаний генерала П. В. Севастьянова для известной серии «Военные мемуары» Воениздата; а был мой соавтор членом Военного совета в 40-й армии К. С. Москаленко – и порассказал мне о художествах «командарма наступления», сперва без пользы растратившего свою армию на Букринском плацдарме, а затем переметнувшегося на плацдарм Лютежский, чтобы отнять 38-ю армию у Н. Е. Чибисова – на том основании (которое придумали они с Хрущёвым), что столицу Украины должен освобождать командарм-украинец. И весь эпизод с подарками Хрущёва «от лица Военного совета фронта» я не придумал – с коньяком, шоколадом, именными часами, но главное – с украинской вышитой рубашкой, должной напомнить русскому Чибисову, что он – чужак и в лучшем случае может попеть в хоре, но не сольно. Это поняли все командармы и Жуков, это поняли многие читатели, этого не понял г-н Богомолов.

И, как свойственно бывает непонимающим, он же моих генералов презирает, они кажутся ему по уровню «колхозными бригадирами», которые «и чеховскую “Каштанку” не одолели бы...». Сравнение с колхозными бригадирами заимствовано у Солженицына, он так отозвался о маршале Коневе. Не скажу, что удачно, эти бригадиры, бывает, меж собою говорят весьма неглупо, хотя и не всякому понятно. Что же до генералов, никому не посоветую

счесть кого-нибудь из них заведомым недотёпой или тупицей – «Каштанку» он, может быть, и не прочёл, но сражение у вас, умника, выиграет. Просто у него ум другой, а точнее – он другое, чем мы думаем, существо.

Если бы даже я не узнал всех других, кого тут перечислил, мне бы всё возместило долгое общение с Петром Григорьевичем Григоренко. Его, разжалованного Брежневым, называли генералом и друзья, и тюремщики, и даже гебисты не придумали оперативной клички иной, чем «Генерал». Общаясь с ним, вы понимали, что генерал – это не столько звание, сколько – характер, особенность разума, замечательное умение быть всегда старшим, взять на себя ответственность, принять единственно верное и неотменимое решение. Впрочем, сам Петр Григорьевич мне на это возразил, что генералы – люди разные, а в общем они такие же, как все прочие, только процент порядочных среди них поменьше, а процент сволочей – побольше. Видимо, он имел в виду «отрицательную селекцию». Согласимся, что и ответ – генеральский. И кстати, задушевным другом ему был знаменитый диссидент И. А. Яхимович, из председателей колхоза. А в председатели он откуда попал? Из бригадиров.

По мнению Богомолова, я наших славных командармов «опустил», и главный герой у меня, генерал Кобрисов, – «опущенный». Слова – из чекистского лексикона. В знаменитом «Справочнике по ГУЛАГу» Жака Росси их нет: либо ещё не привились, либо не взяли их блатные в свой жаргон, уж больно элегантные, тонкие, хоть смысл их страшен. «Опустить» – это лишить статуса, унизить беспредельно, раздавить личность. «Опускали» инакомыслящих, сажая в «пресс-камеры», где их насиловали уголовники-педерасты – и бывало, «опущенный» кончал с собою, будь то в лагере, где он становился неприкасаемым изгоем, или выйдя на свободу и узнав, что сломлена, как говорят, его «сексуальная ориентация». «Опускали» эмигрантов, публикуя их откровения в письмах на родину или что-нибудь из сплетен и взаимных обвинений. «Опускала» автора этих строк в 1987 году главная писательская газета, публикуя куски из писем, захваченных при обыске, – упоённо высмеивалась моя просьба прислать, за мои же кровные, джинсы такого-то размера; в науке «опускания» всегда в цене что-нибудь первоэтажное. При этом почтенная газета не сообразила, что сама

же «опускается» ниже пояса, что, впрочем, всегда и бывает, «опускание» — процесс обоюдный. Вся беда, что «опускающие» сраму не имут и поэтому их «опустить» нельзя.

А с чего ж это Кобрисов-то — «опущенный»? А у него — «алкогольная зависимость». И это мы слышали — райкомовские лекторы так говорили о Твардовском, отказывая ему в способности «правильно» редактировать «Новый мир». У Кобрисова симптом вот какой: он веселеет, когда его приглашают выпить. Читатель, я ничего не придумываю! Кроме того, он себя роняет, спеша в 35-градусный мороз, за шесть километров, выпить чужого коньячку, тогда как ему, «генерал-лейтенанту, командующему армией — скажи он только слово! — ящик отборного коньяка в зубах бы притащили!». Право, такой странной претензии мне ещё не доводилось слышать. И что же, он бы один и хлестал свой коньяк? Или с придурковатым ординарцем, так как пить одному считал он предосудительным? И неужели же мы спокон веку ходим в гости и там отведываем напитков и яств лишь потому, что у самих пусто? Русский человек не оттого веселеет, что у него есть что выпить, а что есть повод выпить и есть с кем! Генерал Кобрисов идёт к полковнику Свиридову не потому, что у него коньяка нет, а у Свиридова он есть, а потому что он друг боевой, и он Перемерками овладел, и генералу его оборона нравится, и потому что коньяк — французский, трофейный, а много ли трофеев нам доставалось в декабре 1941-го? — и потому ещё, что «было нечто, рассеянное в воздухе... обещающее перелом...»!

Всё это не аргументы для Богомолова, он тут видит «полное непонимание психологии и менталитета советских командиров и военачальников: в подобных ситуациях они никогда не спускались “вниз”; чего бы это ни касалось — алкоголя, трофейной автомашины или чего ещё — команда подавалась: “Ко мне!”» Смешно спрашивать, но откуда, собственно, у Богомолова такое знание генеральского менталитета? Во всём фрагменте нет следа его контакта с кем-либо выше капитана, все рассказы о военачальниках — с чужих слов. Не указаны, правда, звание и должность того клинического идиота, который приказывал громогласно, пороча свою пэпэже: «Олю!!! С подушкой!!! Ко мне!!!» Даже из генералов КГБ достался ему в собеседники наибледнейший — Чебриков, кого сами гебисты считали в их ведомстве

«случайным». А были же какие орлы – «Железный Шурик» Шелепин, гроза инакомыслящих Бобков, поэтичный и мудрый Андропов. Даже Семичастный оставил свой след в литературе: Пастернака обозвал «свиньёй».

К слову, удивительна мне литературная малограмотность моего критика. С изумлением почти детским он сообщает, что некоторые детали и факты я заимствовал из мемуаров моего персонажа, а другие «при всём старании обнаружить не удастся – это придумано...». Я понимаю обиду исследователя, который старался и не обнаружил искомого: он же не знал, что персонаж, кроме своих мемуаров, ещё и другие книги писал, и статьи, и письма. Но мы уже вступаем в область ликбеза. Известно ли нашему мэтру, что именно так и писали веками что-нибудь историческое: что-то заимствовали из мемуаров, из хроник, из летописей, а что-то – да, придумывали? Сюжет «Гамлета» заимствован из хроник и даже отчасти из чужой пьесы о реальном принце Омлоти, ну и кое-какой отсебятины добавлено грешным сочинителем, иначе б он был плагиатор. И вот с такими отроческими понятиями о природе «сочинительства», как брезгливо-насмешливо г-н Богомолов называет чужую прозу, он берётся ею управлять, устанавливать для неё свои законы и предписания. Все персонажи обязаны поступать согласно «ригидно определённым функциям», своему званию, должности, менталитету, и никогда – в соответствии со своим характером, норовом, происхождением, биографией. Какой бы это был тусклый, неинтересный мир! И почему его надо изображать? Возможно, сто генералов так бы и поступили, как рекомендует Богомолов, а сто первый – попёрся, глядя на вечер, за шесть километров, в мороз, – вот он-то мне и интересен. Ибо в нём воплощено всё то «генеральское», чего недостаёт каждому из ста других. Не должен бы командующий армией плясать на шоссе, при всём честном народе, но вот Чибисов Никандр Евлампиевич сплясал и спел и поехал обратно к своей армии. И я понял – это герой романа. Но – моего романа. Мир Богомолова другой, там начальники требуют подчинённых к себе – кого с коньяком, кого с подушкой, я мог бы рассказать о чём-нибудь и похлеще, но почему отрицается моё право описывать тех людей, которые интересны мне – сто первого, тысяча первого?

Есть старая шутка, что когда мы в микроскоп рассматриваем микроба, то и он со своей стороны, сквозь те же

линзы, изучает нас. Вот и я, как тот микроб, наблюдаю моего критика и вижу, что ему есть дело лишь до внешних проявлений натуры Кобрисова и совершенно чужда внутренняя мучительная коллизия. А она в том, что городишко Мырятин, почти окружённый войсками Кобрисова, обороняют русские батальоны. Это не власовцы, как огульно их называла наша пропаганда, просто русские. Для ста генералов это не проблема, но сто первый, Кобрисов, не желает быть палачом. Свои против своих! Разве это обойдёшь? Но, как в статье В. Кардина замечено, «В. Богомолов не признаёт «Третьей силы», даже когда факты побуждают хотя бы задуматься о ней». Скорее всего, ему просто нечего сказать сверх того, что усвоилось на политбеседах году в 1944-м и закрепилось позднее на лекциях в Высшей партийной школе при ЦК КПСС*. Эта тема его «не колышет». Как не колыхала она тех рьяных мстителей, которые спешили расстрелять власовца, не спросив, что же его толкнуло в РОА. Но — как от этой темы увильнуть? Как *не заметить слона*? Одним пристальным разглядыванием букашек и ловлей блох тут не обойдёшься. А на то у критика должен быть не меньший запас приёмов, чем у хорошего взломщика набор отмычек: есть ломик «фомка», есть «отжим ригеля», есть хитрое приспособление «уистити» и ещё много всяких восхитительных штучек. Богомолов — применяет, как я бы назвал, «сдвиг по фазе». Это такой скошенный взгляд, и как бы рассеянное внимание, и как бы недопонимание прочитанного. А зато — усиленное внимание к побочному.

Так убедительно меня опровергнув насчёт Апрелевки, где не могли в декабре 1941-го дать генералу дачный участок, мой критик «не замечает», что и не дали, что эта Апрелевка остаётся мечтою Шестерикова и поздней осенью 1943-го. И продолжает, и продолжает доказывать, трясти документами, высмеивать автора.

Ещё демонстрация «невнимания»: в декабре 1941-го Кобрисов не был генерал-лейтенантом. Это не мелочь для сюжета (и, как увидим ещё, для Богомолова, очень неравнодушного к званиям). В романе говорится, что очередная звёздочка слетела ему на петлицу «за дела армии», которой он не командовал, провалялся в госпитале. А третья, вме-

* В.Богомолов окончил отделение журналистики ВПШ в 1958 году. См. «Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года» под редакцией В.Казака, изд-во OPI, London, 1988.

сте со Звездой Героя, слетает ему на погон за Мырятин, который он брать не хотел, — кусок торта, вмазанный ему «в непокорное рыло». Это уже рок, судьба, но мимо, мимо скользит скошенный взгляд.

А вот ещё забавная претензия — как это Жуков, не будучи «ни маразматиком, ни постинсультником», не помнит, где он встречался с Кобрисовым? «Автор упустил, что в этом же романе в 1941 году Кобрисов... являлся непосредственным подчинённым командующего фронтом Жукова, они не могли не общаться, и то, что этот вопрос впервые возникает у маршала при случайной встрече в 1943 году, свидетельствует, что имели место перебои мышления или выпадение памяти то ли у Жукова во время боёв под Москвой, то ли у Г. Владимова при написании романа». Сказать ли, что у самого г-на Богомолова «имели место перебои мышления или выпадение памяти» при писании фрагмента? Но я не верю, чтоб можно было пропустить сказанное так ясно: «...армия Кобрисова не участвовала в наступлении и не принадлежала Западному фронту. Это была одна из тех двух армий, которые Сталин наотрез отказался выделить Жукову и поставил на внутреннем полукольце обороны...» Мало этого, жена Кобрисова объясняет диспозицию: «Мы ведь, по плану, и не должны были наступать, мы только подстраховывали». И это не мимоходные замечания, на этом весь эпизод построен, как Власов умыкает бригаду, которая направлялась в распоряжение Кобрисова и заблудилась в метели. Потому и умыкнул, что «эту бригаду нельзя было выпросить у Жукова», она чужая была, как и армия Кобрисова. А впрочем, мы уже усвоили: Власов в Московской битве не участвовал, лечил среднее ухо, поэтому и всего эпизода у церкви Андрея Стратилата — не было.

И уже полный «сдвиг по фазе» — о Кобрисове: «Вызванный в Ставку из-под Киева, он, доехав до пригорода Москвы и, очевидно, уже забыв о столь ответственном вызове, вдруг решает вернуться в свою армию, но, должно быть, запамятовав, где она находится, приказывает ехать... в Можайск». Опять же, не мог упустить пунктуальнейший г-н Богомолов, что Кобрисов должен в Ставке лишь «доложиться по приезде», то есть отметиться, что он в Москве, а едет он «отдохнуть в санатории, побыть с семьёй», так в мягкой форме сообщает ему Ватутин, что всё решено с его отстранением от армии. И не «вдруг» решает он

вернуться в армию, но услышав по радио, что награждён и повышен в звании, и значит, ему «Ставка всё сказала», он остаётся командующим. И не приказывает он ехать в Можайск, а спрашивает водителя, хватит ли дотуда бензина. Богомолов, очевидно, не знает, что всё шоссе, включая нынешний Кутузовский проспект, называлось тогда Можайским и по нему выезжали на украинские фронты. Но все эти, мягко скажем, «неточности» имеют одно назначение – увильнуть от главного, о чём и написана глава «Поклонная гора», от всех размышлений генерала, что «там, в Мырятине, русская кровь пролилась с обеих сторон, и ещё не вся пролилась, сейчас только и начнётся неумолимая расправа – над теми, чья вина была, что им причинили непоправимое зло... и они этого зла не вытерпели». Если этого не заметил, не прочёл критик, то какой уже там Можайск, будто его «колышет», что генерал ошибся в маршруте! Всяк имеет право на чтение невнимательное, но нет права на критику невнимательно прочитанного. Зачем берётся г-н Богомолов критиковать роман, не замечая, да и не желая замечать едва ли не главной его темы? С ледяным равнодушием к трагедии если не миллиона, так сотен тысяч людей – зачем писать ему книгу «о живых и мёртвых, о России»?

По-настоящему интересует его – майор Светлооков. Всё в нём не устраивает Богомолова: и его непонятная власть, и что он порочит командующего в глазах подчинённых, и как это он в «Смерше» оказался, и через два офицерских звания перескочил. А сказать по-честному – и покороче, – очень не нравится, что смершевец Светлооков – *герой отрицательный.*

Дотошный Богомолов приглашает меня «заглянуть в первоисточники», где предписывалось Управление Особых отделов изъять из ведения НКВД СССР и передать в Народный комиссариат обороны, «то есть ничего заново не организовывалось, просто взяли и передали всех особистов в другой наркомат, изменив только название организации, и потому никаких вакансий и возможности сказочного получения Светлооковым трёх офицерских званий в реальной жизни не было и не могло быть». Я смею утверждать, что в реальной жизни не было никогда того, о чём говорит г-н Богомолов. Сменился хозяин! И не было при этом кадровых перемещений? Никого не уволили, не понизили в должности? Не набрали новых,

заранее намеченных? И не переменился самый дух учреждения? Для чего же тогда «просто взяли и передали»? Да простой переезд (равный, говорят, половине пожара) вносит перемены. Ничего не меняя, нельзя взвод передать в другую роту, а не то что сотни отделов, да ещё *особых*! Пример куда проще: переехала станция «Свобода» из Мюнхена в Прагу, и радиослушатели уже, верно, заметили, что едва не треть её состава переменилась. И притом «Свобода» осталась «Свободой», а там-то появился – «Смерш»! Вымолвить страшно, тут тебе и «смерть», и змеиное шипение...

Есть в романе (в журнальном варианте) хронологический ляп, которого, верно, не заметил Богомолов, – и на старуху бывает проруха, – но почему-то я думаю, что так же сознательно, как я этот ляп допустил, он мне извинил его. Указ о публичной казни через повешение был от 17 апреля 1943 года, поэтому не могли казнимых вести «по снегу в сильный мороз», отчего у них «побелели уши». Но так автору показалось выразительнее, что ли, и мысль была сожалеющая о них: всё-таки не весной казнят, когда умирать особенно жалко и обидно, а лютой зимою, когда смерть хотя бы снимает боль. Богомолов же, по-моему, вот почему «не заметил»: всего за три дня до этого Указа, 14 апреля, образовывались отделы «Смерша», и от этого календарного соседства как-то неуютно было, слишком обнажались цели и предназначение.

«При изображении Отечественной войны в литературе, – наставляет меня г-н Богомолов, – крайне важен "воздух", атмосфера времени, а она менялась. Если в 1941 году, в период отступления и чудовищных поражений, военачальники и командиры были для Сталина изменниками и трусами, то осенью 1943 года, когда Красная Армия успешно наступала на тысячекилометровом фронте, они уже были победителями». Насчёт «изменников и трусов» верно, а вот победителей у нас всего было два: один с адресом – «Москва, Кремль, товарищу Сталину», другой – бомж: «великий советский народ под водительством родной партии». Тех же, кто себя и впрямь ощутили победителями, Сталин убоялся не меньше, чем Гитлера в 1941-м; к их вразумлению и были призваны нововведения – «Смерш» и публичное повешение, где непременно присутствовала армия. Какое это производило впечатление на «победителей», я попытался описать. Спектакли такого

рода были адресованы им, только не всеми это понималось отчётливо. В августе 1946 года по некоторым причинам спектакль с открытым судом над Власовым и его подельниками не состоялся, но меньше двух недель отделяло сообщение об их казни от Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград»; далеко не все осознали, какая тут связь, но ощутили удушье нового террора.

Я смею думать, призвание Светлоокова достаточно сказалось в сценах вербовки и бессудного расстрела пленных, — так уж вакансия для него нашлась, почуяли, что сгодится паренёк для такой работы. Особенно язвит г-на Богомолова — и трижды он к этому возвращается: как это он за два месяца вышел из лейтенантов в майоры. Ну, во-первых, то были месяцы войны и месяцы реорганизации; во-вторых, как уже сказано, хороший человек попался, а в-третьих, новые его хозяева ужо постарались, чтоб звание подобало б ему по должности — уполномоченного контрразведки при управлении армии. К тому же, пишу я, «настоящее его звание было загадкой: в каких-то малопонятных конспиративных целях стал он появляться то в форме сапёрного капитана, то лейтенанта-лётчика, но чаще — майора-артиллериста...». Зачем он это делает, спрашивает Богомолов, его же знают в лицо, это нелепо и абсурдно. Вот и я так же спрашивал в 1943 году у офицеров Саратовского пограничного училища, где моя мать преподавала русский язык и литературу; по территории части, где их знали все официантки и все коты из склада продфуражного снабжения, они расхаживали в разных униформах, а то и в цивильном и на мои вопросы отвечали: «Значит, так надо». С тех пор я не спрашиваю. И я, извините, не ответчик за все ширли-мырли славных чекистов, любящих подчеркнуть таинственность своей службы.

Появление Светлоокова на Военном совете, возможно, унижает достоинство пяти-шести генералов, но ведь тон задаёт командующий, а почему он, хозяин армии, со Светлооковым избирает манеру безобидной пикировки, это кажется странным и адъютанту Донскому — покуда он не узнаёт, что генерал Кобрисов *из репрессированных*, а Светлооков *имеет доступ*. Кажется, Бэкон сказал: «Знание — сила»; я бы добавил, что знание о нас тайного — сила втройне. Может быть, поэтому не приходит на ум Кобрисову тот рецепт, как «из Светлоокова в лучшем случае сделали бы котлету».

Богомолов-критик напоминает мне того старательного работника из русской классики, который «яичко испечёт да сам и облупит». Уличив меня в нелепостях и абсурдах, следом расскажет, как было «в жизни, а не в сочинительстве». На некоем фронте, некоей армией командовал некий генерал Г-в, и приходила ежедневно медсестра — массировать ему контуженную спину. Чтоб не подумали *чего*, сообщается — женщина немолодая, мать двоих фронтовиков. Тем не менее капитан из контрразведки *то* и заподозрил и спросил сестру, нет ли *чего* у неё с командующим. А она возьми и сообщи генералу. А генерал Г-в был нрава крутого, это подтверждают его портреты, он тут же позвонил по ВЧ Сталину и заявил, что ему *не доверяют*. Товарищ Сталин — тоже, как известно, не лапша — оторопел и заверил Г-ва, что ничего подобного, доверяют вполне. То есть доверяют, что у Г-ва нет *ничего* с медичкой, ибо какие же ещё признаки недоверия Г-в мог привести? Гнусного смершевца упекли на передовую — командовать взводом, а Г-ву через неделю присвоили генерал-полковника — очевидно, за отважный звонок, об его боевых достижениях не сказано.

Какие же выводы следуют из этого сокрушительного рассказа? Что всей крутости нрава не хватило генералу Г-ву, чтоб этого смершевца хоть послать подальше. Что управу на капитана из контрразведки мог найти командующий армией только у самого Верховного. Больше ни у кого! И, разумеется, Верховный не мог не убрать этого болвана, провалившего слежку, и не заменить его следопытом более деликатным. Вот Светлооков-то и работает деликатно, у него к вербуемым подход дифференцированный, поэтому никто из них не сообщает об этом генералу Кобрисову, даже верный Шестериков. Генерал об этой вербовке догадывается, но догадка — ещё не повод пожаловаться Сталину.

Почему интересует Светлоокова, намерен ли командующий брать Мырятин? Ну, во-первых, инструкция предписывала «Смершу» послеживать и за оперативными замыслами. Во-вторых, Светлооков и не скрывает (от Донского), что он на кого-то работает — хоть на Терещенко и всю плеяду командармов, которых мог бы Кобрисов обскакать.

А почему интересует его сверх этого о Кобрисове — вот мы и дожили до одного из самых заковыристых для меня

вопросов. А почему капитана из контрразведки интересовало, что там у генерала Г-ва с медсестрой? Почему их интересует всё о нас, Адамах и Евах? Почему они суют свои носы под кастрюльные крышки и под простыни к любовникам? Почему интересуются нашими транквилизаторами и сортом сигарет, и что мы пьём и нуждаемся ли опохмелиться? Наверно, потому, скажут философы, что иначе не властвовать низшему разуму над высшим. Потому, отвечу я, что они распущенны, развращены своей неограниченной властью, потому что любая тайная служба стремится разрастись в государство, заменить собою власть законодательную, исполнительную и судебную, монарха и президента. Был такой довоенный плакат — «железный нарком» Николай Иваныч сжимал В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ извивающуюся гадину о трёх головах, так повёрнутых, что получалась свастика. Вот так её и следует держать государству, свою тайную службу! Товарищ Сталин, правда, применял иной способ — время от времени предпринимал отстрел чекистского поголовья до безопасной (для себя!) нормы.

Чтобы уже покончить со Светлооковым, скажу о карте, на которой он просил Донского отмечать все задумки генерала. «В первый момент, — пишет Богомолов, — мелькает предположение, что Светлооков работает на немецкую разведку, но потом утверждаешься в мысли об его умственном помешательстве...» А вот это уже моя территория, моё право — чтобы читатель сперва одно подумал, а потом другое, а вышло б на самом деле третье.

Изумляется Богомолов, почему у меня Тула названа Тулой, а Киев — Предславлем, почему в одних случаях Жуков, Хрущёв, Ватутин, а в других — Чарновский, Терещенко, Кобрисов. Отвечаю в порядке ликбеза: я не массирую компетенцию, а пишу роман, а романная форма позволяет мне спрятаться за псевдонимом, когда я хочу быть свободным от унылого буквоедства историков (образчик которого — критика г-на Богомолова). Сошлюсь на Толстого: среди четырёх адъютантов Кутузова не было такого — Андрея Болконского, а иначе какие бы посыпались на автора «гроздья гнева» родственников и потомков. Так что формально я не имею обязанности отвечать за «поношение» Черняховского: у меня такого персонажа нет. Но мне и за Чарновского обидно, за то нелепейшее подозрение, которое вызвала у Богомолова моя фраза: «Вторую бы

жизнь отдал Чарновский, чтобы рана была в грудь». В чём тут «подлянка» и к чему эти благородно-патетические вопросы: «...Что, смерть от осколка, попавшего в спину, позорнее, чем от осколка, попавшего в грудь?» Ничуть не позорнее, но спросите любого солдата, офицера: куда бы они предпочли быть ранены смертельно, если уж судьба такова? Большинство скажет — в грудь, немногие ответят, что им всё едино, никто не предпочтёт — в спину. Таково честолюбие воина, мне понятное, а г-ну Богомолову — нет.

А что делать с критиком, который производит (увы, не он один) фамилию Шестериков от «шестёрки» или «шестерить»? Неужто забыт нами — «шестерик»? Загляните в словарь — это куль весом в шесть пудов, это запряжка лошадей в три пары цугом, которую мы можем увидеть при выездах королевы Елизаветы II, а в прошлые войны так возили тяжелые орудия. Если поискать символику, так она скорее в шестижильности персонажа, в способности к разного вида трудам, к перенесению тягот. Унижения солдатского достоинства в этой фамилии нет.

А ещё нашёл мой критик, что «Г. Владимов в своём романе с неприязнью и ненавистью относится даже к упоминаемым мельком рядовым советским солдатам — стыдно здесь повторять оскорбительные словосочетания-подлянки, в шести местах брошенные им походя в адрес людей, две трети из которых отдали жизни в боях за Отечество».

«Стыдно повторять» — потому что нет этого в романе. Буде же г-н Богомолов всё же приведёт эти шесть мест, где я, именно я, автор, как-либо оскорбляю солдат, павших или живых, где называю их «овечьим стадом», «пушечным мясом», «сталинскими зомби», тогда я печатно принесу ему извинения за то, что сейчас, вот с этой страницы, называю его слова — клеветой.

О «братании с власовцами», «новом осмыслении далёкой войны» и нашей «второстепенности».

«Один мой знакомый» — так Сергей Довлатов начинал свои радиоэссе и дальше вертел своим знакомым, как хотел. Богомолов своего знакомого, фронтовика, потерявшего ногу на Зееловских высотах, сподобил и роман мой прочесть, и рецензии, и радио послушать (вот какой интерес!),

и затем произнести грустную тираду, что лучше бы фронтовикам не дожить до 60-летия Победы, когда «водрузят на божницы и портреты главного освободителя России – Адольфа Гитлера. И всласть попляшут на братских могилах, и для каждой приготовят по бочонку фекалий...».

Этот знакомый, который навряд ли возражал, когда на божницы водружали портреты главного погубителя – Иосифа Сталина, уже давно не в ладу со временем. И портреты – дорогие ему или ненавистные, и братские могилы существуют для тех, кто помнит о войне и размышляет о ней. Для тех, кто не желает помнить, могилки эти – разве что помеха земельному бизнесу или строительству вилл. Они и плясать не станут, и фекалии приберегут для теплиц и цветников, а могилы просто распашут либо разроют экскаватором под фундаменты и кости вывезут в отвал, а все обелиски – туда, где нынче полёживают Ильичи и Эдмундычи. Однако, уверен, внуки наши непременно обратятся к памяти Великой Отечественной и будут о ней думать и говорить, но уже вовсе не опасаясь окрика и запрета иначе толковать наше прошлое, чем это было нам в прошлом и предписано.

Люди, размышляющие о войне, о том, почему великая Победа не принесла нам желанной и обещанной Свободы, обращаются к тем попыткам, которые объединяются названием «Третья сила». Их внимание привлекает фигура Власова и его единомышленников, и естественно, строятся концепции, делаются предположения, разбираются те или иные варианты. В недавние годы появилась на Западе и всё больше набирает силы т. н. «контристория» или «альтернативная история», которая рассматривает прошлое в сослагательном наклонении: «что было бы, если бы…» История обычная, с её фатальными предначертаниями, с её дубоватым постулатом «иначе быть не могло, потому что было так», – действительно, не оставляет человечеству много свободы извлекать уроки из прошлого, – тогда как «альтернативная», не отрицая иного выбора, подчёркивает ответственность исторических лиц за их решения, удачные или ошибочные, и делает из них выводы на будущее. Так шахматисты учатся побеждать, переиначивая ходы проигранных или ничейных партий.

Между прочим, в жанре «контристории» выступил както маршал Чуйков против маршала Жукова*, доказывая,

---

* См. «Воспоминания и размышления» Г. К. Жукова.

что война могла закончиться на два месяца раньше, в начале марта; внезапный 80-километровый бросок на Берлин, куда немцы ещё не стянули все свои силы, позволил бы избежать «битвы богов и титанов» и грандиозных жертв. А возможно, и знакомому г-на Богомолова не пришлось бы оставить ногу на Зееловских высотах...

В статье «Новое следствие, приговор старый» я позволил себе выдвинуть концепцию влияния «Третьей силы» на итоги войны – и пришёл к выводу отрицательному: слишком много сложилось условий неудачных и невыгодных. И сам Власов, при всех высоких свойствах военачальника, не был тем человеком, кому бремя руководителя «Третьей силы» оказалось бы по плечу («человек минуты, а не часа»). И та русская эмигрантская среда, на которую он вынужден был опереться по беспомощности иноземца, не владеющего языком страны, не смогла ему составить надёжное окружение; и опекать его взялась организация, уже давно не политическая, а иждивенческая, состоявшая на содержании у разведки «Абвер» и Восточного министерства А. Розенберга, к тому же инфильтрованная советскими агентами (любопытно сообщение В. Кардина, что в поварах у Власова оказался агент НКВД, который мог его, когда бы потребовалось, отравить). Организация, о которой речь, Народно-Трудовой Союз российских солидаристов, не могла его не направить иным путём, как только по линии жандармско-полицейской, где высшим достижением оказалось содействие Гиммлера. То же самое, цитируя Кейтеля, повторяет и Богомолов, только при этом почему-то нервничает. И как человек, состоящий в трудных отношениях с юмором, разражается патетической руладой:

«Не знаю, как могли быть «достижением», да ещё «высшим», встречи и разговоры с человеком, под руководством которого в лагерях военнопленных и концлагерях было уничтожено свыше десяти миллионов человек, но у Г. Владимова, очевидно, иные критерии».

Оставляю без комментария.

Доверчивость Власова (которой не проявил М. Ф. Лукин), его неразборчивость в людях, неготовность к долгой, кропотливой работе, ну и недостаточная твёрдость характера обусловили то, что власовское движение так и не стало «Третьей силой». А между тем такая сила была в самой Германии, и он мог бы и должен был к этой силе примкнуть. Ему следовало идти путём армейским, ориен-

тироваться на тех офицеров и генералов, которые составили оппозицию Гитлеру. При этом не обязательно было участие в заговоре, да заговорщикам и не нужен был для такой цели русский генерал. Правда, после разгрома заговора воронка «правосудия» затягивала и непричастных, но и в таком случае пеньковая верёвка, наверно, предпочтительнее рояльной струны или крюка под челюсть. И не исключено, что Власов был бы у нас прощён посмертно, как были прощены прижизненно сдавшиеся в плен генералы М. Ф. Лукин и М. И. Потапов.

Если же Власов этой «воронки» избежал бы и продолжил свои усилия, не миновать ему было встречи с Гудерианом, который как раз принял бремя обороны Германии и вынашивал план – сдать фронт западный и сосредоточиться на востоке. Этот вариант отвергает М. Нехорошев: «...идея «Третьей силы» – возможного, но несостоявшегося союза Власова с генералом типа Гудериана, мне вообще представляется политической утопией. В тот исторический момент все, кто мог влиять на события, уже заполнили политическую арену. Там просто не было свободного места».

Мне кажется, образ этот неточен: и Власов, и Гудериан были на политической арене, только в разных её секторах. И то, что считает критик «политической утопией», всё же могло проявить известное свойство многих утопий – сбываться. Вот что пишет на сей счёт прот. Александр Киселёв в книге «Облик генерала А. А. Власова»:

«Хотя его никогда не посвящали в тайны заговора 20-го июля, он достаточно хорошо знал о той самостоятельной и активной роли, которая в связи с этим предназначалась РОА в деле освобождения России... Согласно плану предусматривался немедленный мир на западе (верховное немецкое командование в Париже даже подготовило аэродромы для высадки десантных войск союзников), а на востоке продолжение войны с превращением её в гражданскую. Для этого была нужна хорошо подготовленная и мощная Власовская армия».

Поскольку «альтернативную историю» г-н Богомолов в гробу видал, а точнее – по своей забавной склонности путать место упокоения с нужником, он эту утопию там, в нужнике, и хоронит. Это – буквально: «...об альянсе между ними не могло быть и речи. Для... истинного носителя прусских традиций и тевтонского духа... Власов был

всего лишь преступившим присягу перебежчиком, клятвопреступником, и по одному тому «гений и душа блицкрига» с ним не только встречаться и разговаривать бы не стал, он бы с ним, извините, в один штабной туалет никогда бы не зашёл, а в полевых условиях — на одном километре бы не присел».

Насчёт штабных туалетов и приседаний на природе — уступаю кафедру оппоненту, но вот в американском плену в Маннгайме «носитель тевтонского духа» охотно общался с перебежчиками Жиленковым и Малышкиным. И так подружился, что попытался их отстоять, когда американцы их выдавали советским властям. Стало быть, не считал их преступниками. Возможно, теснота плена сплачивает и заставляет отказаться от высокомерных замашек. А может быть, нужда заставила бы и принять помощь от перебежчика и оказать ему свою, когда ломаешь голову, как составить боеспособные части из мужчин младше шестнадцати и старше шестидесяти.

Между прочим, и на таком уровне, с аргументами сортирного порядка, возможна была бы у нас дискуссия с г-ном Богомоловым, тем более, что с иными его замечаниями я согласен. Так, он трижды выражает недоверие к тем книгам о власовском движении, что написаны или изданы энтэзсовцами. Увы, он прав. Они либо неполны, либо недостоверны — по определению. Власов, после его ареста советским оперотрядом, стал для «солидаристов» отыгранной картой, нужно было разыгрывать новую, гнать туфту, привлекательную для других платёжеспособных разведок — «Интеллидженс сервис», ЦРУ, далее везде; сочинилась «молекулярная теория», частью заимствованная из «Бесов» Достоевского, частью от выдуманной чекистами партии «Либеральные демократы», той блесны, которую заглотал Савинков; по этой теории, вся иерархия властей и всё советское общество пересыпаны малыми группками — «молекулами», которые друг о друге не знают и подчиняются лишь зарубежному центру, — теория занятная и благосклонно воспринятая в КГБ, которому жизнь без врага не мила. Для правдоподобия всё же нужны были кое-какие живые контакты в стране, а имя Власова отпугивало, поэтому НТС от власовского движения отмежевался и осудил его — в обращении «К кадрам союза» от 6 июля 1946 года. До казни Власова и его группы оставалось 25 дней, и надо полагать, смертникам этот текст любезно доставили в каме-

ры... Неожиданно для «солидаристов», в разных странах, и прежде всего в Германии, пробудился интерес к казнённому генералу, к «Третьей силе», которую он представлял, стали появляться книги, и так как в них роль НТС рассматривалась излишне пристально, «солидаристы» очень правильно решили – взять эту самодеятельность в свои руки. Стала возможной двойная цензура: в отборе книг для перевода на русский и при их редактировании. Так что иные переводные тексты имеют обширные купюры и сильные разночтения с оригиналами, взять хотя бы «Против Сталина и Гитлера» Вильфрида Штрик-Штрикфельдта.

Мы могли бы также поспорить с Богомоловым о перебежчиках из Красной Армии в РОА накануне Победы. Он это называет моей фантазией. Признаться, и мне это казалось фантазией, но слишком много есть тому свидетельств. К примеру, Н. Толстой-Милославский в книге «Жертвы Ялты» рассказывает о «пробном бое» в Нейловине, на Одере, после которого «к власовцам перешли сто красноармейцев», и изумляется такому его исходу: «...разве не поразительно, что даже теперь, когда Германия доживала последние недели, антикоммунистические русские формирования в Померании и Югославии всё ещё привлекали значительное количество перебежчиков!» И надо же это как-то объяснить, а не рот мне затыкать. Я это объясняю тем, что не хотелось возвращаться к родным пенатам и любимым колхозам и казалось, что РОА как-нибудь поладит с американцами и другими союзниками, найдёт у них прибежище и защиту. Если кто предложит иное объяснение – с глубоким вниманием выслушаю.

К сожалению, в споре г-н Богомолов опускается ниже сортирного уровня, и вместо дискуссии выходит у нас Малый Нюрнбергский процесс, где мой оппонент занимает кресло Руденко, а мне отводит скамью Гесса или Дёница:

«В своей статье Г. Владимов высказывает сожаление, что пользующиеся его явными симпатиями генералы Гудериан и Власов не встретились и не объединились для того, чтобы при невмешательстве западных союзников вместе ударить по России».

Я привожу эту фразу как образчик того неандертальского стиля, который, казалось нам, уже вышел из обихода, сменился по крайней мере кроманьонским. Не только не вышел, но ещё совершенствуется. В одной фразе – четыре лжи, это же уметь надо!

1. Мои симпатии, явные и тайные, на стороне правды о людях, кем бы они и какими бы ни были.

2. Я не высказываю сожаление, что они не встретились, я пишу: «об этой не-встрече оба могли пожалеть».

3. Я не пишу о невмешательстве западных союзников, напротив – не исключаю, что им «пришлось бы вместе с немцами противостоять советским армиям».

4. Я пишу: «Не дать повода Сталину вступить в Европу», а мне советский обвинитель лепит ВМН с конфискацией имущества: «Вместе ударить по России»!!

А ещё можно прочесть, что я Гудериана представляю антифашистом, который хотел посадить Гитлера на скамью подсудимых. Может быть, прямиком «Смершу» сдать? Его, Гудериана, идея получить оперативный простор для войны на одном фронте перефутболивается мне: «Владимов писал, что надо было дать германской армии и РОА оперативный простор...» Если идеи и высказывания исследуемых приписывать исследователям, тогда конец всем исследованиям, конец всякой науке. Это как приписать собачьи условные рефлексы академику Павлову – закроем уж сразу биологию на амбарный замок (да не забыть ещё будку академику). Я пишу, что Гитлер до последних дней считал Восточный фронт второстепенным, это есть во многих генеральских мемуарах, – мне приписывают «стремление умалить наше участие в разгроме гитлеровской Германии и суждения о нашей “второстепенности”». Кажется, на Малом Нюрнбергском меня уже пересаживают на пустующее место фюрера. Любая моя фраза перевёртывается, извращается до неузнаваемости. Я пишу: «боя не получилось» – мне возвращают: «трогательное братание советских военнослужащих с власовцами». Ну, как если бы я сказал, что вот эти два мужика морды друг другу не били, а в милицейском протоколе было бы записано: «Распили поллитру на двоих». Оторопь берёт, как подумаешь, что вот таким страшным языком, даже не иезуитским, а палаческим, разговаривали с людьми в «Смерше». Не Власов изменил, а ты родину предаёшь, вражина. Не Гитлер сказал, а ты говоришь, падло. Не Геббельс подумал, а у тебя, сука, на уме. Что с вами происходит, писатель Богомолов? Да есть ли в Вашей колоде хоть одна карта не краплёная?

Открою небольшой секрет: а ведь мы знакомы с Владимиром Осиповичем. Я его знавал как раз в ту пору, когда по его рассказу Андрей Тарковский поставил «Ива-

ново детство». Свой «звёздный час» Богомолов не распознал и не принял, многократно и многословно гневался на режиссёра, который, ничего не понимая в войне, извратил его замысел, всё сделал вопреки ему, даже актрису взял брюнетку (Валентину Малявину), тогда как в рассказе она – блондинка (Тарковский отшучивался, что мог же он вставить негатив). Этот конфликт сотрясал тогда стены «Мосфильма» и вошёл в анналы его истории; сообщает Лев Аннинский: «О трениях между сценаристом и режиссёром глухо писала печать»*, – это в то наше безгласное время целомудренная наша печать, это до чего же надо было доскандалиться! И много лет спустя, в эмиграции, Тарковский горьким словом поминал своего автора, его нетерпимость к чужому замыслу и логике, носорожье желание растоптать иного, чем он, художника, которому он едва не сломал «ещё слабый тогда хребет». Между тем «Иваново детство» было гениальным прочтением рассказа, и помнят-то многие «Ивана» благодаря фильму, открывшему для миллионов зрителей, в том числе бывших фронтовиков, новое видение и осмысление войны.

В своей статье я изложил, в жанре «контристории», иной сценарий завершения Великой Отечественной, который предполагал и сокращение сроков её на 5–6 месяцев, и сбережение многих жизней и крови. Этот сценарий не устроил г-на Богомолова. Лучше было дожить до позора Берлинской стены, сделаться на 45 лет жандармами половины Европы и быть провожаемыми со вздохами облегчения, с едва скрываемой радостью, просить денег у побеждённых на вывод войск и строительство для них жилья на родине – а не то, глядишь, ещё задержимся. Как же мы всем надоели! Потому и не приглашают бывших советских на юбилей высадки в Нормандии и еле удаётся затащить Клинтона отпраздновать с нами 50-летие общей Победы. Надо уметь не засидеться, вовремя уйти. А ещё лучше – вовремя остановиться.

Но сейчас я, «злокачественно изображающий и трактующий советских людей и Отечественную войну», вновь услышу негодующий вопль г-на Богомолова: «Не сметь!» Ведь это и составляет пафос его фрагмента или всей книги: не сметь размышлять! Не сметь переигрывать, ни даже

---

* Лев Аннинский. Шестидесятники и мы. – М., ВТПО «Киноцентр», 1991.

обдумывать иные варианты произошедшего! Не спрашивать: откуда взялись у нас эти сотни тысяч, повернувших оружие против своих? Откуда четыре миллиона пленных? Почему оказалась в таком положении 2-я Ударная, почему пухли с голоду? Это всё — Власов виноват? И почему такой чудовищной ценой далась Победа? Пожелавший меня «опустить» Богомолов декларирует от лица всех фронтовиков: «Мы были такими, какими были, но других не было». Это неправда, были, к счастью, и другие, кто не считали и не считают, что они победили, чтобы иметь право спустя полвека приказывать замолчать всем с ними не согласным. А не замолчат, так будут приняты меры. Со мною это уже было сделано, и меньше всего от г-на Богомолова я могу принять сочувствие по поводу моего затянувшегося изгнания; его мне уготовили те, кому он дружески надписывал свой вестерн.

Сын Гудериана, тоже Гейнц и тоже генерал, в своём письме пожелал мне «возвращения на родину на достойных условиях». Но того мерзавца, который встаёт со страниц Богомолова, я бы не только не впустил обратно — жить в своём отечестве, я бы его в туристической группе выделил и не выпустил из Шереметьева: «Улетай, голуба, ближайшим рейсом, откуда прилетел!»

Так что же, может спросить читатель, критика Богомолова совсем вам не пригодилась? Не помогла исправить кое-какие ошибки?

Почему же, некоторую пользу я извлёк. Вот узнал, что аппарат «бодо» — не телефонный, а телеграфный. И вместо «Управления резервов Генштаба» следует писать «Управление формирований ГКО». Благодарю, при случае непременно поправлю.

Другая ценность для меня этой критики лубянского пошиба — та, что она доказала: темы, затронутые романом «Генерал и его армия», всё ещё актуальны.

«Книжное обозрение», № 12, от 19 марта 1996 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ

Отдельные главы романа печатались с 1980 г. в журналах «Поиски», «Континент» и «Грани», в газетах «Русская мысль» и «Бостонское время». В 1990 г. большой отрывок под названием «Престол Андрея Стратилата» поместили «Московские новости» (№ 14, от 8 апреля), другой отрывок – «Ясная Поляна, декабрь 1941-го» – «Литературная газета» (№ 26, от 27 июня). В 1994 г. журнал «Знамя» опубликовал собрание глав в качестве журнального варианта (№ 4, 5), в 1996 г. в № 2 – дополнительную главу «За землю, за волю...». Полное издание выпущено в мае 1997 г. московским издательством «Книжная палата».

Роман (в журнальном варианте) удостоен премии «Книжной палаты», премии Совета по внешней и оборонной политике, Букеровской премии 1995 года.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ

Роман

ПРИЛОЖЕНИЕ

Владимов Г. Н.

В 57 Собрание сочинений. В 4 т. Т. 3: Генерал и его армия: Роман / М.: «NFQ/2Print», 1998. 462 с.

ISBN 5-900041-04-2 (Т.3)

ISBN 5-900041-01-8

Основу третьего тома Собрания сочинений Георгия Владимова составляет роман «Генерал и его армия». В виде приложения помещены полемические статьи, тематически примыкающие к роману; в них прослеживаются дальнейшие судьбы персонажей: немецкого генерала Гудериана и русского генерала Власова — создателя «Третьей силы», противопоставившей себя и Сталину и Гитлеру. В судьбе и характере главного героя, командарма Кобрисова, угадываются черты реального прототипа, другие исторические фигуры названы либо их именами, либо легко раскрываемыми псевдонимами, в сюжете проступают контуры знаменитой фронтовой операции на Днепре осенью 1943 года. Роман, хоть и написанный автором, по возрасту не участвовавшим в боевых действиях, отличается тяготением к той правде, которая ещё не прозвучала в полной мере в нашей литературе. Журнальный вариант, опубликованный в «Знамени» в 1994 году, вызвал бурные споры в критике и живейший интерес широкого российского читателя, был удостоен Букеровской премии 1995 года. В день 50-летия Победы Григорий Бакланов, бывший фронтовик, признанный мастер военной прозы, назвал роман «Генерал и его армия» одной из трёх лучших книг о Великой Отечественной войне.

Роман публикуется в последней авторской редакции, в полном объёме, почти вдвое превышающем журнальный.

ББК 84 (2Рос=Рус)6

Георгий Николаевич
Владимов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ

Том третий

✦

Редактор *Е. Дворецкая*

Технический редактор *В. Кулагина*

Верстка *Н. Преображенская*

Корректор *Т. Томашевская*

✦

Издат. лицензия ЛП № 050053 от 31 октября 1997 г.

Сдано в набор 27.10.97. Подписано к печати 25.03.98.
Формат 84х108 1/32. Бумага тип. Гарнитура «Миниатюр».
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 24,36. Уч.-изд.л. 25,79.
Тираж 10 000 экз. Заказ 3572.

АОЗТ «NFQ/2Print»
117303, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ППП «Типография “Наука”»
Академиздатцентр РАН
121099, Москва, Шубинский пер., 6